

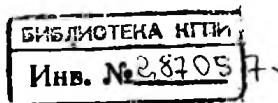
Р1
Г-41





А.И. ГЕРЦЕН

Рассказы и повести



МОСКВА
„СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“
1987

Р1
Г41

Составление и послесловие **Вл. Семенова**

Художник **В. Мирошниченко**

Г $\frac{4702010100-184}{M-105(03)87}$ 92—87

© Издательство «Советская Россия», 1987 г., составление, послесловие.



Записки одного молодого человека¹



ВСТУПЛЕНИЕ

Твое предложение, друг мой, удивило меня. Несколько дней я думал о нем. В эту грустную, томную, бесцветную эпоху жизни, в этот болезненный перелом, который еще бог весть чем кончится, «писать мои воспоминания». Мысль эта сначала испугала меня; но когда мало-помалу образы давно прошедшие наполнили душу, окружили радостной вереницей, — мне жаль стало расстаться с ними, и я решился писать, для того чтоб остановить, удержать воспоминания, пожить с ними подольше; мне так хорошо было под их влиянием, так привольно... Сверх того, думалось мне, пока я буду писать, подольется вешняя вода и смоет с мели мою барку.

А странно! С начала юности искал я деятельности, жизни полной; шум житейский манил меня; но едва я начал жить, какая-то *bufera infernale*² завертела меня, бросила далеко от людей, очертила круг деятельности карманным циркулем, велела сложить руки. Мне пришлось в молодости испытать отраду стариков: перебирать бывшее и вместо того, чтобы жить в самом деле, записывать прожитое. Делать нечего! Я вздохнувши принялся за перо, но едва написал страницу, как мне стало легче; тяжесть настоящего делалась менее чувствительна; моя веселость возвращалась; я оживал сам с прошедшим:

¹ Напечатаны в «Отечественных записках», в последней книжке 1840 и первой 1841. (Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.)

² Адский вихрь.

расстояние между нами исчезало. Моя работа стала мне нравиться, я увлекался ею и, как комар Крылова, «из Ахиллеса стал Омиром»; и почему же нет, когда я прожил свою илладу?.. Целая часть жизни окончена; я вступил в новую область; тут другие нравы, другие люди — почему же не остановиться, перейдя между, пока пройденное еще ясно видно? Почему не проститься с ним по-братски, когда оно того стоит? Каждый день нас отдаляет друг от друга, а возвращения нет. Моя тетрадка будет надгробным памятником доли жизни, канувшей в вечность. В ней будет записано, сколько я схоронил себя. Но скучна будет иллада человека обыкновенного, ничего не совершившего, и жизнь наша течет теперь по такому прозанческому, гладко скошенному полю, так исполнена благоразумия и осторожности etc., etc.¹ Я не верю этому; нет, жизнь столько же разнообразна, ярка, исполнена поэзии, страстей, коллизий, как жите-бытье рыцарей в средних веках, как жите-бытье римлян и греков. Да и о каких совершенниях идет речь? Кто жил умом и сердцем, кто провел знойную юность, кто человечески страдал с каждым страданием и сочувствовал каждому восторгу, кто может указать на *нее* и сказать: «вот моя подруга», на *него* и сказать: «вот мой друг», — тот совершил кое-что. «Каждый человек, — говорит Гейне, — есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история», — и история каждого существования имеет свой интерес; это понимали Шекспир, Вальтер Скотт, Теньер, вся фламандская школа: интерес этот состоит в зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное, общее направление.

Какая-то тайная сила заставила меня жить; тут моего мало: для меня избрано время, в нем мое владение; у меня нет на земле прошедшего, ни будущего не будет через несколько лет. Откуда это тело, крепости которого удивлялся Гамлет, я не знаю. Но жизнь — мое естественное право; я распоряжаюсь хозяином в ней,двигаю свое «я» во все окружающее, борюсь с ним, раскрываю свою душу всему, всасываю ею весь мир, переуправляю его, как в горниле, сознаю связь с человечеством, с бесконечностью, — и будто история этого вырабатывания от ребяческой непосредственности, от этого покойного сна

¹ и так далее и так далее.

на лоне матери до сознания, до требования участия во всем человеческом, до самобытной жизни — лишена интереса? Не может быть!

Но довольно:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt;
Versuch ich wohl euch diesmal festzuhalten!¹

С восхищением переживу я еще мои 25 лет, сделаюсь опять ребенком с голой шеей, сяду за азбуку, потом встречу с ним там, на Воробьевых горах, и упыюсь еще раз всем блаженством первой дружбы; и тебя вспомню я, «старый дом».²

В этой комнатке счастье былое,
Дружба родилась и выросла там,
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

Потом и вы, товарищи аудитории, окружите меня, и с тобой, мой ангел, встречу я на кладбище...

О, с каким восторгом встречу я каждое воспомина-ние... Выходите же из гроба. Я каждое прижму к сердцу и с любовью положу опять в гроб...

Владимир-на-Клязьме.
Весной 1838.

I

РЕБЯЧЕСТВО

*Das Höchste, was wir von Gott und der
Natur erhalten haben, ist das Leben...*
Goethe³

До пяти лет я ничего ясно не помню, ничего в связи... Голубой пол в комнатке, где я жил; большой сад, и в нем множество ворон. Идучи в сад, надобно было

¹ Вы вновь со мной, туманные виденья,
Мне в юности мелькнувшие давно...
Вас удержишь во власти вдохновенья?..

(«Фауст» Гёте, ч. 1. Посвящение. Перевод Н. Холодковского)

² Огарев «Старый дом» написал в 1840 году. Стихи эти прибавил я, отдавая Белинскому статью в конце сорокового года. (Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.)

³ Высшее, что мы получили от бога и природы, — это жизнь... Гётте.

проходить сарай; тут обыкновенно сидел кучер Мосей с огромной бородой, который ласкал меня и на которого я смотрел с каким-то подобострастием; с ним, кажется, ни за какие блага в мире я не решился бы остаться наедине. Тогда при мне уже была м-ме Proveau¹, которая водила меня за руку по лестнице, занималась моим воспитанием и, сверх того, по дружбе, в свободные часы присматривала за хозяйством. Еще года два-три наполнены смутными, неясными воспоминаниями; потом мало-помалу образы яснее; как деревья и горы, из-за тумана вырезаются мелкие подробности детства и крупные события, о которых все говорили и которые дошли даже до меня. Помню смерть Наполеона. Радовались, что бог прибрал это чудовище, о котором было предсказано в апокалипсисе, проникающие не верили его смерти; более проникающие уверяли, что он в Греции. Всех больше радовалась одна богомольная старушка, скитавшаяся из дома в дом по бедности и не работавшая по *благородству*, — она не могла простить Наполеону пожар в Звенигороде, при котором сгорели две коровы ее, связанные с нею нежнейшей дружбой. Рассказами о пожаре Москвы меня убаюкивали; сверх того, у меня были карты, где на каждую букву находилась карикатура на Наполеона с острыми двустушиями, например:

Широкий француз в плечах, ничто его неимет,
Авось-либo моя нагайка зашибет,—

и с еще более острыми изображениями, например, Наполеон едет на свинье и проч. Мудрено ли, что и я радовался смерти его? Помню умерщвление Коцебу. За что Заид убил его, я никак не мог понять, но очень помню, что племянник м-ме Proveau, гезель² в аптеке на Маросейке, от которого всегда пахло ребарбаром с розовым маслом, человек отчаянный и ученый, приносил картинку, на которой был представлен юноша с длинными волосами, и рассказывал, что он убил почтенного старика, что юноше отрубили голову, и я очень *жалел, разумеется, юношу*.

Я был совершенно один; игрушки стали скоро мне надоедать, а их у меня было много: чего-чего не дарил мне дядюшка! И кухню, в которой готовился педели три обед, готовился бы и до сего дня и часа, ежели б я не

¹ мадам Прово.

² ученик, подмастерье.

отклеил задней стены, чтоб подсмотреть секрет, и избу, покрытую мохом, в которой обитал купидон, весь в фольге, и *lanterne magique*¹, занимавший меня всего более... Вот является на стене яркое пятно, и больше ничего; надумаешься тут, — что-то явится в этих лучах славы и вогнутого стекла... вдруг выступает слон, увеличивается, уменьшается, точно живой, иной раз пройдет вверх ногами, чего живому слону и не сделать; потом Давид и Голиаф дерутся и двигаются оба вместе; потом арап, черный, как моська Карла Ивановича, камердинера дядюшки (и она уже умерла, бедная Крапка!). Весело было смотреть на такое общество и вверх головою и вверх ногами. Но недоставало важного пополнения: некому было мне показать его, и потому я часто покидал игрушки и просил Лизавету Ивановну что-нибудь рассказать, смиренно садился на скамеечку и часы целые слушал ее с самым напряженным вниманием. Молчаливость не принадлежала к числу добродетелей m-me Proveau: она не заставляла повторять просьбу и, продолжая вязать свой чулок, начинала рассказ. Вязала она беспрестанно. Я полагаю, если бы сшить вместе все связанное ею в 58 лет, то вышла бы фуфайка ежели не шару земному, то луне (ей же и нужнее для ночных прогулок). Дай бог ей царство небесное! Недолго пережила она Наполеона и умерла так же далеко от своей родины, как он — только в другую сторону. Но что же она мне рассказывала? Во-первых, — это была ее любимая тема, — как покойный муж ее был каким-то метрдоцелем в масонской ложе, как она раз зашла туда: все обтянуто черным сукном, а на столе лежит череп на двух шпагах... я дрожал, как осиновый лист, слушая ее. На стенах висят портреты, и, ежели кто изменит, стреляют в портрет, а оригинал падает мертвый, хотя бы он был за тридевять земель, в тридесятом государстве. Потом рассказывала она интересные отрывки из истории французской революции: как опять-таки покойный сожитель ее чуть не попал на фонарь, как кровь текла по улицам, какие ужасы делал *Робертсньер*, — и отрывки из собственной своей истории; как она жила при детях у одного помещика в Тверской губернии, который уверил ее, что у него по саду ходят медведи. «Ну, вот, я и пошла раз уф сад; клешу, клешу, идет медведь престрашучий... я только — ах! и в обморок», а почтенный сожитель чуть не выстрелил в медведя; кажется, за тем

¹ волшебный фонарь.

дело стало, что с ним не было ружья; а медведь был камердинер барина, который велел ему надеть шубу шерстью вверх. Господи, как нравились мне рассказы эти... я их после искал в «Тысяче одной ночи» — и не нашел.

В русской грамоте мы оба тогда были недалеки; с тех пор я выучился по толкам, а Лизавета Ивановна умерла и может доучиваться из первых рук у Кирилла и Мефодия.

Однако горестное время учения подступило. Раз вечером батюшка говорил с дядюшкой, не отдать ли меня в пансион. Фу!.. Услышав это ужасное слово, я чуть не умер от страха, выбежал в девичью и горько заплакал; ночью просыпался, осматривался, не в пансионе ли я, и старался уверить себя, что страшное слово только приснилось. Впрочем, батюшка решил воспитывать меня дома. И воспитание мое началось, как разумеется, с французской грамоты. М-г Bouchot — первое лицо, являющееся возле Лизаветы Ивановны в деле моего воспитания; вслед за ним выступает Карл Карлович¹. М-г Bouchot был француз из Меца, а Карл Карлович немец из Сарепты и учил музыке. Параллель этих людей не без занимательности. Мужчина высокого роста, совершенно плешивый, кроме двух-трех пасм² волос бесконечной длины на висках, вечно в синем фраке толстого сукна, на стаметовой подкладке, — таков был м-г Bouchot; важность отпечатлевалась не только в каждом поступке его, но в каждом движении (он кланялся ногами, улыбался одной нижней губой); голова у него ни разу не гнулась с тех пор, как перестали его пеленать, а это было очень давно, лет полтора тому назад. Ко всему этому надобно прибавить французскую физиономию конца прошлого века, с огромным носом, нависшими бровями, — одну из тех физиономий, которые можно видеть на хороших гравюрах, представляющих народные сцены времен федерации. Я боялся Бушо, особенно сначала. Карл Карлович был тоже высок, но так тонок и гибок, что походил на развернутый английский фут, который на каждом дюйме гнется в обе стороны; фрак у него был серенький, с перламутровыми пуговицами; панталоны черные, какой-то непонятной допотопной материи; они смиренно прятались

¹ Иван Иванович Экк. Он давал уроки моему брату, но на меня имел очень мало влияния. Портрет его верен. (Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.)

² прядей.

в сапоги à la Souvoroff¹, с кисточками, и их он выпящывал из Сарепты; он свободно брал своими сухими, едва обтянутыми сморщившейся кожей пальцами около двух октав на фортепьяно. Имея такой решительный талант, мудрено ли, что Карл Карлович посвятил себя мусикийскому игранью?² Карл Карлович провел свою жизнь в чистейшей нравственности; это было одно из тех тихих, кротких немецких существ, исполненных простоты сердечной, кротости и смирения, которые, не узнанные никем, но счастливые в своем маленьком кружочке, живут, любят друг друга, играют на фортепьяно и умирают тихо, кротко, как жили. Он был женат в незапамятные времена; я пил малагу на золотой свадьбе его, и, право, старичок и старушка любили друг друга, как в медовый месяц.

Из сказанного можно себе составить понятие о Карле Карловиче: это лицо из легенд Реформации, из времени пуританизма во всей чистоте его. И Бушо был человек добрый, так точно, как лошадь — зверь добрый, по инстинкту, и к нему однако, как к лошади, не всякий решился бы подойти ближе размера ноги и копыта. Он уехал из Парижа в самый разгар революции, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что citoyen Bouchol³ не был лишним или праздным ни при взятии Бастилии, ни 10 августа; он обо всем говорил с пренебрежением, кроме Меца и тамошней соборной церкви; о революции он почти никогда не говорил, но как-то грозно улыбаясь молчал о ней. Холостой, серьезный, важный, он со мной не тратил слов, спрягал глаголы, диктовал из «Les Incas» de Marмонтел⁴, расставлял accents grave и aigu⁵, отмечал на поле, сколько ошибок, бранился и уходил, опираясь на огромную сучковатую палку; *его никто никогда не бил*⁶.

Несмотря на занимательность педагогов, я скучал;

¹ по-суворовски.

² то есть музыке.

³ гражданин Бушо.

⁴ «Инки» Мармонтеля.

⁵ Орфографические знаки французского языка.

⁶ Это окончание искажено цензурой. Я заключал очерк характеристическим анекдотом. И. И. Эрк молодым человеком был сидельцем в сарептской лавке в Москве. Какой-то из диких вельмож того времени разгневался на него и ударил его в щеку. Эрк кротко и спокойно подставил другую. Дикий посмотрел на него — и вдруг бросился ему на шею, прося прощения. С тех пор он был с ним приятелем до конца жизни. Почему цензура выпустила это? (Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.)

мне некуда было деть мою деятельность, охоту играть, потребность разделить впечатления и игры с другими детьми. Один товарищ, одна подруга была у меня — Берта, полушарлот и полуниспанская собака батюшки. Много делил я с нею времени, запрягал ее, бывало, ездил на ней верхом, дразнил ее, а в зимние дни сидел с нею у печки; я пою песни, а она спит,— и время идет незаметно. Тогда она была уж очень стара, а все еще кокетничала и носила длинные уши с мохнатой коричневой шерстью. Не я один любил Берту: лакей наш Яков Игнатьевич не мог пережить ее, просто умер с горя и с вина, через неделю после ее смерти. Кроме Берты, был у меня еще ресурс: дети повара, никогда не утиравшие нос и вечно валявшиеся где-нибудь в дряни на дворе. Но с ними играть было мне строго запрещено, и я, побеждая разные опасности, мог едва на несколько минут ускользнуть на двор, чтоб порубить с ними лед около кухни зимою или замараться в грязи летом. Сверх того, я и играть почти не умел с другими: малейшая оппозиция меня бесила, оттого что игрушки не перечили ни в чем; а дети вообще большие демократы и не терпят товарища, который берет верх над ними.

Между тем важные обстоятельства совершились. Лизавета Ивановна занемогла. Домовый лекарь сказал, что это легкая простуда, затопил ей внутренность ромашкой, залепил болезнь мушкой и очень удивился, застав одним добрым утром свою выздоравливающую на столе. Да, она умерла. Карл Карлович был ее душеприказчиком и тогда поссорился с племянником Лизаветы Ивановны, каретником Шмальцгофом, у которого нос был краснофиолетовый. Как теперь помню ее похороны: я провожал тело старухи на католическое кладбище и плакал.

В жизни моей много переменялось: кончились рассказы Лизаветы Ивановны, кончилось патриархальное царствование ее надо мною; кончилась непомерная благость, с которой она вступалась за обиды, нанесенные мне. Словом, весь прежний быт ниспровергнулся; во время Лизаветы Ивановны ходила за мною няня, столько же добрая, как она, Вера Артамоновна, как две капли воды похожая на индейку в косынке,— такая же шея в складочках и морщинах, тот же вид *ingenu*¹. Теперь представили ко мне камердинера Ванюшку, которому я обязан первыми основаниями искусства курить табак (заверты-

¹ простушки.

вая его в мокрую бумажку, свернутую трубочкой¹ и богатой фразеологией, в которой хозяином раскинулся русский дух. Время, в которое ребенка передают с женских рук в мужские, — эпоха, перелом; с мальчиком это бывает лет в семь, восемь, с девочкой лет в семнадцать, восемнадцать.

Ребачество оканчивалось преждевременно; я бросил игрушки и принялся читать. Так иногда в теплые дни февраля наливаются почки на деревьях, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть от мороза и лишить дерево лучших соков. За книги принялся я скуки ради — само собою разумеется, не за учебные. Развившаяся охота к чтению выучила меня очень скоро по-французски и по-немецки и с тем вместе послужила вечным препятствием доучиться. Первая книга, которую я прочел соп атмоге², была «Лолотта и Фанфан», вторая — «Алексис, или Домик в лесу». С легкой ручки мамзель Лолотты я пустился читать без выбора, без усталости, понимая, не понимая, старое и новое, трагедии Сумарокова, «Россиаду», «Российский феатр», etc., etc. И, повторяю, это неумеренное чтение было важным препятствием учению. Покидая какой-нибудь том «Детей аббатства» и весь занятый лордом Мортимером, мог ли я с охотой заниматься грамматикой и спрягать глагол *aimer*³, с его адъютантами *être* и *avoir*⁴, после того, как я знал, как спрягается он жизнь и в жизни? К тому же романы я понимал, а грамматику нет; то, что теперь кажется так ясно текущим из здравого смысла, тогда представлялось какими-то путями, нарочно выдуманными затруднениями. Бушо не любил меня и с скверным мнением обо мне уехал в Мец. Досадно! Когда поеду во Францию, заверну к старику. Чем же мне убедить его? Он измеряет человека знанием французской грамматики, и то не какой-нибудь, а именно восьмым изданием Ломондовой, — а я только не делаю ошибок на санскритском языке, и то потому, что не знаю его вовсе. Чем же? Есть у меня доказательство, — ну, уж это мой секрет, а старик сдастся, как бы только он не поторопился на тот свет; впрочем, я и туда поеду: мне очень хочется путешествовать.

¹ Тогда не знали сигареток. (Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.)

² с любовью.

³ любить.

⁴ быть и иметь (во французском языке — вспомогательные глаголы).

я умел усвоить и, как обыкновенно делают последователи, возвел в квадрат и в куб все односторонности учителя. Прежде я читал с одинаким удовольствием все, что попадалось: трагедии Сумарокова, сквернейшие переводы восьмидесятых годов разных комедий и романов; теперь я стал выбирать, ценить. Пациферский был в восторге от новой литературы нашей, и я, бравши книгу, справлялся тотчас, в котором году печатана, и бросал ее, ежели она была печатана больше пяти лет тому назад, хотя бы имя Державина или Карамзина предохраняло ее от такой дерзости. Зато поклонение юной литературе сделалось безусловно, — да она и могла увлечь именно в ту эпоху, о которой идет речь. Великий Пушкин явился царем-властителем литературного движения; каждая строка его летала из рук в руки; печатные экземпляры «не удовлетворяли», списки ходили по рукам. «Горе от ума» наделало более шума в Москве, нежели все книги, писанные по-русски, от «Путешествия Коробейникова к святым местам» до «Плодов чувствований» князя Шаликова. «Телеграф» начинал энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро передавал европеизм; альманахи с прекрасными стихами, поэмы сыпались со всех сторон; Жуковский переводил Шиллера, Козлов — Байрона, и во всем, у всех была бездна надежд, упований, верований горячих и сердечных. Что за восторг, что за восхищение, когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора, я услышал, что Пушкин в Москве. О боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, помню, поглядевши на него. И я увидел наконец, и все показывали, с восхищением говоря: «Вот он, вот он».

Ч а ц к и й
Вы помните?

С о ф ь я
Ребячество!

Ч а ц к и й
Да-с, а теперь...

Нет, лучше промолчим, потому что Софья Павловна Фамусова совсем не параллельно развивалась с нашей литературой...

¹ Ценсурный пропуск. (Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.)

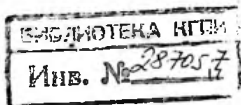
Бушо уехал в Мец; его заменил м-г Маршалъ. Маршалъ был человек большой учености (в французском смысле), нравственный, тихий, кроткий; он оставил во мне память ясного летнего вечера без малейшего облака. Маршалъ принадлежал к числу тех людей, которые отроду не имели знойных страстей, которых характер светел, ровен, которым дано настолько любви, чтоб они были счастливы, но не настолько, чтоб она сожгла их. Все люди такого рода — классики *par droit de naissance*¹, его прекрасные познания в древних литературах делали его, сверх того, классиком *par droit de conquête*². Откровенный почитатель изящной, ваятельной формы греческой поэзии и вываянной из нее поэзии века Лудовика XIV, он не знал и не чувствовал потребности знать глубоко духовное искусство Германии. Он верил, что после трагедий Расина нельзя читать варварские драмы Шекспира, хотя в них и проблескивает талант; верил, что вдохновение поэта может только выливаться в глиняные формы Батте и Лагарпа, верил, что бездушная поэма Буало есть *Corpus juris poeticus*³; верил, что лучше Цицерона никто не писал прозой; верил, что драме так же необходимы три единства, как жиду одно обрезанье. При всем этом ни в одном слове Маршала не было пошлости. Он стал со мною читать Расина в то самое время, как я попался в руки Шиллеровым «Разбойникам»; ватага Карла Моора увела меня надолго в богемские леса романтизма. Василий Евдокимович неумолимо помогал разбойникам, и китайские башмаки лагарповского воззрения рвались по швам и по коже.

Из сказанного уже видно, что все ученье было бессистемно; оттого я выучился очень немногому и, вместо стройного целого, в голове моей образовалась беспорядочная масса разных сведений, общих мест, переплетенных фантазиями и мечтами. Наука зато для меня не была мертвой буквой, а живую часть моего бытия, но это увидим после. Ко времени, о котором речь, относится самая заманчивая статья моего детства. Мир книжный не удовлетворял меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатии, ласки, товарища, любви, а не книгу,—

¹ по праву рождения.

² по праву завоевания.

³ Свод законов поэзии.



и я вызвал, наконец, себе симпатию, и еще из чистой груди девушки.

*Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zähmet die herbe,
Brennende Kraft¹.*
Schiller

Еще в те времена, когда были живы т-те Прово и т-те Берта, Бушо не уезжал в Мец, а Карл Карлович не улетал в рай с звуками органа, гостила у нас иногда родственница, приезжавшая из Владимирской губернии; сначала она была маленькая девушка, потом девушка побольше. Приезжала она из Меленок всегда в сопровождении своей тетки, разительно похожей на принцессу ангулемскую и на брабантские кружева; эта тетка имела приятное обыкновение ежегодно класть деньги в ломбард. У меленовской родственницы была душа добрая, мечтательная; девицы вообще несравненно экспансивнее нашего брата, в них есть теплота, всегда греющая, есть симпатия, всегда готовая любить; у них редко чувства подавлены эгоизмом и нет мужского, расчетливого ума. Она в один из приездов своих приголубила меня, приласкала; ей стало жаль, что я так одинок, так без привета; она со мною, тринадцатилетним мальчиком, стала обходиться, как с большим; я полюбил ее от всей души за это; я подал ей с горячностью мою маленькую руку, поклялся в дружбе, в любви, и теперь, через 13 других лет, готов снова протянуть руку, — а сколько обстоятельств, людей, верст протеснилось между нами!.. Светлым призраком прилетала она с берегов Клязьмы и надолго исчезала потом; тогда я писал всякую неделю эпистолы² в Меленки, и в этих эпистолах сохранились все тогдашние мечты и верования. Она в долгу не оставалась, отвечала на каждое письмо и расточала с чрезвычайной щедростью существительные и прилагательные для описания меленовских окрестностей, своей комнаты с зелеными сторочками и с лиловыми левкойчиками на окнах. Но я мало

¹ Сладостной влагой
Ты укроти
Острую силу
Едкой струи.

(Шиллер. Пуншевая песня. Перевод А. С. Пушкина)

² письма, послания.

довольствовался письмами и ждал с нетерпением ее самой; решено было, что она приедет к нам на целые полгода; я рассчитывал по пальцам дни... И вот, одним зимним вечером сижу я с Васильем Евдокимовичем; он толкует о *четырёх родах* поэзии и запивает квасом каждый род. Вдруг шум, поцелуй, громкий разговор радости, ее голос... Я отворил дверь: по зале таскают узелки и картончики; щеки вспыхнули у меня от радости, я не слушал больше, что Василий Евдокимович говорил о дидактической поэзии (может, потому и поднесь не понимаю ее, хотя с тех пор и имел случай прочесть Петрозилиусову поэму «О фарфоре»); через несколько минут она пришла ко мне в комнатку, и после оскорбительного «Ах, как ты вырос!» — она спросила, чем мы занимаемся. Я гордо отвечал: «Разбором поэтических сочинений». Даже красное мериновое платье помню, в котором она явилась тогда передо мною. Но, увы! времена переменились: она волосы зачесала в косу; это меня оскорбило, — меня с воротничками à l'enfant¹, — новая прическа так резко переводила ее в совершеннолетнюю. Она знала мою скорбь о локонах и в мое рождение, 25-го марта, причесалась опять по-детски. Чудный день был день моего рождения! Она подарила мне кольцо чугунное на серебряной подкладке; на нем было вырезано ее имя, какой-то девиз, какой-то знак, зменная голова и проч.; вечером мы читали на память отрывок из «Фингала», — она была Моина, я Фингал (вероятно, я сюрпризом для себя твердил ко дню рождения стихи), с тех пор еще ни разу я не развешивал Озерова. Ленивое опять пошло ученье: живая симпатия мне нравилась больше книги. Ни с кем и никогда до нее я не говорил о чувствах, а между тем их было уж много, благодаря быстрому развитию души и чтению романов; ей-то передал я первые мечты, мечты пестрые, как райские птицы, и чистые, как детский лепет; ей писал я раз двадцать в альбом по-русски, по-французски, по-немецки, даже, помнится, по-латыни. Она пресерьезно выслушивала меня и уверяла еще больше, что я *рожден быть* Роландом Роландини или Алкивиадом; я еще больше полюбил ее за эти удостоверения. Отогревался я тогда за весь холод моей короткой жизни многою дружбою меленковской пери. Передав друг другу плоды чувствований, мы принялись вместе читать — сначала разные повести: «Векфильдского священника»,

¹ детскими.

«Нуму Помпилия» Флорнана и т. п., обливая их реками горячих слез; потом принялись за «Анахарсисово путешествие», и она имела самоотвержение слушать эту, по-ложим, чрезвычайно ученую, полезную и умную, но тем не менее скучную и безжизненную компиляцию в семь томов.

Не знаю, было ли ее влияние на меня хорошо во всех смыслах. При многих истинных и прекрасных достоинствах меленковская кузина не была освобождена от натянутой «сентиментальности», которая прививается девушкам в дортуарах женских пансионов, где они выкалывают булавками вензеля на руке, где дают обеты год не снимать такой-то ленточки; не была она также свободна от моральных сентенций, этой лебеды, наполнявшей романы и комедии прошлого века. Она любила, чтоб ее звали Темирой, и все родственники звали ее так; уж это одно доказывает сентиментальность; просто человек не согласится в XIX веке называться Пленирой, Темирой, Селеной, Усладом. Я вскоре взбунтовался против классического имени, советовал ей, на зло Буало¹, назваться Тоипон, а когда вышла вторая книжка «Онегина», советовал решительно остаться Татьяной, как священник крестил. Перемена имени мало помогла: Таня, по-прежнему, при каждой встрече с бледной подругой земного шара делала к ней лирическое воззвание, по-прежнему сравнивала свою жизнь с цветками, брошенными в «буйные волны» Клязьмы; любила она в досужные часы поплакать о своей горькой участи, о гонениях судьбы (которая гнала ее, впрочем, очень скромно, так что со стороны ее удары были вовсе незаметны), о том, что «никто в мире ее не понимает». Это — лафонтеновский элемент; не лучше его был и жанлисовски-моральный: она — меня, который читал черт знает что, — умоляла не до трогиваться до «Вертера», рекомендовала нравственные книги и проч. Теперь все это мне кажется смешно, но тогда Таня была для меня валкирия: я покорно слушался ее прорицаний. Она очень хорошо знала свой авторитет и потому угнетала меня; когда же я возмущался и она видела опасность потерять власть, слезы текли у ней из

¹ Et changer, sans respect de l'oreille et du son.
Lycidas en Pierrot et Phillis en Toïnon.

«Art poétique»

(Примеч. А. И. Герцена.)

(И менять, — не считаясь ни со слухом, ни со звуком, — Лисидаса на Пьеро и Филлис на Туанон. — Искусство поэзии).

глаз, дружеские, теплые упреки — из уст, мне становилось жаль ее; я казался себе виноватым, и трон ее стоял опять незыблемо. Надобно заметить, девушки лет в 18 вообще любят пошколить мальчика, который им попадетсЯ в руки и над которым они пробуют оружие, приготовленное для завоеваний более важных; зато как же и их школят мальчишки потом, лет восемнадцать кряду, и чем далсе, тем хуже! Итак, я слушался Тани, сентиментальничал, и подчас нравственные сентенции, бледные и тошнЕ, служили финалом моих речей. Воображаю, что в эти минуты я был очень смешон; живой характер мой мудрено было обвязать конфетным билетом ложной чувствительности, и вовсе мне не было к лицу ваять нравственные сентенции из патоки без инбиря жанлисовской морали. Но что делать! Я прошел через это, а может, оно и недурно: сентиментальность развела, подсластила «жгучую силу» и, следственно, поступила по фармакопее Шиллера, самый возраст отчасти способствовал к развитию нежности. Для меня наставало то время, когда ребячество оканчивается, а юность начинается: это обыкновенно бывает в 16 лет. РебЯчья наивная красота пропадает, юношеская еще не является; в чертах дисгармония, они делаются грубее, нет грации, голос переливается из тонкого в толстый, глаза томны, а подчас заискрытся, щеки бледны, а подчас вспыхнут, — физическое совершеннолетие наступает. То же происходит в душе: неопределенные чувства, зародыши страстей, волнение, томность, чувство чего-то тайного, неведомого, и вслед за тем юность, восторженный лиризм, полный любви, раскрытые объятия всему миру божьему... Ранний цветок, я скорее достиг этой эпохи, и распукольки в моей душе развернулись в 14 лет; я чувствовал, что ребячество кончилось, а юность началась, и обижался, что никто не замечает перелома в моем бытии. По несчастию, заметил это Василий Евдокимович и начал, в силу того, преподавать мне эстетику, в которой, не тем будь помянут, он был крайне недалек, и тогда же заставил меня писать статьи. Жаль, очень жаль, что, когда мы переезжали из старого дома в новый, пропали эти статьи! С каким наслаждением перечитал бы я их теперь! Чего я ни писал! Были статьи, писанные взапуски с Темирой, были литературные обзоры, и в них я «уничтожал» классицизм. Василий Евдокимович приходил в восторг, поправляя (и немудрено — его же мысли повторялись мною). Я перевел свои обзоры на французский язык и гордо подал Маршалю: «Вот, мол,

как я уважаю вашего Буало». Были и исторические статьи: сравнение Марфы Посадницы (то есть не настоящей, а той спартанской Марфы, о которой повесть написал Карамзин) с Зеновией Пальмирской; Бориса Годунова с Кромвелем. Жаль, что я не писал моих сравнений по-французски, а то я уверен, что они были настолько негодны, что попали бы образцами в Нозлев «Cours словесности», в отделение «Parallèles et caractères»¹.

Так оканчивался период прозябения моей жизни. Вот предыдущее, с которым я вошел в пропилен юности. Маршаль завещал мне любовь к изящной форме, любовь к Греции и Риму, логическую ясность, историю французской литературы и «Art poétique» Буало, которого первую песнь помню до сих пор; Василий Евдокимович завещал поклонение Пушкину и юной литературе, метафизическую неясность романтизма и тетрадь *писанных* стихов, которые я еще лучше вытвердил на память, нежели Буало; Темира — искреннее, теплое чувство любви и дружбы, слезу о «Векфильдском священнике» и потом о ней самой, когда она осенью уехала в Меленки. Ergo², с одной стороны, классицизм в виде Маршаля, с другой — романтизм в виде Падиферского, и жизнь в виде Темиры, — а в средоточии всего я сам, мальчик пылкий, готовый ко всяким впечатлениям, не по летам умудрившийся, развитый отчасти насильственно или, вернее, искусственно чтением романов и вечным одиночеством.

Так продолжалась моя жизнь до пятнадцатого года.

II

ЮНОСТЬ

Respekt vor den Träumen deiner Jugend!
Schiller³

Gaudeamus igitur
*Juvenes dum sumus!*⁴

Прелестное время в развитии человека, когда дитя сознает себя юношей и требует в первый раз доли во всем человеческом: деятельность кипит, сердце

¹ «Параллели и характеры».

² Итак, следовательно.

³ Уважай мечты твоей юности! Шиллер.

⁴ Так будем веселиться, пока мы молоды... (Начало известной студенческой песни.)

бьется, кровь горяча, сил много, а мир так хорош, нов, светел, исполнен торжества, ликования, жизни... Удаль Ахиллеса и мечтательность Позы наполняют душу. Время благородных увлечений, самопожертвований, платонизма, пламенной любви к человечеству, беспредельной дружбы; блестящий пролог, за которым часто, часто следует пошлая мещанская драма.

Разум восходит, но, проходя через облака фантазий, он окрашивает, как восходящее солнце, пурпуром весь мир. Освещение истинное, которое исчезает, должно исчезнуть, но прелестное, как летнее утро на берегу моря. О юность, юность!..

И я в Аркадии родился!

Беззаботно отдался я стремительным волнам; они увлекли меня далеко за пределы тихого русла частной жизни! Мне нравились упругие волны, бесконечность; будущее рисовалось каким-то ипподромом, в конце которого ожидает стоустая слава и дева любви, венок лавровый и венок миртовый; я предчувствовал, как моя жизнь вплетется блестящей пасмой в жизнь человечества, воображал себя великим, доблестным... сердце раздавалось, голова кружилась... Право, хороша была юность! Она прошла; жизнь не кипит больше, как пенящееся вино; элементы души приходят в равновесие, тихнут; наступает совершеннолетний возраст, и да будет благословенно и тогдашнее бешеное кипение и нынешняя предвозвестница гармонии! Каждый момент жизни хорош, лишь бы он был верен себе; дурно, если он является не в своем виде. Не люблю я скромных, чопорных, образцовых молодых людей, они мне напоминают Алексея Степановича Молчалина; они не постигли жизни, они не питали теплой кровью своего сердца отрадных верований, не рвались участвовать в мировых подвигах. Они не жили надеждами на великое призвание, они не лили слез горести при виде несчастия и слез восторга, созерцаая изяшное, они не отдавались бурному восторгу оргии, у них не было потребности друга,— и не полюбит их дева любовью истинной; их удел — утонуть с головою в толпе. Пусть юноши будут юношами. Совершеннолетие покажет, что провидение не отдало так много во власть каждого человека; что человечество развивается по своей мировой логике, в которой нельзя перескочить через термин в угоду индивидуальной воле; совершеннолетие покажет необходимость частной

жизни; почка, принадлежавшая человечеству, разовьется в отдельную ветвь, но, как говорит Жуковский о волне,—

Влившись в море, она назад из него не польется.

Душа, однажды предавшаяся универсальной жизни, высоким интересам, и в практическом мире будет выше толпы, симпатичнее к изящному; она не забудет моря и его пространства... Но я забываю себя; вот что значит заговорить о юности.

Темира уехала в Меленки. Я долго смотрел на ворота, пропустившие коляско-бричку, в которой повезли ее; день был мертво-осенний. Печально воротился я в свою комнатку и развернул книгу. Старый друг... опять книга, одна книга осталась товарищем; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую историю. Разумеется, я за историю принялся не так, как за книгу народов, зеркало того и сего, а опять как за роман, и читал ее по той же методе, то есть сам выступая на сцену в акрополисе и на форуме. Еще больше разумеется, что Греция и Рим, восстановленные по Сегюру, были нелепы, но живы и соответствовали тогдашним потребностям. Театральных натяжек, всех этих Курциев, бросающихся в пропасти, вовсе не существующие, Сцевола, жгущих себе руки по локоть, и проч. я не замечал, а гражданские добродетели — их понимал. Напрасно нынче восстают против прежней методы пространно преподавать детям древнюю историю, это — эстетическая школа нравственности. Великие люди Греции и Рима имеют в себе ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навек отпечатлевается в юной душе. Оттого-то эти величественные тени Фемистокла, Перикла, Александра провожают нас через всю жизнь, так, как их самих провожали величественные образы Зевса, Аполлона. В Греции все было так проникнуто изящным, что самые великие люди ее похожи на художественные произведения. Не напоминают ли они собою, например, светлый мир греческого зодчества? Та же ясность, гармония, простота, юношество, благодатное небо, чистая детская совесть; даже черты лица Плутарховых героев так же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, как фронтоны и портики Парфенона. Самое триединое зодчество Греции имеет параллель с героями ее трех эпох; так изящное тесно спаяно было у них с их жизнью. Гомерические герои — не дорические ли это колонны, твердые, безыскусные? Герои персидских войн и пелопонесской не сродни ли

ионическому стилю, так, как Алкивиад изнеженный — тонкой, кудрявой коринфской колонне? Пусть же встречаются эти высоко изящные статуи юношу при первом шаге его в область сознания, с высоты величия своего вперят ему первые уроки гражданских добродетелей...

Сильно действовало на меня чтение греческой и римской истории. Я скорбел о том, что этот мир добродетелей и энергии давно схоронен, плакал на его могиле, как вдруг более внимательное чтение одного автора, бывшего в моих руках, доказало мне, что и тот мир, который окружает меня, в котором я живу, не изъят доблестного и великого. Открытие это сделало переворот в моем бытии.

Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в душе моей! Ты — по превосходству поэт юношества. Тот же мечтательный взор, обращенный на одно будущее — «туда, туда!»; те же чувства благородные, энергические, увлечательные; та же любовь к людям и та же симпатия к современности... Однажды взяв Шиллера в руки, я не покидал его, и теперь, в грустные минуты, его чистая песнь врачует меня. Долго ставил я Гёте ниже его. Для того, чтоб уметь понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтоб все способности развернулись, надобно познакомиться с жизнью, надобны грозные опыты, надобно пережить долю страданий Фауста, Гамлета, Отелло; стремление к добродетели, горячая симпатия к высокому достаточны, чтоб сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте; он оскорблял меня своим пренебрежением, своим несимпатизированием со мною — симпатии со вселенной я понять тогда не мог. Пусть, думал я, Гёте — море, на дне которого невесть какие драгоценности, я люблю лучше германскую реку, этот Рейн, льющийся между феодальными замками и виноградниками, Рейн, свидетель тридцатилетней войны, отражающий Альпы и облака, покрывающие их вершины. Я забывал тогда, что река вливается тоже в море, в землеобнимающий океан, равно нераздельный с небом и с землею. Гораздо после мощный Гёте увлек меня; я тогда еще не вполне понял его, но почувствовал его морскую волну, его глубину, его пространство и (болезнь юности — никогда не знать веса и меры!) на Шиллера взглянул иначе, тем взглядом, которым юноша, приехавший в отпуск, смотрит на добрые черты старца-воспитателя, при-

выкнув к строгому лицу своего начальника, — немножко вниз, немножко с благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраснел от своей неблагодарности и с горячими слезами раскаяния бросился в объятия Шиллера. Им обоим не тесно было в мире, — не тесно будет и в моей груди; они были друзьями — такими да идут в потомство.

Но в ту эпоху, о которой идет речь, я никак не мог понимать Гёте: у него в груди не билось так человечески нежное сердце, как у Шиллера. Шиллер с своим Максом, Дон-Карлосом жил в одной сфере со мною, — как же мне было не понимать его? Суха душа того человека, который в юности не любил Шиллера, завяла у того, кто любил, да перестал!

У меня страсть перечитывать поэмы великих *maestri*¹. Гёте, Шекспира, Пушкина, Вальтера Скотта. Казалось бы, зачем читать одно и то же, когда в это время можно «украсить» свой ум произведениями гг. А., В., С.? Да в том-то и дело, что это не одно и то же; в промежутки какой-то дух меняет очень много вечно живых произведений маэستров. Как Гамлет, Фауст прежде были шире меня, так и теперь шире, несмотря на то, что я убежден в своем расширении. Нет, я не оставляю привычки перечитывать, по этому я наглазно измеряю свое возрастание, улучшение, падение, направление. Прошли годы первой юности, и над Моором, Позой выставилась мрачная, задумчивая тень Валленштейна, и выше их царила дева Орлеанская; прошли еще годы — и Изабелла, дивная мать, стала рядом с гордой девственницей. Где же прежде была Изабелла? Места, приводившие меня, пятнадцатилетнего, в восторг, поблекли, например студентские выходы, сентенции в «Разбойниках»; а те, которые едва обращали внимание, захватывают душу. Да, надобно перечитывать великих поэтов, и особенно Шиллера, поэта благородных порывов, чтоб поймать свою душу, если она начнет сохнуть! Человечество своим образом перечитывает целые тысячелетия Гомера, и это для него оселок, на котором оно пробует силу возраста. Лишь только Греция развилась, она Софоклом, Праксителем, Зевкисом, Эврипидом, Эсхилом повторила образы, завещанные колыбельной песнью ее — «Илиадой»; потом Рим попытался воссоздать их по-своему, стончески, Сенекою; потом Франция напудрила их и надела башмаки с пряж-

¹ мастеров.

ками — Распином; потом падшая Италия перечитала их черным Альфиери, потом Германия воссоздала своим Гёте Ифигению и на ней увидела всю мощь его

Тут недостает нескольких страниц... А досадно; должно быть, они занимательны. Кстати, я не догадался объяснить в предисловии (может быть, потому, что его вовсе нет), как мне попала эта тетрадь; потому, пользуясь свободным местом, оставленным выдранными страницами, я объяснюсь в *междусловии*, и притом считаю это необходимым для предупреждения догадок, заключений и проч. Тетрадь, в которой описываются похождения любезного молодого человека, попала мне в руки совершенно нечаянно и — чему не всякий поверит — в Вятке, окруженной лесами и черемисами, болотами и исправниками, вотяками и становыми приставами, — в Вятке, засыпанной снегом и всякого рода делами, кроме литературных. Но должно ли удивляться, что какая-нибудь тетрадь попала в Вятку?.. «Наш век — век чудес», — говаривал Фонтенель, живший в прошлом веке... Тетрадь молодого человека была забыта, вероятно, самым молодым человеком на станции; смотритель, возивший для ревизования книги в губернский город, подарил ее почтовому чиновнику. Почтовый чиновник дал ее мне, — я ему не отдавал ее. Но прежде меня он давал ее поиграть черной quasi¹-датской собаке; собака, более скромная, нежели я, не присвоивая себе всей тетради, выдрала только места, особенно пришедшие на ее quasi-датский вкус; и, говоря откровенно, я не думаю, чтоб это были худшие места. Я буду отмечать, где выдраны листья, где остались одни городки, и прошу помнить, что единственный виновник — черная собака; имя же ей *Плутус*.

После выдранных страниц продолжается рукопись так²:

Поза, Поза! Где ты, юноша-друг, с которым мы обречены душою, с которым выйдем рука об руку в жизнь, крепкие нашей любовью? В этом вопросе будущему было упование и молитва, грусть и восторг. Я вызывал симпа-

¹ якобы.

² Белинский показывал рукопись мою цензору до послышки в цензуру. Он отметил несколько мест, как совершенно невозможные. Вот что подало мысль их выпустить предварительно и отметить в тексте. (*Примеч. А. И. Герцена к публикации 1862 г.*)

тию, потому что не было места в одной груди вместить все, волновавшее ее. Мне надобна была другая душа, которой я мог бы высказать свою тайну; мне надобны были глаза, полные любви и слез, которые были бы устремлены на меня; мне надобен был друг, к которому я мог бы броситься в объятия и в объятиях которого мне было бы просторно, вольно. Поза, где же ты?..

Он был близок.

В мире все подтасовано: это старая истина; ее рассказал какой-то аббат на вечере у Дидро. Одни *честные* игроки не догадываются и ссылаются на случай. Счастливый случай, думают они, вызвал любовь Дездемоны к мавру; несчастный случай затворил душу Эсмеральды для Клода Фролло. Совсем нет, все подтасовано, — и лишь только потребность, истинная, сильная, потребность друга захватила мою душу, он явился, прекрасный и юный, каким мечтался мне, каким представлял его Шиллер. Мы сблизились по какому-то тайному влечению, так, как в растворе сближаются два атома однородного вещества непонятным для них сродством.

В малом числе моих знакомых был полууноша, полуребенок, одних лет со мною, кроткий, тихий, задумчивый; печально сидел он обыкновенно на стуле и как-то невнимательно смотрел на окружающие предметы своими большими серыми глазами, особо рассеченными и того серого цвета, который лучше голубого. Непонятною силою тяготели мы друг к другу; я предчувствовал в нем брата, близкого родственника душе, — и он во мне тоже. Но мы боялись показать начинавшуюся дружбу; мы оба хотели говорить «ты» и не смели даже в записках употреблять слово «друг», придавая ему смысл обширный и святой... Милое время детской непорочности и чистоты душевной!.. Мало-помалу слова дружбы и симпатии начали врываться стороною, как бы нехотя; посылая мне «Идиллии» Геснера, он написал маленькое письмецо и в раздумье подписал: «Ваш друг ли, не знаю еще». Перед отъездом моим в деревню он приносил том Шиллера, где его «*Philosophische Briefe*»¹, и предложил читать вместе... Ах, как билось сердце, слезы навертывались на глазах! Мы тщательно скрывали слезы. «Ты уехал, Рафаил, — и желтые листья валяются с деревьев, и мгла осеннего тумана, как гробовой покров, лежит на вымершей природе. Одиноко брожу я по печальным окрестно-

¹ «Философские письма».

стям, зову моего Рафаила, и больно, что он не откликается мне». Я схватил Карамзина и читал в ответ: «Нет Агатона, нет моего друга». Мы явно понимали, что каждый из нас адресует эти слова от себя, но боялись прямо сказать. Так делают *неопытные* влюбленные, отмечая друг другу места в романах; да мы и были *à la lettre*¹ влюбленные, и влюблялись с каждым днем больше и больше. Дружба, прозябнувшая под благословением Шиллера, под его благословением расцветала; мы усвоивали себе характеры всех его героев. Не могу выразить всей восторженности того времени. Жизнь раскрывалась пред нами торжественно, величественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человечеству; чертили себе будущность несбыточную, без малейшей примеси самолюбия, личных видов. Светлые дни юношеских мечтаний и симпатии, они проводили меня далеко в жизнь...

(Здесь опять недостает двух-трех страниц).

...В деревне я сделал знакомство, достойное сделанного в Москве,— я в первый раз после ребячества явился лицом к лицу с природой, и ее выразительные черты сделались понятны для меня. Это отдохновение от школьных занятий было на месте; я закрыл учебную книгу, несмотря на то, что надобно было готовиться к университету. Колоссальная идилия лежала развернутая передо мной, и я не мог наглядеться на нее: так нова она была мне, выросшему в третьем этаже на Пречистенке. Читал я мало, и то одного Шиллера; на высокой горе, с которой открывались пять-шесть деревенок, пробегал я «Телля» и в мрачном лесу перечитывал Карла Моора,— и, казалось, молодецкий посвист его ватаги и топот конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросал книгу и долго-долго смотрел на окружающие поля, на реку, перерезывающую их, на храм божий, белый, как лилия, и, как лилия, окруженный зеленью. Иногда мне казалось, что вся эта даль — продолжение меня, что гора со всем окружающим — мое тело, и мне слышался пульс ее, и мы вместе вдыхали и выдыхали воздух. Иногда мне казалось, что я совершенно потерял в этой бесконечности — листок на огромном дереве, но бесконечность эта не давила меня, мне было хорошо лежать на моей горе; я понимал, что я дома, что все это родное...

¹ буквально, в полном смысле слова.

Смешно, что я останавливаюсь на этих подробностях медового месяца моей жизни; я очень знаю, что все видали природу днем и ночью и чувствовали при этом и то и се; что тысячу лет тому назад люди восхищались ею, потому что в ней так же просвечивал на каждой строчке ее творец; но... но... но, пожалуй, воротимся в Москву. Вот глубокая осень, грязь по колено; иное утро подмерзнет, иное — летят мелкий дождь; работы оканчиваются, один цеп стучит в такт; сборы, хлопоты, священник с просвиroy и напутственным благословением... староста провожает верхом за десять верст на мирской лошади, чтоб убедиться, что господа точно уехали... Карета вязнет в грязи проселочной дороги, едва двигается, иногда склоняется набок, и всякий раз батюшкин камердинер, преданный, как в «Айвенго» Гурт Седрику Саксону, выходит из кибитки и поддерживает карету; а сам такой тшедушный, что десяти фунтов не подымет. Наконец, вот Драгомиловский мост, освещенные лавочки, «калачи горячи», — и мы в Москве.

Так доехал я чрез Драгомиловский мост до окончания первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, жизнь аудиторины, жизнь студента; отселс не пустынные четыре стены родительского дома, а семья трехсотголовая, шумная и неугомонная...

III

ГОДЫ СТРАНСТВОВАНИЯ

От нашего тетрадь

Поместив отрывок из первой тетради «Записок одного молодого человека» в XIII томе «Отечественных записок» (кн. 12, 1840), мы объяснили в приличном «междусловии», как нам досталась тетрадь и как не достались некоторые листы из нее. Теперь пришло нам на мысль поместить отрывок из другой тетради. Между первой и второй тетрадями потеряны годы, версты, дести. Мы расстались с молодым человеком у Драгомиловского моста на Москве-реке, а встречаемся на берегу Оки-реки, да притом вовсе без моста. Тогда молодой человек шел в университет, а теперь едет в город Малинов, худший город в мире, ибо ничего нельзя хуже представить для города, как совершенное несуществование его. *Молодой человек делается просто «человек»* (не считите этого дву-

смысленного слова за намек, что он пошел в лакеи). Завиральные идеи начинают облетать, как желтые листья. В третьей тетради — *полное развитие*: там никаких уже нет идей, мыслей, чувств; от этого она дельнее, и видно, что молодой человек «в ум вошел»; вся третья тетрадь состоит из расходной книги, формулярного списка и двух доверенностей, засвидетельствованных в гражданской палате. Пока вот отрывок из начала второй тетради; будет и из третьей, если того захотят, во-первых, читатели, во-вторых, издатель «Отечественных записок», в третьих... кто бишь в-третьих, дай бог память... Вспомню, скажу после.

*So bleibe denn die Sonne mir im Rücken,
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben
«Faust», II Teil¹.*

*Per me si va nella città dolente!
Dante, Del' «Inferno»².*

Я устроен чрезвычайно гуманно. Читая Розенкранцеву «Психологию», имел я случай убедиться, что устроен решительно по хорошему современному руководству. Оттого меня несколько не удивляет, что всякое первое впечатление бывает смутнее, слабее, нежели отчет в нем. Непосредственность — только пьедестал жизни человеческой, и именно отчетом поднимается человек в ту сферу, где вся мощь и доблесть его. В самом деле, не знаю, как с другими бывает, а я никогда не чувствовал всей полноты наслаждения в самую минуту наслаждения (само собой разумеется, что речь идет не о чувственном наслаждении: котлеты в воспоминании, право, меньше привлекательны, нежели во рту). Наслаждаясь, я делаюсь страдальцем, воспринимающим. После — блаженство как-то деятельно струится из меня, и я постигаю по этой силе исходящей всю полноту его. То же в горестях: никогда не чув-

¹ К тебе я, солище, обращусь спиною.

Жизнь на отблеск красочный походит.

(Гёте. «Фауст», действие I. Перевод Н. Холодковского)

² Через меня идут в страну печали!

(Данте. «Ад», III песнь)

ствовал я всей горечи разлуки так сильно, как отъехал несколько станций. Впрочем, такая организация не есть исключительно гуманная; покойник А. Л. Ловецкий, Professor ord. Mineralogiae etc., etc.¹, читал, когда еще был в брэнной оболочке, о камне, называемом болонским, который, полежавши на солнце, затаивает в себе свет, а после ночью светится (не знаю, имеют ли то же свойство болонские собаки, но сомневаюсь). Так случилось и теперь; с каким-то тяжело-смутным, дурно-неясным чувством проскакал я 250 верст. Было начало апреля. Ока разлилась широко и величественно, лед только что прошел. На большой паром поставили мою коляску, бричку какого-то конного офицера, ехавшего получать богатое наследство, и коробочку на колесах ревельского купца в ваточном халате, сверх которого рисовалась шинель waterproof². Мы ехали вместе третью станцию, и я рад был встрече с людьми, хотя, в сущности, радоваться было нечему. Офицер рассказывал с необычайною плодовитостью свои похождения в Москве, на Мещанской, с казарменным цинизмом, кричал в интервалах ужасным голосом: «Юрка, трубку!» и бурным потоком слов обдавал каждого зрителя. Купец ревельский, чрезвычайно похожий на Приапа, был в восторге от героических подвигов господина офицера и только с чувством глубокой грусти иногда говорил, качая головой: «Хорошо иметь эполеты, а вот наш брат...» Офицер самодовольно поглаживал усы после такого замечания и еще громче кричал: «Юрка, трубку!»... А я все-таки радовался встрече.

Небо было безоблачно, солнце светило; какой-то особый запах весны носился над водою. Плавно, тихо двинулся паром; разлив простирался верст на десять. Пресненские пруды в Москве были наибольшее количество воды, виденное мною прежде. Меня поразила река. Ревельский Приап вытащил фляжку с ромом и, наливая в крышку, подал мне, говоря: «Я купил этот ром у Кистера в Москве; он очень хорош — пейте! Вам *долго* не придется пить такого рома; там продают кизлярку с мадерой за ром... На воде же не мешает». Я выпил, повернулся лицом к воде и оперся на загородку. «Долго не придется», — повторил я, и неопределенные чувства, тяготившие грудь, вдруг стали проявляться; грусть острая, жгучая развива-

¹ ординарный профессор минералогии и т. д. и т. д.

² непромокаемая.

лась и захватывала душу. Я пристально смотрел на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московский берег отодвигался далее и далее; глубь, вода, пространство, препятствия меня отделяли более и более... А тот берег — чуждый, неприязненный — из темно-синей полосы превращался в поля, деревни становились ближе и ближе... На московском берегу у меня все: впалые щеки старца, по которым недавно катилась слеза... и другие слезы... О, боже!.. А на том берегу ничего для меня, ни желания ступить на него, ни воли не ступить. Слезы полились из глаз, это бывает редко со мною, и я опять твердил: «Долго, долго»... Ярче я никогда не чувствовал разлуки. Тихое, спокойное движение по воде само собою наводит грусть; река была каким-то олицетворением препятствий и их возрастания, рубежей и их непреодолимости, семи тяжелых замков, которыми запирается все милое. Потом прошедшее осенило меня как бы в утешение, и грустная, но вспрянувшая душа придавала ему чудное изящество: образ друга, окруженный светом заходящего солнца на горах, образ девы-утешительницы, окруженный полумраком среди надгробных памятников кладбища, слетели с неба. Когда они были близко, когда я мог осязать их, они были еще люди; разлука придала им идеальную невещественность; они мне казались тогда светлыми видениями... И я был даже счастлив в эти минуты тяжелой грусти...

Паром стукнулся и остановился. Офицер хотел перескочить на берег прежде, нежели положили доску, и по колену увяз в грязи.

— Может ли что-нибудь быть ужаснее! — кричал он, бесясь от досады. — Юрка, Юрка!

— Может, — отвечал я. Но ему было не до моих возражений.

«А что?» — спросите вы.

Быть отложительным глаголом латинской грамматики и спрягаться *страдательно*, не будучи страдательным.

На Волге я чуть не потонул, — однако ж не потонул, что очень хорошо.

Наконец, после разнообразнейших приключений, я благополучно стал на якорь перед городом Малиновым, и его-то именно я хочу описать. Жаль только, что у меня голова устроена как-то бессмысленно. Плано Карпини, например, рассказывает свое путешествие, как по писанному, и, сказав в начале: «Dicendo de cibis dicendum est

de moribus»¹, знает уже, что как опишешь десерт, так и следует о нравах. Я, сколько ни думал, не придумал, в какой порядок привести *любопытные* отрывки из моего журнала, и помещаю его в том виде, как он был писан.

ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ НРАВЫ ГОРОДА МАЛИНОВА

Посвящаю памяти Кука
и его (вероятно) превосходительству
Дюмон-Д'юрвиллю,
*capitaine de vaisseau*².

Великие океаниды! Вы не пренебрегали бедными островами, которых все население составляют гадкие слизняки, две-три птицы с необыкновенным клювом и столб, вами же поставленный. Отвергнете ли вы город Малинов?

Тщетно искал я в ваших вселенских путешествиях, в которых описан весь круг света, чего-нибудь о Малинове. Ясно, что Малинов лежит не в круге света, а в сторону от него (оттого там вечные сумерки). Я не видал всего круга света и, будто в пику вам и себе, видел один Малинов³, — посвящаю его вам и себя с ним повергаю на палубу ваших землеоблетающих фрегатов

*Summa cum pietate etc., etc., etc.*⁴

... Паром двигался тихо; крутой берег, где грелось на солнце желтое, длинное здание присутственных мест, едва приближался, и мне было грустно, — разлука или предчувствие были причиною, не знаю; вероятно, то и другое. Для меня въезд в новый город всегда полон дум, и дум торжественных; кучка людей, живущих тут, не имела понятия обо мне, я — об них; они родились, выросли, страдали и радовались без меня, я без них, — и вдруг наши жизни коснутся, и, почему знать, может, в этой кучке найду я себе друга, который проведет меня

¹ «Сказав о пище, надо сказать о нравах».

² капитану первого ранга.

³ Правдивость заставляет сказать, что до меня один путешественник был в Малинове и вывез оттуда экземпляр бесхвостой обезьяны, названной им по-латыни *Bedovik*. Она чуть не пропала между Петербургом и Москвой (см. «Отечественные записки», 1839, т. III, с. 136—245 «Бедовик»). (Примеч. А. И. Герцена.)

⁴ С глубочайшим благоговением и т. д., и т. д., и т. д.

через всю жизнь, врага, который пошлет пулю в лоб. Если же и ничего этого не будет, все же их жизни для меня раскроются, и я, как деятельный элемент, войду в круг чуждый, и почему знать, как подействую на него, как он подействует на меня...

Паром остановился, коляску заложили, и я въехал в богом хранимый град Малинов, шагом тащась на гору по глинистой земле. Благочестивый город не завел еще гостиницы; я остановился на постоялом дворе, довольно грязном и чрезвычайно душном. Первым делом было раскрыть окно: низенькие домики стоят по обеим сторонам улицы, травка растет возле деревянных тротуаров, и изредка проезжают, особым образом дребезжа, какие-нибудь желтые или светло-зеленые дрожки, деланные до француза. «Должно быть, эти люди в простоте душевной живут себе тихо и хорошо, — думал я и (так как это было на другой год после университета) прибавил: — *Beatus ille qui procul negotiis*¹ ездит по улицам, на которых растет трава».

Так как идиллическое расположение не могло меня насытить, я спросил хозяина, что у него есть съестного. «Есть, пожалуй, рыба славная». — «Дай рыбу!» Он принес через полчаса кусок рыбы с запахом лимбургского сыра; я люблю, чтоб каждая вещь пахла сама собою, и потому не мог в рот взять рыбы. «Еще что есть?» — «Да ничего, *пожалуй*, нет». Хозяйка пожалела обо мне и из другой комнаты, минут через пять, принесла яичницу, в которой были куски сыромятной кожи, состоявшие в должности ветчины, как надобно думать. Делать было нечего: я наелся яичницы. Так как дело шло к вечеру, а я был разбит весенней дорогой, то и лег спать.

Через неделю.

Я переехал из нечистого постоянного двора на нечистую квартиру одного из самых больших домов в городе. Дом этот состоит из разных пристроек, дополнений, прибавлений и отдается внаймы разным семьям, которые все пользуются садом, заросшим крапивою и лопушником. Вчера вечером мне вздумалось посетить наш парк; я нашел там, во-первых, хозяина дома, во-вторых, всех его жильцов. Хозяин дома — холостой человек, лет 45, отравивший большие бакенбарды для того, чтобы женить-

¹ Счастлив тот, кто далек от дел.

ся, болтун и дурак,— дружески адресовался ко мне и тотчас начал меня рекомендовать и мне рекомендовать. Тут был какой-то старик подслепый, с Анной в петлице нанкового сюртука, отставленный член межевой конторы; какая-то бледная семинарская фигура с тем видом решительного идиотизма, который мы преимущественно находим у так называемых «ученых»,— и в самом деле это был учитель малиновской гимназии. Межевой член, поднося мне табакерку, спросил:

— Изволите служить?

— Теперь нет; дела мои требовали, чтоб я покинул службу на некоторое время.

— А, ежели смею спросить, имете чин?

— Титулярный советник.

— Боже мой! — сказал он с видом глубокого оскорбления. — Я думаю, вы не родились, а я уже был помощником землемера при генеральном межевании,— и мы в одном чине! Хоть бы при отставке дали ассессора! Един бог знает мои труды! Да за что же вас произвели в такой ранг?

Мне было немножко досадно; однако, уважая его лета, я ему объяснил университетские права. Он долго качал головою, повторяя:

— И служи после этого до седых волос!

В то время, когда участник генерального межевания страдал от университетских прав, учитель гимназии принял важный вид и самодовольно заметил, что и он, на основании права лиц, окончивших курс в одном из высших учебных заведений, состоит в девятом разряде, протянул мне руку, как гражданин *ispublicae litterarum*¹ своему согражданину. Человек этот чрезвычайно безобразен, нечист, и, судя по видимым образчикам его белья, надобно думать, что меняет его только в день Кассиана-римлянина.

— Какого факультета-с?

— Математического.

— И я-с; да, знаете, трудная наука, сушит грудь-с; напряжение внимания очень нездорово; я оставил теперь математику и преподаю риторiku...

Хозяин потащил меня, перерывая педагога, рекомендовать дамам; вообще он старался показать, что со мною старый знакомый, и, какие границы я ни ставил его дружбе, она, как все сильные чувства, ломала их.

¹ литературной республики.

— Вот наш столичный гость,— кричал он *прекрасному полу*, сидевшему под качелями, решительно похожими на виселицу.

Старуха, с помсранцевыми лентами на чепце, начала меня тотчас расспрашивать о Москве и о *Филарете*. Потом звала приходить к ним *поскучать* и, указывая на трех барышень, из которых две смотрели мне прямо в глаза, а третья, довольно хорошенькая, сидела поодаль с книгой, объявила, что это ее дочери. Учитель гимназии приступил ко мне с неотступной просьбой идти к нему чай пить. Дивясь такой необыкновенной учтивости, я пошел. Учитель привел меня в комнату, в которой сидела премолоденькая женщина, и, сказав: «Се ма фам»¹, прибавил: «Прошу без церемонии трубочку фаллеру; у нас, ученых, нет церемоний». Жена его премиленькая и проста до бесконечности; она говорила, что ей скучно жить на свете, что хочет умереть, и при этом делала такие предсмертные глазки, что мне пришли в голову фантазии, совершенно противоположные смерти; впоследствии я убедился, что я не так далек был от ее мыслей в этой противоположности.

Конечно, все это смешно; но где же найдешь в большом городе такое радушие, гостеприимство? Люди всегда судят по наружности; что за дело до формы²!

Через две недели.

Жаль, право, что эти добрые люди так сплетничают; это отнимает всю охоту ходить к ним. Я начинаю думать, что все гостеприимство их основано на скуке; они друг другу страшно надоели, и новый приезжий, особенно из столицы, для них акробат, фокусник, обязанный занимать их, рассказывать им новости; за это они строят ему куры, кормят на убой, поят донельзя, заставляют для него дочерей петь, аккомпанируя на пятиоктавном фортепьяно с сковородными звуками. Когда выпросят его обо

¹ Это моя жена.

² Наперед предуведомляем читателей: мы уверены, что неизвестный нам автор «Записок» все предыдущее и последующее в этой статье о городе Малинове просто *выдумал* и что ничего из рассказываемого им в действительности не было и быть не могло, точно так же, как нет и никогда не бывало в мире города *Малинова*, которого не найдете ни на каких картах древнего и нового света.— Ред. «Отечественных записок». — Каков ма х и а в е л л и з м. (Слова «Каков махинавеллизм» прибавлены А. Н. Герценом в публикации 1862 г.)

всем, и тогда даже интерес его далеко не исчерпан: они начинают всеми средствами узнавать о его делах, о его родных; иные делают это из видов; например, старуха-советница, живущая против меня (я каждое утро вижу, как она, повязанная платком, из-под которого торчат несколько седых волос в палец толщиной, осматривает свое хозяйство), познакомилась у ворот с моим камердинером, Петром Федоровичем, и спрашивала его, женат я или нет, и если нет, имею ли охоту и склонность к браку. В это время выбегала за нею (разумеется, не нарочно) дочка, рыжая и курносая, у которой не только на лице, но и на платье были веснушки. Другие находят просто поэтическое удовольствие в том, чтоб знать все домашние дела новоприбывшего...

Через месяц

Был на большом обеде у одного из здешних аристократов. Ужасно смешно все без исключения, начиная от хозяина в светло-яхонтовом фраке и с волосами, вычесанными вгладь, до кресел из цельного красного дерева, тяжеле 10-фунтового орудия, украшенных позолоченной резьбою, в виде раковин и амуров. Торжественной процессией отправился beau monde¹ в столовую: губернатор с хозяйкой дома вперед; за ним все в почтительном расстоянии и в том порядке, в каком чиновники пишутся в адрес-календаре. Толпа лакеев, в каких-то чижового цвета сюртуках, пестрых галстуках и с бисерными шнурами по жилетам, суетились за стульями под предводительством дворецкого, которого брюхо доказывало, что он вполне пользуется правом есть с барского стола. Из-за полузатворенной двери выглядывала босая баба, одетая в грязь, с тарелкой в руке и с полотенцем. Вице-губернатор хотел было сесть за второй стол, за которым поместились барышни и молодые люди; но старуха, мать хозяина, начала кричать: «Помилуйте, Сергей Львович, что вы делаете, куда это вы сели?» — «Да разве вы меня считаете стариком?» — «Ох, батюшка, — отвечала старуха, — лети-то ты молод, да чин-то твой стар». Малинов смело может похвастать порядком распределения мест за обедом.

Главное действующее лицо за обедом был доктор, сорок лет тому назад забывший медицину и учившийся

¹ лучшее общество.

пятьдесят лет тому назад в Геттингене. Он поскал в Россию с твердым убеждением, что в Москве по улицам ходят медведи и, занесенный в Малинов немецкой страстью пытать счастья по всему белому свету, обжился здесь, привык и остался дожидаться, пока расстройство животной экономии и засорение *vasorum absorbentium*¹ превратит его самого в сор. Этот старичок, весьма веселый и крошечного роста, лукаво поглядывал серенькими глазками, острил в глаза над всеми, шутил, отпускал вольтеровские замечания, смешил двусмысленностями и приводил в ужас материализмом. При этом он умел принимать такой вид клептицизма² и уничижения, такой вид бономии³ и самоуничтожения, что его вылазки даже на особу его превосходительства принимались милостиво. Я воображаю, что подобную роль играли жиды в замках рыцарей, когда они им были нужны. Его все любили, и он всех любил. Это поколение родилось, выросло, занемогло, выздоровело при нем, от него; он не только знал их наружность, но знал внутренности — и еще больше, нежели наружность и внутренности, — я заметил это по некоторым сардоническим взглядам, от которых пылали некоторые щеки.

За обедом первый тост пили за *здравие* его превосходительства, с благоговейным чином, вставши. Доктор сложил руки на груди и сказал: «Ваше превосходительство, ну могу ли я откровенно пить такой ужасный тост для меня?»... Все захохотали; чиновники качали головой, будто говоря: «Экий смельчак!» — и я хохотал, потому что в самом деле выходка была смешна.

Когда кончился обед с своими 26 блюдами и 15 тостами, все бросились к карточным столам. Барышни столпились в угол залы. Доктор, следуя гигиеническим правилам, еще возложенным в Геттингене и от которых он никогда не отступал, стал ходить из угла в угол по комнате, всякий раз стреляя остротами, когда подходил к барышням. Я ушел.

Через полтора месяца.

Жена почтмейстера, принимающая во мне родственное участие, сказала, что на меня дуется весь город, зачем

¹ всасывающих сосудов.

² подбострастия, угодничества.

³ добродушия.

я не делал визитов. Без вины виноват! Мне отроду не приходила в голову возможность ехать в незнакомый дом. Завтра нанимаю я у хозяина дома дрожки (досадно только, что они обиты кирпичного цвета сукном) и еду.

На другой день.

Везде приняли, как родного, и потчевали водкой. Право, они предобрые люди! Глупы ужасно — ну, да что ж делать. Дамы намекали что-то на то, что я прежде познакомился с почтмейстершей. Какое внимание ко мне! Немного досадно, что они так душно думают о моем вкусе. Жена тощего учителя в тысячу раз милее и ближе к натуре. Вчера мы с ней гуляли по саду в лунный вечер. Луна и здесь так же сентиментальна, как везде. В саду есть беседка, из окон которой прекрасно смотреть на луну...

Через полгода.

Бедная, жалкая жизнь! Не могу с нею свыкнуться... Пусть человек, гордый своим достоинством, приедет в Малинов посмотреть на тамошнее общество — и смирится. Больные в доме умалишенных меньше бессмысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся к одним призракам, по горло в грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть; тесные, узкие понятия, грубые, животные желания... Ужасно и смешно! В природе есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развивает нелепости чрезвычайно последовательно. И именно в этих-то развитиях тесно спаян, как в шекспировских драмах, глубоко трагический элемент с уморительно смешным. И жаль их от души, и не удержишься от смеха... Бедные люди! Они под тяжелым фатумом¹, виноваты ли они, что с молоком всосали в себя понятия нечеловеческие, что воспитанием они исказили все порывы, заглушили все высшие потребности? Так же не виноваты, как альбиносы, которые вдыхают в себя северный болотный воздух, лишаящий их сил и заражающий их организм.

И этот мир нелепости чрезвычайно последовательно устроился, так, как Япония, и в нем всякое изменение на сию минуту невозможно, потому что он твердо растет на прошедшем и верен своей почве. Вся жизнь сведена на материальные потребности: деньги и удобства — вот гра-

¹ судьба, рок.

ница желаний, и для достижения денег тратится вся жизнь. Идеальная сторона жизни малиновцев — честолюбие, честолюбие детское, микроскопическое, вполне удовлетворяющееся приглашением на обед к губернатору и его пожатием руки.

Утром Малинов на службе; в два часа Малинов ест очень много и очень жирно, что и обуславливает необходимость двух больших рюмок водки, чтоб сделать снисходительным желудок. После обеда Малинов починает, а вечером играет в карты и сплетничает. Таким образом жизнь наполнена, законопачена, и нет ни одной щелки, куда бы прорезался луч восходящего солнца, в которую бы подул свежий, утренний ветер. И что меня выводит пуше всего из себя — это удушливое однообразие, это отвратительное *semper idem*¹. Ежели танцуют — всё те же кавалеры и те же фраки; иногда меняются перчатки. Как теперь вижу красное платье, цвету давленной брусники, на жене директора гимназии; это платье пятьдесят раз мелькало передо мною в разных временах года, в разных обстоятельствах жизни, в разных танцах; даже мне памятен особый, померанцевый запах от него, вроде кюрасо. И говорят все одно и то же. Всякий вечер играют четыре мученика друг с другом в бостон, и всякий раз одни и те же остроты. Один скажет «пришествие» вместо шесть, «не вист, а вистише» — и трое других хохочут, всякий раз! Да ведь это ужасно! Человечество может ходить взад и вперед, Лиссабон проваливаться, государства возникать, поэмы Гёте и картины Брюллова являться и исчезать, — малиновцы этого не заметят. Наполеону надобно было предпринять поход 1812 года и пройти несколько тысяч верст сам-полмиллиона для того, чтоб обратить на себя их внимание. И то какое внимание! О французе они слышали, как о саранче; ведь никто не спрашивает, откуда саранча и зачем, — довольно знать, что хлеб дороже будет...

Встречались люди, у которых сначала был какой-то зародыш души человеческой, какая-то возможность, — но они крепко заснули в жалкой, узенькой жизни. Случалось говорить с ними о смертном грехе против духа — обращать человеческую жизнь в животную: они просыпались, краснели; душа, вспоминая свою орлиную натуру, расправляла крылья; но крылья были тяжелы, и они, как куры, только хлопали ими, на воздух не поднялись и

¹ всегда одно и то же.

продолжали копаться на заднем дворе. Я глядел на них и чуть не плакал.

Чтоб познакомить еще более с жизнью малиновцев, я опишу типический день от 8 часов утра до 3 часов ночи.

Праздник — в кружке. На дворе трескучий мороз, на улицах снег на аршин; плохо рассвело, а снег уж скрипит под санями неперменного члена приказа, который отправляется к губернатору рапортовать о состоянии богоугодных заведений и поздравить его с праздником. Он уверен, что губернатор еще спит, что он его прождет часа полтора; но в том-то и сила, чтоб прийти раньше всех, — почтительнее. Сальные лакеи для него не встанут; шубу он сам снял на первой ступеньке лестницы; калоши оставил в санях, а сани у ворот. Через полчаса начинают подъезжать к воротам чиновники низшего разряда — все это, чтоб поздравить «генерала» с праздником; наконец являются аристократы; они гордо въехали на двор и смело вошли в переднюю в шубах. Зала наполняется. Смирненно в углу стоит какой-нибудь исправник; он всем кланяется, всех уважает; он дрожит до тех пор, пока не доберется опять до своих лесов. Полицеймейстер, в мундире без эполет, держит рапорт о благосостоянии города; правитель канцелярии с портфелем ждет у дверей кабинета; исправник бросает тоскливые взоры на эту портфель... Погодя немного, с шумом влетает из внутренних дверей — *potez bien cela*¹ — чиновник особых поручений, без шляпы: «мы, дескать, свои люди». Он один громко говорит — остальные шепчут; исправник похудел, когда он вошел, и поклонился низко; чиновник особых поручений потолстел, увидев исправника, и поклонился ему нанзанку, то есть закинув голову на спину. Между тем компания разделилась на две части: аристократы сами по себе, плебеи сами по себе. Да кто же тут аристократы? Сейчас объясню вам это. Есть чиновники, сидящие за перегородкой, перед столом, покрытым красным сукном; эти чиновники пишут по одному слову на каждой бумаге — это *советники*, аристократы; это люди, которые приглашаются к обеденному столу его превосходительства. Есть другие чиновники, сидящие по сю сторону перегородки, перед столами, которые покрыты чернильными пятнами; эти пишут по одному миллиону слов на каждом листе, но они не аристократы, они — *канцелярские*. Эти два мира ни-

¹ заметьте это хорошенько.

где не смешиваются; один переходный мост между ними — секретарь; секретарь, как Лафайет, — человек двух миров. Без него советникам было бы нечего подписывать, а канцелярским — списывать. Он и в обществе играет ту же роль. Если нет вблизи четвертого, его сажают с собою за бостон аристократы, и он надевает белый галстук. А завтра, на именинах у канцелярского, для него составят бостон из двух столоначальников и частного пристава, и он придет в сюртуке и расстегнет две пуговицы на жилете. Есть еще разные двусмысленные чиновники, *Zwittergestalten*¹, лавирующие между двумя мирами и, смотря по обстоятельствам, прикрепляющиеся то к одному, то к другому: губернский стряпчий, правитель дел губернатора; но истинно завидное общественное положение принадлежит чиновнику особых поручений. Партизан юридических набегов, он с презрением смотрит на все, кроме губернатора; его аристократы боятся, плебеи ему удивляются, все завидуют; он в синем фраке обедает у губернатора, он отправляет на почту письма ее превосходительства. Около миров губернского чиновничества обращаются миры уездных; о них в другой главе. Вне всего этого, шага на два, отдельные владетельные князья: прокурор, директор гимназии, удельный начальник, их отношения не так правильно истекают из главной идеи, как в мире, подчиненном губернатору.

Но двери в кабинет растворились, и «генерал» вышел; с ним его гость и друг, малиновский откупщик, толстый мужчина с свинными глазами. Губернатор Малинова говорит с тремя-четырьмя из аристократов, на остальных не обращает внимания; а ежели кому случится встретиться с его взглядом, тот тотчас кланяется, хотя бы в пятый раз; многие выставляются, чтоб заявить свое присутствие. Директор гимназии, приехавший позже всех, поднимает голос:

— Ваше превосходительство, не соблаговолите ли ехать в кафедральный собор? Отец ректор семинарии, высокопреподобный Макридий, будет говорить слово.

— Как же! Непременно. Он хорошо говорит?

— Ораторское искусство Цицерона, ваше превосходительство! — И директор гордо смотрит на окружающих.

Губернатор, обращаясь ко всем, произносит: «И вы, вероятно, — в собор? Надобно молиться!» — И все едут в собор.

¹ гибридные фигуры, гермафродиты.

Обед я описывал. Вечером бал у полицеймейстера. Губернатор отдает приказ, чтоб раньше собирались: он не любит, когда кто-нибудь позже его приезжает.

Выспавшись, город начинает торопиться, надевает пестрый жилет, коричневый фрак, надевает всего чаще вицмундир и едет на бал. Дамский туалет я описать не возьмусь: от одного описания может зарябеть в глазах. Плошки горят у ворот полицеймейстера; в окнах свет. В восьмом часу начинает собираться *beau monde*; пьяный *квартильный* снимает шубы и прячет их, чтоб никто не уехал; в передней тесно: четыре семинариста в затрапезных халатах, два солдата и канцелярский служитель в фризовой шинели, подпоясанный белым полотенцем, составляют оркестр. Начинают подъезжать экипажи, и огромный возок почтмейстера, мыча и скрипя, остановился у крыльца. Возок этот делан около царствования Анны Иоанновны и, отодвигаясь каждое двадцатилетие на несколько сот верст от Петербурга, оканчивал преклонные лета свои в сарае почтмейстера. Встарь он был внутри покрыт мехом; теперь оплешивел и окна качаются у него, как зубы у старухи. Из возка вынимают человек восемь обоего пола: как они поместились с накрахмаленными юбками, с Станиславом (во весь рост) на шее у почтмейстера, с цветами на челе почтмейстерши, — трудно постигнуть; но кому же и уметь укладываться, как не почтовым? Это гости почетные, и их полицеймейстер встречает в передней. В зале становитсялюдно и сильно пахнет духами, которые *trouit à Paris*¹ Мусатов. Но ни карт не дают, ни чаю; ни музыка не играет. Подполковница гарнизонного батальона, дама отважная, дама хорошо воспитанная в разных казармах и кордегардиях, начинает роптать и повторяет свою вечную фразу: «Когда я стояла с мужем в Молдавии, то сам господарь...» *Квартильный* сбивает гостей с ног, ищет хозяина и кричит: «Ваше высокоблагородие, его превосходительства карета *изволила* на мост въехать!» Полицеймейстер, прихрамывая от тарутинской пули, бежит с лестницы, чтоб встретить генерала. Генерал приехал с откупщиком. Входит. Музыка гремит польский; генерал открывает бал и отправляется за карточный стол. Машина спущена. Чай подается, карты сдаются, *vis-à-vis*² выбираются, пары становятся...

¹ в Париже.

² друг против друга, здесь — партнеры.

Бал провинциальный описывали тысячи раз; разумеется, он имеет некоторые сходства с столичным балом, так, как есть же общее в портретах Кутузова ценою в десять рублей и ценою в десять копеек. Иногда танцующие ссорятся за места, и тут недалеко до членовредительства; есть дамы, в том числе подполковница, которая испрессенно хочет быть в первой паре в мазурке и готова шипать несчастную даму, стоящую перед ней. Есть кавалеры, которые как-то прищелкивают каблуками, так что из другой комнаты можно думать, что дверью кто-нибудь давит грецкие орехи. Зато есть голые плечи, ничуть не хуже столичных, пластически прелестные, от которых трудно отвести глаза, особенно стоя за стулом; есть свежие лица, очень хорошенькие; но глаз с выражением нет. Во всем Малинове было три глаза выразительные: два из них принадлежали одной присяжной барышне, третий — кривой болонке губернаторской. В антрактах, между одной кадрилию и другою, наполняют «желудка бездонную пропасть», как говорит Гомер: дамам сладостями, мужчинам водкой, вином и солеными закусками. Отсюда немудрено понять, что бал разгорается более и более. Матери семейств, сидящие неподвижно около стен, громче сплетничают; лица барышень пылают, юность и веселье берет верх над этикетом, — словом, бал во всей красе.

В двенадцать часов губернатор окончил бостон, выходит в залу и танцует кадрили с хозяйкой дома. В Малинове все танцуют — от грудных детей до столетних старцев — так, как все играют в бостон. Можно думать, что все жители заражены пляской Витта. Потом треск, шум, sensation!... «Ваше превосходительство, еще минуточку!» Генерал неумолим, генерал тверд, генерал не ужимается, генерал в шубе, генерал уехал. Несколькo человек, не смевшие танцевать с ним под одной крышей, являются на паркете; уездный казначей кричит в котильоне: «Окончим *попурри*, я смерть люблю *попурри*!» От *попуррей* за ужин, с ужина матери семейств укладываются, целуются, уезжают с дочерьми, из дам остается одна подполковница, — ее не испугашь ничем, бывалый человек. Шампанское льется рекой. Пьяный подполковник умоляет жену пройти с ним «русскую», — одни свои, чужие разъехались. Канцелярский в фризовой повел смычком «барыню», и салон незаметно переливается

¹ сенсация — успех, возбуждение.

в Перов трактир. Часа в четыре гости разъезжаются. Хозяин доволен, потирает себе руки, говоря: «Жаркий денек! Удался»...

Но довольно вязнуть в этом болоте; тяжело ступать, тяжело дышать. Перейдем в сферу, где человек от животных отделяется не одними зооглистическими признаками, которые упрочивают за ним почетное место возле обезьян и лемурув.

Вот одна человеческая встреча в Малинове, и очень странная притом.

Недалеко от Малинова-города живет какой-то помещик, рассказы о котором бесконечны у малиновцев,— богатый человек, выписывающий вещи из Парижа и из Лондона, устроивший свое имение по-ученому, по агрономии, польско-прусский дворянин, и проч., проч.

«Почему он не женится?» — говорили одни. — «Потому что он фармазон, а в их вере дают обет монашества; масоны и иезуиты — ведь это одно», — отвечали люди мудрые, вершавшие окончательно трудные вопросы, которые изредка возникали в малиновских головах. — «Он скуп, как кощей», — говорили чиновники, — ни одного стола не сделал во всю жизнь; наш брат живет лучше его, несмотря на бедные оклады». — «Он развратил своих крестьян», — говорили помещики, — до того, что они в будни ходят в сапогах да еще имеют у себя батраков». — «Сумасшедший, просто сумасшедший», — уверял пятидесятилетний корнет, обладатель 20 душ и камердинера в плюсовых панталонах.

Наконец я познакомился с ним.

Трензипский сделал на меня самое странное впечатление. Черт знает, как он с таким апатическим равнодушием умел соединить силу действовать на душу странными мнениями и парадоксами. Ему удалось нанести глухой удар некоторым из теплых верований моих. Да что это, как я слаб, или как слабы мои теории, когда первый встречный может потрясти их! И прескверная манера у него: он почти не спорит; он на теоретические разрешения вопросов смотрит как на что-то постороннее, школьное, без влияния на жизнь и без корня в ней. Оттого, вместо спора и опровержения, он прерваднодушно соглашается, и иной раз, кажется, откровенно.

Я ему был рекомендован единственным человеком, имевшим с ним постоянные сношения, доктором медицины, проживавшим в одном из больших заводов малиновских. Сам доктор — лицо примечательное. Имея практику

в городе, он в неделю раза два являлся в Малинов. Я часто встречался с ним, но никогда не слышал от него ни одного слова, которое относилось бы к чему-нибудь постороннему для его занятий, ни даже о погоде, о дороге и проч. А между тем ироническая улыбка и яркие глаза показывали, что он многое мог бы сказать и что ему дорого стоит прилепить язык к гортани. Мне нездоровилось, и я просил доктора заехать; он явился, и, не зная как, но у меня он не играл своей молчаливой роли. Говорят, что храмовые рыцари везде узнавали друг друга, узнавали даже степень свою в таинствах и силу в ордене при встрече. Это только с первого взгляда кажется удивительным: мы все — храмовые рыцари, и *свой своего* узнает по трем-четырем словам. Итак, нет ничего удивительного, что два выходца университета поняли тотчас друг друга в Малинове. Доктор посещал меня вдвое чаще, нежели требовала моя полуболезнь, и сидел вдвое дольше, нежели у всех больных малиновцев. Он говорил с восхищением о Трензинском. И одним добрым утром мы поехали к нему.

Трензинский принял европейски учтиво, т. е. малиновски грубо, без полуварварского гостеприимства, без трех четвертей варварских церемоний и без вполне варварского принуждения пить и есть, когда не хочется. Поговорив о том о сем, он сказал нам, что в это время ежедневно осматривает завод, и просил или идти с ним, или, пока он возвратится, погулять в саду. Мы пошли на завод.

Трензинский — человек высокого роста, чрезвычайно худой; лицо нежное, очень белое; эта белизна придает что-то мертвое, отжившее всем чертам, и если б не большие, серо-голубоватые глаза и улыбка на губах, то он был бы похож на хорошо сделанную восковую фигуру. И улыбка его примечательна: сначала она кажется добродушием, потом насмешкой, и наконец убеждаешься, что этот рот вовсе не может улыбаться, а что движение губ его — болезненно-судорожное сжимание. Ему за пятьдесят, но он прям и бодр; «чело, как череп голый». История его жизни, должно быть, представляет длинную повесть мыслей, страстей, ощущений, коллизий; но повесть кончена, а жизнь продолжается. Так казалось мне, когда я пристально всматривался в его лицо; оно мне напомнило мраморные, холодные, гладкие надгробные памятники, поставленные над прахом, в котором клочкотал когда-то огонь. В его кабинете мало книг: «Mémorial de S-te

Hélène»¹ и какой-то трактат о черепословии лежали на столе между Тэром, Берцелиусом и книгами, прямо относящимися к заводскому делу. На окнах стояли реторты, склянки и банки, а на стенах висело несколько видов Венеции, копия с Рембрандтова Яна Собесского, две-три головы с светлыми усами и картина, тщательно завешенная тафтою.

Осмотрев завод, пришли мы в сад и сели на террасе; день был очень хорош; запах воздушных жасминов и тополей доносился к нам вместе с неопределенным летним говором природы, — говором, в котором перепутаны и шелест листьев, и чириканье птиц, и звуки кузнечика, и жужжанье пчел, и еще сотня разных звуков, свидетельствующих, что все вокруг вас живо, весело и радуется солнцу. Ничего нет удивительного, что разговор мало-помалу оживился и сделался откровенным. Человеку вовсе не свойственно беспрерывно корчить дипломата, и надобно ему пройти великую школу разврата духовного, чтоб подозрительно затаивать всякую мысль от каждого вновь встретившегося человека.

— Славно живете вы, — сказал я, — особенно в хорошую погоду; но, признаюсь, удивляюсь, как вам не скучно в таком одиночестве и в такой глуши!

— Конечно, подчас бывает скучно, но не думайте, чтоб более, нежели где-нибудь. Скука внутри имеет зародыш. Поверьте, кто понял душою, что на свете *может быть* очень скучно, тому придется иной раз поскучать, где бы он ни жил — от Нью-Йорка до Малинова. Вообще, здесь я меньше скучаю, нежели скучал прежде, кочуя из города в город; здесь у меня положительные занятия.

— Я не понимаю, откровенно говоря, возможность жить и не иметь подле себя ни одного близкого существа.

— Вам, кажется, лет двадцать, а мне пятьдесят шесть. И несмотря на то, что есть много истинного в вашем замечании, я уверяю вас, что человек может всячески жить: таково устройство его, и я в этом нахожу высочайшую премудрость; брошенный совершенно во власть случайности, не имея возможности изменить внешнее на волос, он был бы несчастнейшим существом, если б не доставало ему эластичности, хорошо прилаживающейся к обстоятельствам. Вы не имеете повода думать, чтоб

¹ «Воспоминания о Св. Елене» (острове, куда был выслан Наполеон I).

я отталкивал от себя симпатию; один человек образованный и с душою, на 300 верст кругом, — это доктор, и он бывает у меня; давно ли приехали вы в Малинов, и так ли, иначе ли, вы здесь, — и я чрезвычайно рад. Но понимаю, что тот же случай мог сделать, и с тою же бессознательностью, чтоб вы не были в Малинове, чтоб вместо доктора, привезенного ко мне моим управляющим без моего ведома, приехал немец-буфф, которого, вероятно, вы видели. И я был бы один. Власть над случаем у меня нет; что ж бы мне делать? Писать элегии — лета ушли. С тех пор, как я понял, что случай управляет индивидуальным существованием и целыми семействами, я отдался ему во власть; он меня бросил в Малинов, тогда как я и имени этого города не слыхал прежде; мог бы бросить в Канаду, и я сделался бы там куперовским колонистом...

— Случай, которому вы, кажется, придаете всю мощь греческого фатума, имеет влияние над внешнею стороною жизни, так сказать, над обстановкой. В том-то вся задача, чтоб, подобно какому-нибудь Гёте, стоять головою выше всех обстоятельств и их покорять, — чтоб внутренний мир сделать независимым от наружного.

— Гёте вы поставили не совсем хорошо в пример. Тот же случай, о котором я говорю, дал ему, во-первых, огромную дозу эгоизма и, во-вторых, организацию, холодную к многому, волнующему других. Тут нет победы, что человек, не чувствующий потребности пить вино, не пьянствует. Что касается до вашего внутреннего мира, все это хорошо в стихах и в трактатах, а не на самом деле и не для всех. Я тоже сошлюсь на Гёте: он чрезвычайно глубокомысленно сказал в одной эпиграмме, которая, вероятно, вам известна, что жизнь не имеет *ни ядра, ни скорлупы*. С другой стороны, я не спорю, внутренняя полнота, особенно при экзальтации воображения, может сделать человека совершенно независимым от всего внешнего; но еще раз — это не для всех: для этого надобно иметь, может быть, слабоверных родителей, вообще склонность к сумасшествию... Ведь и сумасшествие есть независимость от внешнего мира.

— Помилуйте! — вскричал я, выведенный из себя результатом. — Идеал высшего гармонического существования кажется вам болезнию, близкой к сумасшествию, и совершенную потерю божественной искры в человеке — вы сравнили с бесконечною высотой духа, пренебрегающего всеми суетами и гордо находящего целый мир в себе!

— А вы сейчас сказали, что не понимаете жизни без близкого существа. Тут противоречие. Это близкое существо будет вне вас, и случай — сквозной ветер, например, — может отнять его у вас — ну, что-то тут скажет ваша теория внутренней полноты?

— Она самоотверженно склонит главу и воспоминанием, самую грустью заменит былое.

— Хорошо, что у ней гибкая шея. А если б у нее была непреклонная выя Байрона, если б самоотвержение для нее было столько же невозможно, как для рыбы дышать воздухом?.. Конечно, и спорить нечего: воздух — славная среда для дыхания, жиденькая, прозрачная, а рыба умирает в ней. Я вижу, вы большой идеалист. Это делает вам честь; идеализм доступен только высшим натурам; идеализм — одна из самых поэтических ступеней в развитии человека и совершенно по плечу юношескому возрасту, который все пытается словами, а не делом. Жизнь после покажет, что все громкие слова только прикрывают кисейным покровом пропасти, и что ни глубина, ни ширина их не уменьшается от того ни на волос. Увидите сами.

— Уверяю вас, что я не позволю какому-нибудь отдельному, случайному факту, несчастию потрясти моих убеждений.

— Бог знает; судя по живости вашей, я не думаю, чтоб вы могли пасть в незавидное положение немецких ученых, которые, выдумав теорию, всю жизнь ее отстаивают, хотя бы каждый день опровергал ее. Конечно, это так невинно и безвредно, что жаль их бранить, но тем не менее чрезвычайно смешно. Они мне напоминают старика англичанина, с которым я познакомился в начале нынешнего века. Благородный лорд доказывал ясно, как $2 \times 2 = 4$, что Наполсона не должно признавать императором, и называл его «генералом Бонапарте». Это навлекло на него разные гонения, и он должен был непрерывно оставлять город за городом; наконец поселился в Вене, — тут ему было раздолье опровергать права Наполеона. На беду, генерал Бонапарте стал близок австрийскому императору. Лорд покинул Австрию, уверяя, что ежели весь мир признает Бонапарте императором, то он один станет против всего мира и скорей положит свою седую голову на плаху, нежели назовет его государем. Почтенный человек! Я всегда с любовью протягивал ему руку; душа отдыхала, находя в ту эпоху флюгерства человека с таким мощным убеждением, — а бывало, слушая его,

внутренне смеешься, переносясь в Париж, где короли ждут большого выхода и склоняются перед Наполеоном.

— Всякая крайность имеет свою смешную сторону. Но я никогда не думал, чтоб толпа, погруженная в ежедневность и направляемая ею, не знающая, что она завтра будет делать, и которой вся жизнь определяется внешним стечением обстоятельств, была ближе к назначению человека, нежели гордый дух, отвергающий всякое внешнее влияние и не покоряющийся ничему, им не признанному.

— То и другое, кажется, дурно. Толпа виновата тем, что она не понимает, почему она так живет; а гордый дух, говоря вашими словами, виноват вдвое тем, что, умея понимать, не признает очевидной власти обстоятельств и тратит силу свою на отстаивание места, то есть на чисто отрицательное дело. Не лучше ли, куда бы и как бы судьба ни забросила, стараться делать максимум пользы, пользоваться всем настоящим, окружающим,— словом, действовать в той сфере, в которую попал, как бы ни попал.

— Извините, я не могу удержаться от вопроса, как вы, например, попали на мысль сделаться малиновским помещиком? Этот вопрос идет прямо к вашим словам.

— Моя жизнь нейдет в пример. Для того, чтоб быть брошену так бесцельно, так нелепо в мире, как я, надобен целый ряд исключительных обстоятельств. Я никогда не знал ни семейной жизни, ни родины, ни обязанностей, которые врастают в сердце с колыбели. Но замечьте, я нисколько не был виноват, я не навлек на себя этого отчуждения от всего человеческого: обстоятельства устроили так. Когда-нибудь я расскажу больше; теперь только скажу о приезде сюда. В 1815 году жил я в Карлсбаде; это время мне очень памятно; я никогда не страдал так, как тогда. Победители Франции возвращались гордые и ликующие. Политические партии кипели; одни хвалились своими ранами, другие своими проектами; все было занято: побежденные — слезами, униженными воспоминаниями, но всё же заняты. Я один был посторонний во всем, каким-то дальним родственником человечества... Это давило меня, я был еще помоложе. Все больные разъехались; я оставался в Карлсбаде, потому что не мог придумать, куда ехать и зачем. Жил целую зиму; пришла весна; явились новые больные, и я вместе с ними принялся пить шпрудель. Я вел большую игру и — верьте или нет — с радостью видел, как мое богатство

утекало широкою рекой, предвидя, что наконец нужда решит вопрос о том, что мне делать. Раз в казино мечу я банк; русский князь, бросавший деньги горстями и делавший удивительные глупости, о которых, я полагаю, до сих пор говорят в Карлсбаде, подошел к столу. — «Сколько в банке?» — спросил он. — «Тысяча червонцев». — «Не стоит и руки марать», — заметил князь с презрительной улыбкой. Это взбесило меня. — «Князь! — закричал я ему вслед, — я отвечаю за банк, сколько бы вы ни выиграли; вот небольшая гарантия», — и бросил на стол вексель в огромную сумму. — «Теперь посмотрим», — сказал князь, вынул карту и поставил на нее тысячу червонцев. Несколько игроков и больших, стоявших возле, взглянули на него как на великого человека. Этого-то он и хотел и за это заплатил тысячу червонцев, потому что карта была убита. Игра завязалась; и довольно сказать, что в пять часов утра князь дрожащим мелом сосчитал 630 000 франков, два раза проверил и с пятнами на лице признался, что у него такой суммы теперь нет. На другой день он мне прислал билет в 130 000 франков и предложение заложить свое имение в Малиновской губернии. Новая мысль блеснула у меня в голове; я просил за долг уступить имение; он обрадовался — и я сделался властителем и обладателем 550 душ в Малиновской губернии. В 1818 году я приехал с князем в Россию и, по окончании нужных форм, явился сюда. Десять лет я работал денно и нощно. Представьте, не зная ни слова по-русски, будучи незнаком с правами, видя, что мои нововведения принимаются с ропотом и неудовольствием, — я, разом ученик и распорядитель, впадал в грубейшие погрешности, судил о русском мужичке à la Robert Owen¹ и в то же самое время усердно занимался химией и заводскими делами. Это счастливейшие годы моей жизни! В 1829 году поехал я посмотреть Петербург, пробыл там зиму, соскучился и воротился сюда. Это была для меня минута, полная наслаждения. Тут только увидел я разом плоды десятилетних трудов. Поля моих крестьян отличались от соседних, как небо от земли; их одежда... ну, словом, их благосостояние тронуло меня до слез. С тех пор продолжаю я еще ревностнее устраивать мое имение, хочу осушить болота, увеличить завод, и меня тешит явное улучшение того клочка земли, который судьба мне дала.

¹ как Роберт Оуэн.

Я работаю, а между тем жизнь идет да идет. Et c'est autant de pris sur le diable!¹

— Прошу в столовую,— прибавил он, вставая и принимая опять свой холодный вид, которого он было лишился, рассказывая свою агрономическую поэму.

Я остался в раздумье от этой встречи. В умном хозяине моем не было ничего мефистофельского, ни бальзаковских ушей *fascinateurs*², ни лихорадочного взгляда героев Сю, ни... ни всех необходимых диагностических и прогностических признаков разочарованных, мизантропов, беснующихся девятнадцатого века. Совсем напротив, в нем было много доброго, а между тем его слова производили какое-то тяжкое, грустное впечатление, тем более что в них была доля истины и что он жизнью дошел до своих результатов.

После обеда люди делаются вообще гораздо добрее. Это одно из тех убийственных замечаний, которые глубоко оскорбляют душу мечтательную, а между тем оно до того справедливо, что Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» и Шекспир, не помню где, говорят об этом. Итак, мы сделались добрее и сели на турецкий диван, в маленькой угольной комнате, потому что солнце светило теперь прямо на террасу. На стене висело несколько эстампов³; я встал, чтоб посмотреть их, и остановился перед гравюрой с Раухова бюста Гёте. Господи, как в преклонные лета сохранилась такая мощная и величественная красота! Эта голова могла бы послужить типом для греческого ваятеля. Это чело, возвышенное и мощное по самой форме, эти спокойные очи, эти брови... Самое слабое старческое тело придавало глубокий смысл его лицу,— смысл, понятый тем из его современников, который по многому мог стать возле него. «Как одежда восточного жителя едва держится на его стане и готова упасть с плеч, так и тут вы видите, что тело готово отпасть, а дух — воспрянуть во всей славе и красоте своей бестелесности»⁴. Я долго стоял перед изображением поэта и спросил у Трензинского:

— Видали ли вы Гёте, и похож ли этот бюст?

— Два раза,— отвечал он.— Да, он в иные минуты

¹ «Все же кое-что отвоено у дьявола!»

² завораживающих глаз.

³ оттиск гравюры.

⁴ Гегель в «Эстетике». (Примеч. А. И. Герцена.)

был похож на свой бюст. Раух, точно, гениально умел схватить высшее выражение его лица.

— Расскажите, пожалуйста, где и как вы его видели. Я страстно люблю рассказы очевидцев о великих людях.

— Я не думаю, чтоб вам понравился мой рассказ; вы мечтатель, вам, вероятно, Гёте все представляется молниеносным Зевсом, глаголющим мировые истины и великие слова. Я, напротив, никогда не умел уничтожаться в поклонении и адуляции¹ знаменитых индивидуальностей и смотрел на них без заготовленных теорий и большею частью видел, что они — *sont ce que nous sommes*², имеют лицевую сторону и изнанку. Вы, поэты, именно изнанки-то и не хотите знать, а без нее индивидуальность не полна, не жива. Вот вам моя встреча, после предисловия, за которое прошу не сердиться. Я был мальчиком лет 16, когда видел его в первый раз. В начале революции отец мой был в Париже, и я с ним. *Régime de terreur*³ как-то проглядывал сквозь сладкоглаголивую Жиронду. Люди совершенно безумные, с растрепанными волосами и в сальных кафтанах, показывались в парижских салонах и проповедовали громко уничтожение всех прежних общественных связей. Иностранцам было опасно ехать и еще опаснее оставаться. Отец мой решил на первое, и мы тайком выбрались из Парижа. Много было хлопот, пока мы доехали до Альзаса. Если б я был настоящий пруссак, я издал бы непременно толстую книгу на оберточной бумаге под заглавием: «*Außerordentliche Reiseabenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der großen Umwälzung — Anno 1792 nach d. Erlösung etc.*»⁴. В самом деле, мы несколько раз подвергались опасности быть принятыми за переметчиков. Наконец кривой мальчишка, провожавший нас через лес, указал вдали огни и, сказав: «*V'là vos chiens de Brunswick*»⁵, — взял обещанный червонец и скрылся в лесу, крича во все горло: «*Ça ira!*»⁶ Нас остановили на цепи, и, пока фельдфебель ходил с паспортом, не знаю куда,

¹ заискивании, угодничестве.

² такие же, как и мы.

³ Режим террора.

⁴ «Необыкновенные путевые приключения беглеца из столицы французов во время великого переворота, в год от нашего спасения 1792-й и т. д.»

⁵ «Вот ваши псы-брауншвейгцы».

⁶ «Пойдет на лад!» (припев популярной революционной французской песни).

я с удивлением смотрел на солдат. Караул был занят австрийцами; я так привык к живым, одушевленным физиономиям французов, что меня поразила холодная немота этих лиц, с светлыми усами и в белых мундирах. Неподвижно, угрюмо стояли они, точно загрязнившиеся статуи командора из «Дон-Жуана». Нас повели к генералу и после разных допросов и расспросов позволили ехать далее; но возможности никакой не было достать лошадей: все были взяты под армию, для которой тогда наступило самое критическое время. Армия гибла от голода и грязи. На другой день пригласил нас один владетельный князь на вечер. В маленькой зале, принадлежавшей сельскому священнику, мы застали несколько полковников, как все немецкие полковники, с седыми усами, с видом честности и не слишком большой дальновидности. Они грустно курили свои сигары. Два-три адъютанта весело говорили по-французски, коверкая германизмом каждое слово; казалось, они еще не сомневались, что им придется попить в Palais Royal¹ и там оставить свой здоровый цвет лица, заветный локон, подаренный при разлуке, и немецкую способность краснеть от двусмысленного слова. Вообще было скучно. Довольно поздно явился еще гость, во фраке, мужчина хорошего роста, довольно плотный, с гордым, важным видом. Все приветствовали его с величайшим почтением; но его взор не был приветлив, не вызывал дружбы, а благосклонно принимал привычную дань вассальства. Каждый мог чувствовать, что он не товарищ ему. Князь предложил кресло возле себя; он сел, сохраняя ту особенную Steifheit², которая в крови у немецких аристократов. «Нынче утром, — сказал он после обыкновенных приветствий, — я имел необыкновенную встречу. Я ехал в карете герцога, как всегда; вдруг подъезжает верхом какой-то военный, закутанный шинелью от дождя. Увидев веймарский герб и герцогскую ливрею, он подъехал к карете и — представьте взаимное наше удивление, когда я узнал в военном его величество короля, а его величество нашел, вместо герцога, меня. Этот случай останется у меня долго в памяти».

Разговор обратился от рассказа чрезвычайной встречи к королю, и естественно перешли к тем вопросам,

¹ Пале-Рояль.

² чопорность.

которые тогда занимали всех бывших в зале, т. е. к войне и политике. Князь подвел моего отца к дипломату и сказал, что от моего отца он может узнать самые новые новости.

— Что делает генерал Лафайет и все эти антропофаги?¹ — спросил дипломат.

— Лафайет, — отвечал мой отец, — неустрашимо защищает короля и в открытой борьбе с якобинцами.

Дипломат покачал головою и выразительно заметил:

— Это одна маска; Лафайет, я почти уверен, заодно с якобинцами.

— Помилуйте! — возразил мой отец. — Да с самого начала у них непримиримая вражда.

Дипломат проницательно улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Я собирался ехать в Париж года два тому назад, но я хотел видеть Париж Людовика Великого и великого Аруэта, а не орду гуинов, неистовствующих на обломках его славы. Можно ли было ожидать, что буйная шайка демагогов имела такой успех? О, если б Неккер в свое время принял иные меры, если б Людовик XVI послушался не ангельского сердца своего, а преданных ему людей, которых предки столетия процветали под лилиями, нам не нужно было бы теперь подниматься в крестовый поход! Но наш Готфред скоро образумит их, в этом я не сомневаюсь, да и сами французы ему помогут; Франция не заключена в Париже.

Князь был ужасно доволен его словами.

Но кто не знает откровенности германских воинов, да и воинов вообще? Их разрубленные лица, их простреленные груди дают им право говорить то, о чем мы имеем право молчать. По несчастью, за князем стоял, опершись на саблю, один из седых полковников; в наружности было видно, что он жизнь провел с 10 лет на биваках и в лагерях, что он хорошо помнит старого Фрица, черты его выражали гордое мужество и безусловную честность. Он внимательно слушал слова дипломата и наконец сказал:

— Да неужели вы, не шутя, верите до сих пор, что французы нас примут с распростертыми объятиями, когда всякий день показывает нам, какой свирепо-народный характер принимает эта война, когда поселяне жгут свой хлеб и свои дома для того, чтоб затруднить нас? При-
знаюсь, я не думаю, чтоб нам скоро пришлось обращаться

¹ людоеды.

Париж на путь истинный, особенно ежели будем стоять на одном месте.

— Полковник не в духе,— возразил дипломат и взглянул на него так, что мне показалось, что он придавил его ногой.— Но я полагаю, вы знаете лучше меня, что осенью, в грязь, невозможно идти вперед. В полководце не благородная запальчивость, а благоразумие дорого; вспомните Фабия Кунктатора.

Полковник не струсил ни от взора, ни от слов дипломата.

— Разумеется, теперь нельзя идти вперед, да и назад трудно. Впрочем, ведь осень в нынешнем году не первый раз во Франции, грязь можно было предвидеть. Я молю бога, чтоб дали генеральное сражение; лучше умереть перед своим полком с оружием в руке, от пули, чем сидеть в этой грязи...

И он жал рукою эфес сабли. Началось шептанье и издали слышалось: «Ja, ja, der Obrist hat recht... Wäre der große Fritz... oh! der große Fritz!»¹

Дипломат, улыбаясь, обернулся к князю и сказал:

— В какой бы форме ни выражалась эта жажда побед воинов тевтонских, нельзя ее видеть без умиленья. Конечно, наше настоящее положение не из самых блестящих, но вспомним, чем утешался Жуанвиль, когда был в плену с святым Лудовиком: «Nous en parlerons devant les dames»².

— Покорно благодарю за совет! — возразил неумолимый полковник.— Я своей жене, матери, сестре (если б они у меня были) не сказал бы ни слова об этой кампании, из которой мы принесем грязь на ногах и раны на спине. Да и об этом, пожалуй, нашим дамам прежде нас расскажут эти черпильные якобинцы, о которых нас уверяли, что они исчезнут, как дым, при первом выстреле.

Дипломат понял, что ему не совладать с таким соперником, и он, как Ксенофонт, почетно отступил с следующими 10 000 словами:

— Мир политики мне совершенно чужд; мне скучно, когда я слушаю о маршах и эволюциях, о прениях и мерах государственных. Я не мог никогда без скуки читать газет; все это что-то такое преходящее, временное да и вовсе чуждое по самой сущности нам. Есть другие области,

¹ «Да, да, полковник прав... Если б был жив великий Фриц... о! великий Фриц!»

² «Мы будем об этом рассказывать дамам».

в которых я себя понимаю царем: зачем же я пойду без призыва, дюжинным резонером, вмешиваться в дела, возложенные провидением на избранных им нести тяжкое бремя управления? И что мне за дело до того, что делается в этой сфере!

Слово «дюжинный резонер» попало в цель: полковник сжал сигару так, что дым у нее пошел из двадцати мест, и, впрочем, довольно спокойно, но с огненными глазами сказал:

— Вот я, простой человек, нигде себя не чувствую ни царем, ни гением, а везде остаюсь *человеком*, и помню, как, еще будучи мальчиком, затвердил пословицу: *Homosum et nihil humani a me alienum puto*¹. Две пули, пролетевшие сквозь мое тело, подтвердили мое право вмешиваться в те дела, за которые я плачу свою кровь.

Дипломат сделал вид, что он не слышит слов полковника; к тому же тот сказал это, обращаясь к своим соседям.

— И здесь,— продолжал дипломат,— среди военного стана, я так же далек от политики, как в веймарском кабинете.

— А чем вы теперь занимаетесь? — спросил князь, едва скрывая радость, что разговор переменился.

— Теорией цветов; я имел счастье третьего дня читать отрывки светлейшему дядюшке вашей светлости.

Стало, это не дипломат. «Кто это?» — спросил я эмигранта, который сидел возле меня и, несмотря на бивачную жизнь, нашел средство претщательно нарядиться, хотя и в короткое платье. «Ah, bah! c'est un célèbre poète allemand, m-r Koethe, qui a écrit, qui a écrit... ah, bah!.. la Messiade!»²

Так это-то автор романа, сводившего меня с ума, «*Werthers Leiden*»³, — подумал я, улыбаясь филологическим знаниям эмигранта.

Вот моя первая встреча.

Прошло несколько лет. Мрачный террор скрылся за блеском побед. Дюмуре, Гош и, наконец, Бонапарт поразили мир удивлением. То было время первой итальянской кампании, этой юношеской поэмы Наполеона. Я был в Веймаре и пошел в театр. Давали какую-то политиче-

¹ Я человек, и ничто человеческое не чуждо мне.

² «Ведь это знаменитый немецкий поэт, г-н Кёте, который написал... ах, да! Мессиаду!»

³ «Страдания Вертера».

скую фарсу Гётева сочинения. Публика не смеялась, да и, по правде, насмешка была натянута и плосковата. Гёте сидел в ложе с герцогом. Я издали смотрел на него и от всей души жалел его: он понял очень хорошо равнодушные, кашель, разговоры в партере и испытывал участь журналиста, попавшего не в тон. Между прочим, в партере был тот же полковник; я подошел к нему; он узнал меня. Лицо его исхудало, как будто лет десять мы не видались, рука была на перевязке.

— Что же Гёте тогда толковал, что политика ниже его, а теперь пустился в памфлеты? Я — *дюжинный резонер* и не понимаю тех людей, которые хохочут там, где народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видят, что совершается перед ними. А может быть, это право гения?..

Я молча пожал его руку, и мы расстались. При выходе из театра какие-то три, вероятно, пьяные, бурша¹ с растрепанными волосами в честь Арминия и Тацитова сказания о германцах, с портретом Фихте на трубках, принялись свистать, когда Гёте сажился в карету. Буршей повели в полицию, я пошел домой и с тех пор не видал Гёте.

— Что вы хотите всем этим сказать? — спросил я.

— Я хотел исполнить ваше желание и рассказать мою встречу; тут нет внешней цели, это факт. Я видел Гёте так, а не иначе; другие видели его иначе, а не так, — это дело случая.

— Но вы как-то умели сократить колоссальную фигуру Гёте, даже умели покорить его какому-то полковнику.

— Что-нибудь одно: или вы думаете, что я лгу, — в таком случае у меня нет документов, чтоб убедить вас в противном; или вы верите мне, — и тогда вините себя, ежели Гёте живой не похож на того, которого вы создали... Все мечтатели увлекаются безусловно авторитетами, строят себе в голове фантастических великих людей, односторонних и, следовательно, не верных оригиналам. Лафатер, читая Гёте, составил идею его лица по своей теории; через несколько времени они увиделись, и Лафатер чуть не заплакал: Гёте живой нисколько не был похож на Гёте а priori². Я вам предсказывал, что вы будете недовольны моим рассказом. В том-то и дело, что все живое так хитро спаяно из многого множества элементов, что

¹ студента.

² до и без всякого опыта.

оно почти всегда стороною или двумя ускользает от самых многообъемлющих теорий. Отсюда ряд ошибок. Когда мы говорим о римлянах, у нас все мелькает перед глазами театральная поза, цивические добродетели, форум. Будто жизнь римлян не имела еще множества других сторон! Так поступают и с историческими людьми. Для идеалистов задача: как Рембрандт мог быть скупцом и великим художником; как Тиверий мог быть жестоким и между тем глубокомысленным, пронзительным монархом. Живая индивидуальность — вот порог, за который цепляется ваша философия, и Шекспир, бесспорно, лучше всех философов, от Анаксагора до Гегеля, понимал *своим путем* это необъятное море противоречий, борений, добродетелей, пороков, увлечений, прекрасного и гнусного, — море, заключенное в маленьком пространстве от диафрагмы до черепа и спаянное неразрывно в живой индивидуальности... Но довольно философствовали; пойдемте гулять; погода прекрасная, жаль в комнате сидеть.

— В том-то вся великая задача, — сказал я, вставая, — чтоб уметь примирить эти противоречия и борения и соткать из них одну гармоническую ткань жизни, — и эту-то задачу разрешит нам Германия, потому что она ее громко выговорила и одной ею и занимается.

— Дай бог успеха! Но я боюсь, чтоб не повторилась история отыскивания всеобщего лекарства от болезней, которое занимало Парацельса и умнейшие головы того века. Спору нет, всякое примирение хорошо, и мы все чем-нибудь примиряемся с жизнью: без этого пришлось бы застрелиться. Философы примиряются с несчастьями, слепо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность, мыслью о ничтожности индивидуума. Мистик примиряется с этими же несчастьями, полагая, что ими искупается падение Люцифера и что за это будет награда... по крайней мере это мнение не так ледяно холодно. А потом и человек чем-нибудь да примиряется с жизнью; один — тем, что он не верит ни в какое примирение, и это выход; другой — как вы, например, веря, что вы убеждены разумом в том, во что вы верите; я — тем, что будто бы делаю существенную пользу, копая землю. Поверьте, все мы дети и, как дети вообще, играем в игрушки и принимаем куклы за действительность. Мне теперь пришел на память лорд Гамильтон, ездивший по Европе и Азии отыскивать идеал женской красоты между статуями и картинами. Знаете, чем он кончил?

— Нет.

— Тем, что женился на доброй, белокуренькой прландке и кричал: «Нашел! Нашел!» Ха, ха, ха!.. Ей-богу, дети! Но время идет. Пойдемте.

Мы пошли...

Примечание к шестому тетрадь

Считаю себя обязанным, предупреждая недоразумение, сказать несколько слов о рассказе Трензинского относительно Гёте. Больно было бы мне думать, что рассказ этот сочтут мелким камнем, брошенным в великого поэта, перед которым я благоговею. В Трензинском преобладает скептицизм *d'une existence malquée*¹. Это — равно ни скептицизм древних, ни скептицизм Юма, а скептицизм жизни, убитой обстоятельствами, беспредельно грустный взгляд на вещи человека, которого грудь покрыта ранами незаслуженными, человека, оскорбленного в благороднейших чувствах, и между тем человека, полного силы (*eine kernhafte Natur*²). Я расскажу со временем всю жизнь его, и тогда можно будет увидеть, как он дошел до своего воззрения. Трензинский — человек по преимуществу практический, всего менее художник. Он мог смотреть на Гёте с такой бедной точки; да и должен ли был вселить Гёте уважение к себе, подавить авторитетом человека, который рядом бедствий дошел до неуважения лучших упований своей жизни? С другой стороны, люди практической сферы редко умеют свой острый ум прилагать к суждению о художниках и о их произведениях. Фридрих II, прочитав «Гёца фон-Берлихингена», сказал: «*Encore une mauvaise tragédie dans le genre anglais!*»³. Гёте простил ему это суждение от всей души.

Сверх того, не увлекаясь авторитетами, мы должны будем сознаться, что жизнь германских поэтов и мыслителей чрезвычайно односторонняя; я не знаю ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана *филистерством*. В них, при всей космополитической всеобщности, недостает целого элемента человечности, именно практической жизни; и хотя они очень много пишут, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что

¹ неудачника.

² здоровая натура.

³ «Еще одна плохая трагедия в английском духе!»

они пишут о ней, а не живут ею, доказывает их абстрактность. Просим вспомнить, для того чтоб разом увидеть все неосъятное расстояние между ими и людьми жизни, биографию Байрона... Трензинский, конечно, не мог симпатизировать с германцами и, как человек, в котором некогда была развита именно та сторона жизни, которая вовсе не развита у немцев, не мог с нею и примириться за другие стороны.

(1838—1841 гг.)



Кто виноват?

Роман в двух частях

«А случай сей за неоткрытием виновных
предать воле божией, дело же, почислив
решенным, сдать в архив».

Протокол

*Наталье Александровне Герцен
в знак глубокой симпатии
от писавшего
Москва. 1846*

«Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841) и окончил гораздо позже в Москве.

Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не *написана*, а другая — не *повесть*. В первое время моего переезда из Вятки в Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез¹.

Разумеется, что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии страшал меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, — я напечатаю твою повесть, она у меня!» По счастью, он не исполнил своей угрозы.

¹ «Былое и думы». «Полярная звезда», III, с. 95—98. (Примеч. автора.)

В конце 1840 были напечатаны в «Отечественных записках» отрывки из «Записок одного молодого человека», — «Город Малинов и малиновцы» нравились многим; что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских «Reisebilder»¹.

Зато «Малинов» чуть не навлек мне бед.

Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в г. Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него доказательства на то, что малиновцы — *пашквиль* на вятичей. Советник отвечал ему: «Тысячи; например, *а в к т о р* прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета, — ну разве не так?» Это дошло до директорши, — та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он слеп, или из ума шутит?» — говорила она. — Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня, действительно, было темное платье, но цвету *пансе*. Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, — а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета да напиши советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Ларных мог повредить Онегину.

Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?».

Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, — и с своей способностью увлекаться он, совсем напротив, переценил повесть в сто раз больше ее достоинства и писал ко мне: «Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: «Он прав, давно бы ему

¹ «Путевые картины» (нем.).

приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент и посильный каламбур».

Цензура сделала разные урезывания и вырезывания, — жаль, что у меня нет ее обрезков. Несколько выражений я вспомнил (они напечатаны курсивом) и даже целую страницу (и то, когда лист был отпечатан, и прибавил его к стр. 38¹). Это место мне особенно памятно потому, что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили.

8 июня 1859.

Park-House, Fulham.

¹ С. 87 настоящего издания.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ОСТАВНОЙ ГЕНЕРАЛ И УЧИТЕЛЬ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ К МЕСТУ

Дело шло к вечеру. Алексей Абрамович стоял на балконе; он еще не мог прийти в себя после двух-часового послеобеденного сна; глаза его лениво раскрывались, и он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом; но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил:

— Что ты?

— Покаместь ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял.

— А? (что собственно тут следует: вопросительный знак(?) или восклицательный(!) — обстоятельства не решились).

— Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить.

— А!

— Он просил сказать, когда изволите проснуться.

— Позови его.

И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее и величественнее. Через несколько минут явился казачок и доложил:

— Учитель вошел-с.

Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил:

— Что у тебя, у дурака, мука во рту, что ли? Мямлит, ничего не поймешь. — Впрочем, прибавил, не дожидаясь повторения: — Позови учителя, — и тотчас сел.

Молодой человек, лет двадцати трех-четырех, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

— Здравствуйте, почтеннейший! — сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. — Мой доктор очень хорошо отзывался об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! (При этом он свистнул.) — Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо. У-у! Когда вас оболванишь и сделаешь

похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Немчура попался пьяный, не занимался им, да и признаться, я больше его употреблял по хозяйству.— вот он жил в той комнате, что вам отвели; я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики... Эй, Вася, позови Михайла Алексеича!

Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вполне отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал:

— Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь... разумеется, насколько силы мои... впрочем, я употребляю все старания, чтоб оправдать доверие ваше... вашего превосходительства.

Алексей Абрамович перебил его:

— Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное — умение заохотить ученика, этак, шутя, понимаете? Ведь вы кончили ученье?

— Как же, я кандидат.

— Это какой-то новый чин?

— Ученая степень.

— А, позвольте, здравствуют ваши родители?

— Живы-с.

— Духовного звания?

— Отец мой уездный лекарь.

— А вы по медицинской части шли?

— По физико-математическому отделению.

— По-латынски знаете?

— Знаю-с.

— Это совершенно ненужный язык; для докторов — конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет; а нам зачем? помилуйте...

Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не перервал Михайло Алексеевич, т. е. Миша,

тринадцатилетний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший; он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид, общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне.

— Вот твой новый учитель, — сказал отец.

Миша шаркнул ногой.

— Слушайся его, учись хорошенько; я не жалею денег — твое дело уметь пользоваться.

Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким, добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтоб облегчить занятия и заохотить ученика.

— Он уже кой-чему учился, — заметил Алексей Абрамович, — у мадамы, живущей у нас; да поп учил его — он из семинаристов, наш сельский поп. Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его.

Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и, наконец, сказал:

— Скажите мне, какой предмет грамматики?

Миша посмотрел по сторонам, поковырял в носу и сказал:

— Российской грамматики?

— Все равно, вообще.

— Этому мы не учились.

— Что ж с тобой делал поп? — спросил грозно отец.

— Мы, папашенька, учили российскую грамматику до деепричастия и катехизец до таинств.

— Ну, поди, покажи классную комнату... Позвольте, как вас зовут?

— Дмитрием, — отвечал учитель, покраснев.

— А по батюшке?

— Яковлевым.

— А, Дмитрий Яковлич! Вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?

— Я ничего не пью, кроме воды.

«Притворяется!» — подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее: пятнадцать лет истинно благополучного замужества пошли ей впрок: она сделалась *Adansonia baobab* между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспанную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто от роду в первый раз уснула не вовремя, с удивле-

нием воскликнула: «Ах, боже мой! Ведь я, кажется, уснула? представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас.

Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича; он сидел, молчаливый и взволнованный, в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе; он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения; они были для него окружены каким-то нимбом; видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене московского театра, — там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять к генеральше, да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши; он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же? пойдемте-с!» — сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги; руки у него охолодели и были влажны; он сделал гигантское усилие и вошел, близкий к обмороку, в диванную; в дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар.

— Глаша, — сказал Алексей Абрамович, — рекомендую тебе — новый ментор нашего Миши.

Кандидат кланялся.

— Мне очень приятно, — сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. — Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике; мы, право, не знаем, как благодарить Семена Ивановича, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии; не угодно ли вам сесть?

— Я все сидел, — пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.

— Не стоя же ехать в кибитке! — сострил генерал.

Это замечание окончательно погубило кандидата; он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пушечного несчастия;

может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться,— как? Да и потом, вероятно, надобно было не садившись поклониться.

— Я тебе говорил,— сказал генерал вполслуха,— красная девка!

— *Le pauvre, il est à plaindre*¹,— заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои.

Глафира Львовне с первого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин: во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был *интересен*; во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных,— а она, как мы после узнаем, любила, по старой памяти, платонические мечтания; в-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию,— чувство материнское,— что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть; это кажется всего более им самим: мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем... Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; он сильно прихлебнул и обварил язык и небо, но скрыл боль с твердостью Муция Сцеволы. Это обстоятельство было благотворно для него: сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна; перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе. Против нее — для того ли, чтоб пользоваться милым *vis-à-vis*, или для того, чтоб не видеть его за самоваром,— вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович; за креслами стояла девочка лет десяти с чрезвычайно глупым видом; она выглядывала из-за отца на учителя: ее-то трепетал храбрый кандидат! Миша находился также за столом; перед ним миска кислого молока и голстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид: она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чул-

¹ Бедняжка, он достоин жалости (фр.).

ком в руке, — миньятюрная старушка, с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это французенка-мадам. У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку; возле него горничная, в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию питья чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видел, потому что оно было наклонено к пальцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не кленлся, да и когда скленлся, был как-то отрывчат, не нужен и утомителен для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги, — попала, как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного.

Но что это за люди такие — генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишинной головы настолько, чтоб мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу?

Я не умею писать повестей: может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала —

II БИОГРАФИЯ ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВ

Алексей Абрамович Негров, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда «О продолжении жизни человеческой». Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда — и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только: не расстроивал пищеварения умственными напряжениями и, может быть,

этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жестокий на деле, нельзя сказать, чтоб он был злой человек от природы; всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. Четырнадцать лет, воспитанный природой и французенкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк; получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром; военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и «находя себя неспособным продолжать службу по расстроенному здоровью», вышел в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных okazji. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, поигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и ночью словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды форейтору... Так прошло года полтора; наконец, кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, форейтор выучился сидеть на лошади и держать поводья, скука одолела Негрова; он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройств. Теория его хозяйства была очень несложна: он бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином; о крестьянах не знаю, они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками. В то же самое время староста, несколько не занимавшийся устройством деревни, доложил енаралу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отечес-

кую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича; он себе на гроб не скоро бы решился срубить дерево; но... но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старосте: «Да ты смотри у меня, рыжая бестия, за лишнее бревно — ребро». Староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее «матушкой и заступницей». Бедняжка краснела до ушей; но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках наших мало сведений о завоевании голубых глазок, о встрече с ними. Я полагаю — потому, что эти победы делаются очень просто.

Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову; он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу — это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно, — доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козю, — так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело — жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, но все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате

и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул, — свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилию после сыскал. «Спишь все, шенок, — сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто. — Поди, скажи Мишке, чтоб завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четвероместная карета, кузов мордоре-фонсе¹, гербы золотые, сукно пунцовое, басон кокликко, парадные козлы о трех чехлах.

Четвероместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила неожиданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы *pro* и *contra*² и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление: нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают: я человек близкий, да и барнинов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста, заплакала, погрузила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решила на

¹ темно-коричневого цвета с металлическим оттенком (от фр. *mor d'or* и *foncé*).

² за и против (лат.).

последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслова *полубарыней*. Через неделю их обвенчали. Когда, на другое утро, молодые пришли с конфетами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: «Учись, осел, люблю наказать, люблю и жаловать: служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство», но на лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее вслили перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась, — остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая, подавленная душа ее была хороша; она, безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного — жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унижительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись, — говорила она, — молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; пресвятая богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого... А я-то, глупая, думала: вырастет моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел, — что тебе за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом обьест... Господи боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала... Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович

приказал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая *varietas*¹ рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующий стих — словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным именем, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных опытов выйти замуж — они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но, мало-помалу, желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающимися старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец, окончательно про-

¹ разновидность (лат.).

мотавший свое имение, для поправки состояния решился на героический подвиг для того времени — женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату, — как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива: она была лишена всех радостей своего возраста, застрашена, запугана, притеснена. Эгонизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня; по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета: начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простибельны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой, — ей было уж двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли — вырваться из ада теткинна дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю, как, отырла в теткинном гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы... «Ты моя навеки!» — говорит он, сжимая пистолет, и проч. На эту тему с бесчисленными вариациями сво-

дились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «Ты моя навеки», — и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще с большим — шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сапиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера, — период, после которого девушки или тотчас надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженных собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовущее* всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья — и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра... У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кузине, — та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кузина выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кузины и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец, желанная гостья явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достоподобным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены: с

окон сняли сторы из равендука и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.

— Да для чего это, татап, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?

— Не твое дело, душечка,— отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам; она догадывалась, подзревала, не смела верить, не смела не верить... она должна была выйти на воздух, чтоб не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее... Вдруг въехала карета.

— Палашка, я умру, я умираю!— говорила молодая графиня.

— И, полноте, ваше сиятельство, кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи... Я вот всегда говорила: нашей графине быть за генералом,— извольте всех спросить.

Чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время показа и *смотра*!.. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее,— это фрак Алексея Абрамовича: она так твердо верила в его мундир и эполеты... Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться; хотя ему было под сорок, но, благодаря доброму здоровью, он сохранил себя удивительно, и, от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии; остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после *смotra* графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ее знакомые,— люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались с смертью и не сдались, где они лет тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше вас; я и не ду-

мала свою Коко так рано отдавать замуж: дитя еще; ну да, батюшка, божья воля! Человек он солидный и честный, отцом может служить ей: она так неопытна. А генеральство его и богатство — не важная вещь: и через золото слезы текут. Да и нечего сказать, я вкусила плод благочестивого воспитания моего (при этом она прикладывала к глазам платок); истинно, что делает воспитание! Можно ли было ждать от такого отца развращенного — царство ему небесное — и от купчихи такого детища? Не поверите: ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против: если вам, папаша, угодно, говорит, так я, вкусит, охотно пойду, говорит... — «Это истинно редкая девица в наш развращенный век!» — отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потом начинались сплетни и бесовестное чернение чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг воронных лошадей привез в четвероместной карете мордорефоне генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую; вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых, камердинерова жена в том числе; ее муж, как высший сапожник передней, распоряжался в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ее, и сам генерал ее, — и молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе: так или иначе, мечты ее сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай; супруг ее, в позолоченном халате из тармаламы и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к Святой: желтую или синюю; хорошо бы желтую, однако и синюю недурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайник и мечтательно склонила голову на руку; иногда румянец пробежал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец, муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал:

— Ты что-то не в духе, Глашенька; нездоровится, что ли, тебе?

— Нет, я здорова, — отвечала она, и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи.

— Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме.

Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы:

— Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу?

Алексис начал удивляться.

— Посмотрим, посмотрим, — отвечал он.

— Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилкой твоей матери.

Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением.

— Глашенька, я не люблю таких дальних обходов; я солдат: что могу — сделаю, только скажи мне просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропихивала в слезах:

— Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... я понимаю неопытность, пылкость юности (Любоньке было три года!..). Алексис, она твоя, я ее видела: у ней твой нос, твой затылок... О, я ее люблю! Пусть она будет моей дочерью, позволь мне взять ее, воспитать... и дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы! — И слезы текли обильным ручьем по тармаламе халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и, прежде нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилкой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые, малютка снова была произведена в барышни, и кровать опять переехала в бельэтаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать — матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня — ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, разodela Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка, — говорила она ей, — у тебя нет папашин, нет мамашин, я тебе буду все... Папаша твой там!» — и она указала на небо. — «Папа с крылышками», — пролепетал ребенок, — и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О небесная простота!» А дело было очень просто: на потолке, по давнопрошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. — Дуня была на вершине счастья;

она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела; ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства; она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью; она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях — и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая, — ка- жись, ей и нельзя надеть другого платья; красавица будет!» Дуня обходила все монастыри и везде служила за здравные молебны о доброй барыне.

Многие сочтут экс-графиню геронней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшею необдуманностью, — по крайней мере, равною необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина — очевидно, романтическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия; она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это... В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и за и против. Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, — тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и на счет чего бы оно ни досталось, — тот будет против нее. Любонька в людской, если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудным сном, что из этого ничего бы не вышло; вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу-другую приданого; она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по двенадцати чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков; иногда приходила бы она в гости к дво- речихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до ста лет и надеяться, что сто извозчицных дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостини — совсем иное дело: как бы глупо ее ни воспи-

тывали, она получала возможность образоваться; самая даль от грубых понятий людской — своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала m-me Негров.

Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу; на всех каретных гуляньях являлась его четверня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их наверное можно было встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели аборигинированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гулянья: как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем; как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными камнями, так и нынче непременно встретится — только кафтан постарше, борода побелес, зубы у жены почернее, — а все встретится; как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится, несколько исхудалый; как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут... От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены: дольше десяти лет он не мог протянуть, надоело и ему и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам; одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами и, не знаю, как и для чего, а полагаю — больше для всесовершеннейшего покоя, решились ехать на житье в деревню. Это случилось года четыре прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.

III. БИОГРАФИЯ ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны из мира карет мордоре-фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашнем обеде, из Москвы переехать в дальний гу-

бернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из немощных переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик с трех окнами, — домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами. Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет; а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет тридцать жил добрый, честный старик с своей женою. Жизнь его была постоянно битвою со всевозможными нуждами и лишениями; правда, он вышел довольно победоносно, т. е. не умер с голода, не застрелился с отчаяния, но победа досталась не даром: в пятьдесят лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты источили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а беспрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба с нуждою, дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокоестве, забывает о том, что у нее есть крылья, и, вечно наклоненная к земле, не подымает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным геройским подвигом на неосвещенном поприще, награда — насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора; приданое ее сверх доброй и самоотверженной души, сверх любви, которую она, по немецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального ценза. Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. Восемь лет номадной жизни вынес он; на девятый устал и начал просить по-

стоянного места, — ему дали одну из открывшихся вакансий. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе NN. Сначала он имел кой-какую практику. Хотя сапожники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по счастью, немца (кроме часовщика) под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского; тогда он купил свой домик о трех окнах, и Маргарита Карловна сюрпризом мужу, ко дню Иакова, брата господня, ночью обила старый диван и креслы ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сарра грозилась; на креслах с правой стороны были поги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а с левой — их головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домового доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни; пациентки были от него без ума; лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни — воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление материи; о Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением; словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дрянью — скипидаром, дегтем, муравьиным спиртом — и всегда выздоравливали или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «Странная вещь, ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело, а как не догадался употребить *trae opii Sydenhamii* каплей X, *solutum in aqua distillata*¹, да не поставил под ложечку сорок пять пиявок; ведь человек-то бы был жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек бы был жив. И так, мало-помалу, Круциферский был

¹ Сиденгэмовой настойки опия каплей 10, разведенных в дистиллированной воде (лат.).

сведен на одно жалованье: оно состояло, кажется, из четырехсот рублей; у него было пять человек детей; жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться, scarlatina указала ему выход: трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избегнул смерти и болезни своею необычайною слабостью; он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров. Несчастия этого ребенка начались прежде его рождения. В то время, как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастье. Губернатор возненавидел Круциферского за то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика¹. Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, геройской грустью, молча и самоотверженно ждал страшного удара, — удар прошел мимо головы его. В это тревожное время непрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны; чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его; она, кажется, делилась с ним своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один, — опора, надежда, утешение. А что же случилось с его сестрой? Ей было лет семнадцать, когда в NN стоял пехотный полк; когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком; через год писала она из Киева, просила прощенья и благословения и извещала, что подпоручик женился на ней; через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей двадцать пять рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию; он учился хорошо; вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным с своей должностью любить детей. Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протезировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу NN, отправляясь из деревни в Мос-

¹ Эти строки были вылушены ценсурой. (Примеч. автора.)

кву¹. Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор, в мундире и поддерживая шляпой шпагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась (хотя меценату до этого дела не было); ученики были развернуты правильной колонной; учителя, сильно причесанные и с крепко повязанными галстуками, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря: «Величие всегда сопровождается кротостью». Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неумолимый учитель все-таки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его: «Не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук?» Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии: «Коман пувонн ну поверь анфан ремерсиерь лилюстрь визитерь»².

Глядя по сторонам во время этой кельто-славянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве, и пр. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената уже садящегося в дормез. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал

¹ Эти строки были выпущены ценсурой. (Примеч. автора.)

² Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя (искаженное фр.: *Comment remercions-nous, pauvres enfants, remercier l'illustre visiteur*).

на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет вашего сына», — сказал и уехал, милостиво улыбувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик — в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека! Если б меценат не проезжал через город NN, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел и кормил бы он своих стариков бог знает какими доходами, — и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков: они остались одни; тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слаонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб — все покрыто черной, тяжелой завесой... Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостаает, и знает, что негде взять... Это сцены, никому неизвестные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!

Молодой Круциферский через четыре года сделался кандидатом. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований, — существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через двадцать лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки; это существования маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые,

нравственные и незаметные вне своего круга... Но будто у нас возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что нет; нашей душе не свойственна эта среда; она не может утолять жажду таким жиденьким вином: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, — но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете; потом думал пробиться частными уроками, — но все попытки были напрасны: он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях...

Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возведено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось: у него был патрон, профессор какой-то *гнозии*, принимавший в нем сердечное участие; он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил взаймы сто пятьдесят рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал; в *postscriptum'e* ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека, — так мало знал он цену людям или, лучше сказать, деньгам! Ему было очень тяжело; он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щек его; ему так живо представлялась убогая комната, и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая, — возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, — но она скрывает, чтоб не увеличить горести мужа, а тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, *обеспечены*, — принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!

В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет; черты

его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.

— Вы господин Круциферский, кандидат здешнего университета?

— Я,— отвечал Дмитрий Яковлевич,— к вашим услугам.

— А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть; я постарше вас, да и пришел пешком.

С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак; но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой (и последний) стул.

— Я,— начал посетитель с убийственной медленностью,— инспектор врачебной управы NN, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу...

Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом:

— Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича... мы с ним одного выпуска... нет, извините, он вышел годом ранее... да, годом ранее, точно,— все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот-с я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезд-де в нашу губернию, кондиции, мол, такие и такие, и вот, мол, требуют то и то. Антон-ат Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас; а потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить.

Антон Фердинандович был именно профессор-патрон: он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели,— а рекомендацию всегда был готов дать.

Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником; он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул

письмо, поконившееся в обществе кривых пожниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утроем чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом».

Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться Негровых... «Ведь вам с ними не детей крестить; будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю; жена его вечно спит,— стало, и она вас не обидит, разве во сне. Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов». Словом, торг сладился: Круциферский шел внаем за 2500 рублей в год. Инспектор был обленевшийся в провинциальной жизни человек, но однако человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в NN, и мало-помалу научился говорить с расстановкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер: в глазах его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши; ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген... и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика?» Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову; лет пятнадцать тому назад он так бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба!» — подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество: Наполеон говорил, что судьба — слово, не имеющее смысла,— оттого-то оно так и утешительно.

— Итак, мы дело сладили,— сказал, наконец, инспектор после маленького молчания,— я еду через пять дней и буду очень рад, если вы разделите со мною тапнтас.

Давно известно, что человек везде может оклиматиться, в Лапландии и Сенегалии. Потому дивиться собственно нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такою жизнью. Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного, но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всеовершеннейшая, самая многосторонняя царил в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили — трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения; какие тут цели да задние мысли... Это все из немецкой философии! Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове: так глубококомысленно курил он; но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он превнимательно всматривался, шурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел, но и это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей, рядом с казачком. Окончив куренье, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортчку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что «кончено, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами!» Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой, — мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка — в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением: слушать их казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты, разбойник! — кричал генерал. — Да тебя мало трех раз пове-

сить!» — «Воля вашего превосходительства», — отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась до появления детей здороваться; Алексей Абрамович протягивал им руку; с ними являлась миниатюрная *француженка*-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая à la Pompadour; она возвещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался жалобой Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала в правом виске непонятную, живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческого очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны, — не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страдальце и утешала ее тем, что и княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее *tic douloureux*¹. Во время чая приходил повар; благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бранить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бранил барин, как и приказчика, да, сверх того, бранила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям; несколько лет жив безвыездно в деревне, он не много успел в агрономии, нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частью не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть», — в этом у него состоял патриархальный *point d'honneur*². Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона; даже

¹ нервный тик (*фр.*).

² вопрос чести (*фр.*).

собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старосте, чтоб собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна с французенкой ехала шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей, под предводительством старухи-птичницы, барчонок и барышней, нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-генеральше, им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталость и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина — барашка, телянку, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, *повторил* и отправился прогуляться в сад; он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивая обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, т. е. часа за полтора до обеда, французенка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как — это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны: кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? — В два часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтоб убить человека, привыкшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточного количества мадеры и портвейна, в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшееся — Глафиры Львовны и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры (и заметим притом шаг вперед XIX века: в XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом); она уверяла, что в ее родине (в Лозанне) у них был виноградник и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо дольше, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила непрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда, для разнообразия,

Глафира Львовна посылала за женой сельского священника; та являлась, — какое-то дикое, несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ah, comme elle est bête, insupportable»¹. И в самом деле, попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около десяти часов, после ужина семья начинала звать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, т. е. раньше ложиться спать, — и семья расходилась. В одиннадцать часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед — Негров под другой фамилией — или старуха-тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желании отдать дочерей замуж; тогда на миг порядок жизни изменялся; но гости уезжали — и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант француженки был употребляем на то, чтоб конопатить эти дыры во времени. Надобно заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины портницей при французской труппе; муж ее был *второй любовник*, но, по несчастью, климат Петербурга оказался для него губелен, особенно после того, как, оберегая с большим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу; вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал — по очень простой причине, потому что умер. Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, т. е. лет в тридцать... поплакала, поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и т. д., — всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на всех действиях какую-то печать клиентизма и уничижения, уступала место, предупреждала желания. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой

¹ «Ах, до чего она глупа, невыносима!» (фр.)

хлеб не горек. Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи; ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гран-пасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи походов и интриг о своих *благодетелях* (так она называла всех, у кого жила при детях); повествовала их она с значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую — все равно. Алексей Абрамович еще с большим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это — клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рождениями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ах, боже мой, ведь послезавтра рождество, а кажется, давно ли выпал снег!»

Но где же во всем этом Любонька, бедная девушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсем забыли. В этом она больше нас виновата: она являлась, большею частью молча, в кругу патриархальной семьи, не принимая почти никакого участия во всем происходившем и принося самым этим явный диссонанс в слаженный аккорд прочих лиц семейства. В этой девице было много страшного: с лицом, полным энергии, сопрягались апатия и холодность, ничем не возмущаемые, по-видимому; она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафиры Львовны было это невыносимо подчас и она звала ее ледяной англичанкой, хотя андалузские свойства генеральши тоже подлежали большому сомнению. Лицом она была похожа на отца, только темно-голубые глаза наследовала она от Дуни; но в этом сходстве была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметом нового тома кудрявых фраз: жесткие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, так сказать, в лице Любоньки; по ее лицу можно было понять, что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнью и погубленные ею; ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича: человек, глядя на нее, примирялся с ним. Но отчего ж она всегда была задумчива? отчего немного веселило ее? отчего она любила

сидеть одна у себя в комнате? Много было на это причин, и внутренних и внешних, — начнем с последних.

Положение ее в доме генерала не было завидно — не потому, чтобы ее хотели гнать или теснить, а потому, что, исполненные предрассудков и лишённые деликатности, которую дает одно развитие, эти люди были бессознательно грубы. Ни генерал, ни его супруга не понимали странного положения Любоньки у них в доме и усугубляли тягость его всякой пужды, касаясь до нежнейших фибр ее сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе без намерения, глубоко оскорбляла ее, а потом он оскорблял ее и с намерением, но вовсе не понимая, как важно влияние одного слова на душу, более нежную, нежели у его управителя, и как надобно было быть осторожным ему с беззащитной девушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодетельию. Эта деликатность была невозможна для такого человека, как Негров; ему и в голову не приходило, чтоб эта девочка могла обидеться его словами, *что она такое*, чтоб обижаться? Алексей Абрамович, желая укрепить более и более любовь Любоньки к Глафире Львовне, часто повторял ей, что она всю жизнь обязана богу молить за его жену, что ей одной обязана она всем своим счастьем, что без нее она была бы не барышней, а горничной. Он в самых мелочных случаях давал ей чувствовать, что хотя она воспитывалась так же, как его дети, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лет, Негров смотрел на всякого неженатого человека как на годного жениха для нее; заседатель ли приезжал с бумагой из города, доходил ли слух о каком-нибудь мелкопоместном соседе, Алексей Абрамович говорил при бедной Любоньке: «Хорошо, кабы посватался заседатель за Любу, право, хорошо: и мне бы с руки, да и ей чем не партия? Ей не графа же ждать!» Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки, даже в иных случаях по-своему баловала ее: заставляла сытую есть, давала не вовремя варенье и проч.; но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя: «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками», — потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда, особенно когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Глафира Львовна немного переменилась к сиротке; ее начала посе-

шать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасные гонения Любоньке: несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза — толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, — будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверх красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель, тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видеть. Сверх сказанного, ее теснило и все окружающее; ее отношения к дворне, среди которой жила *ее кормилица*, были неловки. Горничные смотрели на нее как на выскочку и, преданные аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении и они почти вслух, в минуты негодования, говорили: «Холопку как ни одевай, все будет холопка: осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания с точки зрения вечности, — но прошу того сказать, кто испытал на себе ряд ничтожных, нечистых названий, оскорблений, — тот или, лучше, та пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха — злая, полубезумная и ханжа — не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матушка, — говорила она, покачивая головой, — принарядилась так? а? Скажите, пожалуйста! Да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям! Глафира Львовна, для чего вы ее так балуете? Ведь Марфушка, родная тетка ее, у меня птичницей, рабыня моя; а это с какой стати, право? Да и Алексей-то, старый грешник, постыдился бы добрых людей!» Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтоб господь бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки. Дочери тетки — три провинциальные грации, из которых старшая года два-три уже стояла на роковом двадцать девятом году, — если не говорили с такою патриархальною простотою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостоивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала,

как глубоко ее оскорбляют подобные сцены, или, лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть прежде, нежели им было указано и растолковано; но, уходя в свою комнату, она горько плакала... Да, она не могла стать выше таких обид — да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку; но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие — ей и в голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья, и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтоб *chère tante*¹ их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок.

Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному? Кроме Элизы Августовны, никто не учил ее; сама же Элиза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой, несмотря на то, что тайна французского правописания ей не далась и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в доме Негрова водилось немного, у самого Алексея Абрамовича ни одной; зато у Глафиры Львовны была библиотека: в диванной стоял шкаф, верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний — книгами; в нем было с полсотни французских романов; часть их тешила и образовывала в незапамятные времена графиню Мавру Ильинишну, остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж, — она тогда все покупала: кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком... В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг; между ними попались две-три английские, также переехавшие в деревню, несмотря на то, что не только в доме Негрова, но на четыре географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет; переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей

¹ милая тетя (фр.).

времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особенного пристрастия к чтению у ней не было: она не настолько привыкла к книгам, чтоб они ей сделались необходимыми; ей что-то все казалось вяло в них, даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития, — совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? — Это тайна женской души. Девушка или с самого начала так прилагается к окружающему ее, что уж в четырнадцать лет кокетничает, сплетничает, делает глазки просежающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар, и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери, или с необычайною легкостью освобождается от грязи и сора, побеждает внешнее внутренним благородством, каким-то откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий, напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине; нашего брата учат, учат и в гимназиях, и в университетах, и в билярдных, и в других более или менее педагогических заведениях, а все не ближе, как лет в тридцать пять, приобретаем, вместе с потерей волос, сил, страстей, ту степень развития и понимания, которая у женщины вперед идет, идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств.

Любоньке было двенадцать лет, когда несколько слов, из рук вои жестких и грубых, сказанных Негровым в минуту отеческой досады, в несколько часов воспитали ее, дали ей толчок, после которого она не останавливалась. С двенадцати лет эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; круг вопросов, возбужденных в ней, был не велик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиваться на них; ничто внешнее, окружающее не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтоб облегчить свою душу, и думала для того, чтоб понять свои мечты. Так прошло пять лет. Пять лет в развитии девушки — огромная эпоха; задумчивая, скрытно пламенная, Любонька в эти пять лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своих мыслей, упрекала себя за свое развитие — но не усыпила деятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся в груди; под конец, не имея силы посылать всего в себе, она попала на мысль, очень обыкновенную у девушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это

было нечто вроде журнала; для того, чтоб познакомить вас с нею, выписываем из этого журнала следующие строки:

«Вчера вечером сидела я долго под окном; ночь была теплая, в саду так хорошо... Не знаю, отчего мне все делается грустнее и грустнее; будто темная туча поднялась из глубины души; мне было так тяжело, что я плакала, горько плакала... У меня есть отец и мать — но я сирота: я одна-одинехонька на всем белом свете, я с ужасом чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, все любят кого-нибудь; мне все чужие, — хочу любить и не могу. Мне иногда кажется, что я люблю Алексея Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, — но я себя обманываю. Алексей Абрамович так жестко обращается со мной, он мне больше чужой, нежели Глафира Львовна; но он отец мой, — разве дети судят своего отца? разве они любят его за что-нибудь? Его любят за то, что он отец, — я не могу. Сколько раз давала я себе слово с кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Как только Алексей Абрамович становится жесток, мое сердце бьется сильнее и, кажется, если б я дала себе волю, то отвечала бы ему с той же жесткостью... Любовь мою к матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, как я узнала, что она — моя мать; мне было поздно привыкнуть к мысли, что у меня есть мать: я ее любила как кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мне неловко с ней; я должна многое скрывать, говоря с нею: это мешает, это тяготит; надобно все говорить, когда любишь; мне с нею не свободно; добрая старушка — она больше дитя, нежели я; да к тому же, она привыкла звать меня барышней, говорить мне *вы*, — это почти тяжелее грубого языка Алексея Абрамовича. Я молилась о них и о себе, просила бога, чтоб он очистил мою душу от гордости, смирил бы меня, ниспослал бы любовь, но любовь не снизошла в мое сердце».

Через неделю. — «Неужели все люди похожи на *них* и везде так живут, как в этом доме? Я никогда не оставляла дома Алексея Абрамовича, но мне кажется, что можно лучше жить даже в деревне; иногда мне невыносимо тяжело с ними, — или я одичала, сидя все одна? То ли дело, как уйду в липовую аллею да сяду на лавочке в конце ее и смотрю в даль, — тогда мне хорошо, я забываю их; не то чтоб весело, скорее грустно — но хорошо грустно... Под горою село; люблю я эти бедные избы крестьян, речку, те-

кущую возле, и рошу вдали; я целые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь — то песня раздастся вдали, то стук цепов, то лай собак и скрип телег... А тут, лишь только увидят мое белое платье, бегут ко мне крестьянские мальчишки, приносят мне землянику, рассказывают всякий вздор; и я слушаю их, и мне не скучно. Какие славные лица у них, открытые, благородные! Кажется, если б их воспитать так, как Мишу, что за люди из них вышли бы! Они приходят иногда к Мише на господский двор, только я прячусь там от них: наши дворовые и сама Глафира Львовна так грубо обращаются с ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бедняжки, стараются всем на свете услужить брату, бегают, ловят ему белок, птиц, — а он обижает их... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачет, когда рассказывают что-нибудь печальное, а иногда я удивляюсь ее жестокости; она, как будто стыдась, всегда говорит: «Они этого не понимают, с ними нельзя обходиться по-человечески, тотчас забудутся». Мне не верится: видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах! Я всегда с крестьянками говорю, как с другими, как со всеми, и они меня любят, носят мне топленое молоко, соты; правда, они мне не кланяются в пояс, как Глафире Львовне, зато встречают всегда с веселым видом, с улыбкой... Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, — а ведь те учились и все помещики, чиновники, — а такие все противные...»

Вероятно ли, чтоб девушка, воспитанная в патриархальной семье Негрова, лет семнадцати от роду, никуда не выезжавшая, мало читавшая, еще менее видевшая, так чувствовала? — За фактическую достоверность журнала отвечает совесть собиравшего документы; за психическую позволите вступить мне. Странное положение Любоньки в доме Негрова вы знаете; она, от природы одаренная энергией и силой, была оскорбляема со всех сторон двусмысленным отношением ко всей семье, положением своей матери, отсутствием всякой деликатности в отце, считавшем, что вина ее рождения падает не на него, а на нее, наконец, всей дворней, которая с свойственным лакеям аристократическим направлением, с иронией смотрела на Дуню. Куда же было деться Любоньке, отовсюду отталкиваемой? Она, может быть, бежала бы в полк или не знаю куда, если б она была мужчиной; но девушкой она бежала в самое

себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли, когда мало-помалу часть бродившего в ее душе стала оседать, когда не было удовлетворения естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, т. е. высказывать, так сказать, самой себе занимавшее ее и тем облегчить свою душу.

Немного надобно проникательности, чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским при тех обстоятельствах, при которых они встретились, даром не пройдет. Едва многолетние усилия воспитания и светская жизнь достигают до притупления в молодых людях способности и готовность любить. Любонька и Круциферский не могли не заметить друг друга: они были одни, они были в степи... Долгое время застенчивый кандидат не смел сказать с Любонькой двух слов; судьба их познакомила молча. Первое, что сблизило молодых людей, была отеческая простота в обращении Негрова с своими домашними и с прислугой. Любонька целой жизнью, как сама высказала, не могла привыкнуть к грубому тону Алексея Абрамовича; само собою разумеется, что его выходки действовали еще сильнее в присутствии постороннего; ее пылающие щеки и собственное волнение не помешали однако ж ей разглядеть, что патриархальные манеры действуют точно так же и на Круциферского, спустя долгое время и он, в свою очередь, заметил то же самое; тогда между ними устроилось тайное понимание друг друга; оно устроилось прежде, нежели они поменялись двумя-тремя фразами. Как только Алексей Абрамович начинал *шпынять* над Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилетнего Спирьку или седого, как лунь, Матюшку, страдающий взгляд Любоньки, долго прикованный к полу, невольно обращался на Дмитрия Яковлевича, у которого дрожали губы и выходили пятна на лице; он точно так же, чтоб облегчить тяжело-неприятное чувство, искал украдкой прочитать на лице Любоньки, что делается в душе ее. Они сначала не думали, куда поведут эти симпатические взгляды — их больше, нежели кого-нибудь, потому что во всем их окружавшем не было ничего, что могло бы не только перевесить, но держать в пределах, развлекать возникавшую симпатию; совсем напротив, совершенная чуждость остальных лиц способствовала ее развитию.

Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя: мне музы отказали в способности описывать любовь:

О ненависти, тебя пою!

Скажу вам вкратце, что через два месяца после водворения в доме Негрова Круциферский, от природы нежный и восторженный, был безумно, страстно влюблен в Любоньку. Любовь его сделалась средоточием, около которого расположились все элементы его жизни; ей он подчинил все: и свою любовь к родителям, и свою науку — словом, он любил, как может любить нервная, романтическая натура, любил, как Вертер, как Владимир Ленский. Долго не признавался он сам себе в новом чувстве, охватившем всю грудь его, еще более не высказывал его ей, даже не смел об этом думать, — по большей части и не следует думать: такие вещи делаются сами собою.

Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворения Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческа-да-Римини Данту, вертясь в проклятом вальсе *della bufera infernale*¹: она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали «Ивниковы журавли», все шло хорошо, но, открыв убийцу по этому делу, они перешли к «Алине и Альсиму», — тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задышав, осилил еще следующие стихи:

Когда случится жизни в цвете

Сказать лушой

Ему: ты будь моя на свете,—

остановился и зарыдал в три ручья; книга выпала у него из рук, голова склонилась — и он рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. «Что с вами?» — спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно и слезы навернулись на глазах. «Что с вами?» — повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой, неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаз, сказал ей: «Будьте, будьте моей Алиной!.. я... я...» Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою

¹ адского вихря (ит.).

руку: ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтоб остановить ее; вряд ли даже желал он этого. «Боже мой! — думал он, — что я надеялся... Но она так тихо, так кротко вынула свою руку...» И он опять плакал, как ребенок.

Вечером в тот день Элиза Августовна сказала шутя Круциферскому: «Вы, верно, влюблены? рассеяны, печальны...» Круциферский покраснел до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вам загадаю на картах?» Дмитрий Яковлевич испытал все, что может испытать злейший преступник, не знающий, что известно производящему следствие и на что он намекает. «Ну что же, хотите?» — спрашивала неотвязчивая француженка.

— Сделайте одолжение, — отвечал молодой человек.

И вот Элиза Августовна начала с какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вот дама de vos pensées¹... да вы пресчастливый: она легла возле вашего сердца!.. Поздравляю, поздравляю... возле червонный туз... она вас очень любит... Это что? — не смеет вам сказать. Да вы что за жестокий кавалер, заставляете ее страдать!!» и проч. При каждом слове Элиза Августовна устремляла на него пронизательные глазки свои и радовалась от всей души пытке, которой подвергала несчастного молодого человека. «*Pauvre jeune homme*², она вас не заставит так страдать, — ну, где же найти такую каменную душу... Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Верно, нет!» — Круциферский бледнел, краснел, синел, желтел — и, наконец, спасся бегством. Пришедши к себе в комнату, он схватил лист бумаги; сердце его билось; он восторженно, увлекательно изливал свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; он плакал, был счастлив — словом, писавши, он испытал мгновения полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие, как молния, — лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни, которого мы не умеем ценить, и вместо того, чтоб упиваться им, мы торопимся, тревожные, ожидающие все чего-то в будущем...

Окончив послание, Круциферский сошел вниз. Пили чай. Любонька не выходила из своей комнаты, у ней болела голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратил внимания. Алексей Абрамович глубокомысленно курил свою трубку (вы, вероятно, не забыли, что его вид был оптический обман). Элиза Августов-

¹ владеющая вашими помыслами (фр.).

² Бедный молодой человек (фр.).

на, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно с ним поговорить. Разговор не вязался; Миша дразнил собаку, она лаяла, — Негров велел ее выгнать; наконец, горничная с холстинными рукавами унесла самовар, Алексей Абрамович раскладывал гран-пасьянс, Глафира Львовна жаловалась на боль в голове. Круциферский вышел в залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была уж там. «Когда смеркнется, выйдите на балкон; вас будут ждать», — сказала она. Круциферский был ни жив ни мертв... Верить ли, нет ли?.. Ему назначено свиданье; может быть, она, негодующая, хочет высказать ему свой гнев, может... И он выбежал в сад; ему показалось, что вдали, в липовой аллее мелькнуло белое платье, но идти туда он не смел, он не знал даже, пойдет ли он на балкон, — да, разве для того, чтоб отдать письмо, на одну минуту — только отдать... но страшно вздумать, как взойти на балкон... Он посмотрел наверх: в углу балкона виднелось, несмотря на то, что совсем смерклось, белое платье. Это она, она, грустная, задумчивая, — она, быть может, любящая!.. И он стал на первую ступеньку лестницы, которая вела из сада на балкон. Как он достигнул, наконец, верхней, я не берусь вам передать.

— Ах, это вы? — спросила *Любонька* шепотом.

Он молчал, захлебываясь воздухом, как рыба.

— Какой вечер прекрасный! — продолжала *Любонька*.

— Простите меня, простите, бога ради! — отвечал Круциферский и рукою мертвеца взял ее руку. *Любонька* не отдергивала.

— Прочтите эти строки, — сказал он, — и вы узнаете то, о чем мне говорить так трудно...

Снова поток слез оросил его пылающие щеки. *Любонька* жала его руку; он облил слезами ее руку и осыпал поцелуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, как случилось, но уста его коснулись ее уст; первый поцелуй любви — горе тому, кто не испытал его! *Любонька*, увлеченная, сама напечатлела страстный, долгий, трепещущий поцелуй... Никогда Дмитрий Яковлевич не был так счастлив; он склонил голову себе на руку, он плакал... и вдруг... подняв ее, вскрикнул:

— Боже мой, что я наделал!

Он тут только разглядел, что это была вовсе не *Любонька*, а Глафира Львовна.

— Друг мой, успокойся! — сказала умирающая от из-

бытка жизни Негрова, но Дмитрий Яковлевич давно уже сбежал с лестницы; сойдя в сад, он пустился бежать по липовой аллее, вышел вон из сада, прошел село и упал на дороге, лишенный сил, близкий к удару. Тут только вспомнил он, что письмо осталось в руках Глафиры Львовны. Что делать? — Он рвал свои волосы, как рассерженный зверь, и катался по траве.

Для пояснения странного *qui pro quo*¹ нам надобно приостановиться и сказать несколько пояснительных слов. — Маленькие глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобщенные к делу, заметили, что с тех пор как семья Негрова увеличилась вступлением в нее Круциферского, Глафира Львовна сделалась несколько внимательнее к своему туалету; что блуза ее как-то иначе надевалась; появились всякие воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имевшая несчастье подходить под цвет остатков шелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то, что ее уже немножко подъела моль. В самом мягком и дородном лице почтенной матери семейства оказались какие-то новые черты, доселе тихо скрывавшиеся в полноте ее ланит; то улыбка — и глаза сделаются масляные, то вздох — и глаза сделаются медовые... Элиза Августовна не проронила ни одной из этих перемен; когда же она, случайно зашедши в комнату Глафиры Львовны во время ее отсутствия и случайно отворив ящик туалета, нашла в нем початую баночку *gouge végétal*², которая лет пятнадцать покоилась рядом с какой-то глазной примочкой в кладовой, — тогда она воскликнула внутри своей души: «Теперь пора и мне выступить на сцену!» В тот же вечер, оставшись наедине с Глафирой Львовной, мадам начала рассказывать о том, как одна, — разумеется, княгиня — *интересовалась* одним молодым человеком; как у нее (т. е. у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает; как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живописала ей свои волнения, свои сомнения, прося ее совета; как она разрешила ее сомнения, дала советы; как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечерним огнем своим от этих рассказней. Обыкновенно думают, что толстые люди не способны ни к какой страсти, — это не

¹ недоразумения (лат.).

² румян (фр.).

правда: пожар бывает очень продолжителен там, где много жирных веществ, — лишь бы разгорелся. А Элиза Августовна, как видите, заняла должность раздувательских мехов и раздула маленькие эротические искорки, бегавшие по Глафире Львовне, в довольно большой огонек. Она не дошла, правда, до того, чтоб Глафира Львовна ей поверила свою тайну; она имела даже великодушие не вынуждать у нее признания, потому что это было вовсе не нужно: она хотела иметь Глафиру Львовну в своей власти — и успех был несомненен. Глафира Львовна в продолжение двух недель сделала ей два подарка — купавинской фабрики плавок¹ и одно из своих шелковых платьев.

Круциферский, чистый и девственный не только в поступках, но и в самых мечтах, не догадывался, что значит предупредительная услужливость француженки, ее двусмысленные намеки и, наконец, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застенчивая рассеянность и потупленные взоры раздували более и более страсть сорокалетней женщины; странное испровержение обыкновенного отношения полов придавало особый интерес; в самом деле, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрий Яковлевич — невинной девушки, около которой злонамеренный паук начал плести свою паутину. Добрый Негров ничего не замечал, ходил по-прежнему расспрашивать садовникову жену о состоянии фруктовых деревьев, и тот же мир и совет царил в патриархальном доме Алексея Абрамовича. Теперь мы можем возвратиться на балкон.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бегства своего Иосифа и прохладив себя несколько вечерним воздухом, пошла в спальню, и, как только осталась одна, т. е. вдвоем с Элизой Августовной, она вынула письмо; ее обширная грудь волновалась; она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать и вдруг вскрикнула, как будто ящерица или лягушка, завернутая в письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничные вбежали в комнату, Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколон, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велела себе лить ее на голову... «Ah, le traître, le scélérat!»... можно ли было ожидать от этой скромницы!.. Англичанка-то наша... нет, этого хамового поколения ничем не облагородишь: ни искры благодарности, ничего!.. я отогрела змею на груди своей!» Элиза Август-

¹ Ах, изменник, злодей! (фр.)

товна была в положении одного моего знакомого чиновника, который, всю жизнь успешно плутовав, подал в отставку, будучи уверен, что его некем заменить; подал в отставку, чтоб остаться на службе,— и получил отставку: обманывая целый век, он кончил тем, что обманул самого себя. Как женщина сметливая, она поняла, в чем дело, поняла, какого маху она дала, да с тем вместе сообразила, что она и Глафира Львовна столько же в руках Круциферского, сколько он в их, сообразила, что, если ревность Глафиры Львовны раздражит его, он может уличить Элизу Августовну и, если не имеет средства доказать, то все же бросит недоверие в душу Алексея Абрамовича. Пока она обдумывала, как укротить гнев оставленной Дидоны, вошел в спальню Алексей Абрамович, зевая и осеняя крестом рот свой,— Элиза Августовна была в отчаянии.

— Алексис!— воскликнула негодующая супруга.— Никогда бы в голову мне не пришло, что случилось; представь себе, мой друг: этот скромный-то учитель — он в переписке с Любонькой, да в какой переписке,— читать ужасно; погубил беззащитную сироту!.. Я тебя прошу, чтоб завтра его нога не была в нашем доме. Помилуй, перед глазами нашей дочери... она, конечно, еще ребенок, но это может подействовать на имажинацию¹.

Алексис не был одарен способностью особенно быстро понимать дела и обсуживать их. К тому же он был удивлен не менее, как в медовый месяц после свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могиллой матери, прахом отца позволить ей взять дитя преступной любви. Сверх всего этого, Негров хотел смертельно спать; время для доклада о перехваченной переписке было дурно выбрано: человек сонный может только сердиться на того, кто ему мешает спать,— нервы действуют слабо, все находится под влиянием усталости.

— Что такое? Какая переписка у Любы?

— Да, да, переписка у Любоньки с этим студентом... Благонравница-то наша... Уж признаться, от такого рождения всегда бывают такие плоды!..

— Ну, что же в этой переписке? Стакнулись, что ли? А? Поди, береги девку в семнадцать лет; недаром все одна сидит, голова болит, да то да сё... Да я его, мошенника, жениться на ней заставляю. Что он, забыл, что ли, у кого в доме живет! Где письмо? Фу ты, пропасть какая, как мел-

¹ воображение (от фр. *imagination*).

ко писано! Учитель, а сам писать не умеет, выводит мышинные лапки. Прочти-ка, Глаша.

— Я и читать не стану таких скандалей.

— Вздор какой несет! Сорок лет бабе, а все еще туда же! Дашка, принеси очки из кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу в кабинет, принесла очки. Алексей Абрамович сел к свечке, зевнул, приподнял верхнюю губу, что придавало его носу очень почтенное выражение, прищурил глаза и начал с большим трудом, с каким-то тяжело книжным произношением читать:

«Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю вас; ваше имя Любовь...»

— Экой балясник какой!— прибавил генерал.

«...Я ничего не надеюсь, я не смею и мечтать об вашей любви; но моя грудь слишком тесна, я не могу не высказать вам, что я вас люблю. Простите мне, у ваших ног прошу вас — простите...»

— Фу ты, вздор какой! Это еще начало первой страницы... нет, брат, довольно! Покорный слуга читать белиберду такую!.. Предупредить было не ваше дело? чего смотреть? Зачем дали им стакнуться?.. Ну, да беда-то не велика, у бабы волос долог, да ум короток. Что нашли в письме? враки; а т. е. насчет того ничего нет... А замуж Любу пора, и он чем не жених? Доктор говорит, что он десятого класса. Попробуй-ка позаартачиться у меня... Утро вечера мудренее; пора спать; прощай, Лизавета Августовна, глаза зорки, а не доглядела... ну, да завтра поговорим!

И генерал стал раздеваться и через минуту захрапел, уснув с мыслию, что Круциферский у него не отвертится, что он его женит на Любе,— ему наказание, а ее пристроит к месту.

Это был день неудач. Глафира Львовна никак не ожидала, что в уме Негрова дело это примет такой оборот; она забыла, как в последнее время сама беспрестанно говорила Негрову о том, что пора Любу отдать замуж; с бешенством влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а может быть, и в самом деле кусала их.

Бедный Круциферский все это время лежал на траве; он так искренно, так от души желал умереть, что будь это во время дамского управления Парок, они бы не вытерпели и перерезали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами, преданный отчаянню и страху, страху и стыду, изнеможенный, он кончил тем, чем начал Алексей Абра-

мович, т. е. уснул. Не будь у него *febris erotica*¹, как выражался насчет любви доктор Крупов, у него непременно сделалось бы *febris catharralis*², но тут холодная роса была для него благотворна: сон его, сначала тревожный, успокоился, и, когда он проснулся часа через три, солнце всходило... Гейне совершенно прав, говоря, что это — старая штука: отсюда оно всходит, а там садится; тем не менее, эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленного — и говорить нечего. Воздух был свеж, полон особого внутреннего запаха; роса тяжелыми, беловатыми массами подавалась назад, оставляя за собою миллионы блестящих капель; пурпуровое освещение и непривычные тени придавали что-то новое, странно изящное деревьям, крестьянским избам, всему окружающему; птицы пели на разные голоса; небо было чисто. Дмитрий Яковлевич встал, и на душе у него сделалось легче; перед ним вилась и пропадала дорога; он долго смотрел на нее и думал: не уйти ли ему по ней, не убежать ли от этих людей, поймавших его тайну, его святую тайну, которую он сам уронил в грязь? Как он воротится домой, как встретится с Глафирой Львовной... лучше бы бежать! Но как же оставить ее, где найти силы расстаться с нею?.. И он тихими шагами пошел назад. Вошедши в сад, он увидел в липовой аллее белое платье; яркий румянец выступил у него на щеках при воспоминании о страшной ошибке, о первом поцелуе; но на этот раз тут была Любонька; она сидела на своей любимой лавочке и задумчиво, печально смотрела вдаль. Дмитрий Яковлевич прислонился к дереву и с каким-то вдохновенным упованием смотрел на нее. В самом деле, в эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее; ей было грустно, и грусть эта придавала нечто величественное чертам ее, энергическим, резким, юно-прекрасным. Молодой человек долго стоял, погруженный в созерцание; его взгляд был полон любви и благочестия; наконец, он решился подойти к ней. Необходимость с нею поговорить была велика; ее надобно было предупредить насчет письма. Любонька несколько смутилась, увидя Круцифферского, но тут не было никакой натяжки, ничего театрального; бросив быстро взгляд на утренний наряд свой, в котором она не ожидала встречи ни с кем, и так же быстро оправив его, она подняла спокойный, благородный взгляд на Дмитрия Яковлевича. Дмитрий Яковлевич стоял перед

¹ любовной лихорадки (лат.).

² катаральная лихорадка (лат.).

о, сложив руки на груди; она встретила взор его, умо-
яющий, исполненный любви, страдания, надежды, упое-
ния, и протянула ему руку; он сжал ее со слезами на гла-
зах... Господа! как в юности хорош человек!..

Признание, вырвавшееся по поводу «Алины и Альси-
ма», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, с
той женской проницательностью, о которой мы говорили,
чувствовала, что она любима; но это было нечто подразу-
меваемое, не названное словом; теперь слово было произ-
несено, и она вечером писала в своем журнале:

«Едва могу сколько-нибудь привести в порядок мои
мысли. Ах, как он плакал! Боже мой, боже мой! Я никогда
не думала, чтоб мужчина мог так плакать. Его взгляд ода-
рен какой-то силой, заставившей меня трепстать, и ис от
страха; его взгляд так нежен, так кроток, кроток, как его
голос... Мне так жаль его было; кажется, если б я послу-
шалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его,
поцеловала бы его для того, чтоб утешить. Он был бы сча-
стлив... Да, он любит меня; я это вижу, я сама люблю его.
Какая разница между ним и всеми, кого я видала! Как он
благороден, нежен! Он мне рассказывал о своих родите-
лях: как он их любит. Зачем он мне сказал: «Будь моей
Алиной!», у меня есть свое имя, оно хорошо; я его люблю, я
могу быть его, оставаясь собою... Достойна ли я любви его?
Мне кажется, что не могу так сильно любить! Опять эта
черная мысль, вечно терзающая меня...»

— Прощайте,— сказала Любонька,— да перестаньте
же так бояться письма; я ничего не боюсь, я знаю их.

Она пожала ему руку так дружески, так симпатично
и скрылась за деревьями. Круциферский остался. Они дол-
го говорили. Круциферский был больше счастлив, нежели
вчера несчастлив. Он вспоминал каждое слово ее, носился
мечтами бог знает где, и один образ переплетался со всеми.
Везде она, она... Но мечтам его положил предел казачок
Алексея Абрамовича, пришедший звать его к нему. Утром
в такое время его ни разу не требовал Негров.

— Что? — спросил его Круциферский с видом челове-
ка, которому на голову вылили ушат холодной воды.

— Да то-с, что к барину пожалуйте,— отвечал каза-
чок довольно грубо.

Видно было, что история письма проникла в переднюю.

— Сейчас,— сказал Круциферский, полумертвый от
страха и стыда.

Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого
сомнения, что Любонька его любит: чего ему еще? Однако

он был ни жив ни мертв от страха, да и был ни жив ни мертв от стыда; он никак не мог сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Он не мог себе представить, как встретиться с нею. Известное дело, что совершались преступления для поправки неловкости...

— А что, любезнейший,— сказал Негров, с видом величественным и приличным важному делу, его занимавшему,— а что, это у вас в университете, что ли, обучают цидулки-то любовные писать?

Круциферский молчал; он был так взволнован, что тон Негрова его не оскорблял. Этот вид, растерянный и страдающий, пришпорил храброго Алексея Абрамовича, и он чрезвычайно громко продолжал, глядя прямо в лицо Дмитрию Яковлевичу:

— Как же вы, милостивый государь, осмелились в моем доме заводить такие шашни. Да что же вы думаете об моем доме? Да и я-то что, болван, что ли? Стыдно, молодой человек, и безнравственно совращать бедную девушку, у которой ни родителей, ни защитников, ни состояния... Вот нынешний век! Оттого что всему учат вашего брата — грамматике, арифметике, а морали не учат... Ославить девушку, лишить доброго имени...

— Да помилуйте,— отвечал Круциферский, у которого мало-помалу негодование победило сознание нелепого своего положения,— что же я сделал? Я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, вероятно, потому, что отца звали Алексеем, а камердинера, мужа ее матери, Аксёном) и осмелился высказать это. Мне самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей любви,— я не знаю, как это случилось; но что же вы находите преступного? Почему вы думаете, что мои намерения порочны?

— А вот почему: если б вы имели честные намерения, так вы бы не стали с толку сбивать девушку своими биледами¹, а пришли бы ко мне. Вы знаете, по плоти я ей отец, так вы бы и пришли ко мне, да и попросили бы моего согласия и позволения; а вы задним крыльцом пошли, да и попались,— прошу на меня не пенять, я у себя в доме таких романов не допущу; мудреное ли дело девке голову вскружить! Нет, не ожидал я от вас; вы мастерски прикидывались скромником; и она-то отличилась, поблагодарила за воспитание и за попечение! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

¹ любовными записками (от фр. *billet doux*).

— Письмо в ваших руках,— заметил Круциферский,— вы из него можете увидеть, что оно первое.

— Первый блин, да комом. А что, в этом первом письме вы просите ее руки, что ли?

— Я не смел и думать.

— Как это на одно так смелы, а на другое робки? С какою же целью вы писали мышиные лапки на целом почтовом листе кругом?

— Я, право,— отвечал Круциферский, пораженный словами Негрова,— не смел и думать о руке Любови Александровны: я был бы счастливейший из смертных, если б мог надеяться...

— Красноречие — вот вас этому-то там учат, морочить словами! А позвольте вас спросить: если б я и позволил вам сделать предложение и был бы не прочь выдать за вас Любу,— чем же вы станете жить?

Негров, конечно, не принадлежал к особенно умным людям, но он обладал вполне нашей национальной сноровкой, этим особым складом практического ума, который так резко называется: себе на уме. Выдать Любу замуж за кого бы то ни было — было его любимую мечтою, особенно после того, как почтенные родители заметили, что при ней милая Лизонька теряет очень много. Гораздо прежде письма Алексею Абрамовичу приходило в голову женить Круциферского на Любоньке да и пристроить его где-нибудь в губернской службе. Мысль эта явилась на том основании, на котором он говорил, что если секретарик добренький подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло в голову, когда он открыл любовь Круциферского,— заставить его жениться; он думал, что письмо было шалостью, что молодой человек не так-то легко надеет на себя ярмо брачной жизни; из ответов Круциферского Негров ясно видел, что тот жениться не прочь, и потому он тотчас переменял сторону атаки и завел речь о состоянии, боясь, что Круциферский, решаясь на брак, спросит его о приданом.

Круциферский молчал; вопрос Негрова придавил чужинной плитой его грудь.

— Вы,— продолжал Негров,— вы не ошибаетесь ли насчет ее состояния? У нее ничего нет и ждать неоткуда: конечно, из моего дома я выпущу ее не в одной юбке, но, кроме тряпья, я не могу ничего дать: у меня своя невеста растет.

Круциферский заметил, что вопрос о приданом совершенно чужд для него. Негров был доволен собою и думал

про себя: «Вот настоящая овца, а еще ученый!».

— Вот то-то, любезнейший; с конца добрые люди не начинают. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать с толку, надобно бы подумать, что вперед; если вы в самом деле ее любите да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущем устройстве?

— Что мне делать? — спросил Круциферский голосом, который потряс бы всякого человека с душою.

— Что делать? Ведь вы — классный чиновник да еще, кажется, десятого класса. Арифметику-то да стихи в сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить — надобно быть полезным; подите-ка на службу в казенную палату: вице-губернатор нам свой человек; со временем будете советником, — чего вам больше? И кусок хлеба обеспечен, и почетное место.

Отроду Круциферскому не приходило в голову идти на службу в казенную или в какую бы то ни было палату; ему было так же мудрено себя представить советником, как птицей, ежом, шмелем или не знаю чем. Однако он чувствовал, что в основе Негров прав; он так был непроницателен, что не сообразил оригинальной патриархальности Негрова, который уверял, что у Любоньки ничего нет и что ей ждать неоткуда, и вместе с тем распорядился ее рукой, как отец.

— Я мог бы лучше занять место учителя гимназии, — сказал, наконец, Дмитрий Яковлевич.

— Ну, это будет поплоче. Что такое учитель гимназии? Чиновник и нет, и к губернатору никогда не приглашают, разве одного директора, жалованье бедное.

Последняя речь была произнесена обыкновенным тоном; Негров совершенно успокоился насчет негоциации и был уверен, что Круциферский из его рук не ускользнет.

— Глаша! — закричал Негров в другую комнату. — Глаша!

Круциферский помертвел: он думал, что последний поцелуй любви для Глафиры Львовны так же был важен и поразителен, как для него первый поцелуй, попавшийся не по адресу.

— Что тебе? — отвечала Глафира Львовна.

— Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себе гордую и величественную мину, которая, разумеется, к ней не шла и которая худо скрывала ее замешательство. По несчастию, Круциферский не мог этого заметить: он боялся взглянуть на нее.

— Глаша! — сказал Негров. — Вот Дмитрий Яковлевич просит Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, как дочь родную, и имеем право располагать ее рукою; ну, а все же не мешает с нею поговорить; это твое женское дело.

— Ах, боже мой! вы сватаетесь? какие новости! — сказала с горечью Глафира Львовна. — Да это сцена из «Новой Элоизы»!

Если б я был на месте Круциферского, то сказал бы, чтоб не отстать в учености от Глафиры Львовны: «Да-с, а вчерашнее происшествие на балконе — сцена из «Фоблаза». — Круциферский промолчал.

Негров встал в ознаменование конца заседания и сказал:

— Только прошу не думать о Любонькиной руке, пока не получите места. После всего советую, государь мой, быть осторожным; я буду иметь за вами глаза да и глаза. Вам почти и оставаться-то у меня в доме неловко. Навязали и мы себе заботу с этой Любонькой!

Круциферский вышел. Глафира Львовна с величайшим пренебрежением отзывалась о нем и заключила свою речь тем, что такое холодное существо, как Любонька, пойдет за всякого, но счастья не может доставить никому.

На другой день утром Круциферский сидел у себя в комнате, погруженный в глубокую думу. Едва прошли двое суток после чтения «Алины и Альсима», и вдруг он почти жених, она его невеста, он идет на службу... Что за странная власть рока, которая так распоряжается его жизнью, подняла его на верх человеческого благополучия, и чем же? Подняла тем, что он поцеловал одну женщину вместо другой, отдал ей чужую записку. Не чудеса ли, не сон ли все это? Потом он припоминал опять и опять все слова, все взгляды Любоньки в липовой аллее, и на душе у него становилось широко, торжественно.

Вдруг послышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лестнице, которая вела к нему в комнату. Круциферский вздрогнул и с каким-то полустрахом ждал появления лица, поддерживаемого такими тяжелыми шагами. Дверь открылась, и вошел наш старый знакомый, доктор Крупов; появление его весьма удивило кандидата. Он всякую неделю ездил раз, а иногда и два к Негрову, но в комнату Круциферского никогда не ходил. Его посещение предвещало что-то особенное.

— Этакая проклятая лестница! — сказал он, задыха-

ясь и обтирая белым платком пот с лица.— Нашел же Алексей Абрамович для вас компань.

— Ах, Семен Иванович! — произнес быстро кандидат и покраснел бог знает почему.

— Ба! — продолжал доктор.— Да какой вид из окон! Это вон вдали-то белеется дубасовская церковь, что ли, вот вправо-то?

— Кажется; наверное, впрочем, не знаю,— отвечал Круциферский, пристально посмотрев налево.

— Студент, неизлечимый студент! Ну, как живете вы здесь месяцы и не знаете, что из окна видно. Ох, молодцы!.. Ну, дайте-ка вашу руку пощупать.

— Я, слава богу, здоров, Семен Иванович.

— Вот вам и слава богу,— продолжал доктор, подержав руку Круциферского,— я знал это: усиленный и неравномерный. Позвольте-ка... раз, два, три, четыре... лихорадочный, жизненная деятельность сильно поднята. Вот с таким-то пульсом человек и рсшается на всякие глупости: бейся пульс ровно, тук, тук, тук, никогда бы вы не дошли до этого. Мне там, внизу, почтеннейший мой, говорят: «Хочет-де жениться»,— ушам не верю; ну, ведь малый, думаю, не глупый, я же его и из Москвы привез... не верю; пойду, посмотрю; так и есть: усиленный и неравномерный; да при этом пульсе не только жениться, а черт знает каких глупостей можно наделать. Ну, кто же в лихорадочном состоянии решится на такой важный шаг? Подумайте. Полечитесь прежде, приведите орган мышления, т. е. мозг, в нормальное состояние, чтоб кровь-то ему не мешала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вам кровь, ну, так, чайную чашечку с половинкой?

— Покорнейше благодарю; я не чувствую никакой нужды.

— Где же вам знать, что нужно и что нет: ведь вы медицине совсем не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопусканья, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дам.

— Я вам очень благодарен за участие, но должен предупредить вас, что я здоров и вовсе не шутя, а в самом деле хочу (здесь он запиулся)... жениться и не понимаю, что вы имеете против моего благополучия.

— Очень многое! — Старик сделал пресерьзное лицо.— Я вас люблю, молодой человек, и потому жалею. Вы, Дмитрий Яковлевич, на закате моих дней напомнили мне мою юность, много прошедшего напомнили; я вам желаю добра, и молчать теперь мне показалось преступлением.

Ну, как вам жениться в ваши лета? Ведь это Негров вас надул... Вот видите ли, как вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я вас заставлю выслушать меня: лета имеют свои права...

— О, нет, Семен Иванович,— сказал молодой человек, несколько смешавшись от слов старика,— я понимаю, что из любви ко мне, из желания добра вы высказываете свое мнение; мне жаль только, что оно несколько излишне, даже поздно.

— О, если б только то вы имели против моего мнения, это — сущая безделица; никогда не поздно остановиться. Брак... у-у какое тяжелое дело! Беда в том, что одни те и не думают, что такое брак, которые вступают в него, т. е. после-то и раздумают на досуге, да поздненько: это все — *lebris erotica*; где человеку обсудить такой шаг, когда у него пульс бьется, как у вас, любезный друг мой? Вы понтируете на все свое состояние: может быть, и удастся сорвать банк, может... да какой же умный человек будет рисковать? Ну, да в картах сам виноват, сам и наказан: по делам вору мука. А в женитьбе непременно с собою топишь еще человека. Эй, Дмитрий Яковлевич, подумай! Я верю, что вы ее любите, что и она вас любит, но это ничего не значит. Будьте уверены, что любовь пройдет в обоих случаях: уедете куда-нибудь — пройдет; женитесь — еще скорее пройдет; я сам был влюблен, и не раз, а раз пять, но бог спас; и я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю от своих трудов; день я весь принадлежу моим больным, вечером в вистик сыграешь да и ляжешь себе без заботы... А с женою хлопоты, крик, дети, да весь мир погибай, кроме моей семьи! Трудно жить на месте, трудно перебираться; пойдут мелкие сплетни, вертись около своего очага, книгу под лавку; надобно думать о деньгах, о запасах. Теперь, хоть бы об вас молвить: придет иной раз нужда — что за беда, всякое бывает! Мы, бывало, с Антоном Фердинандовичем, — знакомый вам человек, — денег какой-нибудь рубль, а есть и курить хочется, — купим четверку «фалеру», так уж, кроме хлеба, ничего и не едим, а купим фунт ветчины, так уж не курим, да оба и хохочем над этим, и все ничего; а с женой не то: жену жаль, жена будет реветь...

— О, нет! Эта девушка, наверное, найдет силы перенести нужду. Вы ее не знаете!

— Это-то, любезнейший, еще хуже; как бы очень-то начала кричать, рассердит, по крайней мере, плюнешь да и прочь пойдешь; а как будет молчать да худеть, а ты то

себе: «Бедная, за что я тебя стащил на антониеву пищу»... Поломаешь голову, как бы достать денег. Ну, честным путем, брат, не разживешься, плутовать не станешь,— вот ты подумаешь, подумаешь да для освежения головы ихватишь горьконького; оно ничего — я сам употребляю желудочную,— а знаешь, как вторую с горя-то да третью... понимаешь? Ну, да, положим, что и будет кусок хлеба... т. е. не больше; ведь она хоть и дочь Негрову, а Негров-то хоть и богат, да ведь я его знаю — не разгуляется! Вот за дочерью-то он приготовил пятьсот душ, ну, а Любоньке разве пять тысяч рублей даст,— что за капитал?.. Ох, жаль мне тебя, Дмитрий Яковлевич! Ну, пусть другие, которые лучшего ничего из себя не сделают,— ты-то бы поберег себя. Я бы предложил вам другое место; поскорее отсюда вон — любовь-то и порассеялась бы; у нас в гимназии открылась хорошая ваканция. Не ребячься, будь мужчиной!

— Право, Семен Иванович, я благодарен вам за участие; но все это совершенно лишнее, что вы говорите: вы хотите застрашать меня, как ребенка. Я лучше расстанусь с жизнью, нежели откажусь от этого ангела. Я не смел надеяться на такое счастье; сам бог устроил это дело.

— Эк его! — сказал неумолимый Крупов. — А все я его погубил: ну, зачем было рекомендовать в этот дом! Бог устроил — как же! Негров тебя надул да твоя молодость. Так и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрий Яковлевич, долго жил на свете и не похвастаюсь умом, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведет нас не в гостиную, не в залу, а в кабинет да в спальню. Я много видел на своем веку людей и ни одного не пропускал, чтоб не рассмотреть его на обе корки. Вы ведь все людей видите в ливреях да в маскарадных платьях — а мы за кулисы ходим; нагляделся я на семейные картины; стыдиться-то тут некого, люди тут нараспашку, без церемонии. Homo sapiens¹ — какой sapiens, к черту! — fergus²; зверь, самый дикий, в своей берлоге кроток, а человек в берлоге-то своей и делается хуже зверя... К чему, бишь, я это начал?.. да... да... ну, так я привык такие характеры разбирать. Не пара тебе твоя невеста, уж что ты хочешь,— эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу,— она тигренок, который еще не знает своей силы; а ты — да что ты? Ты — невеста; ты, братец, немка; ты будешь жена,— ну, годно ли это?

¹ Человек разумный (лат.).

² дикий (лат.).

Круциферский обиделся последней выходкой и, против своего обыкновения, довольно холодно и сухо сказал:

— Есть случаи, в которых принимающие участие помогают, а не читают диссертации. Может быть, все то, что вы говорите, правда, — я не стану возражать; будущее, — дело темное; я знаю одно: мне теперь два выхода, — куда они ведут, трудно сказать, но третьего нет: или броситься в воду, или быть счастливейшим человеком.

— Лучше броситься в воду: разом конец! — сказал Крупов, тоже несколько оскорбленный, и выпул *красный* платок.

Разговор этот, само собою разумеется, не принес той пользы, которой от него ждал доктор Крупов; может быть, он был хороший врач тела, но за душевные болезни принимался неловко. Он, вероятно, по собственному опыту судил о силе любви: он сказал, что был несколько раз влюблен, и, следовательно, имел большую практику, но именно потому-то он и не умел обсудить такой любви, которая бывает один раз в жизни.

Крупов ушел рассерженный и вечером того дня за ужином у вице-губернатора декламировал полтора часа на свою любимую тему — бранил женщин и семейную жизнь, забыв, что вице-губернатор был женат на третьей жене и от каждой имел по несколько человек детей. Слова Крупова почти не сделали никакого влияния на Круциферского, — я говорю, *почти*, потому что неопределенное, неясное, но тяжелое впечатление осталось, как после зловшего крика ворона, как после встречи с покойником, когда мы торопимся на веселый пир. Все это изгладилось, само собою разумеется, при первом взгляде Любоньки.

— Повесть, кажется, близка к концу, — говорите вы, разумеется.

— Извините, она еще не начиналась, — отвечаю я с должным почтением.

— Помилуйте, остается послать за священником!

— Да-с, но ведь я считаю концом, когда за священником посылают, чтоб он соборовал маслом, да и то иной раз не конец. А когда служитель церкви является с тем, чтоб венчать, то это начало совсем новой повести, в которой только те же лица. Они не замедлят явиться перед вами.

В***,— впрочем, нет никакой необходимости астрономически и географически точно определять место и время,— в XIX столетии были в губернском городе NN дворянские выборы. Город оживлялся; часто были слышны бубенчики и скрип дорожных экипажей; часто были видны помещичьи зимние повозки, кибитки, возки всех возможных видов, набитые внутри всякою всячиною и украшенные снаружи целой дворней, в шинелях и тулупах, подвязанных полотенцами; часть ее обыкновенно городом шла пешком, кланялась с лавочниками, улыбалась стоящим у ворот товарищам; другая спала во всех положениях человеческого тела, в которых неудобно спать. Мало-помалу помещичьи лошади перевезли почти всех главных действующих лиц в губернию, и отставной корнет Дрягалов был уж налицо и украшал пунцового цвета занавесами окна своей квартиры, нанятой на последние деньги; он ездил в пять губерний на все выборы и на главнейшие ярмарки и нигде *не проигрывался*, несмотря на то, что с утра до ночи играл в карты, и не наживался, несмотря на то, что с утра до ночи выигрывал. И отставной генерал Хрящов, славившийся музыкантами, богач, наездник, несмотря на 65 лет, был налицо; он являлся на выборы давать четыре бала и всякий раз отказываться болезнью от места губернского предводителя, которое всякий раз предлагали ему благодарные дворяне. В гостиных начали появляться странные фракки, покоившиеся целое трехлетие, переложенные табачным листом, с бархатными воротниками, изменившимися в цвете и сохранившими какую-то отчаянную форму; вместе с ними явились и странные мундиры всех времен: и милиционные, и с двумя рядами пуговиц, и однобортные, и с одной эполетой, и совсем без эполет. С утра до ночи делались визиты; три года часть этих людей не видалась и с тяжелым чувством замечала, глядя друг на друга, умножение седых волос, морщин, худобы и толщины; те же лица, а будто не те: гений разрушения оставил на каждом свои следы; а со стороны, с чувством, еще более тяжелым, можно было заметить совсем противоположное, и эти три года так же прошли, как и тридцать, как и тридцать лет, предшествовавшие им...

Во всем городе только и говорили о кандидатах, обедах, уездных предводителях, балах и судьях. Правитель

канцелярии гражданского губернатора третий день ломал голову над проектом речи; он испортил две дести бумаги, писав: «Милостивые государи, благородное NN-ское дворянство!..», тут он останавливался, и его брало раздумье, как начать: «Позвольте мне снова в среде вашей» или «Радуюсь, что я в среде вашей снова»... И он говорил старшему помощнику:

— Ах, Куприян Васильевич, самое запутанное уголовное дело легче в семьсот раз разобрать, нежели написать речь!

— Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовые сочинения»; там, я помню, есть речи.

— Славная мысль!— сказал правитель дел, страшно больно хлопнув по плечу своего помощника.— Ай да Куприян Куприянович!

Правитель дел думал, что очень остро называть человека раз по батюшке да раз по самому себе. И он в тот же вечер составил несколько строк, руководствуясь речью князя Холмского из «Марфы Посадницы» Карамзина.

Среди этих всеобщих и трудных занятий вдруг внимание города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому неизвестное лицо,— лицо, которого никто не ждал, ни даже корнет Дряглов, ждавший всех,— лицо, о котором никто не думал, которое было вовсе не нужно в патриархальной семье общинных глав, которое свалилось, как с неба, а в самом деле приехало в прекрасном английском дормезе. Лицо это было отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов; чего у него недовешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения; это-то имение, Белое Поле, очень подробно знали избирасмые и избиратели; но владелец Белого Поля был какой-то миф, сказочное, темное лицо, о котором повествовали иногда всякие несбыточности, так, как повествуют о далеких странах, о Камчатке, о Калифорнии,— вещи страшные для нас, невероятные. Несколько лет тому назад говорили, например, что Бельтов, только что вышедший из университета, попал в милость к министру; потом, вслед за тем, говорили, что Бельтов рассорился с ним и вышел в отставку, назло своему покровителю. Этому не верили. Есть лица, о которых в провинциях составлено окончательное и определенное понятие; с этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно им свидетелемствовать почтение; вероятно ли, что Бельтов ос-

мелился?.. Нет, разве навлек на себя справедливый гнев, разве проигрался в карты, или спился, или увез у кого-нибудь дочь, т. е. не у особы какой-нибудь, а так, дочь чью-нибудь. Потом сказывали, что он уехал во Францию; к этому догадливые и ученые прибавляли, что он никогда не воротится, что он принадлежит к масонской ложе в Париже и что ложа назначила его совестным судьей в Америку. «Весьма вероятно!— говорили многие.— Он с малых лет был как брошенный; отец его умер, кажется, в тот год, в который он родился; мать — вы знаете какого происхождения; притом женщина пустая, *экзальте*, да и губернёр им попался преразвращенный, никому не умел оказывать должного». Сверх того, этим объясняли, почему он так запустил хозяйство, хотя мужики его славятся богатством и ходят в сапогах. Наконец, года три совсем о нем не говорили, и вдруг это странное лицо, совестный судья от парижской масонской ложи в Америке, человек, ссорившийся с теми, которым надобно свидетельствовать глубочайшее почтение, уехавший во Францию на веки веков,— явился перед NN-ским обществом, как лист перед травой, и явился для того, чтоб приискивать себе голоса на выборах. Во всем этом было чрезвычайно много непонятного для NN-ских жителей. Что за странное предпочтение губернской службы столичной? Что за странное предпочтение службы по выборам? Потом: Париж — и чин губернского секретаря... Ну, было над чем потрудиться и без того занятым NN-цам.

Сильнейшая голова в городе был бесспорно председатель уголовной палаты; он решал окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество; к нему ездили совещаться о семейных делах; он был очень учен, литератор и философ. У него был только один соперник — инспектор врачебной управы Крупов, и председатель как-то действительно конфузился при нем; но авторитет Крупова далеко не был так всеобщ, особенно после того, как одна дама губернской аристократии, очень чувствительная и не менее образованная, сказала при многих свидетелях: «Я уважаю Семена Ивановича; но может ли человек понять сердце женщины, может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и, может быть, касался до них рукою?»— Все дамы согласились, что не может, и решили единогласно, что председатель уголовной палаты, не имеющий таких свирепых привычек, один способен решать вопросы нежные,

где замешано сердце женщины, не говоря уже о всех прочих вопросах. Само собою разумеется, что одна мысль блеснула почти у всех, когда явился Бельтов: что-то скажет Антон Антонович насчет его приезда?— Но Антон Антонович был не такой человек, к которому можно было так вдруг адресоваться: «Что вы думаете о г. Бельтове?» Далеко нет; он даже, как нарочно (а весьма может быть, что и в самом деле нарочно), три дня не был видим ни на висте у вице-губернатора, ни на чае у генерала Хряшова. Всех любопытнее, с своей стороны, и всех предпримчивее в городе был один советник с Анною в петлице, употреблявший чрезвычайно ловко свой орден, так, что как бы он ни сидел или ни стоял, орден можно было видеть со всех точек комнаты. Этот носитель ордена св. Анны в петлице решился в воскресенье от губернатора (у которого он не мог не быть в воскресные и праздничные дни) заехать на минуту в собор и, если председателя там нет, ехать прямо к нему. Подъезжая к собору, советник спросил квартального поручика: тут ли председательские сани?— «Никак нет-с,— отвечал квартальный,— да, должно быть, их высокородие и не будут: потому что сейчас я видел, их кучер Пафнушка шел в питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важным советнику: не поедет же Антон Антонович в кафедральный собор, подумал он, на одной лошади, а где же Никешке-форейтору справиться с парой буланых! И он, не заходя уж в собор, отправился к председателю.

Председатель, вовсе не ожидая посещения, сидел в своем домашнем костюме, состоявшем из какой-то длинной вязаной куртки, из широких панталон и валяных сапогов на ногах. Он был не велик ростом, широкоплеч и с огромной головой (ум любит простор); все черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознания своей силы. Он обыкновенно говорил протяжно, с ударением, так, как следует говорить мужу, вершающему окончательно все вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивал его, он останавливался, ждал минуту-две и потом повторял снова с нажимом последнее слово, продолжая фразу точно в том же духе и характере, в каком начал. Возражений он не мог терпеть, да и не приходилось никогда их слышать ни от кого, кроме доктора Крупова; остальным и в голову не приходило спорить с ним, хотя многие и не соглашались; сам губернатор, чувствуя внутри себя все

превосходство умственных способностей председателя, отзывался о нем как о человеке необыкновенно умном и говорил: «Помилуйте, ему не председателем быть уголовной палаты, повыше бы мог подняться. Какие сведения! Да и потом вы послушайте его рассуждения — это просто Массильон! Он много по службе потерял, посвящая большую часть времени чтению и наукам». — Итак, этот-то господин, много потерявший из любви к наукам, сидел в куртке перед своим письменным столом; подписав разные протоколы и выставив в пустом месте достоподобное *число ударов* за корчемство, за бродяжество и т. п., он досуха обтер перо, положил его на стол, взял с полочки книгу, переплетенную в сафьян, раскрыл ее и начал читать. Мало-помалу у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтение продолжалось недолго; явился на сцену советник с Анной в петлице.

— А я-с как беспокоился на ваш счет, ей-богу! К губернатору поздравить с праздником приехал, — вас, Антон Антонович, нет; вчера не изволили на висте быть; в собор — ваших саней нет; думаю — не ровен час, ведь могли и занемочь; всякий может занемочь... от слова ничего не сделается. Что с вами? Ей-богу, я так встревожился!

— Покорнейше вас благодарю; я, слава всевышнему, не жалею о здоровье; я вас прошу занять место, почтеннейший господин советник.

— Ах, Антон Антонович! Я, кажется, помешал вам: вы изволили читать.

— Ничего, мой почтеннейший, ничего; у меня есть время для муз и есть для добрых приятелей.

— Вот-с, Антон Антонович! Я полагаю, насчет новеньких книжек, можно теперь вам поснабдиться...

— Не люблю новых, — прервал председатель дипломата-советника, — не люблю-с новых книг. Вот и теперь перечитывал «Душеньку» в сотый раз и, истинно уверяю вас, с новым удивительным наслаждением. Какая легкость, какое *вроуение*! — Да, Ипполит Федорович не завещал никому таланта.

Тут председатель прочел:

Злоумна ненависть, судя повсюду строго,

Очей имеет много,

И видит сквозь покров закрытые дела.

Вотще от сестр своих царевна их скрывала.

И день, и два, и три притворство продолжала,
Как будто бы она супруга вявья ждала.
Сестры темнили вид, под чем он был неясен,
Чего не вымыслит коварная хула?
Он был, по их речам, и страшен и злонаравен.

— Вот-с,— перебил в свою очередь советник,— это точно слово в слово, как у нас теперь говорят об вояжере, посетившем наш город; охота, право, пустословить.

Председатель посмотрел на него строго, и как будто ничего не видал и не слышал, продолжал:

Он был, по их речам, и страшен и злонаравен
И, верно, Душенька с чудовищем жила.
Советы скромности в сей час она забыла,
Сестры ли в том виной, судьба ли то иль рок.
Иль Душенькин то был порок,
Она, вздохнув, сестрам открыла,
Что только тень одну в супружестве любила.
Открыла, как и где приходит тень на срок,
И происшества подробно рассказала,
Но только лишь сказать не знала,
Каков и кто ее супруг,
Колдун, иль змей, иль бог, иль дух.

— Вот эти стихи не звук пустой, а стихи с душою и с сердцем. Я, мой почтеннейший господин советник, по слабости ли моих способностей или по недостатку светского образования, не понимаю новых книг, с Василия Андреевича Жуковского начиная.

Советник, который отроду ничего не читал, кроме резолюций губернского правления, и то только своего отделения,— по прочим он считал себя обязанным высшей деликатностью подписывать, не читая,— заметил:

— Без сомнения; а вот я полагаю, что приезжие из столицы не так думают.

— Что нам до них!— ответил председатель.— Знаю и очень знаю, все *повременные* издания ныне хвалят Пушкина; читал я и его. Стихи гладенькие, но мысли нет, чувства нет, а для меня, когда здесь нет (он ошибкою показал на правую сторону груди), так одно пустословие.

— Я сам чрезвычайно люблю чтение,— прибавил советник, которому никак не удавалось овладеть предметом разговора,— да времени совсем не имею: утро провожусь с проклятыми бумагами, в делах правления истинно мало пищи уму и сердцу, а вечером бостончик, вистик.

— Кто хочет читать,— возразил, воздержно улыбаясь, председатель,— тот не будет всякий вечер сидеть за картами.

— Конечно, так-с; вот, например, говорят об этом-с Бельтове, что он в руки карт не берет, а все читает.

Председатель промолчал.

— Вы, верно, изволили слышать об его приезде?

— Слышал что-то подобное,— отвечал небрежно философ-судия.

— Говорят, страшной учености; вот-с будет вам пару, право-с; говорят, что даже по-итальянски умеет.

— Где нам,— возразил с чувством собственного достоинства председатель,— где нам! Слыхали мы о г. Бельтове: и в чужих краях был, и в министерствах служил; куда нам, провинциальным медведям! А впрочем, посмотрим. Я лично не имею чести его знать, он не посещал меня.

— Да он и у его превосходительства не был-с, а ведь приехал, я думаю, дней пять тому назад... Точно, сегодня в обед будет пять дней. Я с Максимом Ивановичем обедал у полицеймейстера, и, как теперь помню, за пудиком услышали мы колокольчик; Максим Иванович, знаете его слабость,— не вытерпел: «Матушка, говорит, Вера Васильевна, простите», подбежал к окну и вдруг закричал: «Карета шестерней, да какая карета!» Я к окну: точно, карета шестерней, отличнейшая,— Иохима, должно быть, работы, ей-богу. Полицеймейстер сейчас унтера... «Бельтов-де из Петербурга».

— Мне, сказать откровенно,— начал председатель несколько таинственно,— этот господин подозрителен: он или промотался, или в связях с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащится 900 верст на выборы, имея 3000 душ!

— Конечно-с, сомнения нет. Признаюсь, дорого дал бы я, чтобы вы его увидели: тогда бы тотчас узнали, в чем дело. Я вчера после обеда прогуливался,— Семен Иванович для здоровья приказывает,— прошел так раза два мимо гостиницы; вдруг выходит в сени молодой человек,— я так и думал, что это он, спросил полового, говорит: «Это — камердинер». Одет, как наш брат, нельзя узнать, что человек... Ах, боже мой, да у вашего подъезда оставилась карета!

— Что ж вас это удивляет?— возразил стоический

председатель.— Меня нередко посещают добрые знакомые.

— Да-с; но, может быть...

В эту минуту вошла в комнату толстая, румяная горничная в глубоком дезабилье, и сказала: «Приехал какой-то помещик в карете; я его не видала прежде, принимать, что-ли?»

— Подай мне халат,— сказал председатель,— и проси...

Что-то вроде улыбки показалось на лице его в то время, как он облесался в свой шелковый халат цвета лягушечьей спинки. Советник встал со стула и был в сильном волнении.

Человек лет тридцати, прилично и просто одетый, вошел, учтиво кланяясь хозяину. Он был строен, худощав, и в лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей, которые, кажется, не обуздывались. Председатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся с кресел и показывал, стоя на одном месте, вид, будто он идет навстречу.

— Я — здешний помещик Бельтов, приехал сюда на выборы и счел себя обязанным познакомиться с вами.

— Чрезвычайно рад,— сказал председатель,— чрезвычайно рад и прошу покорнейше, милостивый государь, занять место.

Все сели.

— Недавно изволили приехать?

— Дней пять тому назад.

— Откуда?

— Из Петербурга.

— Ну, вам после столичного шума будет очень скучно в монотонной жизни маленького провинциального городка.

— Не знаю; но, право, не думаю; мне как-то в больших городах было очень скучно.

Оставимте на несколько минут, или на несколько страниц, председателя и советника, который, после получения Анны в петлицу, ни разу не был в таком восторге, как теперь: он пожирал сердцем, умом, глазами и ушами приезжего; он все высмотрел: и то, что у него жилет был не застегнут на последнюю пуговицу,

и то, что у него в нижней челюсти с правой стороны зуб был выдернут, и проч., и проч. Оставимте их и займемтесь, как NN-цы, исключительно странным гостем.

VI

Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения и что мать его была *экзальте* и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастию, нельзя не согласиться, что она одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой; лет пяти ее взяли во двор; у ее барыни были две дочери и муж; муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил все имение в Воспитательный дом. Вероятно, считая, что этим исполнил свое экономическое призвание в мире сем, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову; она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданого дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талек и обвешиванья маслом до порубки в чужих рощах *и продажи парней в рекруты, не стеснясь очередью*, — все было употреблено в действие (это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было еще в обычае тогда), — и, надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери. Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе трех-четырёх дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и проч., в ознаменование чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами «Paul et Virginie». Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тетка отца нашего Бельтова

искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей и, узнав, что соседка ее имеет гувернанток, ей принадлежавших, адресовалась к ней,— потолковали о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барыня позволила тетке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через два-три приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьем, показывать ненужную удаль и влочиться за всеми женщинами моложе тридцати лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтоб он был решительно пропащий человек: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь фунтов грязи», как выражается один мой знакомый, но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тетку; имяне его было в пяти верстах от теткиной усадьбы. Софи (так звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лет двадцать,— высокая ростом, брюнетка, с темными глазами и с пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смешным; он, вопреки Вобановой системе, не повел *дальних апрошей*, а как-то, оставшись с ней один в комнате, обнял ее за талию, расцеловал и звал очень усердно пройтись вечером по саду. Она вырвалась из его рук, хотела было кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее; без памяти бросилась она в свою комнату и тут в первый раз вымерила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленного положения. Раздраженный отказом, Бельтов начал ее преследовать своей любовью, дарил ей брильянтовый перстень, который она не взяла, обещал брегетовские часы, которых у него не было, и не мог надивиться, откуда идет неприступность красавицы; он и ревновать принимался, но не мог найти к кому; наконец, раздосадованный Бельтов прибегнул к угрозам, к брани,— и это не помогло; тогда ему пришла другая мысль в голову: предложить тетке большие деньги за Софи,— он был уверен, что алчность победит ее выставленное целомудрие; но как человек, вечно поступавший очертя голову, он намекнул о своем намерении бедной девушке; разумеется, это ее испугало более всего прочего, она бросилась к ногам своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ехать в Петербург. Не знаю, как это случилось, но она барыню застала врасплох; старуха, не зная Талейранова пра-

вила — «никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо», — тронулась ее судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взнос двух тысяч рублей. «Я сама, — сказала она ей, — заплатила за тебя эти деньги; а корм и платье, с тех пор потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мне какой-нибудь небольшой оброк рублей сто двадцать, и я велю Платошке написать паспорт; он ведь у меня дурак, испортит, пожалуй, лист, а нынче куды дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и несколько успокоилась. Через неделю Платошка написал паспорт, заметил в нем, что у ней лицо обыкновенное, нос обыкновенный, рост средний, рот умеренный и что особых примет не оказалось, кроме *по-французски говорит*; а через месяц Софи упростила жену управляющего соседним имением, ехавшую в Петербург положить в ломбард деньги и отдать в гимназию сына, взять ее с собою, кибитку нагрузили грибами, вареньем, медом, мочеными и сушеными ягодами, назначенными в подарок; жена управляющего оставила только место для себя; Софи поместилась на какой-то кадке, которая в продолжение девяти сот верст напоминала ей, что она сделана не из лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлах; он был долговязый малый, лет четырнадцати, куривший нежинские корешки и более развитый, нежели казалось; он всю дорогу ухаживал за Софи, и если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова. А *groros*¹, Бельтов сделал опыт увезти Софи, когда она переезжала от тетки к управительше, и вероятно бы увез, если б кучер не нарезался пьян и не сбился с дороги. С досады и в первую минуту горького сознания о кислоте винограда Бельтов разболтал свой роман не совсем в том виде, как он был, компании игроков. Он представил, что тетка его, ревнивая, как все старухи, насильно услала Софью, влюбленную в него более нежели по уши; впрочем, он отчасти был рад, что она уехала и увезла с собой кое-какие знаки его внимания. Известно, что из кочующих племен в Европе цыгане и игроки никогда не ведут оседлой жизни, и потому нет ничего удивительного, что один из слушателей Бельтова через несколько дней был уже в Петербурге. Он находился в самой тесной дружбе с французешкой Жукур, содержательницей

¹ Кстатн (фр.).

пансиона. Жукур, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лет и носившая платья с высоким воротом из стыдливости, была неумолнимо строга к нравственности ближнего: говоря о том, о сем, она рассказала своему другу, что у ней напялось классной дамой престрашное существо, принадлежащее NN-ской госпоже и говорящее прекрасно по-французски. Кочующий друг расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно — ха, ха, ха, ха, — помилуйте, да я ее тысячу раз видал у Бельтова, куда она таскалась по ночам, когда теткин в доме все спали». Потом, рвущая о репутации заведения, он предупредил мадам Жукур насчет положения Софи. Жукур была вне себя от испуга, кричала: «*Quelle demoralisation dans ce pays barbare!*»¹, забыла от негодования все на свете, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки, на углу их улицы, воспитывались два ребенка, разом родившиеся, из которых один был похож на Жукур, а другой — на кочующего друга. Сгоряча она хотела послать за квартальным, потом ехать к французскому консулу, но рассудила, что это вовсе не нужно, и просто-напросто прогнала Софи из дому самым грубым образом, забыв второпях отдать ей следующие деньги. — Жукур рассказала трем другим содержательницам страшную историю, эти — всем остальным в Петербурге. Куда ни адресовалась бедная девушка, везде ей указывали дверь. Она стала искать частного места, но где пойти — знакомых нет. Вышло было какое-то место в отъезд, и довольно выгодное, но мать прежде, нежели кончила, съездила осведомиться к мадам Жукур — и потом благодарила провидение за спасение дочери. Софи подождала еще неделю, пересчитала свои деньги, — у ней было тридцать пять рублей и никаких надежд; квартира, которую она напаяла, была ей не по карману, и она, долго искав, переехала, наконец, в пятый, если не шестой, этаж огромного дома в конце Гороховой, набитого всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имевшими вид какого-то дна не совсем просохнувшего озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва заметной в колоссальной стене; от туда вела сырая, темная, каменная, с изломанными ступенями, бесконечная лестница, на которую отворялись, при каждой площадке, две-три двери; в самом верху, на филском небе, как выражаются петербургские остряки, занимала комнатку немка старуха; у нее паралич отнял обе ноги, и она полутрупом лежала четвертый год у печки,

¹ «Какой разврат в этой варварской стране!» (фр.)

вязала чулки по будням и читала Лютеров перевод Библии по праздникам. Комнатка была шага в три; из них два казались бедной немке совершенной роскошью, и она отдавала их взаем, вместе с окном, от которого на поларшина возвышалась боковая, некрашенная кирпичная стена другого дома. Софи поговорила с немкой и наняла этот будуар; в этом будуаре было грязно, черно, сыро и чадно; дверь отворялась в холодный коридор, по которому ползали какие-то дети, жалкие, оборванные, бледные, рыжие, с глазами, заплывшими слезами; кругом все было битком набито пьяными мастеровыми; лучшую квартиру в этом этаже занимали швей; никогда не было, по крайней мере днем, заметно, чтоб они работали, но по образу жизни видно было, что они далеки от крайности; кухарка, жившая у них, ежедневно раз пять бегала в подвалную с кувшином, у которого был отбит нос... Все старания найти место были тщетны; добрая немка просила и хлопотала через единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при детях, поразведать, нет ли какого места? Та обещала, но ничего не представилось. Софи решилась на последнее: она стала искать места горничной и нашла было одно; в цене сошлись, но *особая примета* в паспорте так удивила барыню, что она сказала: «Нет, голубушка, мне не по состоянию иметь горничную, которая говорит по-французски». Софи принялась шить белье. Начальница швей была очень довольна ее строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по договору, и звала к себе напиться чаю, вместо которого потчевала девушку розовым пивом; она очень приглашала бедную девушку переехать к себе, но какой-то внутренний ужас остановил Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, с гордостью захлопнув дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная! У нас немка из Риги живет не хуже тебя собой». Вечером начальница с колкой иронией отзывалась о бедной девушке комиссару, приходившему иногда вечером отдыхать в приятном обществе от дневных трудов, и так заинтересовала его, что он немедленно отправился в комнату немки и спросил ее:

— Что, фрау-мадам, как живете-можете? А? Пора бы ведь за ногами!

Немка, торопливо надевая чепчик, который всегда лежал возле нее для непредвиденных случаев, отвечала:

— Што телить, бог не перебирай!

— Ну, а где же эта Телебеевой девка, Софья Немчинова?

— Здесь, — отвечала Софи.

— Где это тебя угораздило выучиться по-французски, а? Плут-девка, должно быть; ну-тка, поговори по-французски.

Софи молчала.

— Видно, не умеешь? Ну, что-нибудь скажи-ка.

Софи молчала, и ее глаза были полны слез.

— Фрау-мадам, что, умеет она по-вашему?

— Очень карашо!

— Небось, как ты — вприсядку плясать... а что вы этак настоечки не держите? Я что-то прозяб.

— Нет, — отвечала немка.

— Плохо, — ну, а это яблоко чье? (яблоко это принесла знакомая немке старуха, и она его берегла с середины, чтоб закусить им Лютеров перевод Библии в воскресенье).

— Мой, — отвечала немка.

— Ну, где тебе его раскусить; вот ведь франуженка эта съест у тебя; ну, прощайте, — сказал комиссар, не сделавший, впрочем, никакого вреда, и, очень довольный собою, отправился, с яблоком в кармане, к швеям.

Томно, страшно тянулись дни; несчастная девушка потухала в этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всем и всеми. Не будь она так развита, может быть, она следила бы как-нибудь, нашлась бы и тут; но воспитание раскрыло в ней столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее действовало в десять раз сильнее. Были минуты такого изнурения, такого онемения сил, что она, вероятно, упала бы глубоко, если б не была защищена от падения той грязной будничной наружностью, под которой порок выказывался ей. Были минуты, в которые мысль принять яду приходила ей в голову, она хотела себя казнить, чтоб выйти из безвыходного положения; она тем ближе была к отчаянию, что не могла себя ни в чем упрекнуть; были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее сердце; в одну из таких минут она схватила перо и, сама не давая себе отчета, что делает и для чего, написала, в каком-то торжественном гневе, письмо к Бельтову. Вот оно:

«Я не хочу удерживаться более. Пишу к вам, пишу для того только, чтоб иметь последнюю, может быть,

радость в моей жизни — высказать вам все презренное мое: я охотно заплачу последние копейки, назначенные на хлеб, за отправку письма; я буду жить мыслию, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, в доме вашей тетушки, показали мне в вас безнравственного шалуна, бездушного развратника; я еще, разумеется, по неопытности, извиняла вас дурным воспитанием, кругом, в котором вы тратите свою жизнь; я извиняла вас тем, что мое странное положение вызывало вас на это. Но клевета, которой вы повершили их, гнусная, подлая клевета, показала мне всю меру вашей низости, даже не злодейства, а именно низости: вы решились из мести, из мелкого самолюбия погубить беззащитную девушку, налгать на нее. И за что? Разве вы, в самом деле, любили меня? Спросите свою совесть... Радуйтесь же, вам удалось: ваш приятель очернил меня здесь, меня выгнали, на меня смотрели с презрением, мои уши должны были слышать страшные оскорбления; наконец, я без куска хлеба, а потому выслушайте от меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкий, презренный человек; выслушайте это от горничной вашей тетки... Как мне приятно думать о бессильной злобе, о бешенстве, с которым вы будете читать эти строки; а ведь вы слывете за порядочного человека и, вероятно, послали бы пулю в лоб, если бы кто-нибудь из равных вам сказал это».

Бельтов, проигравшийся в пух, раздосадованный, валялся перед часом на диване, когда посланный в город привез ему, между прочим, и письмо от Софи. Он не знал ее руки; следовательно, не догадался по адресу, от кого письмо, и прехладнокровно развернул его. При первой строчке рука его задрожала, но он дочитал письмо спокойно, встал, бережно сложил его, потом сел на стул и обернулся головою к окну. Два часа просидел он в этом положении; чай давно уже стоял на столе, и он не хлебнул еще из своего стакана; трубка его давным-давно докурилась, и он не кликал казачка. Когда он совершенно пришел в себя, ему показалось, что он вынес тяжкую, долгую болезнь; он чувствовал слабость в ногах, устал, шум в ушах; провел раза два рукою по голове, как будто шупая, тут ли она; ему было холодно, он был бледен, как полотно; пошел в спальню, выслал человека и бросился на диван совсем одетый... Через час он позвонил; а на другой день, чем свет, по плотине возле мельницы простучала дорожная коляска, и четверка сильных лошадей

дружно подымала ее в гору; мельники, вышедшие посмотреть, спрашивали: «Куда это наш барин?»—«Да, говорят, в Питер»,— отвечал один из них. А через полгода по тому же мосту простучала та же коляска назад: барин воротился с барыней. Сельский священник, ходивший поздравить Бельтова с приездом, возвратясь домой, с величайшим удивлением говорил жене:

— Попадья, а попадья! Знаешь, кто барыня? Вот что была учительница-то бывшая у Веры Васильевны от засекинской барыни. Чудны дела твои, господи!

— Что? Небось,— отвечала попадья,— приступу нет?

— Нет, не хочу лжесвидетельствовать,— отвечал священник,— словоохотна и благодушна.

Тетка, двое суток сердившаяся на Бельтова за его первый пассаж с гувернанткой, целую жизнь не могла забыть несносного брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожила бы до ста лет, если б этот несчастный случай не лишил ее сна и аппетита. Видно, уж таково устройство женского сердца: сама Бельтова не могла изжить страшного опыта, перенесенного ею до замужества. Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему по-видимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и в продолжение всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остается какой-то элиторной материей, живет в крови, в самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается с страшной силой и разлагает тело. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное влияние на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горького начала из души ее; она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена в себе, была худа, бледна, недоверчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидела молча целые часы на балконе. Года через три Бельтов простудился и дней в пять умер; тело его, изнуренное прежней жизнью, не имело достаточных сил победить горячку; он умер в беспамятстве. Софи поднесла к нему двухгодового мальчика, он дико взглянул на него, и испуганный ребенок потянулся ручонками в другую комнату.— Удар этот сильно потряс Бельтову; она любила этого человека за его страстное раскаяние; она узнала благородную натуру из-за грязи, которая к ней пристала от окружавшего ее; она оценила его перемену; она любила даже иногда

возвращавшиеся порывы буйного разгула и дикой необузданности избалованного права.

Со всей своей болезненной раздражительностью обратилась Бельтова, после потери мужа, на воспитание малютки; если он дурно спал ночью — она вовсе не спала; если он казался нездоровым — она была больна; словом, она им жила, им дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь к сыну была смешана у ней с черным началом ее души. Мысль, что она потеряет ребенка, почти беспрестанно вплеталась в мечты ее; она часто с отчаянием смотрела на спящего младенца и, когда он был очень покоен, робко подносила трепещущую руку к устам его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, как она называла болезненные грезы свои, ребенок рос и, если не был очень здоров, то не был и болен. Она не выезжала из Белого Поля; мальчик был совершенно один и, как все одинокие дети, развился не по летам; впрочем, и помимо внешних влияний, в ребенке были видны несомненные признаки резких способностей и энергического характера. Настало время учения. Бельтова отправилась с сыном в Москву, для того чтоб найти гувернера. У ее покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки, ненавидимый всей роднею, капризный холостяк, преумный, преприличный и, в самом деле, пренесносный своей необычностью. Не могу никак удержаться, чтобы не сказать несколько слов и об этом чуде; меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна, — это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографии неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задних мыслей — куда вынесет! Если б можно было, я составил бы биографический словарь, по азбучному порядку, всех, например, бреющих бороду, сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописания ученых, литераторов, художников, отличившихся воинств, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами: их жизнь однообразна, скучна; успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь или жизнь вне дома, смерть на полдороге, бедность в старости, — ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я несколько не избегаю биографических отступлений; они раскрывают всю роскошь мироздания.

Желающий может пропускать эти эпизоды, но с тем вместе он пропустит и повесть. Итак, биография дядюшки.

Отец его — степной помещик, прикидывающийся всегда разоренным, — ходил всю жизнь в нагольном тулупе, сам ездил продавать в губернский город рожь, овес и гречиху, причем, как водится, обмеривал и был за это проучаем иногда. Однако сына своего, несмотря на расстроенные обстоятельства, он отправил в гвардию и с ним — две четверки лошадей, двух поваров, камердинера, лакея-гиганта и четырех мальчишек как *hogs d'oeuvre*¹. В Петербурге находили, что молодой офицер прекрасно воспитан, т. е. имеет восемь лошадей, не меньшее число людей, двух поваров и пр. Все шло сначала как по маслу; будущий дядюшка сделался гвардии поручиком, как вдруг произошло важное событие в его жизни; оно случилось в семидесятых годах. В прекрасный зимний день ему вздумалось прокатиться в санях по Невскому; за Аничковым мостом его нагнали большие сани тройкой, поравнялись с ним, хотели обогнать, — вы знаете сердце русского: поручик закричал кучеру: «Пошел!» — «Пошел!» — закричал львиным голосом высокий, статный мужчина, закутанный в медвежью шубу и сидевший в других санях. Поручик обогнал. Задыхаясь от бешенства, при повороте господин в медвежьей шубе, державший в руке арапник, вытянул им поручичьего кучера, нарочно зацепив за барина:

— Не перегонять, бестия!

— Что вы, с ума сошли? — спросил офицер.

— Я хочу отучить вашего дурака, чтоб он не смел перегонять.

— Я ему велел скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишком уважаю мундир моей государыни, чтоб позволить запятнать его.

— Ба, какой молодчик, — да кто ты такой?

— Да ты кто? — спросил поручик, готовый броситься на него, как зверь.

Статный мужчина посмотрел на него с презрением, показал ему свой кулак величиною с слоновью ногу и сказал:

— В рукопашный? Нет, брат, отстанешь! — потом закричал кучеру: — Пошел!

— Ступай за ним! — вскрикнул поручик своему кучеру, прибавив два слова, до того всем известные, что их в лексиконе не помещают.

¹ добавление к главному (фр.).

Офицер, действительно, узнал, где живет этот господин, однако идти к нему раздумал; он решился написать ему письмо и начал было довольно удачно; но ему, как нарочно, помешали: его потребовал генерал, велел за что-то арестовать; потом его перевели в гарнизон Орской крепости. Орская крепость вся стоит на яшме и на благороднейших горнокаменных породах, тем не менее там очень скучно. Офицер взял с собою экземпляр Кребильоновых романов и с таким назидательным чтением отправился на границу Уфимской провинции. Года через три его опять перевели в гвардию, но он возвратился из Орской крепости, по замечанию знакомых, несколько поврежденным, вышел в отставку, потом уехал в имение, доставшееся ему после разоренного отца, который, кряхтя и ходя в нагольном тулупе, — для одного, впрочем, скругления, — прикупил две тысячи пятьсот душ окольных крестьян; там новый помещик поссорился со всеми родными и уехал в чужие края. Года три пропадал он в английских университетах, потом объехал почти всю Европу, минуя Австрию и Испанию, которых не любил; был в связях со всеми знаменитостями, просиживал вечера с Боннетом, толкуя об органической жизни, и целые ночи с Бомарше, толкуя о его процессах за бокалами вина; дружески переписывался с Шлёцером, который тогда издавал свою знаменитую газету; ездил нарочно в Эрменонвиль к угасавшему Жан-Жаку и гордо проехал мимо Фернея, не заезжая к Вольтеру. Возвратившись лет через десять из путешествия, он попробовал пожить в Петербурге. Ему пришлось не по вкусу петербургская жизнь, и он поселился в Москве. Сначала находил он все странным; потом все его стали находить странным. И в самом деле, он как-то потерялся... стал читать одни медицинские книги, видимо опускался, становился озлобленным, капризным, чужим всему и ко всему охладевшим...

К нему приехал около того времени, как Бельтова искала гувернера, рекомендованный одним из его швейцарских друзей женевец, желавший определиться в воспитатели. Женевец был человек лет сорока, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и с строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник; в деле воспитания мечтатель с юношескою добросовестностью видел исполнение долга, страшную ответственность; он изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогике от

«Эмиля» и Песталоцци до Базедова и Николя; одного он не вычитал в этих книгах — что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, так, как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семьи, должно быть свое воспитание. Этого женевец не мог знать; он сердце человеческое изучал по Плутарху, он знал современность по Мальт-Брёну и статистикам; он в сорок лет без слез не умел читать «Дон-Карлоса», верил в полноту самоотвержения, не мог простить Наполеону, что он не освободил Корсики, и возил с собой портрет Паоли. Правда, и он имел горькие столкновения с миром практическим; бедность, неудачи крепко давили его, но он от этого еще менее узнал действительность. Печальный бродил он по чудным берегам своего озера, негодующий на свою судьбу, негодующий на Европу, и вдруг воображение указало ему на север — на новую страну, которая, как Австралия в физическом отношении, представляла в нравственном что-то слагающееся в огромных размерах, что-то иное, новое, возникающее... Женевец купил себе историю Левека, прочел Вольтерова «Петра I» и через неделю пошел пешком в Петербург. При девственном взгляде своем на мир женевец имел какую-то неизблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправим: он останется на веки веков ребенком.

Бельтова познакомилась с ним у дяди; она едва смела надеяться найти идеального гувернера, который сложился у ней в фантазии, но женевец был близок к нему. Она предложила ему (по-тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей в год. Женевец сказал, что ему надобно только тысячу двести, и согласился. Бельтова изъяснила свое удивление, но он хладнокровно возразил, что он с нее берет не менее и не более, как сколько нужно, что он составил себе бюджет в восемьсот рублей да на непредвиденные случаи полагает четыреста; «к роскоши, — прибавил он, — я приучаться не хочу, а собирать капитал считаю делом бесчестным». И этому-то безумцу поверила мать воспитание будущего обладателя Белым Полем с пустошами и угодьями!

Один старик дядя, всем на свете недовольный, был и этим недоволен, и в то время, как Бельтова была вне себя от радости, дядя (один из всех родных ее мужа, принимавший ее) говорил: «Ох, Софья, Софья! Все ты

взор делаешь; женевец остался бы преспокойно у меня чтецом; что он за гувернер? За ним надо еще няньку, да и что он сделает из Володи? Швейцарца. Так уж лучше, по-моему, просто тебе взять его куда-нибудь в Вевей или Лозанну...» Софья видела в этих словах эгоизм старика, полюбившего женевца, и, не желая сердить его, молчала; а потом, спустя недели две, отправилась с Володей и с юношею в сорок лет назад в свое имение. Дело было весною; женевец начал с того, что развил в Володе страсть к ботанике; с раннего утра отправлялись они гербаризировать, и живой разговор заменял скучные уроки; всякий предмет, попавшийся на глаза, был темою, и Володя с чрезвычайным вниманием слушал объяснения женевца. После обеда сидели обыкновенно на балконе, выходившем в сад, и женевец рассказывал биографии великих людей, дальние путешествия, иногда позволял в виде награды читать самому Володе Плутарха... И время шло, и два выбора прошли, и пришло время взять Володю в университет. Матери что-то не хотелось; она в эти годы более сдружилась с кротким счастьем, нежели во всю жизнь; ей было так хорошо в этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой перемены, она так привыкла и так любила ждать на своем заветном балконе Володю с дальних прогулок; она так наслаждалась им, когда он, отирая пот с своего лица, покрасневший и веселый, бросался к ней на шею; она с такой гордостью, с таким наслаждением смотрела на него, что готова была заплакать. В самом деле, вид Володи имел в себе что-то трогательное: он был так благороден, что-то такое прямое, открытое, доверчивое было в нем, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока с светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила чрез эти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с годами. Женевец привязался к своему ученику почти так же, как мать; он иногда, долго смотрев на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознания, что я способствовал развитию такого юноши, — меня совесть не упрекнет!»

Как все перепутано, как все странно на белом свете! Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они готовят Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб

он не понимал действительности; они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы; вместо того, чтобы вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что эта грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера... Таков был и женевец, — но какая разница — он, бедный ученый, готовый переходить с края на край земного шара с небольшой котомкой, с портретом Паоли, с своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд, — что же в нем было схожего с назначением Володи и с его общественным положением?..

Но как ни сдружилась Бельтова с своей отшельнической жизнью, как ни было больно ей оторваться от тихого Белого Поля, — она решила ехать в Москву. Приехав, Бельтова повезла Володю тотчас к дяде. Старик был очень слаб; она застала его полулежащего в вольтеровских креслах; ноги были закутаны шальями из козьего пуху; седые и редкие волосы длинными космами падали на халат; на глазах был зеленый зонтик.

— Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович? — спросил старик.

— Готовлюсь в университет, дедушка, — отвечал юноша.

— В какой?

— В Московский.

— Что там делать? Я сам знаком был с Матеем, да и с Геймом, — ну, а все, кажется бы, в Оксфорд лучше; а, Софья? Право, лучше. А по какой части хочешь ты идти?

— По юридической, дедушка.

Дедушка сделал презрительную мину.

— Ну, что ж! Выучишь *le droit naturel*, *le droit des gens*, *le code de Justinien*¹ — потом что?

— Потом, — отвечала мать, улыбаясь, — потом в Петербург служить.

— Ха, ха, ха! Очень нужно знать *Pandecties*² и все

¹ естественное право, международное право, кодекс Юстиниана (фр.).
² пандекты (фр.).

эти Glosses!¹ Или, может быть, вы, Владимир Петрович, в юрисконсульты собираетесь — ха, ха, ха! — в адвокаты? Делайте как знаете, а по-моему, братец, иди по дохтурской части; я тебе библиотеку свою оставляю — большая библиотечка, — я ее держал в хорошем порядке и все новое выписывал; медицинская наука теперь лучше всех; ну, ведь ближнему будешь полезен, из-за денег тебе лечить стыдно, даром будешь лечить, — а совесть-то спокойна.

Зная упорность мнений старика, ни Володя, ни мать его не возражали, но женевец не вытерпел и сказал:

— Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владимиру Петровичу не идти по гражданской части, когда всеми средствами стараются, чтоб образованные молодые люди шли в службу.

— Он выучит вас да кстати и меня; а я был в Женеве, когда он еще ползал на четвереньках, — отвечал капризный старик, — мой милый *citoyen de Genève*!² А знаете ли вы, — прибавил он, смягчившись, — у нас в каком-то переводе из Жан-Жака было написано: «Сочинения женецкого *мещанина* Руссо»... — и старик закашлялся от смеха.

Он тысячу раз рассказывал об этом переводе, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знает.

— Володя, — продолжал уже он в веселом расположении, — не пишешь ли ты виршей?

— Пробовал, дедушка, — отвечал Владимир, покраснев.

— Пожалуйста, не пиши, любезный друг; одни пустые люди пишут вирши; ведь это *futilité*³, надобно делом заниматься.

Только последний совет Владимир и исполнил: стихов он не писал. Вступил же он не в оксфордский университет, а в московский, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университет довершил воспитание Бельтова: доселе он был один, теперь попал в шумную семью товарищества. Здесь он узнал свой удельный вес, здесь он встретил горячую симпатию юных друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно заниматься науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостает только покороче волос и побольше

¹ глоссы (фр.).

² женецкий гражданин (фр.).

³ пустяки (фр.).

почтительного благоговения, чтоб быть отличным студентом. Кончился, наконец, и курс; раздали на акте юношам подорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург; сына она хотела отправить вперед, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова, накануне его отъезда; все были еще полны надежд; будущность раскрывала свои объятия, манила, отчасти, как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы... Никто не подозревал, что один кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда; третий — на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова еще раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов, — как женевец в дорожном платье будил его.

Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельности... Там-то совершатся его надежды, там-то он разовьет свои проекты, там узнает действительность — в этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России! Москва, думал он, совершила свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства; она бьется за него; но Петербург, Петербург — это мозг России, он вверху, около него ледяной и гранитный череп; это возмужалая мысль империи... И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и с святою искренностью. А дилжанс между тем катился от станции до станции и вез, сверх наших мечтателей, отставного кошноегерского полковника с седыми усами, архангельского чиновника, возникшего с собою окаменелую шемаю, ромашку на случай расстройства здоровья и лакея, одетого в плшивый тулуп, да светлорубашечного юнкера, у которого щеки были темнее волос и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира все эти лица имели новостной, праздничный вид. Он добродушно смеялся над архангелогородцем, когда тот его угощал ископаемой шемаей, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошелек, чтоб найти приличную монету отдать за

порцию шей, что нетерпеливый полковник платил за него; он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «ваше превосходительство» и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не докончив ее словами, далеко не столь почтительными; ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского проезжего или, правильнее, не умиравший у него в услужении и переплетенный в cuir russe¹, несмотря на холод. Юноша на все смотрел добродушно!

Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное письмо к одной старой девице с весом; старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасно языки. Ее брат был начальником в какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и в самом деле был поражен его простою речью, его многосторонним образованием и пылким, пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание. Владимир принялся рьяно за дела; ему понравилась бюрократия, рассматриваемая сквозь призму 19 лет,— бюрократия хлопотливая, занятая, с нумерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой; он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара,— он все поэтизировал.

Приехала, наконец, и Бельтова в Петербург. Женевец все еще жил у них; в последнее время он порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог: он так сжился с этим семейством, так много уделил своего Владимиру и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома; он становился угрюм, боролся с собою,— он, как мы сказали, был холодный мечтатель и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито и юное сознание сил и готовности,— мечтал о будущем; у него в голове бродили разные надежды, планы, упования; он мечтал об обширной гражданской деятельности, о том, как он посвятит всю

¹ русскую кожу (фр.).

жизнь ей... и среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею женевицу: «И как много обязан я тебе, истинный добрый друг наш,— сказал он ему,— в том, что я сделался человеком,— и тебе и моей матери я обязан всем, всем; ты больше для меня, нежели родной отец!» Женевец закрыл рукою глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать,— ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты.

Пришедши в свой небольшой кабинет, женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтер его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их; эти сокровища обличали как-то въявь всю бесконечную нежность этого человека: у него хранился бережно завернутый портфель; портфель этот, криво и косо сданный, склеил для женевицы 12-летний Володя к Новому году, тайком от него, ночью: сверху он налепил выданный из какой-то книги портрет Вашингтона; далее у него хранился акварельный портрет 14-летнего Володи: он был нарисован с открытой шеей, загорелый, с пробивающейся мыслью в глазах и с тем видом, полным упования, надежды, который у него сохранился еще лет на пять, а потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам; еще были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком-дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытиснено изображение праздника при федерализации, принадлежавшая старику и лежавшая всегда возле него,— ее женевец купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и еще кой-какие в том же роде, он отобрал книг пятнадцать, остальные отложил. Потом, ранним утром, вышел он осторожно в Морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город, надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нем, и пошел пешком с извозчиком; крупные слезы капали у него на сюртук.

Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивленная поездкой женевицы, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечером я получил полную награду за труды мои. Поверьте, эта минута

останется мне памятною; она проводит меня до конца жизни, как утешение, как мое оправдание в моих собственных глазах,— но с тем вместе она торжественно заключила мое дело, она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына — он опередил меня.

Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне,— мешала мне любовь к вашему сыну; если бы я не бежал теперь, я никогда бы не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не мог уж и потому остаться, что считаю унижением даром есть чужой хлеб и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом.

Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию; оттуда я намерен отправиться в Швецию; буду путешествовать, пока проживу свои деньги; потом примусь опять за работу: силы у меня еще найдутся.

В последнее время я не брал у вас денег; не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину человеку, который ходил за мною, а половину — прочим слугам, которым прошу вас дружески от меня поклониться: я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вольдемар. К нему я пишу особо.

Прощайте, прощайте, благороднейшая и глубоко уважаемая женщина! Да будет благословение на доме вашем; впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного: чтоб вы и он жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его к Владимиру начиналось так:

«Не советы учителя, а советы друга будут последнею речью к тебе, Вольдемар. Ты знаешь, у меня нет родных, которые мне были бы близки, да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоём челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вольдемар, право дать тебе дружеский совет уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба: она прескрасна;

я не боюсь неудач и несчастий: они найдут в тебе отпор и силу, — я боюсь успехов и счастья, ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри, чтоб не вышло обратного: чтоб дело не служило тебе. Не смейся. Вольдемар, средства с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь несякнет в душе твоей, ты ничего не сделаешь, ты будешь обманывать себя; только любовь создает прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя...»

Всего письма не переписешь: оно в три почтовые листа.

Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. «Где-то наш monsieur Joseph?»¹ — часто говаривали мать или сын, и они оба задумывались. И в воображении у них носилась его кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура, в своем длинном дорожном сюртуке, пропадаящая за гордыми и независимыми норвежскими горами.

VII

Азис доказывал (очень скучно), что все в мире наверстывается; разумеется, чтоб верить этому, не надобно быть слишком строгим и придирааться к мелочам. Основываясь на этом, мы просим позволения, в виде возмездия за потерю мсьё Жозефа, представить Осипа Евсевича. Осип Евсевич был худенький, седенький старичок, лет шестидесяти, в потертом вицмундирном фраке, всегда с довольным видом и красными щеками. Он тридцать лет управлял четвертым столом в той канцелярии, куда поступил Бельтов; пятнадцать лет до того времени он был писцом в том же столе; наконец, остальные пятнадцать лет он провел на дворе канцелярии в почетном звании швейцарова сына, дававшем ему аристократический вес перед детьми всех сторожей. Этот человек всего лучше мог служить доказательством, что не дальние путешествия, не университетские лекции, не широкий круг деятельности образуют человека: он был чрезвычайно опытен в делах, в знании людей, к тому же такой дипломат, что, конечно, не отстал бы ни от Остермана, ни от Талейрана. От природы сметливый, он имел полную

¹ господин Жозеф (фр.).

возможность и досуг развить и воспитать свой практический ум, сидя с пятнадцати лет в канцелярии; ему не мешали ни пауки, ни чтение, ни фразы, ни несбыточные теории, которыми мы из книг развращаем воображение, ни блеск светской жизни, ни поэтические фантазии. Он, переписывая набело бумаги и рассматривая в то же время людей начерно, приобретал ежедневно более и более глубокое знание действительности, верное понимание окружающего и верный такт поведения, спокойно проведенный его между канцелярских омутов, неказистых, но тинистых и чрезвычайно опасных. Менялись главные начальники, менялись директоры, мелькали начальники отделения, а столоначальник четвертого стола оставался тот же, и все его любили, потому что он был необходим и потому что он тщательно скрывал это; все отличали его и отдавали ему справедливость, потому что он старался совершенно стереть себя; он все знал, все помнил по делам канцелярии; у него спрашивались, как в архиве, и он не лез вперед; ему предлагал директор место начальника отделения — он остался верен четвертому столу; его хотели представить к кресту — он на два года отдалил от себя крест, прося заменить его годовым окладом жалованья, единственно потому, что столоначальник третьего стола мог позавидовать ему. Таков он был во всем: никогда никто из посторонних не жаловался на его лихоимство; никогда никто из его сослуживцев не подозревал его в бескорыстии. Вы можете себе представить, сколько разных дел прошло в продолжение сорока пяти лет через его руки, и никогда никакое дело не вывело Осипа Евсенса из себя, не привело в негодование, не лишило веселого расположения духа; он отроду не переходил мысленно от делопроизводства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц; он на дела смотрел как-то отвлеченно, как на сцепление большого числа отношений, сообщений, рапортов и запросов, в известном порядке расположенных и по известным правилам разросшихся; продолжая дело в своем столе или *сообщая ему движение*, как говорят романтик-столоначальники, он имел в виду, само собою разумеется, одну очистку своего стола и оканчивал дело у себя как удобнее было: справкой в Красноярске, которая не могла ближе двух лет возвратиться, или заготовлением окончательного решения, или — это он любил всего больше — пересылкою дела в другую канцелярию, где уже другой столоначальник оканчивал по тем же правилам

этот гран-пасьянс; он до того был беспристрастен, что все не думал, например, что могут быть лица, которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска, Фемида должна быть слепа...

Вот этот-то почтеннейший сослуживец Владимира, месяца через три после его определения, окончив пересмотр перебеленных бумаг и задав нового корма перьям четырех писцов, вынул свою серебряную табакерку с чернью, поднес ее помощнику и прибавил:

— Попробуйте-ка, Василий Васильевич, ворошатинского; приятель привез из Владимира.

— Славный табак! — возразил помощник чрез минуту, которую он провел между жизнью и смертью, нюхнув большуюшею шепотку сухой светло-зеленой пыли.

— Что? Забирает-с? — сказал столоначальник, очень довольный тем, что испортил носовую перепонку своего помощника.

— А что, Осип Евсеич, — спросил помощник, более и более приходящий в себя после паралича от ворошатинского табаку и утиравший синим платком глаза, нос, лоб и даже подбородок, — я вас еще не спросил, как вам понравился вновь определившийся молодой человек, из Москвы, что ли?

— Малый, кажется, бойкий; говорят, его сам определил.

— Да-с, точно, малый умный, отнять нельзя. Я вчера слышал, он спорил с Павл Павлычем; тот, знаете, не любит возражений, а Бельтов этот не в карман за словами ходит. Павла Павлыч начал сердиться; я, говорит, вам говорю так и так, — а Бельтов: да помилуйте, вот так и так. Порадовался я, со стороны глядя. После, как Бельтов отошел, Павла Павлыч, знаете, приятелю-то своему говорит: «Вот и держи в порядке канцелярию, как этаких насажают; да я, впрочем, сам университет, я его отучу своевольничать; мне дела нет, через кого определен».

— Эки дела! — сказал столоначальник, на которого рассказ, по-видимому, сделал тоже радостное впечатление. — Так кто бы ни определил, все равно? Ай да Павлыч! Ну, а что ж, он ему в глаза-то сказал это?

— Нет; под конец он что-то по-французски только повернул. Признаюсь, как я посмотрел эту выходку, так знаете, что пришло в голову: вот мы с Осипом Евсеичем будем все еще так же сидеть наперекоски у четвертого стола, а он переедет вон туда, — он показал на директорскую.

— Эх, голова, голова ты, Василий Васильич! — возразил столоначальник. — Умней тебя, кажется, в трех столах не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, брат, на своем веку довольно деловые люди да правители канцелярии; в этом фертике на волос нет того, что нужно. Что умен-то да рьян, — а надолго ли хватит и ума и рьяности его? Хочешь, об заклад на бутылку полынного, что он до столоначальника не дотянет?

— Пари держать не хочу, а я вчера читал бумаги, им писанные: прекрасно пишет, сй-богу; только в «Сыне отечества» удавалось читать такой штиль.

— Видел и я, — у меня глаз-то, правда, и стар, ну да не совсем однако и слеп, — формы не знает, да кабы не знал по глупости, по несправке — не велика беда; когда-нибудь научился бы, а то из ума не знает; у него из дела выходит роман, а главное-то между палец идет; от кого сообщено, достодожное ли течение, кому переслать — ему все равно; это называется по-русски: вершки хватать; а спроси его — он нас, стариков, пожалуй, поучит. Нет, брат, дельного малого сразу узнаешь; я сначала сам было подумал: «Кажется, не глуп; может, будет путь; ну, не привык к службе, обойдется, привыкнет», — а теперь три месяца всякий день ходит и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца родного, прости господи, режут, а он спасает, — ну куда уйдешь с этим? Видали мы таких молодцов, не он первый, не он последний, все они только на словах выезжают: я-де злоупотребления искореню, а сам не знает, какие злоупотребления и в чем они... Покричит, покричит да так на всю жизнь чиновником без всяких поручений и останется, а сдуру над нами будет подсмеивать: это-де канцелярские чернорабочие; а чернорабочие-то всё и делают; в гражданскую палату просьбу по своему делу надо подать — не умеет, давай чернорабочего... Трутни! — заключил красноречивый столоначальник.

В самом деле, столоначальник рассуждал основательно, и события, как нарочно, торопились ему на подтверждение. Бельтов вскоре охладел к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управлявший канцеляриею призывал его к себе и говорил, как нежная мать, — не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец, так трогательно и так хорошо, что экскуртор, случившийся при этом, прослезился, несмотря на то, что его нелегко было тронуть, что знали все сторожа, служив-

шие под его начальством,— и это не помогло. Бельтов начал до того забываться, что оскорблялся именно этим родственным участием посторонних, именно этими отеческими желаниями его исправить. Словом, через три месяца после красноречивого разговора столоначальника с его помощником Осип Евсееч гневался на одного писца, что-то недоумевавшего, и приговаривал:

— Да когда же ты научишься? Ну, сколько раз приходилось тебе писать, и всякий раз для тебя всю черновую составь; все оттого, что не служба на уме, а в сюртучке по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями,— не раз видал... Ну, пиши: «И для свободного в Российской империи прожития дан ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспорт, за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати...» Кончил? давай!— И он бормотал:— из двор... душ... уезд... курс... штат... 18 сентября... православного... хорошо!— И внизу Осип Евсееч скрепил мельчайшим шрифтом на самом краешке листа.

— Поди же, снеси сейчас и подай, а когда подпишет — в регистратуру; вот печать поставили бы сбоку, видишь, где написано: «у сего паспорта». Он завтра за ним придет.

— Что, Василий Васильич, не хотели на полынную то держать, а вот оно теперь бы и зашли. Нечего сказать, проворен!

— Ровно четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки,— остроумно заметил помощник.

Столоначальник и за ним весь стол его расхохотались.

Этим олимпийским смехом окончилось служебное попроще доброго приятеля нашего, Владимира Петровича Бельтова. Это было ровно за десять лет до того знаменитого дня, когда в то самое время, как у Веры Васильевны за столом подавали пудинг, раздался колокольчик,— Максим Иванович не вытерпел и побежал к окну. Что же сделал Бельтов в продолжение этих десяти лет?

Все или почти все.

Что он сделал?

Ничего или почти ничего.

Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют. Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребуются в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Вопрос пре-

мудреный. Я его не умею и не хочу разрешать; но думаю, что решение его надобно скорее искать в атмосфере, в окружающем, в влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с внутренним ужасом доходил во всем почти до того же последствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсевич: «А делают-то одни чернорабочие», и делают оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное...

Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром,— утром, в котором соединились неудобства всех четырех времен года, мокрый снег хлестал в окна и в одиннадцать часов утра еще не рассветало, а, кажется, уже смеркалось,— сидела Бельтова у того же камина, у которого была последняя беседа с женовцем; Владимир лежал на кушетке с книгою в руке, которую читал и не читал, наконец, решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев в ленивой задумчивости, сказал:

— Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то был прав, советуя мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?

— Как хочешь, мой друг,— отвечала с обычной кротостью Бельтова,— одно страшно, Володя, надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни.

— Маменька,— сказал Владимир, нежно взяв ее руку и улыбаясь,— какой вы эгоист, преисполненный любви! Жить сложа руки, конечно, безопаснее; но я полагаю, что на бездействие надобно так же иметь призвание, как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего не делать.

— Попробуй,— отвечала мать.

На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принес той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете; как он ни обманывал себя, но медицина была для него местом бегства: он в нее шел от неудач, шел от скуки, от

нечего делать; много легло уже расстояния между веселым студентом и отставным чиновником, дилетантом медицины. Одаренный быстрым умом, он очень скоро наткнулся в новых запятиях своих на те вопросы, на которые медицина учено молчит и от разрешения которых зависит все остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли, — он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов: на такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам; он в них нашел опять своих канцелярских товарищей; ему хотелось, чтоб они посвящали всю жизнь разрешению вопросов, его занимавших; ему хотелось, чтоб они к кровати больного подходили как к высшему священнодействию, — а им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было недосуг.

«Нет, — думал Владимир, — нет, не хочу быть доктором! Что я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного при современной разногласии во всех физиологических вопросах! Все практическое в сторону! Что я за чиновник, что я за ученый? Я... я... не смею признаваться, я — артист!» Срисовывая изображения черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано — сделано. Нижние стекла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями; возле двух черепов явилась небольшая Венера; везде выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести — так, как их понимает ученое ваяние, т. е. так, как эти страсти не являются в натуре. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе, этот костюм пролетария ему шил аристократ-портной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом... Мать входила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях. Он начинал поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе: он обдумывал встречу Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь; кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга...

Само собою разумеется, что и живопись не совсем удовлетворила Бельтова: в нем не доставало удовольствия занятнем; вне его не доставало той артистической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятель-

ности; она была вовсе не нужна и обуславливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной природы, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем: его безусловная область не там — он внесет гражданский спор в искусство, он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так, как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что все равно, что его родина везде, где он полезен,— старается... а внутри его неотвязный голос зовет в другое место и напоминает иные песни, иную природу.— Темно и отчетливо бродили эти мысли по душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепьянах, счастливого Бетховеном и изучающего современность *ex fontibus*¹, то есть по древним писателям.

К тому же длинные петербургские вечера, в которые нельзя рисовать... Эти вечера Владимир проводил очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования; у нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и смело подписал первый вексель на огромную сумму, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он, рассеянный и упоенный, играл, не обращая никакого внимания на игру; да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, внимание!

Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя; события ее очень обыкновенны, но они как-то не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потрачено много жизни, и после нескольких векселей, на которые потрачено довольно много состояния, он уехал в чужие края — искать рассеянья, искать впечатлений, занятий и проч., а его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое Поле поправлять бреши, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтоб Володя на чужой стороне ни в чем не нуждался. Все это

¹ по первоисточникам (лат.).

для Бельтовой было совсем не легко; она хотя любила сына, но не имела тех способностей, как засекинская барыня, — всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого Поля молили бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери, и тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь, которая не так горда, не так притязательна, чтоб исключительно присвоивать себе это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и в старых годах дрожащими руками открывает письмо и старыми глазами льет горькие слезы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтовой источником жизни; они ее подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука снедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему; он досмотрел Европу — ему ничего не оставалось делать; все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты; он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе. Но при одном воспоминании петербургских походов на Бельтова находила хандра, и он, не зная зачем, переезжал из Парижа в Лондон. За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье; он извещал, что едет в Швейцарию, что несколько простудился в Пиренейских горах и потому пробудет еще дней пять в Монпелье; обещал писать, когда выедет; о возвращении в Россию ни слова. «Несколько простудился», — и мать уже начала тревожиться и ждать письма с дороги. Но проходит две недели — письма нет; проходит около месяца — письма нет. Бедная женщина, она была лишена даже последнего утешения в разлуке — возможности писать с достоверностью, что письмо дойдет, — и, не зная, дойдут ли, для одного облегчения, послала два письма в Париж confiées aux soins de l'ambassade russe¹. Ложась спать, она всякий раз приказывала Дуне пораньше отправить кучера верхом в уездный город справиться, нет ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходит

¹ доверив их попечению русского посольства (фр.).

в неделю раз. Уездный почтмейстер был добрый старик, душою преданный Бельтовой; он всякий раз приказывал ей доложить, что писем нет, что как только будут, он сам привезет или пришлет с эстафетой, — и с каким тупым горем слушала мать этот ответ после тревожного ожидания в продолжение нескольких часов! Мысль ехать самой начинала мелькать в голове ее; она хотела уже послать за соседом, отставным артиллерийским капитаном, к которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами, например, о составлении учтывого объяснения, почему нет запасного магазина, и т. п.; она хотела теперь выпросить у него, где берут заграничные паспорта, в казенной палате или в уездном суде... И тем скучнее шли дни ожидания, что на дворе была осень, что липы давно пожелтели, что сухой лист хрустел под ногами, что дни целые дождь шел, будто нехотя, но беспрестанно. Как-то раз под вечер девушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нее идти ко всеобщей.

— Ступай; да что такое завтра?

— Неужели вы изволили забыть, что завтра 17 сентября, день вашего ангела, Богомудрой Софьи и дочерей ее — Любви, Веры и Надежды!

— Ступай, Дуня, да помолись и об Володе, — сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазах ее.

Человек до ста лет — дитя, да если б он и до пятидесяти лет жил, все был бы одной стороной своего бытия дитя. И жаль, если б он утратил эту сторону, — она полна поэзии. Что такое именины? почему в этот день ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом? Не знаю почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. «Сегодня, кажется, третье марта», — говорит один, боясь пропустить срок продажи имения с публичного торга. — «Третье марта, да, третье марта», — отвечает другой, и его дума уж за восемь лет; он вспоминает первое свидание после разлуки, он вспоминает все подробности и с каким-то торжественным чувством прибавляет: «Ровно восемь лет!» И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что 13 марта будет ровно восемь лет и десять дней и что всякий день своего рода годовщина. Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придет поздравить ее, что он, может быть, забудет и там ее поздравить... Она впадала в задумчивую мечтательность: то воображению

ее представлялось, как, лет за пятнадцать, она в завтрашний день нашла всю чайную комнату убранную цветами; как Володя не пускал ее туда, обманывал; как она догадывалась, но скрыла от Володи; как мсьё Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды; потом ей представлялся Володя на Монпелье, больной, на руках жадного трактирщика, и тут она боялась дать волю воображению идти далее, и торопилась утешить себя тем, что, может быть, мсьё Жозеф с ним встретился там и остался при нем. Он так нежен, так добр, так любит Володю, он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он будет смотреть на него, когда он уснет. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же? Володя мог его выписать как друга... Но... И ей опять становилось невыносимо тяжело, и ряд мрачных картин, переплетенных с светлыми воспоминаниями, тянулся в душе ее всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли, развлекли Бельтову. С раннего утра передняя была полна аристократами Белого Поля; староста стоял впереди в синем кафтане и держал на огромном блюде страшной величины кулич, за которым он посылал десятого в уездный город; кулич этот издавал запах конопляного масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на целость его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриные яйца; между красивыми и величавыми головами наших бородачей один только земский отличался костюмом и видом: он не только был обрит, но и порезан в нескольких местах, оттого, что рука его (не знаю, от многого ли письма или оттого, что он никогда не встречал прелестное сельское утро, не выпивши, на мирской счет, в питейном доме кружечки сивухи) имела престранное обыкновение трястись, что ему значительно мешало отчетливо нюхать табак и бриться; на нем был длинный синий сюртук и плисовые панталоны в сапоги, т. е. он напоминал собою известного зверя в Австраллии, орниторинка, в котором преотвратительно соединены зверь, птица и амфибий. На дворе жалобно кричал время от времени юный теленок, поенный шесть недель молоком: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барыне для дня *менин*. Бельтова не умела с достоинственной важностью делать выходы; она это знала сама и всегда как-то терялась в этих случаях. После выхода — обедня; служили молебен; в самое это время приехал артиллерийский капитан; на этот раз он явился не юрисконсульт, а в прежнем воинственном виде; когда

шли из церкви домой, Бельтова была очень испугана каким-то треском. Сосед привез с собою в кибитке маленький фальконет и велел выстрелить из него в ознаменование радости; легавая собака Бельтовой, случившаяся при этом, как глупое животное, никак не могла понять, чтоб можно было без цели стрелять, и нестрадалась вся, бегая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велела подать закуску, — вдруг раздался звонкий колокольчик, и отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору — исчезла и минуты две спустя показалась вблизи; ямщик правил прямо к господскому дому и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда. Сам старик-почтмейстер (это был он), вылезая из кибитки, не вытерпел, чтоб не сказать ямщику: — Ай да Богдашка, собака, истинно собака, можно чести приписать.

Богдашка был, разумеется, доволен комплиментами почтмейстера, шурил правый глаз и поправлял шляпу, приговаривая:

— Уж если нам вашему благородию не сусердствовать, так уж это хуже не надо.

С торжественно-таинственным видом, с просасывающимся довольством во всех чертах вошел почтмейстер в гостиную и отправился учинить целование руки.

— Честь имею, матушка Софья Алексеевна, поздравить с высокоторжественным днем ангела и желаю вам доброго здравия. Здравствуйте, Спиридон Васильевич! (Это относилось к капитану).

— Василью Логиновичу наше почтение, — отвечал артиллерист.

Василий Логинович продолжал:

— А я-с для вашего ангела осмелился подарочек привезти вам; не взыщите — чем богат, тем и рад; подарок не дорогой — всего портовых и страховых рублей пятнадцать копеек да весовых восемь гривен; вот вам, матушка, два письмеца от Владимира Петровича: одно, кажись, из Монтраше, а другое из Женевы, по штемпелю судя. Простите, матушка, грешный человек: недельки две первое письмецо, да другое деньков пять, поберег их к нынешнему дню; право, только и думал: утешу, мол, Софью Алексеевну для тезоименитства, так утешу.

Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актер Офрен — с Тераменовым рассказом: она не слушала все части речи после того, как он вынул письма; она судорожной рукой сняла пакет, хотела было тут читать, встала и вышла вон.

Почтмейстер был очень доволен, что чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью; он так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силы упрескнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этот раз последнее сделал сосед:

— Вот, Василий Логинич, оконтузили письмом-то, одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексеевна беседует с письмами, оно ведь не мешает и употребить; я очень рано встаю.

Они употребили.

...Одно письмо было с дороги, другое из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча, любезная маменька, этот разговор потрясли меня, — и я, как уже писал в начале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда — прямо в Тауреген, не останавливаясь... Германия мне страшно надоела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь с знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в Белое Поле».

— Дуня, Дуня, подай поскорее календарь! Ах, боже мой, ты где его ищешь, — какая бестолковая! Вот он.

И Бельтова бросилась сама за календарем и начала отсчитывать, рассчитывать, переводить числа с нового стиля на старый, со старого на новый, и при всем этом она уже обдумывала, как учредить комнату... ничего не забыла, кроме гостей своих; по счастью, они сами вспомнили о себе и употребили *по второй*.

— Странное и пр странное дело! — продолжал председатель. — Кажется, жизнь резиденции представляет столько увеселительных рассеяний, что молодому человеку, особенно безбедному, трудно соскучиться.

— Что делать! — отвечал Бельтов с улыбкой и встал, чтоб проститься.

— А впрочем, поживите и с нами. Если не встретите здесь того блеска и образования, то, наверное, найдете добрых и простых людей, которые гостеприимно примут вас в среде своих мирных семейств.

— Это уж конечно-с, — прибавил развязный советник с Анной в петлице, — наш городок-с чего другого нет, а насчет гостеприимства — Москвы уголок-с!

— Я в этом уверен, — сказал Бельтов, откланиваясь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвел Бельтов на почтенных жителей NN; позвольте же сказать и о сенсации, которую произвел город на почтенного Белтова. Он остановился в гостинице «Кересберг», названной так, вероятно, не в отличие от других гостиниц, потому что она одна и существовала в городе, но скорее из уважения к городу, который вовсе не существовал. Гостиница эта была надежда и отчаяние всех мелких гражданских чиновников в NN, утешительница в скорбях и место разгула в радостях; направо от входа, вечно на одном месте, стоял бесстрастный хозяин за конторкой и перед ним его приказчик в белой рубашке, с окладистой бородой и с отчаянным пробором против левого глаза; в этой конторке хорошилось, в первые числа месяца, больше половины жалованья, полученного всеми столоначальниками, их помощниками и помощниками их помощников (секретари редко ходили, по крайней мере, на свой счет; с секретарства у чиновников к страсти получать присовокупляется страсть хранить, — они делаются консерваторами). Хозяин серьезно и важно пошелкивал на счетах; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькие и целковые, выбрасывая за них гривенники, пятаки и копейки, потом шелкала ключом — и деньги были схоронены. Только в двух случаях притворялась она мертвою, когда к ее страшной загородке являлся Яков Потапыч — частный пристав, разумеется, для того, чтоб отдать свой долг... Иногда заезжали в гостиницу и советники поиграть на бильярде, выпить пуншу, откупорить одну, другую *бутылку*, словом погулять на холостую ногу, потихоньку от супруги (холостых советников так же не бывает, как женатых аббатов), — для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. Мелкие чиновники, при появлении таких сановников, прятали трубки свои за спину (но так, чтоб было заметно, ибо дело состояло не в том, чтоб спрятать трубку, но чтоб показать должное уважение), низко кланялись и, выражая мими-

кой большое смущение, уходили в другие комнаты, даже не окончивши партии на бильярде.— на бильярде, на котором, в часы, досужие от карт, корнет Дрягалов удивлял поразительно смелыми шарами и невероятными клапшотсами.

Содержатель, разбогатевший крестьянин из подгороднего села, знал, что такое Бельтов и какое имение у него, а потому он тотчас решился отдать ему одну из лучших комнат трактира,— комната эта только давалась особам важным, генералам, откупщикам,— и потому повел его в другие. Другие были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяин привел Бельтова в ту, которую назначил, и заметил: «Кабы эта была не проходная, я бы с нашим удовольствием»,— тогда Бельтов стал с жаром убеждать, чтоб он уступил ему ее; содержатель, тронутый его красноречием, согласился и цену взял не обидную себе. Учивость к Бельтову усугубил почтенный содержатель грубостью всем прочим посетителям. Комната была действительно проходная; он запер дверь и отрезал парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставив желающим ходить через кухню. Большая часть посетителей молча подверглась этому испытанию, так, как прежде подвергалась всем прочим испытаниям, которыми судьба считала за нужное награждать их; впрочем, нашлись и такие, которые явно кричали против грубого пристрастного поступка содержателя. Один заседатель, лет десять тому назад служивший в военной службе, собирався сломить кий об спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплял к ряду энергических выражений: «Я сам дворянин; ну, черт его возьми, отдал бы генералу какому-нибудь,— что тут делать станешь,— а то молодкососу, видите, из Парижа приехал; да позвольте спросить, чем я хуже его, я сам дворянин, старший в роде, медаль 1812...»— «Да полно ты, полно, горячая голова»,— говорил ему корнет Дрягалов, имевший свои виды насчет Бельтова. Как бы то ни было, но хозяин, молча и отшучиваясь, с апатической твердостью, с уступчивой непреклонностью русского купца поставил на своем. Комната, до которой достигнул Бельтов с оскорблением шекотливого *point d'honneur* многих, могла, впрочем, нравиться только после четырех ужасных нумеров, которыми ловко застрашал хозяин приезжего, в сущности она была грязна, неудобна и время от времени наполнялась запахом подожженного масла, который, переплетаясь с постоянной табачной атмосферой, составлял

ничто такое, что могло бы произвести тошноту у иного эскимоса, взлелеянного на тухлой рыбе.

Первая суета приезда улеглась. Каретные ваши, сак, шкатулка были принесены, и за всеми тяжестями явился, наконец, Григорий Ермолаевич, камердинер Бельтова, с последними остатками путевых снадобий — с кisetом, с неполною бутылкой бордо, с остатками фаршированной индейки; разложив все принесенное по столам и стульям, камердинер отправился выпить водки в буфет, уверяя буфетчика, что он в Париже привык, по окончании всякого дела, выпивать большой птивер¹ (так как в России начинают тем же самым все дела). Толпа чиновников, желавших из самого источника узнать подробности о проезде, облепила его, но нельзя не заметить, что камердинер не очень поддавался и обращался с ними немного свысока; он жил несколько лет за границей и гордо сознавал это достоинство. Бельтов, между тем, был один; посидевши недолго на диване, он подошел к окну, из которого видно было полгорода. Прелестный вид, представившийся глазам его, был общий, губернский, форменный: плохо выкрашенная каланча, с подвижным полицейским солдатом наверху, первая бросилась в глаза; собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле; потом две-три приходские церкви, из которых каждая представляла две-три эпохи архитектуры: древние византийские стены украшались греческим порталом, или готическими окнами, или тем и другим вместе; потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и двумя-тремя просителями, из бородачей; наконец, обывательские дома, совершенно те же, как во всех наших городах, с чахоточными колоннами, прилепленными к самой стене с мезонином, не обитаемым зимою от итальянского окна во всю стену, с флигелем, заочелным, в котором помещается дворня, с конюшней, в которой хранятся лошади; дома эти, как водится, были куплены вежливыми кавалерами на дамские имена; немного наискось тянулся гостиниый двор, белый снаружи, темный внутри, вечно сырой и холодный; в нем можно было все найти — коленкоры, кисен, пиконеты, — все, кроме того, что нужно купить. Несколько тронутый картиной, развернувшейся перед его глазами, Бельтов закурил сигару и сел у окна; на дворе была от-

¹ рюмочку (от фр. *petit verre*)

тепель. — оттепель всегда похожа на весну; вода капала с крыш, по улицам бежали ручьи талого снега. Будто чувствовалось, что вот-вот и природа оживет из-под льда и снега, но это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в NN; улица, видно, знала, что опять придут морозы, вьюги и что до 15/27 мая не будет признаков лета, она не радовалась; сонное бездействие царило на ней; двести грязные бабы сидели у стены гостинного двора с рязанью и грушей; они, пользуясь тем, что пальцы не мерзнут, вязали чулки, считали петли и изредка только обрешались друг к другу, ковыряя в зубах спицами, вздыхая, зевая и осеняя рот свой знамением креста. Недалеко от них старик купец, лет под семьдесят, с седою бородой, в высокой собольей шапке, спал сладким сном на складном стуле. Изредка сидельцы перебегали из лавки в лавку; некоторые начинали запирать их. Никто, кажется, ничего не покупал; даже почти никто не ходил по улицам: правда, прошел квартальный надзиратель, завернувшись в шинель с меховым воротником, быстрым деловым шагом, с озабоченным видом и с бумагой, свернутой в трубку; сидельцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до них. Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезано ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертых лошади; гайдук-форейтор и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, а сзади трясся лакей в шинели с галунами цвету вер-антик. В тыкве сидела другая тыква — добрый и толстый отец семейства и помещик, с какой-то специальной ландкартой из синих жил на носу и щеках; возле неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорее на стручок перца, спрятанный в какой-то тафтяный шалаш, надетый вместо шляпки; против них приятный букет из сельских трех граций, вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, — сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижный огород... Опять настала тишина... Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков, в коротеньких красных рубашках, с разукрашенными шляпами, с атлетическими формами и с тою удалю в лице, которую мы все знаем, вышли обнявшись на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкального тона, сколько для тона вообще; бурлак с балалайкой едва удерживал свои ноги; видно было по движению плечей, как ему хочется пуститься

вприсядку, — за чем же дело? А вот за чем: из-под земли, что ли, или из-под арок гостинного двора явился какой-то хожалый или будочник с палочкой в руках, и песня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разом подрезанная, остановилась, только балалайка показал палец будочнику: почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол закусивши мушинными мозгами. Тут тишина еще более водворилась; стало смеркаться. Бельтов поглядел — и ему сделалось страшно, его давило чугунной плитой, ему явным образом недоставало воздуха для дыхания, может быть, от подожженного масла с табаком, который проходил из нижнего этажа. Он схватил свой картуз, надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу. Город был не велик, и пройти его с конца в конец было не трудно. Та же пустота везде; разумеется, ему и тут попадались кой-какие лица; изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору по гололедице, задыхаясь и останавливаясь; толстой и приветливой наружности поп, в домашнем подряснике, сидел перед воротами и поглядывал на нее; попадались еще или поджарые подьячие, или толстый советник, — и все это было так засалено, дурно одето, не от бедности, а от нечистоплотности, и все это шло с такой претензией, так непросто: титулярный советник выступал так важно, как будто он сенатор римский... а коллежский регистратор — будто он титулярный советник; проскакал еще на санках полицеймейстер; он с величайшей грацией кланялся советникам, показывая озабоченно на бумагу, вдетую между петлиц, — это значило, что он едет с *дневным* к его превосходительству... Прошли, наконец, две толстые купчихи, кухарка несла за ними веники и узелок; красные щеки доказывали, что веники не напрасно были взяты. — Больше никаких встреч не было.

«Что значит эта тишина, — думал Бельтов, — глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идушем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там — ширь с этим безмолвием, а здесь все давит, а здесь тесно, мелко, кругом жалкие строения, еще бы развалины, а то подкрашенные, подбеленные, да

где же жители? Приступом, что ли, взяли вчера этот город, мор, что ли, посетил его — ничего не бывало: жители дома, жители отдыхают; да когда же они трудились?..» И Бельтов невольно переносился в шумные кипящие народом улицы других городков, не столько патриархальных и более преданных суете мирской. Он начал ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождает ложный шаг в жизни, особенно когда мы начинаем сознать его, и печально отправился домой. Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгородного монастыря; в этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее, он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой. Бедная жертва века, полного сомнением, не в NN тебе сыскать покой!

Через несколько дней, которые Бельтов провел в глубокомысленном чтении и изучении устава о дворянских выборах, он, одевшись с некоторой тщательностью, отправился делать нужнейшие визиты. Часа через три он возвратился с сильной головной болью, приметно расстроенный и утомленный, спросил мятной воды и примочил голову одеколоном; одеколон и мятная вода привели немного в порядок его мысли, и он один, лежа на диване, то морщился, то чуть не хохотал, — у него в голове шла репетиция всего виденного, от передней начальника губернии, где он очень приятно провел несколько минут с жандармом, двумя купцами первой гильдии и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря: «с прошедшим праздничком», причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастье ежедневно подсаживать генерала в карету, — до гостинной губернского предводителя, в которой почтенный представитель блестящего NN-ского дворянства уверял, что нельзя нигде так научиться гражданской форме, как в военной службе, что она дает человеку главное; конечно, имея главное, остальное приобрести ничего не значит. Потом он признался Бельтову, что он истинный патриот, строит у себя в деревне каменную церковь и терпеть не может эдаких дворян, которые вместо того чтоб служить в кавалерии и заниматься устройством именин, играют в карты, держат французенок и ездят в Париж, — все это вместе должно было представить нечто вроде колкости Бельтову. Ряд

лиц, виденных Бельтовым, не выходил у него из головы. То ему представлялся губернский прокурор, который в три минуты успел ему шесть раз сказать: «Вы сами человек с образованием, вы понимаете, что для меня г. губернатор постороннее лицо: я пишу прямо к министру юстиции, министр юстиции — это генерал-прокурор. Губернатор хорош — и я для его пр-ва все, что могу, «читал, читал, читал», да и кончено; он — иначе, — и я ему с полным уважением, как следует высокому сану; ну да уж больше ничего, меня заставить нельзя; я не советник губернского правления». При этом он каждый раз нюхал из кольчатой серебряной табакерки рульный табак, наружностью разительно похожий на французский, но отличавшийся от него скверным запахом. То председатель гражданской палаты, худой, высокий, тощий, скупой и нечистый, доказывавший грязью свое бескорыстие. То генерал Хряшов, окруженный двумя отрешенными от должности исправниками, бедными помещиками, легавыми собаками, псарями, дворней, тремя племянницами и двумя сестрами; генерал у него в воспоминаниях кричал так же, как у себя в комнате, высвистывал из передней Митьку и с величайшим человеколюбием обходился с легавой собакой. То наш знакомый председатель уголовной палаты, Антон Антонович, в халате цвета лягушечьей спинки, с своим советником с Анной в петлице. Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на второй план и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, накупившего брови, неречистого, уклончивого, но который стоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом и что его не только не собьешь с ног обыкновенной прашой, но и гранитным утесом, стоящим под монументом Петра I.

Странное дело — Бельтов, с тех пор как отправился в чужие края, жил много и мыслью и страстями, раздражением мозга и раздражением чувств. Жизнь даром не проходит для людей, у которых пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... Все ничего, сегодня идет, как вчера, все очень обыкновенно, а вдруг обернешься назад и с изумлением увидишь, что расстояние пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Так и было с Бельтовым: он нажил и прожил бездну, но не установился. Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, — и снова струсил перед ней. У него не доставало того практического смысла,

который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий; он был слишком разобщен с миром, его окружавшим. Причина этой разобщенности Бельтова понятна: Жозеф сделал из него человека вообще, как Руссо из Эмиля; университет продолжал это общее развитие; дружеский кружок из пяти-шести юношей, полных мечтами, полных надеждами, настолько большими, насколько им еще была неизвестна жизнь за стенами аудитории, — более и более поддерживал Бельтова в кругу идей, не свойственных, чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец, двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и домогильный, бледнел, бледнел и остался только в воспоминаниях или воскресал при случайных и ненужных встречах да при бокалах вина. Открылись другие двери, немного со скрипом. Бельтов прошел в них и очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему: он не сочувствовал ни с одной действительной стороной около него кипевшей жизни; он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником, — а затем в действительности оставались только места праздношатающихся, игроков и кутящей братии вообще. К чести нашего героя должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться: он был слишком развит, а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб. Поблизь он с медициной да с живописью, покутил, поиграл да и уехал в чужие края. Дела, само собою разумеется, и там ему не нашлось: он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то время, как немцы и французы делали много, — он ничего, он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке. Такая жизнь не могла, наконец, не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслю и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам, и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рожде-

ния или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения. Но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предположения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело: он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтоб не расплыться,— и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь — иди, куда хочешь, во все стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям; он был лишен совершеннолетия — несмотря на возмужалость своей мысли; словом, теперь, за тридцать лет от роду, он, как шестнадцатилетний мальчик, *готовился* начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела.—«Конечно, Бельтов во многом виноват».— Я совершенно с вами согласен; а другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно.

Не прошло и месяца после водворения Бельтова в NN, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам, с своей стороны, его ненавидеть. В числе ненавидевших были такие, которые его в глаза не знали; другие если и знали, то не имели никаких сношений с ним; это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная; но и самые бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники составляли свои, более или менее замкнутые круги, но круги близкие, родственные; у них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи. Приезжай в NN советник из RR, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат; приезжай уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицеймейстер сделал бы для него попойку, и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой»,— так, оче-

видно, поняли бы они родство свое с Павлом Ивановичем. Но Бельтов, Бельтов — человек, вышедший в отставку, не дослуживши четырнадцати лет и шести месяцев до знака, как заметил помощник столоначальника, любивший все то, чего эти господа терпеть не могут, читавший вредные книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталец по Европе, чужой дома, чужой на чужбине, аристократический по изяществу манер и человек XIX века по убеждениям, — как его могло принять провинциальное общество! Он не мог войти в их интересы, ни они — в его, и они его ненавидели, поняв чувством, что Бельтов — протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее. Ко всему этому присовокупилось множество важных обстоятельств. Он сделал мало визитов, он сделал их поздно, он всюду ездил по утрам в сюртуке, он губернатору реже обыкновенного говорил «ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и вовсе не говорил, несмотря на то, что он по месту был временно превосходительный; он с своим камердинером обращался так вежливо, что это оскорбляло гостей; он с дамами говорил, как с людьми, и вообще изъяснялся «слишком вольно». Присовокупите к этому, что в низшем слою бюрократии он был потерян в первый день приезда, вместе с прямым ходом в билльярдную. Само собой разумеется, ненависть к Бельтову была настолько учтива, что давала себе волю за глаза, в глаза же она окружала свою жертву таким тупым и грубым вниманием, что ее можно было принять за простую любовь. Всякий старался иметь приезжего в своем доме, чтоб похвастаться знакомством с ним, чтоб стяжать право десять раз в разговоре вернуть: «Вот, когда Бельтов был у меня... я с ним...» — ну, и как водится, в заключение какая-нибудь невинная клевета.

Все меры были взяты добрыми NN-цами, чтоб на выборах прокатить Бельтова на *вороных* или почтить его избранием в такую должность, которую добровольно мудроно принять. Он сначала не замечал ни ненависти к себе, ни этих парламентских козней, потом стал догадываться и решился самоотверженно идти до конца... Но не бойтесь, по причинам, очень мне известным, но которые, из авторской уловки, хочу скрыть, я избавляю читателей от дальнейших подробностей и описаний выборов NN; на этот раз меня манят другие события — частные, а не служебные.

Вы, верно, давным-давно забыли о существовании двух юных лиц, оттертых на далекое расстояние длинным эпизодом, — о Любоньке и о скромном, милом Круциферском. А между тем в их жизни совершилось очень много: мы их оставили почти женихом и невестой, мы их встретим теперь мужем и женою; мало этого: они ведут за руку трехлетнего bambino¹, маленького Яшу.

Рассказывать об этих четырех годах нечего; они были счастливы, светло, тихо шло их время; счастье любви, особенно любви полной, увенчанной, лишенной тревожного ожидания, — тайна, тайна, принадлежащая двоим; тут третий — лишний, тут свидетель не нужен; в этом исключительно посвящении только двоих лежит особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Рассказывать внешнюю историю их жизнь можно, но не стоит труда; ежедневные заботы, недостаток в деньгах, ссоры с кухаркой, покупка мебели, вся эта внешняя пыль садилась на них, как и на всех, досаждала собою, но была бесследно стерта через минуту и едва сохранялась в памяти. Круциферский получил через Крупова место старшего учителя в гимназии, давал уроки, попадал, разумеется, и на таких родителей, которые платили сполна, — скромно, стало быть, они могли жить в NN, а иначе им и жить не хотелось. Алексей Абрамович, сколько его ни убеждал Крупов, более десяти тысяч не дал в приданое, но зато решительно взял на себя обзаведение молодых; эту трудную задачу он разрешил довольно удачно: он перевез к ним все то из своего дома и из кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, вероятно, что именно это-то и нужно молодым. Таким образом, историческая коляска, о которой думал Алексей Абрамович в то самое время, в которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состарившаяся, осунувшаяся, порыжевшая, с сломанной рессорой и с значительной раной на боку, была доставлена с большими затруднениями на маленький дворик Круциферского; сарай у него не было, и коляска долго служила приютом кротких кур. Алексей Абрамович и лошадь отправил было к нему, но она на дороге скоростижно умерла, чего с нею ни разу не случалось в продолжение двадцатилетней беспороч-

¹ мальчика (ит.).

ной службы на конюшне генерала; время ли ей пришло, или ей обидно показалось, что крестьянин, выехав из виду барского дома, заложил ее в корень, а свою на пристяжку, только она умерла; крестьянин был так поражен, что месяцев шесть находился в бегах. Но один из лучших подарков был сделан утром в день отъезда молодых; Алексей Абрамович велел позвать Николашку и Палашку — молодого чахоточного малого лет двадцати пяти и молодую девку, очень рябую. Когда они вошли, Алексей Абрамович принял важный и даже грозный вид: «Кланяйтесь в ноги! — сказал генерал. — И поцелуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрия Яковлевича». Последнее поручение не легко было исполнить: сконфуженная молодая чета прятала руки, краснела, целовалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжал: «Это ваши новые господа, — слова эти он произнес громко, голосом, приличным такому важному извещению, — служите им хорошо, и вам будет хорошо (вы помните, что это уж повторение)! Ну, а вы их жалуйте да будьте к ним милостивы, если хорошо себя поведут, а зашалят, пришлите ко мне; у меня такая гимназия для баловней, возвращу шелковыми. Баловать тоже не надобно. Вот моя хлеб-соль на дорогу; а то я знаю, вы к хозяйству люди не приобыкшие, где вам ладить с вольными людьми; да и вольный человек у нас бестия, знает, что с ним ничего, что возьмет паспорт да, как барин какой, и пойдет по передним искать другого места. Ну, кланяйтесь же, и вон!» — красноречиво заключил генерал. Николашка с Палашкой чебурахнулись еще раз в ноги и вышли. Тем и окончилась история вступления их в новое владение. В тот же день перебрались наши молодые в город в сопровождении кашлявшего Николашки и барельефной Палашки.

Жизнь Крциферских устроилась прекрасно. Они так мало делали требований на внешнее, так много были довольны собою, так прониклись взаимной симпатией, что их трудно было не принять за иностранцев в NN; они вовсе не были похожи на все, что окружало их. Очень замечательная вещь, что есть добрые люди, считающие нас вообще и провинциалов в особенности патриархальными, по преимуществу семейными, а мы нашу семейную жизнь не умеем перетащить через порог образования, и еще замечательнее, может быть, что, оставая к семейной жизни, мы не пристаем ни к какой другой; у нас не личность, не общие интересы развиваются, а только

семья глохнет. В семейной жизни у нас какая-то формальная официальность; то только в ней и есть, что показывается, как в театральной декорации, и не брани муж свою жену да не притесняя родители детей, нельзя было бы и догадаться, что общего имеют эти люди и зачем они надоедают друг другу, а живут вместе. Кто хочет у нас радоваться на семейную жизнь, тот должен искать ее в гостиниой, а в спальню не ходить; мы не немцы, добросовестно счастливые во всех комнатах лет тридцать сряду. Бывают исключения, и такое-то исключение представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, как другие живут, и жили по крайнему разумению; они не тянулись за другими, не бросали последние тощие средства свои, чтоб оставить себя в подозрении богатства, они не натягивали двадцать, тридцать ненужных знакомств; словом: часть искусственных вериг, взаимных ланкастерских гонений, называемых общежитием, над которым все смеются и выше которого никто не смеет стать, миновала домик скромного учителя гимназии; зато сам Семен Иванович Крупов мирился с семейной жизнью, глядя на «милых детей» своих.

Несколько дней после того, как Бельтов, недовольный и мучимый каким-то предчувствием и действительным отсутствием жизни в городе, бродил с мрачным видом и с руками, засунутыми в карманы,— в одном из домиков, мимо которых он шел, полный негодования и горечи, он мог бы увидеть тогда, как и теперь, одну из тех успокаивающих, прекрасных семейных картин, которые всеми чертами доказывают возможность счастья на земле. В картине этой было что-то похожее на летний вечер в саду, когда нет ветру, когда пруд стелется, как металлическое зеркало, золотое от солнца, небольшая деревенька видна вдали, между деревьев, роса поднимается, стадо идет домой с своим перемешанным хором крика, топанья, мычанья... и вы готовы от всего сердца присягнуть, что ничего лучшего не желали бы во всю жизнь... и как хорошо, что вечер этот пройдет через час, т. е. сменится вовремя ночью, чтоб не потерять своей репутации, чтоб заставить жалеть о себе прежде, нежели надоест. В небольшой чистенькой комнатке сидел на диване Семен Иванович Крупов почетным и единственным гостем. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку, ее муж сидел на креслах и поглядывал с безмятежным спокойствием и любовью то на жену, то на старика. Через минуту вошел в комнату трехлетний ребенок, перевали-

ваясь с ноги на ногу, и отправился прямым путем, т. е. не обходя стол, а туннелем между ножек, к Крупову, которого очень любил за часы с репетицией и за две сердоликовые печати, висевшие у него из-под жилета.

— Яша, здравствуй! — сказал Семен Иванович, вытаскивая своего приятеля из-под стола и усаживая его к себе на колени.

Яша ухватил за печатку и вытягивал часы.

— Он вам мешает чай пить и курить, дайте его мне, — сказала мать, убежденная твердо, что Яша никому и никогда мешать не может.

— Оставьте, сделайте одолжение; я сам его спроважу, когда надоест, — и Семен Иванович вынул часы и заставил их бить; Яша с восхищением слушал бой, поднес потом часы к уху Семена Ивановича, потом к уху матери и, видя несомненные знаки их удивления, поднес их к собственному рту.

— Дети большое счастье в жизни! — сказал Крупов. — Особенно нашему брату, старику, как-то отрадно ласкать кудрявые головки их и смотреть в эти светлые глазенки. Право, не так грубеешь, не так падаешь в ячность, глядя на эту молодую травку. Но, скажу вам откровенно, я не жалею, что у меня своих детей нет... да и на что? Вот дал же бог мне внучка, состареюсь, пойду к нему в няни.

— Няня там! — заметил Яша, указывая на дверь с предовольным видом.

— Возьми меня в няни.

Яша приготовился было возразить на это страшным криком, но мать предупредила это, обратив внимание его на золотую пуговицу на фраке Крупова.

— Я люблю детей, — продолжал старик, — да я вообще люблю людей, а был помоложе — любил и хорошенькое личико и, право, был раз пять влюблен, но для меня семейная жизнь противна. Человек может жить только один спокойно и свободно. В семейной жизни, как нарочно, все сделано, чтоб живущие под одной кровлей надоедали друг другу, — поневоле разойдутся; не живи вместе — вечная нескончаемая дружба, а вместе тесно.

— Полноте, Семен Иванович, — возразил Круциферский, — что вы это говорите! Целая сторона жизни, лучшая, полная счастья и блаженства, вам осталась неизвестна. И что вам в этой свободе, состоящей в отсутствии всяких ощущений, в эгоизме.

— Вот ведь и пошел. И сколько раз я говорил тебе,

Дмитрий Яковлевич, что ты меня словом «эгоизм» не запугаешь. Какая гордость! «Без всяких ощущений», — как будто только на свете и ощущений, что идолопоклонство мужа к жене, жены к мужу, да ревнивое желание так поглотить друг друга для самих себя, чтоб ближнему ничего не досталось, плакать только о своем горе, радоваться своему счастью. Нет, батюшка, знаем мы самоотверженную любовь вашу; вот, не хочу хвастаться, да так уж к слову пришло, — как придешь к больному, и сердце замирает: плох был, неловко так подходишь к кровати — ба, ба, ба! пульс-то лучше, а больной смотрит слабыми глазами да жмет тебе руку, — ну, это, братец, тоже ощущение. Эгоизм? Да кроме безумных, кто ж не эгоист? Только одни просто, а другие, знаете, по пословице: та же шука, да под хреном. А на то пошло, так нет уже и ограниченнее эгоизма, как семейный.

— Я не знаю, Семен Иванович, что вас так страшит в семейной жизни; я теперь ровно четыре года замужем, мне свободно, я вовсе не вижу ни с моей стороны, ни с его ни жертв, ни тягости, — сказала Круциферская.

— Удалось сорвать банк, так и похваливает игру; мало ли чудес бывает на свете; вы — исключенье — очень рад; да это ничего не доказывает; два года тому назад у нашего портного — да вы знаете его: портной Паникратов, на Московской улице, — у него ребенок упал из окна второго этажа на мостовую; как, кажется, не расшибиться? Хоть бы что-нибудь! Разумеется, синие пятна, царапины — больше ничего. Ну, извольте выбросить другого ребенка. Да и тут еще вышла вещь плохая. ребенок-то чихнет.

— Это уж не дурное ли пророчество нам? — спросила Круциферская, дружески положив руку на плечо Семену Ивановичу. — Я ваших пророчеств не боюсь с тех пор, как вы предсказывали моему мужу страшные последствия нашего брака.

— Как вы злопамятны, не стыдно ли? Да и этот болтун все рассказал, экой мужчина! Ну, слава богу, слава богу, что я солгал; прошу забыть; кто старое помянет, тому глаз вон, хоть бы он был так удивительно хорош, как вот этот. — Он указал пальцем.

— Какое Семен Иванович, он еще и комплименты говорит.

— Я вам и получше и побольше комплимент скажу: глядя на ваше житье, я действительно несколько примирился с семейной жизнью; но не забудьте, что, про-

живши лет шестьдесят, я в вашем доме в первый раз увидел не в романе, не в стихах, а на самом деле осуществление семейного счастья. Не слишком же часты примеры.

— Почему знать, — ответила Круциферская, — может быть, возле вас прошли незамеченными другие пары; любовь истинная вовсе не интересуется выказываться; да и искали ли вы, и как искали? Наконец, просто случайность, что вам мало встречалось людей семейно счастливых. А может быть, Семен Иванович, — прибавила она с той насмешливой злобой и даже с тою не деликатностью, которая всегда присуща людям счастливым, — вам уж кажется, что надобно выдержать характер, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете с тем вместе узнать, что поправить ее нельзя.

— О, нет, — возразил с жаром старик, — об этом не беспокойтесь, никогда не раскаюсь в былом, во-первых, потому, что глупо горевать о том, чего не воротить, во-вторых, я, холостой старик, доживаю спокойно век мой, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь.

— Не знаю цели, — заметил Круциферский, — с которой вы сказали последнее замечание, но оно сильно отозвалось в моем сердце; оно навело меня на одну из безотвязных и очень скорбных мыслей, таких, которых присутствие в душе достаточно, чтоб отравить минуту самого пылкого восторга. Подчас мне становится страшно мое счастье; я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим. Как бы...

— Как бы не вычли потом. Ха, ха, ха, эки мечтатели! Кто мерил ваше счастье, кто будет вычитать? Что это за ребяческий взгляд! Случай и вы сами устроили ваше счастье, — и потому оно ваше, и наказывать вас за счастье было бы нелепостью. Разумеется, тот же случай, неразумный, неотразимый, может разрушить ваше счастье; но мало ли что может быть. Может быть, балки этого потолка подгнили, может быть, он провалится; ну, начнем-те выбирать; да как выбирать? На дворе встретится бешеная собака, на улице лошадь задавит... Да если допустить в себе боязнь возможного зла, так лучше опиуму выпить да и уснуть на веки веков.

— Я всегда дивился, Семен Иванович, легкости, с которой вы принимаете жизнь: это счастье, большое счастье, но оно не всем дано; вы говорите: случай — и успокоиваетесь, а я нет. Мне от того не легче, что я

неизвестную, но подозреваемую связь событий моей жизни назову случаем. Все в жизни недаром, и все имеет высокий смысл; недаром вы нашли меня на моем чердаке; мало ли учителей в Москве,— почему именно меня? Не для того ли, что во мне лежало орудие для освобождения этого высокого, чистого существа, и то, о чем я боялся мечтать, боялся думать, вдруг совершилось,— и счастьем моему нет меры. Да где же справедливость, если это так и пойдет на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастью так, как другие покоряются несчастью, но не могу отделаться от страха перед будущим.

— То есть перед тем, чего нет. И я, с своей стороны, скажу, что всю жизнь не понимал да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды и вперед грустить. Такой характер — своего рода несчастье. Ну, пришибет бедою, разразится горе над головой,— поневоле заплачешь и повесишь нос; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подаст прескверного квасу,— это своего рода безумие. Неумение жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время. Мы все еще похожи на тех жидов, которые не пьют, не едят, а откладывают копейку на черный день; и какой бы черный день не пришел, мы не раскроем сундуков,— что это за жизнь?

— Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович,— с жаром сказала Круциферская.— Я часто говорю об этом с Дмитрием. Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем? Для меня его хоть бы совсем не было. Он сам со мною часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Да и зачем, впрочем,— прибавила она, светло и симпатично улыбаясь мужу,— я и грусть эту люблю в нем, в ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не понимаем или, по крайней мере, не сочувствуем этой грусти, что у нас нрав поверхностнее, удобовпечатлительнее, что нас занимает и увлекает внешность.

— Начали за здравие, свели за упокой, начали так, что я хотел поцеловать вашу ручку и сказать мужу: «Вот человеческое понимание жизни», а кончили тем, что его грезы — глубокомыслие; хорошо глубокомыслие — мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещах, которых, может быть, и не будет.

— Семен Иванович, на что вы так исключительны?

Есть нежные организации, для которых нет полного счастья на земле, которые самоотверженно готовы отдать все, но не могут отдать печальный звук, лежащий на дне их сердца,— звук, который ежеминутно готов сделаться... Надобно быть поглубже для того, чтоб быть почастливее; мне это часто приходит в голову; посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери оттого, что они меньше нас понимают.

— Однако довольно неприятно,— заметил неумолимый Крупов,— иметь высшую натуру для существа, назначенного жить не выше и не ниже, как на земле. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое устройство, за нервный припадок; обливайтесь холодной водой да делайте больше движения — половина надзвездных мечтаний пройдет. Вы, Дмитрий Яковлевич, от рождения слабы физическими силами; в слабых организациях часто умственные способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдак вкось, куда-нибудь в отвлечение, в фантазию, в мистицизм. Вот отчего древние говорили: *mens sana in corpore sano*¹. Посмотрите на бледных, белокурых немцев, отчего они мечтатели, отчего они держат голову на сторону, часто плачут? От золотухи и от климата; от этого они готовы целые века бредить о мистических контрроверзах, а дела никакого не делают.

— Недаром говорят, что медицинские занятия прибивают человеку какой-то сухой материальный взгляд на жизнь; вы так коротко знакомитесь с вещественной стороной человека, что из-за нее забыли другую сторону, ускользающую от скальпеля и которая одна и дает смысл грубой материи.

— Ох, эти мне идеалисты,— сказал Семен Иванович, который приметно начал сердиться,— вечно подъезжают с вздором. Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии; сами придумали и тешатся; какая-то грубая материя... Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынешние ученые, а мелко плаваете! Это наш старый спор, он никогда не кончится, лучше перестать. Посмотрите, как Яшу мы убаюкали нашими пустяками, спит себе спокойно. Спи, малютка! Тебя еще папаша не научил презирать землю да матерью, не уверил еще тебя, что эти милые ножки, эти ручонки — кусочки грязи, приставшей к тебе. Любовь Александровна, пожалуйста, не

¹ в здоровом теле здоровый дух (лат.).

развивайте в нем этих пустяков; ну, вы мужу даете поблажку, бог с ним! Невинного ребенка, по крайности, не развращайте этим бредом с малых лет; ну, что сделаете из него? Мечтателя. Будет до старости искать жар-птицу, а настоящая-то жизнь в это время уйдет между пальцев. Ну, хорошо ли это? Возьмите-ка его.

Старик отдал Яшу матери, взял свой картуз и, медленно застегивая фрак, сказал:

— Ах, я забыл вам рассказать: на днях как-то я познакомился с преинтересным человеком.

— Верно, с Бельтовым?— спросила Круциферская.— Его приезд до того наделал шуму, что и я узнала об нем от директорши.

— Именно. Они шумят потому, что он богат, а дело в том, что он действительно замечательный человек, все на свете знает, все видел, умница такой; избалован немножко, ну, знаете, матушкин сыночек; нужда не воспитывала его по-нашему, жил спустя рукава, а теперь умирост здесь от скуки, хандрит; можете себе представить, каково после Парижа.

— Бельтов!— Да позвольте,— сказал Дмитрий Яковлевич,— фамилия знакомая; да не был ли он в мое время в Московском университете? Бельтов оканчивал курс, когда я вступил; про него и тогда говорили, что он страшно умен; еще его воспитывал какой-то женевец.

— Тот самый, тот самый.

— Я помню его, мы были немного знакомы.

— Я уверен, что он был бы очень рад вас видеть; в этой глуши встретить образованного человека — всякому клад; а Бельтов вовсе не умеет быть один, сколько я заметил. Ему надобно говорить, ему хочется обмена, и он болен от одиночества.

— Если вы не находите ничего против этого, я, пожалуй, пойду.

— Пойдемте-ка, доброе дело.— Нет, постой; вот я и стар, да опрометчив; он слишком, брат, богат, чтоб тебе первому идти к нему! Я завтра ему скажу: захочет, приедем с ним к тебе.— Прощай, любезный спорщик. Прощайте.

— Привозите же завтра вашего Бельтова,— сказала Любовь Александровна,— нам до того наговорили об нем, что и мне захотелось его видеть.

— Стоит, право, стоит,— сказал старик, выходя в переднюю.

Крупов всякий раз спорил с Круциферским, всякий

раз сердился и говорил, что он все более и более расходится с ним,— что не мешало нисколько тому, что они сближались ежедневно теснее и теснее. Для Крупова семья Круциферского — была его семья; он туда шел пожить сердцем, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье их. Для Круциферских Крупов представлял действительно старшего в семье — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и поглубить,— что оба прощали ему от души, и им было грустно, когда не видали его дня два.

На другой день, часов в семь после обеда, Семен Иванович привез в своих пошевнях, покрытых желтым ковром, и на паре обвинок, светло-саврасой шерсти, Бельтова к Круциферскому. Разумеется, Бельтов был рад-радехонек познакомиться с порядочным человеком, и ему вовсе не пришло в голову, что он сделает первый визит. Хозяева немного сконфузились; похвалы Семена Ивановича, слух о его заграничной жизни, даже его богатство — все это смутно вспомнилось, когда он вошел в комнату, и сделало встречу несколько натянутой; но это тотчас прошло. В приемах и речах Бельтова было столько открытого, простого, и притом в нем было столько такту, этой высокой принадлежности людей с развитой и нежной душой, что не прошло получаса, как тон беседы сделался приятельским. Даже Круциферская, так не привыкшая к посторонним, невольно была вовлечена в разговор. С Дмитрием Яковлевичем Бельтов вспомнил университетские годы, бездну тогдашних анекдотов, тогдашние мечты, надежды. Давно ему не было так отрадно, и он дружески благодарил Крупова за это знакомство, когда тот подвез его к подъезду гостиницы «Керсберг».

— Ну, что,— спрашивал потом Семен Иванович у Круциферских,— как вам нравится новый знакомый?

— Этого и спрашивать не следует,— отвечал Круциферский.

— Он мне очень понравился,— сказала Любовь Александровна.

Семен Иванович, чрезвычайно довольный, что доставил всем удовольствие, шутливо погрозил пальцем,

Любовь Александровна покраснела.

Семейные картины увлекательны, и теперь, доживши одну, я не могу удержаться, чтоб не начать дружую. Тесная связь их, уверяю вас, раскроется после.

У дубасовского уездного предводителя была дочь, — и в этом еще не было бы большого зла ни для почтеннейшего Карпа Кондратьича, ни для милой Варвары Карповны; но у него, сверх дочери, была жена, а у Вавы, как звали ее дома, была, сверх отца, милая маменька, Марья Степановна, это изменяло существенно положение дела. Карп Кондратьич был образец кротости в семейных делах; странно было видеть, как изменялся он, переходя из конюшни в столовую, с гумна в спальню или в диванную. Если б мы не имели достоверных документов от известных путешественников, свидетельствующих о том, что один и тот же англичанин может быть отличнейшим плантатором и прекрасным отцом семейства, то мы сами усомнились бы в возможности такой двойственности. Впрочем, рассуждая глубже, можно заметить, что это так и должно быть; вне дома, т. е. на конюшне и на гумне, Карп Кондратьич вел войну, был полководцем и наносил врагу наибольшее число ударов; врагами его, разумеется, являлись непокорные крамольники — лень, не совершенная преданность его интересам, не совершенное посвящение себя четверке гнемых и другие преступления; в зале своей, напротив, Карп Кондратьич находил рыхлые объятия верной супруги и милое чело дочери для поцелуя; он снимал с себя тяжелый панцырь помещичьих забот и становился не то чтобы добрым человеком, а добрым Карпом Кондратьичем. Жена его находилась вовсе не в таком положении; она лет двадцать вела маленькую партизанскую войну в стенах дома, редко делая небольшие вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками; деятельная перестрелка с горничными, поваром и буфетчиком поддерживала ее в беспрестанно раздраженном состоянии; но к чести ее должно сказать, что душа ее не могла совсем наполниться этими мелочными неприятельскими действиями — и она со слезами на глазах прижала к своему сердцу семнадцатилетнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка из Москвы, где она копчила свое ученье в институте или пансионе. Это уже не повару чета, не горничной — родная дочь, одна кровь течет в жилах, да и священная обязанность. Сначала дали Ваве отдохнуть, побегать по саду, особенно в лунные ночи; для девочки, воспитанной в четырех стенах, все было ново, «очаровательно, пленительно», она смотрела на луну и вспоминала

о какой-нибудь из обожаемых подруг и твердо верила, что и та теперь вспомнит об ней; она вырезывала вензеля их на деревьях... Это было то время, которое холодным людям просто смешно, а у нас оно срывает улыбку, но не улыбку презрения, а ту улыбку, с которой мы смотрим на играющих детей: нам нельзя играть — пусть они поиграют. Натянутость, экзальтация, в которой обыкновенно обвиняют девушек, только что оставшихся пансион, несправедлива, совершенно несправедлива. Во всех мечтах, во всех самопожертвованиях этого возраста, в его готовности любить, в его отсутствии эгоизма, в его преданности и самоотвержении — святая искренность; жизнь пришла к перелому, а занавесь будущего еще не поднялась; за ней страшные тайны, тайны привлекательные; сердце действительно страдает по чем-то неизвестному, и организм складывается в то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы беспрестанно литься. Пройдет пять, шесть лет, все переменится; замуж выйдет — и говорить нечего; не выйдет — да если только есть искра здоровой натуры, девушка не станет ждать, чтоб кто-нибудь отдернул таинственную завесу, сама ее отдернет и иначе взглянет на жизнь. Смешно смотреть институткой на мир двадцатипятилетними глазами, и печально, если институтка смотрит на вещи двадцатипятилетними глазами.

Варвара Карловна не была красавица, но в ней была богатая замена красоты, это *нечто*, *ce quelque chose*, которое, как букет хорошего вина, существует только для понимающего, и это *нечто*, еще не развитое, пророческое, предсказывающее в соединении с юностью, которая все румянит, все красит, — придавало ей особую, тонкую, нежную, не всем доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смуглое лицо ее, на юную нестройность тела, на задумчивые глаза с длинными ресницами, поневоле приходило в голову, как преобразятся все эти черты, как они устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза — все получит определение, смысл, отгадку, и как хорошо будет тому, на плечо которого склонится эта головка! Марья Степановна, впрочем, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее «дурняшкой» и приказывала всякое утро и всякий вечер мыться огуречною водою, в которую прибавляла какой-то порошок, чтоб прошел загар, как она называла ее смуглость. Поведение Вавы при гостях заставило мать обратить серьезное внимание на нее: Вава была застенчива, уходила в сад с книжкой,

не любезничала, не делала глазки. Книжка, как ближайшая причина, была отнята; потом пошли родительские поучения, вовеки нескончаемые; Марье Степановне показалось, что Вава ей повинуется не совсем с радостью, что она даже хмурит брови и иногда смеет *отвечать*; против таких вещей, согласитесь сами, надобно было взять решительные меры; Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь к дочери и начала ее гнать и теснить на всяком шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотелось; она ее посылала, когда та хотела сидеть дома. Она ее заставляла нехотя есть и всякий день упрекала, что она не толстеет. Гонения матери сделали нрав Вавы сосредоточенным, она стала еще дичее, худела еще больше. Карпу Кондратьичу иногда приходило в голову, что жена его напрасно гонит бедную девушку, он пробовал даже заговорить с нею об этом издали; но как только речь подходила к большей определенности, он чувствовал такой ужас, что не находил в себе силы преодолеть его и отправлялся поскорее на гумно, где за минутный страх вознаграждал себя долгим страхом, внушаемым всем вассалам. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, с величайшей ревностью скупая ткацкие полотна, скатерти и салфетки для будущего приданого и заставляя семерых горничных слепить глаза за кружевными коклюшками, а трех вышивать в пальцах разные ненужности для Вавы,— в то же самое время с невероятной упорностью гнала и теснила ее, как личного врага.

Когда они приехали в NN на выборы и Карп Кондратьевич напялил на себя с большим трудом дворянский мундир, ибо в три года предводителя прибыло очень много, а мундир, напротив, как-то съежился, и поехал как к начальнику губернии, так и к губернскому предводителю, которого он, в отличие от губернатора, остроумно называл «наше его превосходительство»,— Марья Степановна занялась распоряжениями касательно убранства гостиной и выгрузки разного хлама, привезенного на четырех подводах из деревни; ей помогали трое нечесанных от колыбели лакеев, одетых в полуфраки из какой-то серой не то байки, не то сукна; дело шло горячо вперед; вдруг барыня, как бы пораженная нечаянной мыслью, остановилась и закричала своим звучным голосом:

— Вава, Вава, где ты это прячешься, а?

Бедная девушка, чувствуя, что это не к добру, робко вошла в комнату.

— Я здесь, татап!

— Что это у тебя за вид, больна, что ли, ты? Право, посмотришь на вас со стороны, покажется, что вам дурно жить в родительском доме; вот эти пансион! к матери подходит с каким лицом!— Тут Марья Степановна передразнила томный вид девушки.— Я сама была дочь; бывало, маменька позовет, бегу к ней с открытым видом.— Тут она представила открытый вид и улыбочку.— А ты все исподлобья... Дурак, разобьешь! Чему обрадовался,— ташит, мужик; никогда не выучишь...— Ну, милая моя, полно шутить, я тебе в последний раз скажу добрым порядком, что твое поведение меня огорчает; я еще молчала в деревне, но здесь этого не потерплю; я не затем тащила такую даль, чтоб про мою дочь сказали: дикая дурочка; здесь я тебе не позволю в углу сидеть. Как не умеешь заинтересовать ни одного кавалера? Да мне было пятнадцать лет, а уж отбою не было от них. Тебя пора пристроить, слышишь ли?...— Ах, ты мерзавец, ведь говорила, что ломаешь; поди сюда, поди, тебе говорят, покажи, вишь, дурак, как сломал, совсем на две части; ну я тебя угощу, дай барину воротиться; я сама бы оттаскала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться: маслом как намазался, это вор Митька на кухне дает господское масло; вот, погоди, я и до него доберусь...— Да-с, Варвара Карповна, вы у меня на выборах извольте замуж выйти; я найду женихов, ну, а вам поблажки больше не дам; что ты о себе думаешь, красавица, что ли, такая, что тебя очень будут искать: ни лица, ни тела, да и шагу не хочешь сделать, одеться не умеешь, слова молвить не умеешь, а еще училась в Москве; нет, голубушка, книжки в сторону, довольно начиталась, очень довольно, пора, матушка, за дело приниматься. Я тебя с глаз сгоню, если не поправишь поведения.

Вава стояла, как приговоренная к смерти; последние слова матери казались ей утешением.

— Как тебе не найти жениха! Триста пятьдесят душ каких крестьян! Каждая душа две души соседские стоит, да приданище какое!.. Что, что — да ты, кажется, плакать начинаешь, плакать, чтобы глаза сделались красными; так ты эдак за материнские попечения!..

Она так близко подошла к ней, а у Вавы волосы были так мягки и сухи, что неизвестно, чем кончилась бы эта история, если б медвежонок в полуфраке не уронил в самое это время десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость.

— Кто разбил тарелку?— кричала она хриплым голосом.

— Сама разбилась,— отвечал, по-видимому, вышедший из терпения слуга.

— Как сама! Сама? И ты смеешь мне говорить это — сама!— Остальное она договорила руками, находя, вероятно, что мимика сильнее выражает взволнованное состояние души, чем слово.

Измученная девушка не могла больше вынести: она вдруг зарыдала и в страшном истерическом припадке упала на диван. Мать испугалась, кричала: «Люди, девка, воды, капель, за доктором, за доктором!» Истерический припадок был упорен, доктор не ехал, второй гонец, посланный за ним, привез тот же ответ: «Велел-де сказать, что немножко-де повременить надо, на очень, дескать, трудных родах».

— Тыфу ты, проклятый! Да кому это так приспичило родить?

— Прокуроровой кухарке-с,— отвечал посланный.

Только этого и недоставало, чтоб довершить трагическое положение Марьи Степановны; она побагровела; лицо ее, всегда непривлекательное, сделалось отвратительным.

— У кухарки? У кухарки?..— больше она не могла вымолвить ни слова.

Вошел Карп Кондратьич с веселым и довольным видом: губернатор дружески жал ему руку, ее превосходительство водила показывать ковер, присланный для гостиной из Петербурга, и он, посмотревши на ковер с видом патриархальной простоты, под которую мы умеем прятать лесть и унижение, сказал: «У кого же, матушка Анна Дмитриевна, и быть таким коврам, как не у ваших превосходительств». Он всем этим был очень доволен, особенно ловким ответом своим. И вдруг семейная сцена обрушилась на его голову: дочь в истерике, жена в иступлении, разбитая тарелка на полу, у Марьи Степановны лица нет, и правая ручка как-то очень красна, почти так же, как левая щека у Терешки.

— Что за история? Что с Вавой?

— Известно, с дороги; дело девичье,— ответила нежная мать,— где ей вынести сто двадцать верст; говорила — отложить до середины, ну так нет; теперь и лечи.

— Помилуй, в середу не меньше бы было верст.

— Ты все лучше знаешь. А вот этого убийцу Круп-

ва в дом больше не пускай: вот масон-то, мерзавец! Два раза посылала, — ведь я не последняя персона в городе... Отчего? Оттого, что ты не умеешь себя держать, ты себя держишь хуже заседателя; я посылала, а он изволит тешиться надо мной; видишь, у прокурорской кухарки на родинах; моя дочь умирает, а он у прокурорской кухарки... Якобинец!

— Подлец и мерзавец! — заключил предводитель.

Горячий поток слов Марьи Степановны не умолкал еще, как растворилась дверь из передней, и старик Крупов, с своим несколько методическим видом и с тростью в руке, вошел в комнату; вид его был тоже довольнее обыкновенного; он как-то улыбался глазами и, не замечая того, что хозяева не кланяются ему, спросил:

— Кому нужна здесь моя помощь?

— Моей дочери!

— А! Вере Михайловне? Что с ней?

— Дочь мою зовут Варварой, а меня Карпом, — не без достоинства заметил предводитель.

— Извините, извините; да, ну что же у Варвары Кирилловны?

— Да прежде, батюшка, — перебила дрожащим от бешенства голосом Марья Степановна, — успокойте, что, кухарка-то прокурорская родила ли?

— Хорошо, очень хорошо, — возразил с энергией Крупов, — это такой случай, какого в жизнь не видал. Истинно думал, что мать и ребенок пропадут; бабка пренеловкая, у меня и руки стары, и вижу нынче плохо. Представьте, луповина...

— Ах, батюшка, да он с ума сошел; стану я такие мерзости слушать! Да с чего вы это взяли! У меня в деревне своих баб круглым числом пятьдесят родят ежегодно, да я не узнаю всех гадостей. — При этом она плюнула.

Крупов насилу сообразил, в чем дело. Он всю ночь провозился с бедной родильницей, в душной кухне, и так еще был весь под влиянием счастливой развязки, что не понял сначала тона предводительши. Она продолжала:

— Да что, прокурор-то платит вам, что ли, так уж густо, что вы не могли бабы его оставить на минуту, когда с моей дочерью чуть смерть не приключилась?

— Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не мог — ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да видно, она и не очень больна: вы не торопитесь вести меня к ней. Я знал это.

Это замечание озадачило нежных родителей; но мать скоро оправилась и возразила:

— Ей лучше, да я и не подпущу вас теперь к моей дочери, и рук-то, верно, вы не вымыли.

— Признаюсь, г. доктор, — прибавил предводитель, — такого дерзкого поступка и такого дерзкого ему объяснения я от вас не ожидал, от старого, заслуженного доктора. Если бы не уважение мое к кресту, украшающему грудь вашу, то я, может быть, не остался бы в тех пределах, в которых нахожусь. С тех пор, как я предводителем — шесть лет минуло, — меня никто так не оскорблял.

— Да помилуйте, если в вас нет искры человеколюбия, так вы, по крайней мере, сообразите, что я здесь инспектор врачебной управы, блюститель законов по медицинской части, и я-то брошу умирающую женщину для того, чтоб бежать к здоровой девушке, у которой мигрень, истерика или что-нибудь такое — домашняя сцена! Да это противно законам, а вы сердитесь!

Карл Кондратыч, в дополнение, был трус величайший; ему показалось, что в словах доктора лежит обвинение в вольнодумстве; у него в глазах поголубело, и он поторопился ответить:

— Не знал, видит бог, не знал, перед властью закона я немею. Да вот Вава сама встает.

Крупов подошел к ней, посмотрел, взял руку, покачал головой, сделал два-три вопроса и, — зная, что без этого его не выпустят — написал какой-то вздорный рецепт и, прибавивши: «Пуше всего спокойствие, а то может быть худо», — ушел.

Испуганная истерикой, Марья Степановна немного сделалась помягче; но когда до нее дошел слух о Бельтове, у нее сердце так и стукнуло, и стукнуло с такой силой, что болонка, лежавшая у нее постоянно шестой год на коленях, вместе с носовым платком и с маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгает. — Бельтов — вот жених! Бельтов — его-то нам и надо!

Разумеется, Бельтов сделал Карпу Кондратычу визит, на другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтение, а через неделю Бельтов получил засаленную записку, с сильным запахом бараньего тулупа, приобретенным на груди кучера, принесшего ее; содержание было следующее:

«Дубасовский уездный предводитель дворянства и супруга его покорнейше просят Владимира Петровича сделать им честь откушанием у них обеденного стола, завтра в три часа».

Бельтов с ужасом прочел приглашение и, бросив его на стол, думал: «Что им за охота звать? Денег стоит много, все они скупы, как кошки, скука будет смертная... А делать нечего, надобно ехать, а то обидится».

За два дни до обеда начались репетиции и приготовления Вавы; мать наряжала ее с утра до ночи, хотела даже заставить ее явиться в каком-то красном бархатном платье, потому что оно будто бы было ей к лицу, но уступила совету своей кузины, ездившей запросто к губернаторше и которая думала, что она знает все моды, потому что губернаторша обещала ее взять на будущее лето с собой в Карлсбад. — С вечера Марья Степановна приказала принести миндальные отруби, оставшиеся от приготавливаемого на завтра бланманже, и, показавши дочери, как надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественным тоном, сдерживая очевидное желание перейти к брани:

— Вава, — говорила она, — если бог мне поможет выдать тебя за Бельтова, все мои молитвы услышаны, я тогда тебе цены не буду знать; утешь же ты мать свою: ты не бесчувственная какая-нибудь, не каменная, неужели этого не можешь сделать? — Как не понравиться мужчине, молодому? Да и что здесь девиц, что ли, очень много: две, три — да и обчелся; красавицы-то хваленые — председательские дочки, по мне прегадкие да и, говорят, перемигиваются с какими-то секретаришками. А потом, что за фамилия их — отец выслужился из понытчиков казенной палаты. Кабы у тебя амбиции было хоть на волос, то на смех им надобно бы... Они, бесстыдницы, мимо его квартиры в открытой коляске шныряют, да нет — надежда плоха: вот теперь я распинаясь, а ведь она смотрит, как деревянная; наградил же меня господь за мои прегрешения куклой вместо дочери!

— Маменька, маменька, — говорила полушепотом Вава с каким-то отчаянием во взгляде, — что же мне делать, я не могу иначе; да рассудите сами, я не знаю совсем этого человека, да и он, может быть, на меня не обратит вовсе никакого внимания. Не броситься же мне к нему на шею.

— Грубиянка эдакая! Да кто тебе говорит — броситься на шею... так ты эдак хочешь исполнить волю матери...

не видала никогда! Что у тебя мать дура или пьяная какая, что не умеет выбрать тебе жениха? Царевна какая!

Она остановилась, боясь разобидеть ее до слез, от которых завтра глаза будут красны.

Пришел, наконец, день испытания; с двенадцати часов Ваву чесали, помадили, душили; сама Марья Степановна затянула ее, и без того худенькую, корсетом и придавала ей вид осы; зато, с премудрой распорядительностью, она умела кой-где подшить ваты — и все была не вполне довольна: то ей казался ворот слишком высок, то что у Вавы одно плечо ниже другого; при всем этом она сердилась, выходила из себя, давала поощрительные толчки горничным, бегала в столовую, учила дочь делать глазки и буфетчика накрывать стол и пр. Труден был этот день для Марьи Степановны — но много может любовь материн!

Понятно, что все это очень хорошо и необходимо в домашнем обиходе; как ни мечтай, но надобно же подумать о судьбе дочери, о ее благосостоянии; да то жаль, что эти приготовительные, закулисные меры лишают девушку прекраснейших минут первой, откровенной, неожиданной встречи — разоблачают при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показывают слишком рано, что для успеха надобна не симпатия, не счастье, а крапленые карты. Эти приготовления опошляют отношения, которые только тогда и могут быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгие моралисты, пожалуй, прибавят, что все подобные меры более могут развратить сердце девушки, нежели так называемые падения, — в такую глубь мы не пускаемся. Да и притом, как ни толкуй, а дочерей надобно замуж выдавать, они только для этого и рождаются; в этом, я думаю, согласны все моралисты.

В три часа убранная Вава сидела в гостиной, где уж с половины третьего было несколько гостей и поднос, стоявший перед диваном, утратил уже половину икры и балыка, как вдруг вошел лакей и подал Карлу Кондратьичу письмо. Карл Кондратьич достал из кармана очки, замарал им стекла грязным платком и, как-то, должно быть, по складам, судя по времени, прочитавши записку в две строки, возвестил голосом, явно не спокойным:

— Маша, Владимир Петрович просит извинить его, он нездоров, простудился и при всем желании не может приехать. Человеку скажи, что очень, дескать, жаль.

Марья Степановна изменилась в лице и бросила на дочь такой взгляд, как будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смешнее: она до того была смешна, что ее становилось жаль. Она возненавидела Бельтова от всего сердца и от всего помышления. «Это просто афронт», — бормотала она про себя.

— Кушанье подано, — сказал лакей.

Губернский предводитель повел Марью Степановну в столовую.

Недели через две после этого происшествия Марья Степановна занималась чаем: она, оставаясь одна или при близких друзьях, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочек, с блюдечка, что ей нравилось, между прочим, и тем, что сахару выходило по этой методе гораздо меньше. Перед нею сидела на стуле какая-то длинная сухая женская фигура в чепчике, с головою, несколько качающуюся, что сообщало оборке на чепце непрерывное колебание; она вязала шерстяной шарф на двух огромных спицах, глядя на него сквозь тяжелые очки, которых обкладка, сделанная, впрочем, из серебра, скорее напоминала пушечный лафет, чем вещь, долженствующую покоиться на носу человека; затасканный темный капот, огромный ридикуль, из которого торчали еще какие-то спицы, показывали, что эта особа — свой человек, и притом — не богатый человек; последнее всего яснее можно было заметить по тону Марьи Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошего дворянского происхождения и с молодых лет вдова; имение ее состояло из четырех душ крестьян, составлявших четырнадцатую часть наследства, выделенного ей родственниками ее, людьми очень богатыми, которые, взойдя в ее вдовье положение, щедрой рукой нарезали для нее и для ее крестьян болото, обильное дупелями и бекасами, но не совсем удобное для мирных занятий хлебопашеством. При всех стараниях Анны Якимовны большого оброку с такого имения получить было невозможно. Наследство, полученное ею от своего супруга, было тоже не велико: оно состояло из подполковничьего чина, из единственного сына и из собрания рецептов, как лечить лошадей от шпата, сапа и пр.: на каждом рецепте был написан поразительный пример успеха. Сын был отправлен лет девятнадцати в какой-то полк, но воротился вскоре в родительский дом, высланный из службы за пьянство и буйные поступки. С тех пор он жил во флигеле дома

Анны Якимовны, тянул сивуху, настоящую на лимонных корках, и беспрестанно дрался то с людьми, то с хорошими знакомыми; мать боялась его, как огня, прятала от него деньги и вещи, клялась перед ним, что у нее нет ни гроша, особенно после того, как он топором разломал крышку у шкатулки ее и вынул оттуда семьдесят два рубля денег и кольцо с бирюзою, которое она берегла пятьдесят четыре года в знак памяти одного искреннего приятеля покойника ее. Сверх крестьян и рецептов, у Анны Якимовны были три молодые горничные, одна старая дева и два лакея. Молодых девок она никогда не одевала, а, что всего замечательнее, они были всегда хорошо одеты. Анна Якимовна с удовольствием видела, что они успевают выработать себе на платье, несмотря на то, что с утра до ночи сама занимала их работой, — и благо-разумно молчала, замечая кой-какие непорядки. Лакеи — два уродливые старика, жившие единственно вину, были в половине с горничными и, сверх того, шили на пол-города козловые башмаки с сильным запахом. Разумеется, Яким Осипович также не упускал случая сводить свои счета, пользуясь слабостями человеческой натуры.

Почтенная глава этого патриархального фаланстера допивала четвертую чашку чаю у Марьи Степановны; она успела уже повторить в сотый раз, как за нее сватался грузинский князь, умерший генерал-аншефом, как она в 1809 году ездила в Питер к родным, как всякий день у ее родных собирался весь генералитет и как она единственно потому не осталась там жить, что невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократические воспоминания вместе с четвертой чашкой чаю, она вдруг начала, громко опрокидывая чашку (это был фальшивый сигнал) и положивши на донышко крошечный кусочек сахару:

— Да, матушка Марья Степановна, вот кабы меня господь сподобил увидеть Варвару Карповну вашу пристроенною — так, хоть бы как вы, Марья Степановна; не могу более желать; сердце радуется на ваше семейство: дом — полная чаша, уважение такое отовсюду. Право, хорошо бы, успокоило бы вас!

— Что вы это опрокинули чашку, выкушайте еще.

— Право, довольно; я обыкновенно пью три чашки, а у вас четыре выпила; покорнейше благодарю; чай у вас отменный.

— Да, я уж всегда говорю, по-моему, рубль передать на фунт — ничего не значит, да уж только чтоб был чай. Берите-ка чашку. — И Анна Якимовна принялась за пятую.

— Конечно, все в божией власти, Анна Якимовна, но ведь Вава оченно молода, куда ей замуж теперь; да и, признаться, какие женихи, погубят девуку; а когда подумаю, как с ней расстаться, я не переживу, истинно не переживу.

— И, матушка, господь с тобой. Кто же не отдавал дочерей, да и товар это не таков, чтоб на руках держать: залежится, пожалуй. Нет, по-моему, коли мать пресвятая богородица благословит, так хорошо бы составить авантажную партию. Вот Софьи-то Алексеевны сынок приехал; он ведь нам доводится в дальнем свойстве; ну, да ведь нынче родных-то плохо знают, а уж особенно бедных; а должно быть, состояньице хорошее, тысячи две душ в одном месте, имение устроенное.

— Да человек-то каков? Вам все деньги дались, а богатство больше обуза, чем счастье — заботы да хлопоты; это все издали кажется хорошо, одна рука в меду, другая в патоке; а посмотрите — богатство только здоровью перевод. Знаю я Софьи Алексеевны сына; тоже совался в знакомство с Карпом Кондратьевичем; мы, разумеется, приняли учтиво, что ж нам его учить, — ну, а уж на лице написано: преразвращенный! Что за манеры! В дворянском доме держит себя точно в ресторации. Вы видели его?

— Видала издали, на улице; он частенько ездит мимо меня и пешком прохаживает.

— Да куда же это мимо вас он ходит?

— Не знаю, матушка, мне ли в мои лета и при тяжких болезнях моих (при этом она глубоко вздохнула) заниматься, кто куда ходит, своей кручины довольно... Пред вами, как перед богом, не хочу таить: Якиша-то опять зашалил — в гроб меня сведет... — Тут она заплакала.

— Что бы вам посоветоваться с крестовоздвиженским церковным старостою: удивительно лечит; возьмет простого пенного, поговорит над ним, даст хлебнуть больному и сам остальное выпьет, больше ничего, а тому так и начнут бесепята казаться и разные адские наваждения, — ну как рукой и снимет!

— Да ведь, небось, дорого попросит; знаете наше состояние.

— Нет, он лечил нашего повара, всего дали си-
ненькую.

— Да помог ли?

— Помочь-то помог; он было опять стал припадать, так Карп Кондратыч другого лекарства закатил: «Ты, говорит, боярских милостей не понимаешь: я пять рублей пролечил на тебя, а ты не выздоровел, мошенник!» Ну, и, знаете, по-русски; с тех пор и не пьет. Я вам пришло старосту. Ну, а уж я не вытерпела бы, узнала бы, куда это шляется этот молодчик.

— Да и я сама как-то спросила свою Василиску — ведь она такая бойкая у меня... так, от безделья молвила, куда, мол, ездит вот этот барин мимо нас; а она на другой же день мне и докладывает: «Изволили мне вчера молвить, куда бельтовский барин ездит: он все с дохтуром, с стариком, к учителю негровскому ездит».

— С Круповым, к негровскому учителю? — спросила Марья Степановна, едва скрывая приятное волнение, в котором сама себе не могла дать отчета.

— Да, матушка, он ведь здесь в этой в гимназии служит, этому учит...

— А, так вот куда он похаживает; я с самого начала его считала преразвращенным, и чему дивить? Учитель его с малолетства постриг в масонскую веру. — ну, какому же быть пути? Мальчишка без надзору жил во французской столице, ну, уж по имени можете рассудить, какая моральность там... Так это он за негровской-то воспитанницей ухаживает, прекрасно! Экой век какой!

— Жаль, вчуже жаль, Марья Степановна, бедного мужа; говорят, человек солидный. А она — уж такое происхождение! Скольких я видала на своем веку, холопская кровь скажется!

— Ну, и Семен-то Иванович, роля очень хороша! Прекрасно! Старый грешник, бога б побоялся; да и он-то масоннишка такой же, однокорытнику и помогает, да ведь, чай, какие берет с него денежки? За что? Чтоб погубить женщину. И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? Один, как перст, ни ближних, никого, нищему копейки не подаст; алчность проклятая! Иуда искарпотский! И куда? Умрет, как собака, в казну возьмут!

Разговор продолжался еще с четверть часа в том же духе и направлении, после чего Анна Якимовна, в жару

разговора выпившая еще три чашки чаю, стала собираться домой, сняла очки, уложила их в футляр и послала в переднюю спросить, пришел ли Максютка проводить ее, и узнавши, что Максютка тут, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее так ласково; она проводила ее даже до самой передней, где небритый Максютка, пресмешной старик лет шестидесяти, грязный и пропахнувший простым вином, одетый в фризовую шинель с черным воротником, держал одной рукой заячий салоп Анны Якимовны, а другой укладывал в карман тавлинку. Максютка был очень не в духе: он только было готовился запереть дамку и уж поставил грязный палец на шашку, чтоб ее двинуть, как барыня отворила дверь. «Ворона проклятая», — бормотал он грубо, надевая салоп на сухие плечи вдовствующей Анны Якимовны.

— Вот у меня дурачок, не могу научить салопу по-
дать, — заметила барыня.

— Пора нас со двора, наберите себе ученых, — бормотал Максютка.

— Вот, матушка, вдовье положение; ото всего терплю, от последнего мальчишки. Что сделаешь — дело женское; если б был покойник жив, что бы я сделала с эдаким негодяем... себя бы не узнал... Горькая участь, не суди вам бог испытать ее!

Речь эта не тронула Максютку; он, ведя под руку свою барыню с лестницы, успел обернуться к провожавшим людям и подмигнуть, указывая на Анну Якимовну, что доставило истинное и продолжительное удовольствие дворне дубасовского предводителя.

Предоставляю читателям вообразить всю радость и все удовольствие доброй Марьи Степановны, услышавшей такую новость и получившей явную возможность пустить скандальную историю не только о Бельтове, но и о Крупове. По дороге приходилось, правда, раздавить репутацию женщины, как-то жаль, но что делать? Есть важные случаи, в которых личности человеческие приносятся на жертву великим планам!

IV

В то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менее почтенной Марьи Степановны, и они с тем же нежным вниманием, свойственным одному женскому сердцу, занимались Бель-

товым. — Бельтов, чрезвычайно грустный, сидел, с своей стороны, в своем номере, тоскливо думая о чем-то очень грустном и тяжелом. Будь он одарен ясновидением, ему было бы легко утешиться, он ясно услышал бы, что не далее как чрез большую и нечистую улицу да через нечистый и маленький переулок две женщины оказывали родственное участие к судьбам его, и из них одна, конечно, без убийственного равнодушия слушала другую; но Бельтов не обладал ясновидением; по крайней мере, если б он был не испорченный западным нововведением русский, он стал бы икать, и икота удостоверила бы его, что там, — там, где-то... вдали, в тиши его поминают; но в наш век отрицанья икота потеряла свой мистический характер и осталась жалким гастрическим явлением.

Хандра Бельтова, впрочем, не имела ни малейшей связи с известным разговором за шестой чашкой чаю; он в этот день встал поздно, с тяжелой головой; с вечера он долго читал, он читал невнимательно, в полудремоте, — в последние дни в нем более и более развивалось какое-то болезненное *не по себе*, не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжелым думам, — ему все чего-то не доставало, он не мог ни на чем сосредоточиться; около часу он докурил сигару, допил кофей, и, долго думая, с чего начать день, со чтения или с прогулки, он решился на последнее, сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии, и потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией, но, по несчастию, возле ящика с сигарами лежал Байрон; он лег на диван и до пяти часов читал — «Дон-Жуана». Когда он посмотрел на часы, он очень удивился, что так поздно, позвал своего камердинера, велел приготовить одеваться как можно скорее; впрочем, и удивление и приказ были больше инстинктивны, потому что он никуда не собирался, и ему было совершенно все равно — шесть ли часов утра или двенадцать ночи. Одевшись с тою тщательностью и чистотою, к которой мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твердый в намерении заняться политической экономией, лег на то же место и развернул какую-то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорий преспокойно на

крыл стол, поставил графин с водою и бутылку с лафитом, поставил на другой стол графинчик с абсинтом и сыр, потом спокойно осмотрел сделанное и, убедившись, что все поставлено на места, отправился за супом и через минуту принес — только не суп, а письмо.

— Откуда?— спросил Бельтов, не сводя глаз с брошюры об Адаме Смите.

— Должно быть, из чужих краев: штемпель не наш, да еще объявление на посылку.

— Дай сюда,— и Бельтов бросил брошюру.— «От кого б это было,— думал он,— не понимаю; из Женевы... разве... нет — скорее... нет...»

Конечно, легче было бы распечатать письмо и на конце четвертой странички прочесть, от кого оно, нежели отгадывать. Без сомнения. Отчего же все делают подобные гадания над письмом? Это — тайна сердца человеческого, основанная, впрочем, на том, что лестно человеку признать себя догадливым и проницательным.

Наконец, Бельтов снял пакет и стал читать письмо; с каждой строчкой его лицо делалось бледнее, и слезы навернулись на глазах его.

Письмо это было от племянника м-г Жозеф; он извешал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благородного существа так, как текла, тихо и ясно, так и потухла. Он был много лет главным учителем в сельской школе, недалеко от Женевы. Дни два ему нездоровилось, на третий казалось лучше; едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу; там он упал в обморок, его перенесли домой, пустили ему кровь, он пришел в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли, испуганные и растерянные, около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу, потом спросил портрет Вольдемара, долго с любовью смотрел на него и сказал племяннику: «Какой бы человек мог из него выйти... да, видно, старик дядя лучше знал... Отшли этот портрет к Вольдемару после... адрес у меня в портфельке, в старом, на котором портрет Вашингтона... Жаль Вольдемара... очень жаль...»

«Тут,— писал племянник,— больной начал бредить, лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни; он велел себя приподнять и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнулся им, и седая голова его упала

на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище между органистом и кистером».

Бельтов прочитал письмо, положил его на стол, отер слезу, прошелся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочел его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек! — бормотал он сквозь зубы. — Пресчастливейший человек, умел довольствоваться, умел трудиться, быть полезным на всяком месте, куда судьба его ни бросала... Теперь на всем земном шаре у меня мать и более никого... никого... Хотя изредка дойдет, бывало, весть о старике, и хорошо, ну, просто я бывал доволен сознанием, что он существует. И его нет! Фу, как тяжело все это! Право, если б вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить».

— Суп простынет, Владимир Петрович, — доложил камердинер, с участием видевший, что содержание письма было не из приятных.

— Григорий, — спросил Бельтов, — помнишь учителя, который жил у нас?

— Как не помнить-с швейцарца то-с.

— Он скончался, — сказал Бельтов и отвернулся от Григорья, чтоб скрыть волнение.

— Царство ему небесное! — прибавил Григорий. — Добрый был человек и с нашим братом прост; мы вот недавно говорили с Максим Федоровым, что у маменьки служит в буфетчиках, т. е. о вас. Признаться доложить, Максим Федорович не надивится на вас; я, по вашей милости, посмотрелся на разные нации и на тамошние порядки, ну, а он больше все в губернии проживал, ему и удивительно. «Конечно, говорит, добрая душа у них, врожденная, барынина. Ну и, т. е., и от учителя было чему заняться; бывало, я помню, перед деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять; такой же-де образ и подобие божие есть».

Бельтов промолчал и грустно принялся за суп.

Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за нею и всю жизнь. Он вспомнил поучения Жозефа, как жадно внимал он им, как верил и как все оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа, — и... странное дело! — все говоренное им было прекрасно, истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него, Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоящего;

ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот — полный упований, с религией самоотвержения, с готовностью на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и этот, уступивший внешним обстоятельствам, без надежд, ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его... Он переменился в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его чертами, он чуть не отвернулся от них. Тут было представлено все, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это, шея раскрыта, воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробежала по устам и взору, — той неопределенной задумчивости, которая предупреждает будущую мощную мысль; «как много выйдет из этого юноши», — сказал бы каждый теоретик, так говорил мсье Жозеф, — а из него вышел праздный турист, который, как за последний якорь, схватился за место по дворянским выборам в NN. «Тогда, — думал Бельтов, глядя с упреком на портрет, — тогда мне было четырнадцать лет, теперь мне за тридцать — и что впереди? Одна серая мгла, скучное, однообразное продолжение впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно. Сколько начинаний, сколько встреч... и все окончилось праздностью и одиночеством...»

Нить горьких мыслей прервал Семен Иванович: они продолжались в форме разговора.

— Что состояние здоровья, Владимир Петрович?

— А! Здравствуйте, Семен Иванович; очень рад вас видеть; такая тоска, такая скука, что мочи нет. Я, право, нездоров; во мне что-то вроде лихорадки очень небольшой, но непрерывно поддерживающей меня в каком-то напряженном состоянии.

— Вы ведете неправильный образ жизни, — возразил Крупов, заворачивая длинный рукав на куртке, чтобы основательно пощупать пульс. — Пульс нехорош. Вы живете вдвое скорее, чем надобно, не жалесте ни колес, ни смазки — долго так ехать нельзя.

— Я сам чувствую, что морально и физически разрушаюсь.

— Раненько. Нынешнее поколение быстро живет; надобно бы вам, впрочем, серьезно позаняться здоровьем, взять свои меры.

— Какие тут меры?

— Очень много. Ложитесь вовремя спать, вставайте раньше, меньше чтения, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальные мысли, вина пить не много, крепкий кофе совсем бросить.

— Вам кажется все это легко, особенно разгонять мысли... И надолго ли вы меня обрекаете такой диете?

— На всю жизнь.

— Покорнейший слуга, это и скучно, и противно, да и хлопотать не из чего.

— Как не из чего? Мне кажется, что стоит принести кой-какую жертву для того, чтоб достигнуть глубокой старости, для того, чтоб долее прожить.

— Ну, а для чего же долго жить?

— Станный вопрос! Ну, да как для чего, я не знаю, для чего; ну жить, все же лучше жить, нежели умереть; всякое животное имеет любовь к жизни.

— Если ж найдется такое, которое не имеет? — заметил, горько улыбаясь, Бельтов, — Байрон очень справедливо сказал, что порядочному человеку нельзя жить больше тридцати пяти лет. Да и зачем долгая жизнь? Это, должно быть, очень скучно.

— Вы всё из проклятых немецких философов читали таких софизмов.

— В этом случае позвольте мне защитить немцев; я человек русский и жизнью обучился думать, а не думать жил. Благо мы дошли с вами до этого вопроса; скажите добросовестно, подумавши, что будет пользы, если я проживу не десять, а пятьдесят лет, кому нужна моя жизнь, кроме моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли сил, по недостатку ли характера, но дело в том, что я — бесполезный человек, и, убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моей жизнью; я еще не настолько разлюбил жизнь, чтоб застрелиться, и уж не люблю ее настолько, чтоб жить на диете, водить себя на помочах, устранять сильные ощущения и вкусные блюда для того, чтобы продлить на долгое время эту жизнь больничного пациента.

— Вы предпочитаете хроническое самоубийство, — возразил Крупов, начинавший уже сердиться, — понимаю, вам жизнь надоела от праздности, — ничего не делать, должно быть, очень скучно; вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для других; так-то все на свете и делается.

— Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что, кроме голода, нет довольно сильного побуждения на труд? Да просто желание обнаружиться, высказаться заставит трудиться. Я из одного хлеба, напротив, не стал бы работать,— работать целую жизнь, чтоб не умереть с голоду, и не умирать с голоду, чтоб работать,— умное и полезное препровождение времени!

— Что же вы, с вашей сытостью и желанием высказаться, много наделали? — спросил совсем уже рассерженный старик.

— Тут-то и запятая. Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым специалистом я не родился, так, как не родился музыкантом; а остальные дороги, кажется, для меня не родились...

— То есть вы себя этим утешаете; земля вам коротка, мало места; воли-то твердой нет, настойчивости нет, *gutta cavat...*¹.

— *Lapidem*², — окончил Бельтов. — Вы человек положительный, а туда же толкуете о воле.

— Красно-то вы говорите, красно, — заметил Крупов, — а все мне сдается, что хороший работник без работы не останется.

— Да что же вы думаете, эти лионские работники, которые умирают голодной смертью с готовностью трудиться, за недостатком работы, не умеют ничего делать или из ума шутят? Ох, Семен Иванович! Не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствие и конский щавель: первое невозможно, а второе не может помочь. Мало болезней хуже сознания бесполезных сил. Какая тут диста! Вспомните Наполеонов ответ доктору Антомарки: «Это не рак, взошедший внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь». У каждого есть свое *Waterloo rentrè*!³ Пойдемте-ка, Семен Иванович, к Круциферским, у них я раза два вылечивался от хандры; подобные средства помогают лучше всех декоктов.

— Вот и жди от вас спасибо да признания! А кто вам прописал их дом?

— Виноват, виноват, забыл! О, вы величайший из сынов Гиппократа, Семен Иванович! — отвечал Бель-

¹ капля точит (лат.).

² Камень (лат.).

³ внутреннее Ватерлоо! (фр.)

тов, накладывая сигары и добродушно улыбаясь доктору.

Да что же, наконец, спросим мы вместе с Марьей Степановной,— что влекло Бельтова в скромный дом учителя? Нашел ли он друга в нем, человека симпатичного, или, в самом деле, не влюблен ли он в его жену? Ему самому отвечать на эти вопросы, при всем желании сказать истину, было бы очень трудно. Его многое сблизило с этим домом. Выборы кончились с своими обедами и балами. Бельтова, как разумеется, ни во что не избрали, и он оставался в NN только для окончания какого-то процесса в гражданской палате. Предоставляем вам оценить всю величину скуки для этого человека в NN, если бы он не был знаком с Круциферскими. Тихая, безмятежная жизнь Круциферских представляла нечто новое и привлекательное для Бельтова; он провел всю жизнь в общих вопросах, в науке и теории, в чужих городах, где так трудно сближаться с домашнею жизнью, и в Петербурге, где ее немного. Он домашнее довольство считал вымыслом или достоянием людей пошлых и мелких. Круциферские не были таковы. Характер Круциферского определить трудно: натура нежная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, он имел столько простосердечия и столько чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на поведение ребенка. Трудно было бы сыскать человека, более не знающего практическую жизнь; он все, что знал, знал из книги, и оттого знал неверно, романтически, риторически; он свято верил в действительность мира, воспетого Жуковским, и в идеалы, витающие над землей. Из затворничества студентской жизни, в продолжение которой он выходил в мир страстей и столкновений только в райке московского театра, он вышел в жизнь тихо, в серенький осенний день; его встретила жизнь подавляющей нуждой, все казалось ему неприятным, чуждым, и молодой кандидат приучался более и более находить всю отраду и все успокоение в мире мечтаний, в который он убегал от людей и от обстоятельств. Та же внешняя нужда загнала его в дом Негрова; эта встреча с действительностью еще более сосредоточила его. Кроткий от природы, он и не думал вступить в борьбу с действительностью, он отступал от ее напора, он просил только оставить его в покое; но явилась любовь, так, как она является в этих организациях: не бешено, не безумно, но на веки веков, но с таким отдавием себя,

что уж в груди не остается ничего неотданного. Нервная раздражительность поддерживала его беспрерывно в каком-то восторженно-меланхолическом состоянии; он всегда готов был плакать, грустить — он любил в тихие вечера долго-долго смотреть на небо, и кто знает, какие видения чудились ему в этой тишине; он часто жал руку своей жене и смотрел на нее с невыразимым восторгом; но к этому восторгу примешивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться от слез. Во всех его действиях была та же кротость, что и на лице, то же спокойствие, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, как такой человек должен был любить свою жену? Любовь его росла беспрерывно, тем более что ничто не развлекало его; он не мог двух часов провести, не выдавши темно-голубых глаз своей жены, он трепетал, когда она выходила со двора и не возвращалась в назначенный час; словом, ясно было видно, что все корни его бытия были в ней. К этому много способствовал мир, в который он попал.

Учители NN гимназии были, как это бывало в старину в наших школах, люди большею частию обленившиеся, огрубевшие в провинциальной жизни, отданные тяжелым, материальным привычкам и усыпившие всякое желание знать что-нибудь. Не думаем, чтоб Круциферский имел призвание вести далее науку, отдался ее вопросам вполне и сделать из них свои жизненные вопросы, но он им сочувствовал, ему было многое доступно... кроме средств. Самому выписывать книги нечего было и думать, гимназия приобретала, но не такие, которые могли бы поддержать интерес в молодом ученом. Провинциальная жизнь вообще гибельна для тех, которые хотят сохранить не одно недвижимое имение, и для тех, которые не хотят делать неудободвижным свое тело; при совершенном отсутствии всякого теоретического интереса кто не заснет если не сладким, то долгим сном в этой обители душевной дремоты?.. Человеку необходимы внешние раздражения; ему нужна газета, которая бы всякий день приводила его в соприкосновение со всем миром, ему нужен журнал, который бы передавал каждое движение современной мысли, ему нужна беседа, нужен театр, — разумеется, от всего этого можно отвыкнуть, покажется, будто все это и не нужно, потом сделается в самом деле совершенно не нужно, т. е. в то время, как сам этот человек уже сделался совершенно не нужен.

Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет; отсутствие всякого человеческого интереса около него действовало на него более отрицательно, нежели положительно, между прочим, потому, что это было в лучшую эпоху его жизни, т. е. тотчас после брака. А потом он привык, остался при своих мечтах, при нескольких широких мыслях, которым уж прошло несколько лет, при общей любви к науке, при вопросах, давно решенных. Удовлетворения более действительным потребностям души он искал в любви, и в сильной натуре своей жены он находил все. Споры с Круповым, продолжавшиеся года четыре, получили тот же характер провинциальной стоячести: они в эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферский являлся на защиту спиритуализма, и старик Крупов грубо и с негодованием бил его своим медицинским материализмом. Этим-то тихим руслом журчала жизнь наших приятелей, когда вдруг взорло в нее лицо совсем иного закала, лицо чрезвычайно деятельное внутри, раскрытое всем современным вопросам, энциклопедическое, одаренное смелым и резким мышлением. Круциферский невольно покорился энергической сущности нового приятеля; зато Бельтов, с своей стороны, далеко не остался изъят от влияния жены Круциферского. Сильной натуре, не занятой ничем особенно, почти невозможно оборониться от влияния энергической женщины; надобно быть или очень ограниченным, или очень ячным, или совершенно бесхарактерным, чтоб тупо отстоять свою независимость перед нравственной властью, являющейся в прекрасном образе юной женщины,— правда, что, пылкий от природы, увлекающийся от непривычки к самообузданию, Бельтов давал легкий приз над собою всякой кокетке, всякому хорошенькому лицу. Он много раз был до безумия влюблен то в какую-нибудь примадонну, то в танцовщицу, то в двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральных вод, то в какую-нибудь краснощекую и белокурую немку с притязанием на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклоняться при пении соловья в вечной любви здесь и там,— то в огненную француженку, верную наслаждению и разгулу без лицепрития... но такого влияния Бельтов не испытывал.

С начала знакомства Бельтов вздумал пококетничать с Круциферской; он приобрел на это богатые средства, его трудно было запугать аристократической обстанов-

кой или ложной строгостью; уверенный в себе, потому что имел дело с очень не трудными красотоми, ловкий и опасно дерзкий на язык, он имел все, чтоб оглушить совесть провинциалки; но догадливый Бельтов тотчас оставил пошлое ухаживание, поняв, что на такого зверя тенеты слишком слабы. Женщина, явившаяся перед ним в этой глуши, была так проста, так наивно естественна и так полна силы и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трудно было на нее сделать нападение, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась *en garde*¹; другое отношение, более человеческое, быстро сблизило Круциферскую с Бельтовым. Круциферская поняла его грусть, поняла ту острую закуску, которая бродила в нем и мучила его, она поняла и шире и лучше в тысячу раз, нежели Крупов, например,— понявши, она не могла более смотреть на него без участия, без симпатии, а глядя на него так, она его более и более узнавала, с каждым днем раскрывались для нее новые и новые стороны этого человека, обреченного уморить в себе страшное богатство сил и страшную ширь понимания. Бельтов тотчас оценил разницу добросовестно-нравоучительного участия Крупова, романтического сочувствия, готового разделить слезу, Дмитрия Яковлевича, с тем верным тактом, который он видел в Круциферской. Много раз, когда они четверо сидели в комнате, Бельтову случалось говорить внутреннейшие убеждения свои; он их, по привычке утаивать, по склонности, почти всегда приправлял иронией или бросал их вскользь; его слушатели по большей части не отзывались, но когда он бросал тоскливый взгляд на Круциферскую, легкая улыбка пробежала у него по лицу,— он видел, что понял; они незаметно становились,— досадно сравнить, а нечего делать,— в то положение, в котором находились некогда Любенька и Дмитрий Яковлевич в семье Негрова, где прежде, нежели они друг другу успели сказать два слова, понимали, что понимают друг друга. Этого рода симпатий нечего ни развивать, ни подавлять; они просто выражают факт братственного развития в двух лицах, где бы и как бы ни встретились эти лица; если они узнают друг друга, если они поймут родство свое, то каждый пожертвует, если обстоятельства потребуют, всеми низшими степенями родства в пользу высшего.

¹ настороже (фр.).

— Отгадайте, кто это? — сказал Бельтов, подавая портрет свой Любови Александровне.

— Да это вы! — почти вскрикнула Любовь Александровна и вся вспыхнула в лице. — Ваши глаза, ваш лоб... Как вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смелое лицо...

— Много надобно храбрости, чтоб решиться самому для сличения принести женщине свой портрет, сделанный более нежели за пятнадцать лет; но мне смертельно хотелось его показать вам, чтоб вы сами увидели,

Таков ли был я, расцветая?

Я, право, удивляюсь, как вы узнали: ни одной черты не осталось.

— Узнать можно, — отвечала Круциферская, не сводя глаз с портрета. — Как это вы его давно не принесли!

— Я сегодня только получил его; мой добрый Жозеф умер с месяц тому назад; его племянник прислал мне этот портрет с письмом.

— Ах, бедный Жозеф! Я считаю его в числе близких знакомых, по вашим рассказам.

— Старик умер среди кротких занятий своих, и вы, которые не знали его в глаза, и толпа детей, которых он учил, и я с матерью — помянем его с любовью и горестью. Смерть его многим будет тяжелый удар. В этом отношении я счастливее его: умри я, после кончины моей матери, и я уверен, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нет никому дела.

Говоря это очень искренно, Бельтов немного и покетничал: ему хотелось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый ответ.

— Вы этого не думаете сами, — отвечала Круциферская, пристально взглянув на Бельтова; он опустил глаза.

— Ну, вот уж после смерти мне совершенно все равно, кто будет плакать и кто хохотать, — заметил Крупов.

— Я с вами не согласен, — присовокупил Круциферский, — я очень понимаю весь ужас смерти, когда не только у постели, но и в целом свете нет любящего человека и чужая рука холодно бросит горсть земли и спокойно положит лопату, чтоб взять шляпу и идти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мне на могилу, мне будет легко...

— Да, очень легко, это правда, — с досадой ввернул

Крупов, — так что и на химических весах не свешаешь...

— И будто у вас нет других друзей, кроме Жозефа? — спросила Круциферская, — может ли это быть?

— Было множество, самых пламенных, самых преданных, мало ли что было! У меня лицо было вот какое, а теперь совсем другое. Да, впрочем, друзей не нужно: дружба — милая, юношеская болезнь; беда тому, кто не умеет сам себя довести.

— Однако же Жозеф, сколько я знаю, остался до конца жизни близок с вами.

— Потому что мы жили далеко друг от друга; мы с ним были дружны, потому что раз виделись в пятнадцать лет. И при этом мелькнувшем свидании я заслонил воспоминаниями замеченную мною разность нашу.

— Так вы видели его после того, как он отправился в Швецию?

— Один раз.

— Где?

— В местах, где он кончил жизнь.

— И давно?

— С год тому назад.

— Вот вместо ваших мрачных слов лучше расскажите нам ваше свидание с стариком.

— С большим удовольствием; мне хочется им заниматься, мне весело говорить об нем. Дело было вот как.

В начале прошлого года я приехал из южной Франции в Женеву. Зачем? Трудно объяснить. Мне не хотелось ехать в Париж, потому что я там ничего не успевал делать и потому что я там постоянно страдал завистью: все кругом заняты, хлопочут из дела, из вздора, а я читаю в кофейных газеты и хожу благосклонным, но посторонним зрителем. В Женеве я прежде не был; город тихий, в стороне, а потому я и избрал ее зимней квартирой; я собирался там заняться политической экономией и на досуге обдумать, что делать на будущее лето и куда ехать. Само собою разумеется, что на другой или на третий день я уже справлялся у лонлакеев, у банкиров, везде, не знает ли, не слыхал ли кто о г. Жозефе. Никто не имел о нем понятия; один старик часовщик говорил, что он, точно, знал Жозефа, который учился с ним вместе и ушел в Петербург, но что после этого он не видал его.

Раздосадованный, я бросил мои поиски; занялся не клеились, дело было ранней весною, погода стояла яс-

ная и прохладная; скитальческая жизнь моя оставила во мне страсть к бродяжничеству: я решился сделать несколько маленьких путешествий пешком по окрестностям Женевы. Дорога имеет на меня страшное влияние: я оживаю на дороге, особенно пешком или верхом. Экипаж стучит, развлекает, присутствие возчика разрушает одиночество; но один, верхом или с палкой в руке, идешь, идешь; дорога ниткой вьется перед глазами, куда-то пропадая, и нинкого вокруг, кроме деревьев, да ручья, да птицы, которая спорхнет и пересядет... удивительно хорошо! Иду я раз таким образом в нескольких милях от Женевы, долго шел я один... вдруг с боковой дороги вышли на большую человек двадцать крестьян; у них был чрезвычайно жаркий разговор, с сильной мимикой; они так близко шли от меня и так мало обращали внимания на постороннего, что я мог очень хорошо слышать их разговор: дело шло о каких-то кантональных выборах: крестьяне разделились на две партии, — завтра надобно было подать окончательный голос; видно было, что вопрос, их занимавший, поглощал их совершенно: они махали руками, бросали вверх шапки. Я сел под дерево, ватага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогических речей и консерваторских возражений. Меня всегда терзает зависть, когда я вижу людей, занятых чем-нибудь, имеющих дело, которое их поглощает... а потому я уже был совершенно не в духе, когда появился на дороге новый товарищ, стройный юноша, в толстой блузе, в серой шляпе с огромными полями, с котомкой за плечами и с трубкой в зубах; он сел под тень того же дерева; садясь, он дотронулся до края шляпы; когда я ему отклонялся, он снял свою шляпу совсем и стал обтирать пот с лица и с прекрасных каштановых волос. Я улыбнулся, поняв осторожность моего соседа: он потому не снял прежде шляпы, чтоб я не подумал, что это для меня. Посидевши, молодой человек обратился ко мне и спросил:

— Куда идет ваша дорога?

— Мне труднее отвечать вам, нежели вы думаете; я просто иду куда глаза глядят.

— Вы, верно, иностранец?

— Я русский.

— У! Из какой дали... чай, у вас теперь страшные морозы?..

Известное дело, что ни один иностранец не может говорить о России, не упомянув о морозе и о скорой почтовой

езде, несмотря на то, что пора было убедиться, что ни особенно страшных морозов нет, ни сказочной езды.

— Да, теперь в Петербурге зима.

— А как вам нравится наш климат? — спросил швейцарец с гордостью.

— Хорош, — отвечал я. — Вы здешний уроженец?

— Да, я родился недалеко отсюда и иду теперь из Женевы на выборы в нашем местечке; я еще не имею права подать голос в собрании, но зато у меня остается другой голос, который не пойдет в счет, но который, может быть, найдет слушателей. Если вам все равно, пойдите со мной; дом моей матери к вашим услугам, с сыром и вином; а завтра посмотрите, как наша сторона одержит верх над стариками.

«Ого, да это радикал!» — подумал я, снова окинув глазами моего соседа.

— Пойдемте к вам, — сказал я ему, подавая руку, — мне все равно.

— Вам, чай, любопытно посмотреть на выборы; ведь у вас дома выборов нет?

— Кто это вам сказал? — отвечал я. — У вас в школе, верно, был прескверный учитель географии; очень много, напротив: и дворянские, и купеческие, и мещанские, и сельские, даже в помещичьих деревнях начальник называется выборным.

Юноша покраснел.

— Я учился географии давно, — сказал он, — и не очень долго. А учитель наш, несмотря на все уважение, которое имею к вам, отличнейший человек; он сам был в России, и, если хотите, я познакомлю вас с ним; он такой философ, мог бы быть бог знает чем и не хочет, а хочет быть нашим учителем.

— Очень благодарен, — отвечал я, не имея ни малейшего желания увидеться с каким-нибудь полевым педантом.

— А он, точно, был в вашей стороне.

— Где же?

— В Петербурге и в Москве.

— А как его фамилия?

— Мы его зовем père Joseph¹.

— Père Joseph! — повторил я, не веря ушам своим.

— Ну, да что ж тут удивительного? — возразил мой товарищ.

¹ дядюшка Жозеф (фр.).

Довольно сказать, после двух-трех вопросов я совершенно убедился, что père Joseph — именно мой Жозеф. Мы удвоили шаги. Молодой человек не мог довольно нарадоваться, что доставил мне такое неожиданное удовольствие, и еще более тому, что он доставит его и Жозефу, которого любил и уважал безмерно. Я расспрашивал его об образе жизни старика и из всех подробностей увидел, что он остался тот же, простой, благородный, восторженный, юный; я понял из рассказа, что я обогнал Жозефа в совершеннолетии, что я старше его. Прошло пять лет с тех пор, как он принял на себя должность старшего учителя и заведователя школы, он делал втрое больше, нежели требовали его обязанности, имел небольшую библиотеку, открытую для всего селения, имел сад, в котором копался в свободное время с детьми. Когда мы остановились перед чистеньким домиком школьного учителя, ярко освещенным заходящими лучами солнца и удвоенным отражением высокой горы, к которой домик прислонялся, — я послал вперед моего товарища, чтоб не слишком взволновать старика нечаянностью, и велел сказать, что один русский желает его видеть. Père Joseph был в саду и отдыхал на скамеечке, опираясь на заступ. Он встрепнулся при слове «Россия» и поспешными шагами шел мне навстречу; я бросился в его объятия. Первое, что поразило меня, — это оскорбительная сила разрушения, лежащая во времени, — десяти лет не прошло с тех пор, как я его не видал, — и какая перемена! Он потерял почти все волосы, лицо его осунулось, походка не была так тверда, и он уже ходил согорбившись, одни глаза были так же юны, как и в прежнее время. Не могу вам выразить радости, с которой он встретил меня: старик плакал, смеялся, делал наскоро бездну вопросов, — спрашивал, жива ли моя ньюфаундлендская собака, вспоминал шалости; привел меня, говоря, в беседку, усадил отдыхать и отправил Шарля, т. е. моего спутника, принести из погребца кружку лучшего вина. Признаюсь, что я вряд когда-либо пил с таким наслаждением отличнейшее клико, с каким я поглощал стакан за стаканом кисленькое винцо Жозефа. Я был одушевлен, юн, счастлив; но старик вскоре окончил мое превосходное расположение духа вопросом:

— Что же ты делал все это время, Вольдемар?

Я рассказал ему всю историю моих неудач и заключил тем, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыграться, но я не рассказываю: если я потерял юно-

шеские верования, зато приобрел взгляд трезвый, может, безотрадный, грустный, но зато истинный.

— Вольдемар, — возразил старик, — бойся предаваться слишком трезвому взгляду, — как бы он не охладил твоего сердца, не потушил бы в нем любви! Многого я не предвидел в твоей жизни; тяжело тебе было, но не должно же тотчас класть оружие; достоинство жизни человеческой в борьбе... награду надобно выстрадать...

Я уж тогда смотрел попроше на дела житейские, однако слова старика сильно подействовали на меня.

— Скажите, père Joseph, лучше что-нибудь о себе, как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, побоку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликнулся... мое несчастье!.. А один в поле не ратник... Я и ушел с поля и пришел к вам в гости.

— Рано, рано сдался, — заметил старик, качая головой. — Что я могу рассказывать о себе? Моя жизнь идет тихонько. Оставивши ваш дом, я жил в Швеции, потом уехал с одним англичанином в Лондон, года два учил его детей; но мой образ мыслей так расходился с мнениями почтенного лорда, что я оставил его. Мне захотелось домой, и я прямо оттуда приехал в Женеву; в Женеве я не нашел никого, кроме мальчика, сестрина сына. Думал, думал, что начать под конец жизни, — а тут открылось место учителя в здешней школе, я принял его и чрезвычайно доволен моими занятиями. Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый план; делай каждый свое в своем кругу, — дело везде найдется, а после работы спокойно заснешь, когда придет время последнего отдыха. Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершенство наше, отчасти неуважение к самому себе, которые приводят человека в зависимость от внешней обстановки. Поверь, Вольдемар, что это так.

В этом тоне разговор наш продолжался с час.

Тронутый свиданьем, я был чрезвычайно восприимчив, чрезвычайно хорошо настроен; мне были доступны все юные, полузабытые мечты. Я смотрел на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мне стало тяжело за себя, меня давило мое совершенство, и как он был хорош! Старость имеет свою красоту, разливаю-

шую не страсти, не порывы, но умиряющую, успокаивающую; остатки седых волос его колыхались от вечернего ветра, глаза, одушевленные встречей, горели кротко, юно, счастливо; я смотрел на него и вспоминал католических монахов первых веков, так, как их представляли мастера итальянской школы. И те были юны, думал я, с сединами своими, и он юн, а я стар; зачем же я узнал так много, чего они не знали? Жозеф взял меня за руку, вставая, чтоб идти в комнату, и с глубокой любовью повторил: «Пора домой, Вольдемар, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектов и планов. Пример Жозефа был слишком силен; он без средств, старик, создал себе деятельность, он был покоен в ней, — а я, *rag dépit*¹, оставил отечество, шляюсь чужим, ненужным по разным странам и ничего не делаю... На другое утро я объявил старику, что отправляюсь прямо в NN служить по выборам. Старик расплакался и, положивши руку свою мне на голову, сказал: «Ступай, друг мой, ступай. Ты увидишь — человек, прямо и благородно идущий на дело, многое сделает, и, — прибавил старик дрожащим голосом, — да будет спокойствие на душе твоей». Мы расстались; я отправился в NN, а он на тот свет. Вот и все. Это было последнее юношеское увлечение; с тех пор я покончил мое воспитание.

Любовь Александровна смотрела на него с глубоким участием; в его глазах, на его лице действительно выражалась тягостная печаль; грусть его особенно поражала, потому что она не была в его характере, как, например, в характере Круциферского; внимательный человек понимал, что внешнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту светлую натуру, насильственно втеснили ей мрачные элементы и что они разъедают ее по несродности.

— Зачем вы приехали сюда? — спросила тихим голосом Круциферская.

— Благодарю вас, душевно благодарю за этот вопрос, — ответил Бельтов.

— Конечно, странно, — заметил Дмитрий Яковлевич, — просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которых некуда употребить. Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек... не ошибка ли тут какая-нибудь? Просто

¹ с досады (фр.).

сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтоб прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтоб они разъедали их собственную грудь. На что же это?

— Вы совершенно правы, — с жаром возразил Бельтов, — и с этой точки вы не выпутаетесь из вопроса. Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготавливаются, а потребности на них определяются историей. Вы, верно, знаете, что в Москве всякое утро выходит толпа работников, поденщиков и наемных людей на вольное место; одних берут, и они идут работать; другие, долго ждавши, с понурыми головами плетутся домой, а всего чаще в кабак; точно так и во всех делах человеческих: кандидатов на все довольно — занадобится истории, она берет их; нет — их дело, как промаячить жизнь. Оттого-то это забавное *à propos* всех деятелей. Занадобились Франции полководцы — и пошли Дюмуре, Гош, Наполеон со своими маршалами... конца нет; пришли времена мирные — и о военных способностях ни слуху, ни духу.

— Но что же делается с остальными? — спросила грустным голосом Любовь Александровна.

— Как случится; часть их потухает и делается толпой, часть идет населять далекие страны, галеры, доставлять практику палачам; разумеется, это не вдруг, — сначала они делаются трактирными удалцами, игроками, потом, смотря по призванию, туристами по большим дорогам или по маленьким переулкам. Случится по дороге услышать клич — декорации переменяются: разбойника нет, а есть Ермак, покоритель Сибири. Всего реже выйдут из них тихие, добрые люди; их беспокоят у домашнего очага едкие мысли. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце и надобно сидеть, сложа руки... а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна... Одно может спасти тогда человека и поглотить его... это встреча... встреча с...

Он не договорил.

Любовь Александровна вздрогнула.

— Экая беспорядочная голова! — заметил Крупов. — Чего он тут не наговорил; хаос, истинно хаос! Ну, нечего сказать, славный кандидат в заседатели или в уездные судьи!

Все улыбнулись.

Между прочими достопримечательностями города NN особенного внимания заслуживает публичный сад. В богатой природе средней полосы нашего отечества публичные сады — совершенная роскошь; от этого ими никто не пользуется, т. е. в будни, а что касается до воскресных и праздничных дней, то вы можете встретить весь город от шести часов вечера до девяти в саду; но в это время публика собирается не для сада, а друг для друга. Если начальник губернии в хороших отношениях с полковым командиром, то в эти дни являются трубы или большой барабан с товарищами, смотря по тому, какое войско стоит в губернии; и увертюра из «Лодонски» и «Калифа Багдадского» вместе с французскими кадрилими, напоминающими незапамятные времена греческого освобождения и «Московского телеграфа», увеселяют слух купчих, одетых по-летнему — в атлас и бархат, и тех провинциальных барынь, за которыми никто не ухаживает, каких, впрочем, моложе сорока лет почти не бывает. В будни, как мы сказали, сады бывают пусты; разве какой-нибудь заезжий в отчаянье, что нет лошадей, в отчаянье, что и этот город похож на все остальные, отправится в сад в надежде найти хоть какой-нибудь посредственный вид. Давно замечено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна к тому, что делают люди на ее спине, не плачет над стихами и не хохочет над прозой, а делает свое дело по крайнему разумению. Природа точно так поступила и в NN и вовсе не смотрела на то, что по саду никто не гулял; а кто и гулял, тот обращал внимание не на деревья, а на превосходную беседку в китайско-греческом вкусе; действительно, беседка была прекрасна в своем роде; начальница губернии весьма удачно ее назвала — Монрепо¹. Она была особенно успокоительна тем, что вырезанная из жести пряничная лошадка, состоявшая в должности дракона и посаженная на шпиге, беспрестанно вертелась, издавая какой-то жалобный вопль, располагавший к мечтам и подтверждавший, что ветер, который снес на левую сторону шляпу, действительно дует с правой стороны; сверх дракона, между колоннами были приделаны нечесанные и пресердитые львиные головы из алебаstra, растрескавшиеся от дождя и всегда готовые

¹ Мой отдых (от фр. *mon repos*).

уронить на череп входящему свое ухо или свой нос. Несмотря на этот плач дракона и на эту опасность погибнуть от львов, как в Даниловой пещере, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковым аллеям, и это не от скромности, а оттого, что прежний губернатор велел подрезать на большой аллее старые липы; ему казалось несовместным с буквальным исполнением обязанности такое своеволие липовых сучьев. Лишенные верхушек своих, липы, с торчащими к небу ветвями, сбивались на колодников, которым обрили полголовы в предупреждение побега, и, казалось, титановски повторяли стих Озера:

Есть боги,— а земля злодеям предана.

Но зато по маленьким дорожкам деревьям была воля вольная расти сколько душе угодно или сколько соку хватит. На одной-то из них, в теплый апрельский день, пришедший, вероятно, для того в NN, чтоб жители потом поняли весь холод мая, следующего за ним, какая-то дама в белом бурнусе прогуливалась с кавалером в черном пальто. Сад был разбит по горе; на самом высоком месте стояли две лавочки, обыкновенно иллюстрированные довольно отчетливыми политипажными неизвестной работы; частный пристав, сколько ни старался, не мог никак поймать виновников и самоотверженно посылал перед всяким праздником пожарного солдата (как привычного к разрушениям) уничтожать художественные произведения, периодически высыпавшие на скамейке. Дама и кавалер сели на нее. Вид был недурен. Большая (и с большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала в реку; река была в разливе; на обоих берегах стояли телеги, повозки, тарантасы, отложенные лошади, бабы с узелками, солдаты и мещане; два дощаника ходили непрерывно взад и вперед; битком набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслах, похожие на каких-то ископаемых многоножных раков, последовательно поднимавших и опускавших свои ноги; разнообразные звуки доносились до ушей сидевших: скрип телег, бубенчики, крик перевозчиков и едва слышный ответ с той стороны, брань торопящихся пассажиров, топот лошадей, устанавливаемых на дощанике, мычание коровы, привязанной за рога к телеге, и громкий разговор крестьян на берегу, собравшихся около разложенного огня. Дама и кавалер прервали свои речи и молча смотрели и слушали даль... Отчего все это издали так

сильно действует на нас, так потрясает — не знаю, но знаю, что дай бог Вьардо и Рубини, чтоб их слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь протяжную и бесконечную песню бурлака, сторожащего ночью барки, — песню унылую, перерываемую плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным ивняком. И мало ли что мне чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мне казалось, что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную, что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль, что его душа звучит потому, что ей грустно, потому, что ей тесно, и проч., и проч. Это было в мою молодость!

— Как хорошо здесь... — сказала, наконец, дама в белом бурнусе. — Сознаться, что и северная природа прекрасна?

— Как везде. Где бы ни взглянул человек и когда бы ни взглянул на природу, на жизнь с раскрытой душой, прямо, бескорыстно, — они дадут бездну наслаждения.

— Это правда. Всем на свете можно любоваться, если только хочешь. Мне часто приходит в голову странный вопрос: отчего человек умеет всем наслаждаться, во всем находить прекрасное, кроме в людях?

— Понять можно отчего, но от этого не легче будет. Мы вносим в наших отношениях с людьми заднюю мысль, которая тотчас убивает самой дрянной прозой поэтическое отношение. Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить и спешить определить условия перемирия. Какое ж тут наслаждение? Мы с этим выросли, и отделаться от этого почти невозможно; в нас во всех есть мещанское самолюбие, которое заставляет оглядываться, осматриваться; с природой человек не соперничает, не боится ее, и оттого нам так легко, так свободно в одиночестве; тут совершенно отдаемся впечатлениям; пригласите с собой самого близкого приятеля, и уже не то.

— Я вообще мало встречаю людей, особенно таких, которые бы мне были близки; но думаю, что есть, что может быть по крайней мере такое сочувствие между лицами, что все внешние препятствия непониманья пали между ними, они не могут помешать друг другу ни в каком случае жизни.

— Я сомневаюсь в продолжительной полноте такого сочувствия; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующие, еще не договорились до тех предметов,

где они противоположны; но, рано или поздно, они договорятся.

— Все же, пока они не договорились, могут быть минуты полной симпатии, где они не мешают друг другу наслаждаться и природой и собой.

— В эти-то минуты я только и верю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человек не скуп, когда он все отдает и сам удивляется своему богатству и полноте любви. Но эти минуты очень редки; по большей части мы не умеем ни оценить их в настоящем, ни дорожить ими, даже пропускаем их чаще всего сквозь пальцы, убиваем всякой дрянью, и они проходят человека, оставляя после себя болезненное шемление сердца и тупое воспоминание чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человек очень глупо устроил жизнь: девять десятых ее проводит в вздоре и мелочах, а последней долей он не умеет пользоваться.

— Зачем же терять такие минуты, когда человек знает им цену? На вас лежит двойная ответственность, — заметила Круциферская, улыбаясь, — вы так ясно видите и понимаете.

— Я не только такими мгновениями, я дорожу каждым наслаждением; но ведь это легко сказать: не теряйте такие мгновения; одна фальшивая нота — и оркестр погиб. Как отдаться вполне, когда тут же рядом видишь всякие привидения... грозящие пальцем, ругающиеся...

— Какие? Не собственные ли это капризы? — заметила Круциферская.

— Какие? — повторил Бельтов, которого голос малопомалу изменялся от внутреннего движения. — Трудно мне вам объяснить, а для меня это очень ясно; человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству. Послушайте, так и быть, я скажу вам пример, именно тот, который не следовало бы говорить, — но я его скажу... начавши, я не в силах остановить себя. С первых дней нашего знакомства я полюбил вас, — дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствие?.. Но знаю, что вы, ваше присутствие сделались для меня необходимостью. Знаю то, что целые утры я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера... Приходил, наконец, вечер, я бежал к вам, задыхаясь от мысли, что я увижу вас; лишенный всего, окруженный со всех сторон холодом, я на вас смотрел как на последнее утешение...

поверьте, что на сию минуту я всего далее от фраз... с волнением переступал я порог вашего дома и входил хладнокровно, и говорил о постороннем, и так проходили часы... для чего эта глупая комедия?.. Скажу больше: вы не остались равнодушны ко мне; вероятно, иной вечер и вы меня ждали, я видел радость в ваших глазах при моем появлении — и сердце у меня билось в эти минуты до того, что я задыхался, — и вы меня встречали с притворной учтивостью, и вы садились издали, и мы представляли посторонних... зачем?.. Разве на дне моей души, на дне вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться, прятать от глаз людей? Нет! — Чего от глаз людей?.. еще смешнее: мы скрывали друг от друга нашу близость; теперь в первый раз говорим об этом, да и тут, кажется, вполонину скрываем. Самое светлое чувство делается острым, жгучим, делается темным, — чтоб не сказать другого слова, — если его бояться, если его прячут, оно начнет верить, что оно преступно, и тогда оно делается преступным; в самом деле, наслаждаться чем-нибудь, как вор краденым, с запертыми дверями, прислушиваясь к шороху, — унижает и предмет наслаждения и человека.

— Вы несправедливы, — отвечала Круциферская дрожащим голосом, — я никогда не скрывала моей дружбы к вам, я не имела в этом нужды...

— Так отчего же, скажите, — возразил Бельтов, схватив ее руку и крепко ее сжимая, — отчего же, измученный, с душою, переполненною желанием исповеди, обнаружения, с душою, полной любви к женщине, я не имел силы прийти к ней и взять ее за руку, и смотреть в глаза, и говорить... и говорить... и склонить свою усталую голову на ее грудь. Отчего она не могла меня встретить теми словами, которые я видел на ее устах, но которые никогда их не переходили?

— Оттого, — отвечала Круциферская с какой-то отчаянной энергией, — оттого, что эта женщина принадлежит другому и любит его... да, да! любит его от души.

Бельтов бросил ее руку.

— Представьте себе, что я именно этого ответа и не ждал, а теперь мне кажется, что другого и сделать нельзя. Однако позвольте, разве непременно вы должны отвернуться от одного сочувствия другому, как будто любви у человека дается известная мера?

— Может быть, но я не понимаю любви к двоим. Муж мой, сверх всего другого, одной своей беспредель-

ной любовью стяжал огромные, святые права на мою любовь.

— Зачем вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападает на них. К тому же вы дурно начали их защищать; да если его любовь дала ему такие права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность раз в жизни, потом, пожалуй, я совсем не буду ничего говорить, даже уеду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже в душу вашу и посмотрите, что там делается теперь, сейчас. Ну, имейте же дух признания, что я прав, скажите, по крайней мере, что вы все это перечувствовали, передумали, ведь я это знаю, я видел эти думы на вашем челе, в ваших глазах.

— Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это, зачем этот разговор? — говорила Круциферская голосом, исполненным мрачной грусти. — Нам было так хорошо... теперь не будет так... вы увидите.

— То есть пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!

Бельтов грустно качал головою и шурил глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее бесконечную нежность, приняло свою насмешливую мину.

Со слезами, с ужасом смотрела на него испуганная женщина... Круциферская была поразительно хороша в эту минуту; шляпку она сняла; черные волосы ее, развитые от сырого вечернего воздуха, разбросались, каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась из ее синих глаз; дрожащая рука то жала платок, то покидала и рвала ленту на шляпке, грудь по временам поднималась высоко, но, казалось, воздух не мог проникнуть до легких. Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова, он хотел торжества, как будто это слово было нужно; если б он был юнее сердцем, если б в голове его не обжились так долго мысли горькие и странные, он не спросил бы этого слова.

— Вы ужасный человек, — промолвила, наконец, бедная Круциферская и подняла робкий взгляд на него. Он выдержал этот взгляд и спросил:

— Куда это Семен Иванович запропастился? Хотел тотчас прийти. Не ищет ли он нас в других аллеях? Пойдемте к нему навстречу, а то совсем смеркается.

Она не трогалась с места, обиженная тоном послед-

них слов. Помолчавши несколько, она опять подняла взор свой на Бельтова и тихим, умоляющим голосом сказала ему:

— Я стала ниже в ваших глазах, вы забыли, что я простая, слабая женщина,— и слезы лились из глаз ее.

Тут, как всегда, любовь и теплота женщины победили гордую требовательность мужчины. Бельтов, тронутый до глубины души, взял ее руку и приложил к своей груди; она слышала биение его сердца, она слышала, как горячие капли слез падали на ее руку... Он был так хорош, так увлекателен в своей гордой страсти... У ней самой так волновалась кровь, так смутно было в голове и так хорошо, так богато чувствами на сердце, что она в каком-то безотчетном порыве бросилась в его объятия, и ее слезы градом лились на пестрый парижский жилет Владимира Петровича. Почти в ту же минуту раздался голос Семена Ивановича:

— Где вы? — кричал он. — Тут, что ли?

— Здесь,— отвечал Бельтов и подал руку Любви Александровне.

Бельтов был упоен своим счастьем; его дремавшая душа вдруг воскресла со всеми своими силами. Любовь, доселе сдерживаемая, распахнулась в нем, он чувствовал невыразимое блаженство во всем бытии своем. Как будто он вчера, третьего дня не знал, что он любит и любим. От дома Круциферского он воротился в сад, бросился на ту же скамью, грудь его была так полна, и слезы текли из глаз: он удивлялся, что нашел и столько юности и столько свежести в себе... Правда, вскоре примешалось что-то неловкое к радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить лоб; но, воротившись домой, он велел Григорью подать за закуской бутылку шампанского, и неловкое потонуло в нем, а радостное стало еще звонче.

Круциферская, бледная, как смерть, простилась с Бельтовым у своего дома, куда их проводил и Семен Иванович. Она не смела понять, не смела ясно вспомнить, что было... но одно как-то страшно помнилось, само собою, всем организмом, это — горячий, пламенный, продолжительный поцелуй в уста, и ей хотелось забыть его, и так хорош он был, что она ни за что в свете не могла бы отдать воспоминания о нем. Семен Иванович хотел идти, Круциферская испугалась; она просила его зайти, она боялась одна переступить за порог, ей было страшно.

Они вошли. Дмитрий Яковлич сидел перед столом и

внимательно читал какой-то журнал; вид его был, кажется, покойнее и безмятежнее, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящим, он закрыл журнал и, протягивая руку жене, спросил:

— Где вы это загулялись? Я ждал, ждал тебя, даже грустно сделалось.

Рука жены была холодна и покрыта потом, как бывает у при смерти больных.

— Мы были в саду,— отвечал Крупов за нее.

— Что с тобою?— спросил Круциферский.— Какая у тебя рука! Да на тебе, мой друг, лица нет.

— У меня что-то кружится голова; не беспокойся, Дмитрий, я пойду в спальню и выпью воды, это сейчас пройдет.

— Позвольте, позвольте; куда торопиться? Дайте-ка посмотреть; вы забыли, что ли, что я доктор... Что это? Да ей дурно, Дмитрий Яковлевич, посадимте ее на диван; держите так, под руку, под руку... так, так. Я что-то на дороге заметил, что ей не по себе. Весенний воздух, кровь остра, талый лед испаряется, всякая дрянь оттаивает... Кабы была под рукой английская горчица, сделать бы синапизмики — маленькие, в ладонь, с черным хлебом и уксусом... Кухарка ваша дома? Пошлите-ка к моему Карпу, он знает... просто, так... спросить горчицы... так... и привязать к икрам, а не поможет — еще парочку, пониже плеч, где мясное место.

— Я не больна, я не больна,— повторяла слабым голосом Любовь Александровна, приходя в себя и дрожа всем телом,— Дмитрий, поди сюда ко мне, Дмитрий... я не больна, дай мне твою руку...

— Что с тобою, что с тобою, мой ангел? — спрашивал ее муж, который сам уже успел и занемочь и расплакаться.

Она посмотрела каким-то странно грустным взглядом на него, но не могла сказать, зачем его звала. Он опять спросил ее.

— Дай мне воды да немножко уснуть, и я буду здорова, мой друг.

Часа через два или три Любовь Александровна, наказанная угрызениями совести внутри и горчичиками снаружи за поцелуй Бельтова, лежала на постели в глубоком летаргическом сне или в забытии. Потрясение было слишком сильно, организм не выдержал.

А в гостиной на диване лежал совсем одетый Крупов, оставшийся сколько для больной, столько и для

Круциферского, растерянного и испуганного. Крупов, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которые, насколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкие той бочке, в которой карфагеняне прокатали Регула, — в четверть часа сладко захрапел с спокойствием человека, равно не обременявшего себе ни совести, ни желудка.

Возле кровати больной горел ночник, сделанный в блюдечке, который бросал довольно яркий круг света на потолок, беспрестанно изменявший величину, колебавшийся и вторивший всем движениям маленького пламени, сожигавшего маленькую светильню. Бледный и потерянный, Круциферский сидел за столиком, на котором стоял ночник. Кому случалось проводить ночи у изголовья трудно больного, друга, брата, любимой женщины, особенно в нашу полновесную зимнюю ночь, тот поймет, что было на душе нервного Круциферского. Тупое глупое чувство бессилия помочь вместе с страхом будущего и с горячечной напряженностью от бессонницы и усталости привело его в какое-то раздраженное состояние. Он беспрестанно приподнимался и смотрел на нее, клал ей руку на лоб, находил, что жар уменьшился, и начинал думать, что не хуже ли это, не бросилась ли болезнь внутрь. Он вставал, переставлял ночник и склянку с лекарством, смотрел на часы, подносил их к уху и, не выдавши, который час, клал их опять, потом опять садился на свой стул и начинал вперять глаза в колеблющийся кружок света на потолке, думать, мечтать — и воспаленное воображение чуть не доходило до бреда. «Нет, — думал он, — это нельзя, это невозможно, ну, просто невозможно; как это, она одна у меня на свете, она так молода. Бог видит мою любовь, он сжалится над нами. Это пустяки, пройдет; так, холодный, сырой ветер, кровь остра, лед испаряется, да, только весенние простуды страшны, нервная горячка, чахотка... как это до сих пор не умеют лечить чахотки? Страшная болезнь! Впрочем, она опасна до восемнадцати лет; а вот у нашего французского учителя жена тридцати лет, а в чахотке умерла, да, умерла; ну, если...» И ему так живо представился гроб в гостиной, покрыт покровом, грустное чтение раздается, Семен Иванович стоит печальный возле, Яшу держит нянька, повязанная белым платком. А потом еще что-то страшное почудилось ему, что и гроба нет, в комнате так прибрано, полы вымыты... только пахнет ладаном. Он встал, близкий к обмороку, и по-

дошел к жене. Щеки ее пылали, она тяжело дышала, болезненный сон сковал ее. Крестиферский скрестил руки на груди и горько заплакал... Да! этот человек умел любить,— стоило взглянуть на него; он опустился на колени, взял горячую руку жены и приложил ее к губам своим.

— Нет,— говорил он вслух,— нет, он не возьмет ее, она не оставит меня; что же со мной будет без нее?

И, поднявши глаза к небу, он молился.

Тут вошел Семен Иванович с сильно заспанным видом; левый глаз у него вовсе не хотел открываться, сколько он ни нудил мускул, нарочно затем приставленный к глазу, чтоб его раскрывать.

— Что, начала бредить? А?

— Нет, она спит спокойно.

— Я сам, братец, слышал; во сне, что ли, мне показалось.

— Должно быть, Семен Иванович, вам показалось во сне,— возразил Дмитрий Яковлевич с видом пойманного школьника.

Крупов подошел к постели.

— Жарок есть, а впрочем, кажется, ничего; да вы бы прилегли, Дмитрий Яковлевич, ну что пользы себя мучить.

— Нет-с, я не лягу,— отвечал Дмитрий Яковлевич.

— Вольному воля,— заметил Крупов, зевая и направляя стопы свои к рельефному дивану, на котором преспокойно проспал до половины осьмого,— час, в который он вставал ежедневно, несмотря на то — в десять ли вечера он ложился, или в семь поутру.

Осмотревши больную, Семен Иванович решил, что это легонькая простудная горячечка, как он выражался, и прибавил, что теперь это в поветрии.

Что было после горячечки, пусть расскажет сама Любовь Александровна; вот отрывок из ее журнала.

«Мая 18. Как давно я не писала в этой книге: больше месяца... больше месяца! А иной раз подумаешь, будто годы прошли с того дня, как я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдет тихо, спокойно. Вчера я в первый раз выходила из дому. Как я рада была подышать воздухом! Погода была прекрасная... Однако я очень ослабела во время болезни; два или три раза прошла я по нашему палисаднику и до того устала, что у меня закружилась голова. Дмитрий перепугался,

но это тотчас прошло. Господи! как он меня любит! Добрый, добрый Дмитрий, как он ходил за мной! Стоило мне ночью раскрыть глаза, пошевелинуться — он уже стоял тут, спрашивал, что мне надобно, предлагал пить... бедный, он сам похудел, как будто после болезни. Какая способность любви! Надобно иметь каменное сердце, чтоб не любить такого человека. О! Я люблю его, мне было бы невозможно не любить его. То происшествие в саду, оно ничего не значит, болезнь уже приготовлялась, и я была в особом расположении, нервы у меня были раздражены... Вчера я его видела в первый раз после болезни... его голос я слыхала, как сквозь сон, но его не видала. Он был очень взволнован, хотя и скрывал это, голос у него дрожал, когда он мне сказал: «Наконец-то, наконец-то вам лучше». Потом он мало говорил, какая-то мысль его занимала, он раза два провел рукою по лбу, как будто желал стереть ее, но она снова проступала. Ни одного малейшего намека о бывшем, он, верно, понял, что это было болезненное опьянение. Зачем я не рассказала всего Дмитрию? В тот вечер, когда он так кротко протянул мне руку, мне хотелось броситься к нему и все рассказать, но я не имела силы, мне сделалось дурно. Сверх того, Дмитрий так нежен, его это страшно бы огорчило. После я ему скажу непременно.

20 мая. Вчера мы были с Дмитрием в саду, он хотел сесть на той скамейке, я сказала, что боюсь ветра с реки, — мне эта скамейка сделалась страшна; мне казалось, что для Дмитрия будет оскорбительно сидеть на ней. Будто это правда, что можно любить двоих? Не понимаю. Можно и не двоих, а нескольких людей, но тут игра слов; любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потом я люблю Крупова, и не боюсь признаться, что и Бельтова люблю; это такой сильный человек, что я не могу не любить его. Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек; из его глаз светится гений. Та любовь и не нужна такому человеку. Что для него женщина? Она пропадает в беспредельной душе его... ему нужна любовь иная. Он страдает, глубоко страдает, и нежная дружба женщины могла бы облегчить эти страдания; ее он всегда найдет во мне, он слишком пламенно понимает эту дружбу, он все пламенно понимает; сверх того, он так не привык к вниманию, к симпатии; он всегда был одинок, душа его, огорченная, озлобленная, вдруг вострепелась от голоса сочувствующего. Это очень натурально.

23 мая. Бывают иногда странные минуты какого-то беспокойного желания жизни еще полнейшей. Неблагодарность ли это к судьбе, или уж человек так устроен; а я чувствую часто, особенно с некоторого времени, стремление... очень мудро это выразить. Я искренно люблю Дмитрия; но иногда душа требует чего-то другого, чего я не нахожу в нем, — он так кроток, так нежен, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую детскую мысль, пробегающую по душе; он все оценит, он не улыбнется с насмешкой, не оскорбит холодным словом или ученым замечанием, но это не все; бывают совсем иные требования, душа ищет силы, отвагу мысли; отчего у Дмитрия нет этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслию? Я, бывало, обращаюсь к нему с тяжелым вопросом, с сомнением, а он меня успокаивает, утешает, хочет убаюкать, как делают с детьми... а мне совсем не того хотелось бы... он и себя убаюкивает теми же детскими верованиями, а я не могу.

24 мая. Яша болен. Два дня он лежал в жару, сегодня показалась сыпь. Семен Иванович меня обманывает. В десять раз лучше сказать прямо; надобно испугать воображение, а не предоставить ему волю: оно само выдумает еще страшнее, еще хуже. Я не могу прямо в глаза посмотреть Яше, сердце обливается кровью, страдания ребенка ужасны. Как он похудел, бедняжка, как бледен!.. И туда же, чуть выйдет минута полегче, улыбается, просят мячик. Что это за непрочность всего, что нам дорого, страшно вздумать! Так какой-то вихрь несет, кружит всякую всячину, хорошее и дурное, и человек туда попадает, и бросит его наверх блаженства, а потом вниз. Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он, точно шепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с волной, куда случится, — прибьет к берегу, унесет в море или увязнет в тине... Скучно и обидно!

26 мая. У него скарлатина. У Дмитрия умерло трое братьев от скарлатины. Семен Иванович печален, сердит, груб и не отходит от Яши. Боже мой, боже мой! Что это такое делается над нами? Дмитрий сам едва ходит; это-то счастье я тебе принесла?

27 мая. Время ташится тихо, все то же; смертный приговор или милость... поскорей бы... Что у меня за страшное здоровье, как я могу выносить все это! Семен Иванович только и говорит: подождите, подождите... Яша, ангел мой, прощай... прощай, малютка!

29 мая. Полтора суток прошло поспокойнее, кризис

миновал. Но тут-то и надобно беречь. Все это время я была в каком-то натянутом состоянии, теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталость. Хотелось бы много поговорить от души. Как весело говорить, когда нас умеют верно, глубоко понимать и сочувствовать.

1 июня. Все идет хорошо... Кажется, на этот раз туча прошла мимо головы. Яша играл со мной сегодня часа два на своей постельке. Он так ослабел, что не может держаться на ногах. Добрый, добрый Семен Иванович, что за человек!

6 июня. Все успокоились. Яше гораздо лучше; но я больна, больна, это я чувствую. Сижу иногда у его кровати, и вместо радости вдруг, без всякой внешней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растет, растет и вдруг становится немою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть. Я в этой суете не имела времени остаться наедине с собою; моя болезнь, болезнь Яши, хлопоты не давали мне ни минуты углубиться в себя. Лишь стало поспокойнее и лучше, какой-то скорбный, мучительный голос звал меня заглянуть в свое сердце, и я не узнала себя. Вчера после обеда я что-то чувствовала себя дурно, сидела у Яши, положила голову на его подушечку и уснула... Не знаю, долго ли я спала, но вдруг мне сделалось как-то тяжело, я раскрыла глаза — передо мной стоял Бельтов, и никого не было в комнате... Дмитрий пошел давать уроки... Он смотрел на меня, и глаза его были полны слез; он ничего не сказал, он протянул мне руку, он сжал мою руку крепко, больно... и ушел. Зачем же он не сказал ничего?... Я хотела его остановить, но у меня не было голоса в груди.

9 июня. Он был весь вечер у нас и ужасно весел: сыпал остротами, колкостями, хохотал, шумел, но я видела, что все это натянуто; мне даже казалось, что он выпил много вина, чтоб поддержать себя в этом состоянии. Ему тяжело. Он обманывает себя, он очень невесел. Неужели я, вместо облегчения, принесла новую скорбь в его душу?

15 июня. День был сегодня удушливый, я изнемогала от жара. К обеду собралась гроза, и проливной дождь освежил меня, может, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли в сад; на дворе необычайно было хорошо: деревья благоухали какой-то укрепляющей, влажной свежестью; мне стало легко... Я первый раз вспомнила о *тогдашнем* дне иначе: в нем много прекрасного... Может ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоения, блаженства?... Мы шли по той же дорожке. На лавочке

кто-то сидел, мы подошли: это был он; я чуть не вскрикнула от радости. Он был очень печален, все слова его были грустны, исполнены горечи и иронии. Он прав — люди сами себе выдумывают терзания; ну, если б он был мой брат, разве я не могла бы его любить открыто, говорить об этом Дмитрию, всем?.. И никому не показалось бы это странно. А он брат мне, я это чувствую... Как мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, наш маленький кружок из четырех лиц; кажется, и доверие взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы делаем уступки, жертвы, не договариваем. Когда мы шли домой, было поздно; месяц возшел. Б. шел возле меня. Что за странная, магнетическая власть взгляда у этого человека! Взгляд Дмитрия тих и спокоен, как небо голубое, а его — волнует, так делается беспокойно, — и потом нет.

Мы мало говорили... только, прощаясь, он мне сказал: «Я много думал об вас все это время и... мне очень бы хотелось поговорить, так на душе много». — «И я думала об вас... прощайте, Вольдемар...» Я сама не знаю, как у меня сорвались эти слова; я никогда его так не называла, но мне казалось, что я не могу его иначе назвать. Он содрогнулся, услышав это название; он наклонился ко мне и с тою нежностью, которая минутами является у него, сказал: «Вы третьи меня так называли, это меня может тешить как ребенка, я буду этим счастлив дня на два». — «Прощайте, прощайте, Вольдемар», — повторила я. Он хотел что-то сказать, подумал, пожал мне руку, посмотрел в глаза и ушел.

20 июня. Я много изменилась, возмужала после встречи с Вольдемаром; его огненная, деятельная натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия. Сколько новых вопросов возникло в душе моей! Сколько вещей простых, обыденных, на которые я прежде вовсе не смотрела, заставляют меня теперь думать! Много, о чем я едва смела предполагать, теперь ясно. Конечно, при этом приходится часто жертвовать мечтами, к которым привыкла, которые так береглись и лелеялись; горька бывает минута расставания с ними, а потом становится легче, вольнее. Мне было бы очень тяжело, если б он уехал. Я не искала его, но случилось так; наши жизни встретились — совсем врозь они идти не могут; он открыл мне новый мир внутри меня. И не странно ли, что этот человек, не нашедший себе нигде ни труда, ни покоя, одиноко объездивший весь свет, вдруг здесь, в маленьком городишке, нашел симпатю

в женщине мало образованной, бедной, далекой от его круга! Он, может, слишком любит меня,— да разве это зависит от воли? К тому же, он столько вынес холоду и безучастия, что готов платить сторицею за всякое теплое чувство. Оставить его тем же одиноким, сделаться чужою ему я не могла бы, это было бы просто грешно... да! Он прав: и его любовь имеет права!

Последнее время Дмитрий особенно не в духе: вечно задумчив, более обыкновенного рассеян; у него это есть в характере, но страшно, что все это растет; меня беспокоит его грусть, и подчас я дурно объясняю ее...

22 июня. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрий был до того мрачен, что я не вынесла и спросила, что с ним? «У меня болит голова», — ответил он, — мне надобно походить», — и взял свою шляпу. «Пойдем вместе», — сказала я. — «Нет, друг мой, не теперь; я пойду очень скоро, ты устанешь», — и он ушел со слезами на глазах. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока он ходил; он меня застал на том же месте у окна, видел, что я плакала, грустно пожал мне руку и сел. Мы молчали. Потом, спустя несколько минут, он мне сказал: «Любонька, знаешь ли, о чем я думаю? Как хорошо бы в такую теплую, летнюю ночь, где-нибудь в роще, положить голову тебе на колени и уснуть навеки». «Помилуй, Дмитрий», — сказала я ему, — что это за мрачные мысли; неужели тебе не жаль никого покинуть здесь?» — «Жаль», — отвечал он, — очень жаль и тебя и Яшу; но Семен Иванович говорит, что я только могу повредить воспитанию Яши, да я и сам согласен, что ты лучше воспитаешь его, нежели я. К тому же, друг мой, и там, как здесь, вечная молитва о вас, — молитва, полная веры и упования, — найдет доступ... Тебе будет меня жаль, я это знаю, друг мой, ты так добра; но ты найдешь силы перенести этот удар, признайся сама». Мне было невыносимо больно слушать его; я из этих слов слышала и видела чувство нехорошее, слезы лились у меня из глаз. Что это такое? Мне начинает казаться, что я созвала какие-то бедствия на нашу жизнь. А между тем совесть моя чиста... Неужели я довела его до такого состояния недостатком любви или... У него нет прежней веры в меня, это я вижу. Неужели в его благородной душе есть место чувству, которого назвать не хочу? Неужели он подозревает, что я разлюбила его и люблю другого? Господи! Как мне объяснить это ему? Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара, симпатия моя с Вольдемаром совсем иная...

Странно, мне казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдет широко, полно, — и вдруг какая-то пропасть раскрылась под ногами... лишь бы удержаться на краю... Тяжело... Если б я умела хорошо, очень хорошо играть на фортепьяно, я извлекла бы те звуки из души, которые не умею высказать: Дмитрий понял бы меня, он понял бы, что внутри меня все чисто. Бедный Дмитрий! Ты страдаешь за беспредельную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрий! Если б я с самого начала была откровенна с ним, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня? Как только он успокоится, я поговорю с ним и все, все расскажу ему...

23 июня. Семен Иванович, кажется мне, тоже переменялся со мной; да что же сделала я?.. Я ничего не понимаю — ни что сделала, ни что сделалось. Дмитрий поспокойнее сегодня; я многое говорила с ним, но не все; были минуты, в которые мне казалось, что он понимает меня, но через минуту я ясно видела, что мы совершенно разное смотрели на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрий и прежде не вполне понимал меня, не вполне сочувствовал, — это страшная мысль!

24 июня. Вечером, поздно. Жизнь! Жизнь! Среди тумана и грусти, середь болезненных предчувствий и настоящей боли вдруг засияет солнце, и так делается светло, хорошо. Сейчас пошел Вольдемар; долго говорили мы с ним... Он тоже грустен и много страдает, и как понятно мне каждое слово его! Зачем люди, обстоятельства придают какой-то иной характер нашей симпатии, портят ее? Зачем они все это делают?

25 июня. Вчера был Иванов день. Дмитрий был на именинах у одного учителя. Он воротился поздно и нетрезвый; я никогда не видела его в таком положении. Бледный, с растрепанными волосами, неверными шагами ходил по спальне. «Тебе дурно, мой друг? — сказала я. — Не дать ли тебе воды?» — «Да, — говорил он голосом, задыхающимся от волнения, и с выражением, совершенно чуждым его характеру, — если б ты столько принесла воды, чтоб утопиться можно, я бы поблагодарил тебя». Я глядела прямо в глаза ему, он смеялся. — «Не слушай, бога ради, что я вру, — сказал он, испугавшись, вероятно, моего взгляда, — сам не знаю, как выпил лишний стакан вина, от этого жар, бред... Прощай, мой друг, я отдохну здесь немного», — и он бросился, совсем одетый, на диван и скоро заснул тяжелым сном. Я не спала всю ночь; глубокое страдание выража-

лось на сонном лице его; иногда он улыбался, но не своей улыбкой... Нет, Дмитрий, меня не обманешь! Ты не случайно выпил лишний стакан вина, ты не в бреду говорил твои слова, а вино только придало тебе жестокости, которой вовсе нет в твоей душе. Что это делается над нашими головами, боже милосердный! Это свыше сил человеческих! Тяжело тебе, бедный Дмитрий! А мне-то видеть его страдания и знать, что причиною всего я!

Через три часа. Не могу еще ничего привести в порядок; в душе так все смутно, как после бури — волны не могут улететь. Кровь стучит в висках, сердце бьется до того, что держу грудь. — Дмитрий! И тебе не грешно так жалко меня понимать? И как ты, бедный, страдаешь за это! Облегчение ему, облегчение!.. Ах, как кружится голова и горит! Не опять ли горячка? Я говорила с Дмитрием, я требовала от него объяснения его грусти, его поступков, его слов; да, он утратил веру в меня, он никогда не поймет, что во мне делается. Это страшно, потому что я не могу ничего переменить... Все покрывается туманом, в груди трепет, боль; зачем я встретила с Вольдемаром?

26 июня. Как все странно и перепутано в людских понятиях! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли или хохотать. Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь — высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что кротость — страшная гордость, скрытая жестокость; мне самой делается страшно от этих мыслей, так, как, бывало, маленькой девочкой я считала себя уродом, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексея Абрамовича; что же мне делать, как оборониться от своих мыслей и зачем? Я не ребенок. Дмитрий не обвиняет меня, не упрекает, ничего не требует; он сделался еще нежнее. *Еще!* Вот в этом-то *еще* и видно, что все это неестественно, не так; в этом столько гордости и унижения для меня и такая даль от понимания. Он очень страдает, но что же сказать о той женщине, которая за любовь платит отравой? Да, боже мой, хотела ли я этого! Я говорила с ним откровеннее, нежели бы это сделала другая женщина; он, видимо, уступает, но в то же время у него накапливается совсем другое в душе, и он не совладает с этим другим.

27 июня. Его грусть принимает вид безвыходного отчаяния. В те дни после грустных разговоров являлись минуты несколько посветлее. Теперь нет. Я не знаю, что мне делать. Я изнемогаю. Много надобно было, чтоб довести этого кроткого человека до отчаяния, — я довела

его, я не умела сохранить эту любовь. Он не верит больше словам моей любви, он гибнет. Умереть бы мне теперь... сейчас, сейчас бы умерла!

Я начинаю себя презирать; да, хуже всего, непонятнее всего, что у меня совесть покойна; я нанесла страшный удар человеку, которого вся жизнь посвящена мне, которого я люблю, и я сознаю себя только несчастной; мне кажется, было бы легче, если б я поняла себя преступной, — о, тогда бы я бросилась к его ногам, я обвила бы моими руками его колени, я раскаянием своим загладила бы все: раскаяние выводит все пятна на душе; он так нежен, он не мог бы противиться, он меня бы простил, и мы, выстрадавши друг друга, были бы еще счастливее. Что же это за проклятая гордость, которая не допускает раскаяния в душу? Мне хотелось бы теперь быть одной, где-нибудь вдаль, — только бы Яшу взяла с собой; я бродила бы где-нибудь между чужими людьми и окрепла бы... Ты не найдешь, Дмитрий, примирения в своей душе; ах, друг мой, я отдала бы всю кровь мою до последней капли, если б ты мог, хотел понять меня; как тебе было бы хорошо! Ты падешь жертвой твоего восторженного непонимания, я пойду за тобой в эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземные силы меня избрали для твоей гибели. Подчас мне кажется, что два-три слова с Вольдемаром облегчили бы меня, и я боюсь искать случая с ним видаться. Вот что сделали толки! Они успели бросить страх и в меня, успели отравить светлое и благородное чувство. Да отпустится им! Семен Иванович косвенно читал мне мораль... о, добрый Семен Иванович! Мне так жаль его было; ничего не понимает, говорит о святых обязанностях матери... неужели ему не приходит в голову, что я иногда думала об этом?.. Участие людское оскорбительнее людского холода... Дружба считает лучшим правом своим привязать друга к позорному столбу... потом требовать исполнения советов... как бы они ни были противны тому, которому советуют... Ах, как все это мелко! Фу, душно, как в маленькой комнатке, когда все окна закрыты да еще мухи летают!..»

Если б Бельтов не приезжал в NN, много бы прошло счастливых и покойных лет в тихой семье Дмитрия Яковлевича, конечно, — но это не утешительно; идущи мимо обгорелого дома, почерневшего от дыма, без рам, с тор-

чащими трубами, мне самому приходило иной раз в голову: если б не запала искра да не раздулась бы в пламень, дом этот простоял бы много лет, и в нем бы пировали, веселились, а теперь он — груда камней.

Повесть наша, собственно, кончена; мы можем остановиться, предоставляя читателю разрешить: кто виноват? — Но есть еще несколько подробностей, которые кажутся нам довольно занимательными; позвольте ими поделиться. Обращаемся сначала к бедному Круциферскому.

Круциферский, вскоре после болезни своей жены, заметил, что какая-то мысль ее сильно занимает; она была задумчива, беспокойна... в ее лице было что-то более гордое и сильное, нежели всегда. Круциферскому приходили разные объяснения в голову, странные, невероятные; он внутренне смеялся над ними, но они возвращались.

Раз как-то она сидела с Яшей; вдруг в передней стукнула дверь, и кто-то спросил: «Дома?» — «Этот Бельтов», — сказал Круциферский, поднимая глаза, и глаза его встретили легкий румянец на лице Любви Александровны и оживленный взгляд, который, кажется, был не для него так оживлен. Он содрогнулся и промолчал. Он очень хорошо знал, что жена его была в большой дружбе с Бельтовым, и несколько не удивлялся этому; но этот взгляд, но эта краска, пробежавшая по ее лицу? «Неужели?» — подумал он и снова посмотрел на то, что делалось. Бельтов ласкал Яшу; но что за взор, исполненный нежности и страсти, он остановил на матери! В этом взоре один слепой не прочел бы любви, любви пламенной и еще более — любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза, руки ее немного дрожали, ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрий Яковлевич, сказавши несколько слов, вышел в другую комнату. «Неужели это правда?» — спрашивал он себя, испуганный; у него в голове сделался такой сумбур, в ушах стук, что он поскорее сел на кровать; посидевши минут пять, в которые он ничего не думал, а чувствовал какое-то нелепо тяжелое состояние, он вошел в комнату; они разговаривали так дружески, так симпатично, ему показалось, что им вовсе его не нужно. Он стал ходить по комнате и вспоминать разные мелочи, едва обратившие в свое время внимание, но являвшиеся теперь как доказательства, как подтверждения. Когда Бельтов пошел, она его проводила, она ему улыбнулась, и как улыбнулась! «Да, она его любит». Сознавшись в этом,

он с ужасом стал отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяние овладело им. «Вот они, мои предчувствия! Что мне делать! И ты, и ты не любишь меня!» И он рвал волосы на голове, кусал губы, и вдруг в его душе, мягкой и нежной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить, и в дополнение он нашел силу все это скрыть. Настала ночь; ему очень хотелось плакать, но не было слез; минутами сон смыкал его глаза, но он тотчас просыпался, облитый холодным потом; ему снился Бельтов, ведущий за руку Любовь Александровну, с своим взглядом любви; и она идет, и он понимает, что это навсегда, — потом опять Бельтов, и она улыбается ему, и все так страшно; он встал. На дворе рассветало; она спала, лицо ее было покойно; лицо спящего имеет иногда особенную трогательную прелесть, — таково, действительно, в эту минуту было лицо Любви Александровны, и вдруг улыбка показалась на устах. «Она видит его во сне», — подумал Круциферский и посмотрел на нее с такою ненавистью, с таким зверством, что, не имея он миролюбивых привычек нашего века, он задушил бы ее не хуже венецианского мавра, — у нас трагедии оканчиваются не так круто. «За эту беспредельную любовь чем она заплатила? О, боже мой, боже мой! — за такую любовь!» — повторял он и как будто желал уйти от себя и от страшных искушений; он подошел к кровати. — Яша разбросался, подложил ручонку под щеку и крепко спал. «Ты скоро останешься сиротой, — думал, стоя перед ним, Дмитрий Яковлевич, — бедный Яша!.. Я тебе больше не отец, не могу и не хочу перенести этого; бедный ребенок! Поручаю тебя заступнику всех сирот... Как он похож на нее!» — Он заплакал. Слезы, молитва и покойный вид спящего Яши несколько облегчили страдальца; толпа совсем иных мыслей явилась в размягченной душе его. «Да прав ли я, что обвиняю ее? Разве она хотела его полюбить? И притом он... я чуть ли сам не влюблен в него...» И наш восторженный мечтатель, сейчас безумный ревнивец, карающий муж, вдруг решился самоотверженно молчать. «Пусть она будет счастлива, пусть она узнает мою самоотверженную любовь, лишь бы мне ее видеть, лишь бы знать, что она существует; я буду ее братом, ее другом!» И он плакал от умиления, и ему стало легче, когда он решился на гигантский подвиг — на беспредельное пожертвование собою, и он тешился мыслию, что она будет троюта его жертвой; но это были минуты душевной

натянутости; он менее нежели в две недели изнемог, пал под бременем такой ноши.

Не станем винить его; подобные противуестественные добродетели, преднамеренные самозаклания вовсе не по натуре человека и бывают большею частью только в воображении, а не на деле. На несколько дней его стало; но первая мысль, ослабившая его героизм, была холодная и узкая: «Она думает, я ничего не вижу, она хитрит, она притворяется». О ком думал он это? О женщине, которую он так любил, так уважал, которую должен бы был знать — да не знал; потом внутренняя тоска, снедавшая его сама по себе, стала прорываться в слова, потому что слова облегчают грусть, это повело к объяснениям, в которых ни он не умел остановиться, ни Любовь Александровна не захотела бы. Тяжело ему стало после разговоров с нею; он миновал быть с нею с глазу на глаз, и между тем в отшельнической жизни своей они почти всегда были вдвоем. Он пробовал больше заниматься, но ему наука не шла в голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображение вызывало светлые воспоминания былого, и часто слезы лились градом на листы какого-нибудь ученого трактата. В душе его открылась какая-то пустота, которой пределы словно раздвигались с каждым часом и жить с которой было невозможно. Он стал искать рассеяния. Мы видели в журнале, как он возвратился в Иванов день с вечера ученого друга своего, Медузина.

Кстати, для отдыха от патетических мест пойдете в ученую беседу Медузина и начнем с того, без чего войти в нее нельзя: познакомимся с почтенным хозяином. Знакомство это так приятно, что мы отделим его в новую главу.

VI

Иван Афанасьевич Медузин, учитель латинского языка и содержатель частной школы, был прекраснейший человек и вовсе не похож на Медузу — снаружи потому, что он был плешив, внутри потому, что он был полон не злобой, а настойкой. Медузиным его называли в семинарии, во-первых, потому, что надобно было как-нибудь назвать, а во-вторых, потому, что у будущего ученого мужа волосы торчали все врозь и отличались необыкновенной толщиной, так что их можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и ветер их разнес». Из семинарии Иван Афанасьевич, сверх приятной мифологической фамилии, вынес то прочное

образование, которое обыкновенно сопровождает семинаристов до последнего дня их жизни и кладет на них ту самобытную печать, по которой вы узнаете бывшего семинариста во всех нарядах. Аристократические манеры не были отличительным свойством Медузина: он никогда не мог решиться ученикам говорить *вы* и не прибавлять в разговоре слов, мало употребляемых в высшем обществе. Ивану Афанасьевичу было лет пятьдесят. Сначала он был учителем в разных домах, наконец, дошел до того, что завел свою собственную школу. Однажды приятель его, учитель, тоже из семинаристов, по прозванию Кафернаумский, отличавшийся тем, что у него с самого рождения не проходил пот и что он в тридцать градусов мороза беспрестанно утирался, а в тридцать жара у него просто открывалась капель с лица, встретив Ивана Афанасьевича в классе, сказал ему, нарочно при свидетелях:

— А ведь, кажется, Иван Афанасьич, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуем его и ныне по принятому уже вами обыкновению?

— Увидим, почтеннейший, увидим,— отвечал Иван Афанасьевич с усмешкою и на этот раз решился почему-то великолепнее обыкновенного отпраздновать свои именины.

Хозяйство Ивана Афанасьевича не было *монтировано*. Он жил лет пятнадцать безвыездно в NN, но можно было думать, что он только вчера приехал в город и не успел ничего завести. Это было не столько от скудости, сколько от совершенного неведения вещей, потребных для человека, живущего в гражданском обществе. Приготовляясь дать бал, он осмотрел свое хозяйство; оказалось, что у него было шесть чайных чашек, из них две превратились в стаканчики, потеряв единственные ручки свои; при них всех состояли три блюдечка; был у него самовар, несколько тарелок, колеблющихся на столе, потому что кухарка накупила их из браку, два стаканчика на ножках, которые Медузин скромно называл «своими водочными рюмками», три чубука, заткнутой какой-то грязью, вероятно, чтоб не было сквозного ветра внутри их. Вот и все. А он назвал всех школьных учителей; долго думал он, как быть, и наконец позвал кухарку свою Пелагею (заметьте, что он ее никогда не называл Палагеей, а, как следует, Пелагеей; равно слова «четверток» и «пятюк» он не заменял изнеженными «четверг» и «пятница»).

Пелагея была супруга одного храброго воина, ушедшего через неделю после свадьбы в милицию и с тех пор не сыскавшего времени ни воротиться, ни написать весть о смерти своей, чем самым он оставил Пелагею в весьма неприятном положении вдовы, состоящей в подозрении, что ее муж жив. Я имею тысячу причин думать, что толстая, высокая, повязанная платком и украшенная бородавками и очень темными бровями Пелагея имела в заведовании своем не только кухню, но и сердце Медузина, но я вам их не скажу, потому что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Он объяснил ей свое затруднительное положение.

— Эх ведь лукавый-то вас, — отвечала Пелагея, — а туда же ученые! Как, прости господи, мальчишка точно неразумный, эдакую ораву называть, а другой раз десяти копеек на портомойное не выпросишь! Что теперь станем делать? Перед людьми-то страм: точно погорелое место.

— Пелагея! — возразил громким голосом Медузин. — Не употребляй во зло терпение мое; именины править с друзьями хочу, хочу и сделаю; возраженный бабьих не терплю.

Влияние Цицерона было бы заметно каждому, но Пелагея, взволнованная вестью о празднике, не думала о Цицероне.

— Конечно, мы и замолчим; дело ваше, хоть в окно бросайте деньги, коли блесн¹ доставляет. Дайте пятьдесят рублей, всего искуплю, кроме напитков.

Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ее ответ, а потому, сказавши это, она с глубоким чувством собственного достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала действия своих слов.

— Пятьдесят рублей на эту дрянь! Да ты — того,хватила, что ли, через край? Пятьдесят рублей без напитков! Вздор какой! Баба глупая! Никакого совета не умеет дать! Так ступай же к отцу Иоанникию пригласить его ко мне двадцать четвертого числа и попроси у него посуды на вечер.

— Куда хорошо по дворам шляться за посудой!

— Пелагея! Знакомый тебе это человек? — спросил Медузин, указывая на сучковатую трость в углу.

Пелагея, увидевшись с знакомым, пошла в кухню надеть канот, шелковый платок и потом с ворчаньем от-

¹ удовольствие (от фр. *plaisir*).

правилась к отцу Иоанннкину; а Медузину сел за письменный стол и просидел с час в глубокой задумчивости; потом вдруг «обошелся посредством» руки, схватил бумагу и написал. — вы думаете, комментарий к «Энеиде» или к Евтропиевой краткой истории, — и ошибаетесь. Вот он что написал:

1. Российская грамматика и логика	много употребл.
2. История и география	употребляет довольно.
3. Чистая математика	плох.
4. Французский язык	виноградн. много.
5. Немецкий язык	пива очень много.
6. Рисование и чистописание	одну настойку.
7. Греческий язык ¹	все употребляет.

После этих антропологических отметок Иван Афанасьевич написал соответственную им программу:

Ведро сантуринского	16 руб.	
$\frac{1}{2}$ ведра настойки	8 "	
$\frac{1}{2}$ ведра пива	4 "	
2 бутылки меду		50 коп.
Судачьего 10 бутылок	10 "	
3 бутылки ямайского	4 "	
Сладкой водки штоф	2 "	50 коп.

Итого: 45 руб.

Медузину был доволен сметой: не то чтоб очень дорого, а выпить довольно; сверх того, он ассигновал значительные деньги на покупку визиги для пирогов, ветчины, паюсной икры, лимонов, селедок, курительного табаку и мятных пряников, — последнее уже не по необходимости, а из роскоши.

Гости собрались в седьмом часу. В девять с Кафернаумского шел уже проливной дождь; в десять учитель географии, разговаривая с учителем французского языка о кончине его супруги, помер со смеху и не мог никак понять, что собственно смешного было в кончине этой почтенной женщины, — но всего замечательнее то, что и француз, неутешный вдовец, глядя на него, расхохотался, несмотря на то, что он употреблял одно виноградное. Медузину показывал сам пример гостям: он пил беспрестанно и все, что ни подавала Пелагея, — пунш и пиво, водку и сантуринское, даже успел хватить стакан меду, которого

¹ У меня было написано «Отец законоучитель»... цензура заменила его греческим учителем! (Примеч. автора.)

было только две бутылки; ободренные таким примером гости не отставали от хозяина; один Круциферский, приглашенный хозяином для почета, потому что он принадлежал к высшему ученому сословию в городе,— один Круциферский не брал участия в общем шуме и гаме: он сидел в углу и курил трубку. Зоркий взгляд хозяина добрался, наконец, до него.

— Дмитрий Яковлевич, вы-то что же пуншику-то с лимончиком?.. Ну, что, право, сидите голову повесьте, сами не пьете, другим мешаете.

— Вы знаете, Иван Афанасьевич, что я никогда не пью.

— И знать, любезнейший мой, не хочу такого вздору, пьешь не пьешь, а с друзьями выпить надобно; дружеская беседа, да... Пелагея, подай стакан пуншу да гораздо покрепче.

Последнее замечание, вероятно, хозяин основал на том, что Круциферский и послабже не хотел.

Принесла Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал, должно быть, мертво пьяный кусок лимону и в которой бесследно пропали несколько чайных ложек кипятку. Круциферский взял стакан, чтоб отделаться от хозяина, в надежде, что найдет случай три четверти выплеснуть за растворенное окно. Это было не так легко, потому что Медузин, посадивши кого-то за себя поиграть в бостон, подсел к Круциферскому.

— Вот, Дмитрий Яковлевич, я тебе искренне скажу, ты меня обязал, истинно дружески обязал, а то как в твои лета, сидишь дома назаперти; конечно, у тебя есть там хозяйшечка молодая, ну, да ведь надобно же и в свет-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрий Яковлевич, я тебя за это поцелую,— и, не дожидаясь разрешения и несмотря на то, что от него пахло точно из растворенной двери питейного дома, вылитографировал довольно отчетливо толстые губы свои на щеке Круциферского. А вслед за тем, не говоря худого слова, обнял Дмитрия Яковлевича и Кафернаумский, с которого пот лился ручьями. Желая просушить лицо, без явной обиды собрату по просвещению юношества, Круциферский отошел в угол и вынул платок. Спину к нему стоял неутешный вдовец и учитель французского языка с Густавом Ивановичем, учителем немецкого языка, который в сию минуту был налит пивом до кончика ногтей и курил трубку с перышком. Ни тот, ни другой не заметили Круциферского и продолжали вполголоса разговор. Само собою разумеется, что Круциферскому

вовсе не хотелось подслушать, что они говорят, но фамилия Бельтова, произнесенная довольно громко, рядом с его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.

— Это старый шутки,— говорил француз, погладивши как-то все русские буквы,— и если Адам не послал рок, то это от того, что он был одна мушина в Эден.

— Та,— отвечал Густав Иванович,— та! Этот Пельтгоф, это точно Тон-Шуан,— и через минуту громко расхохотался: минуту эту, по немецкому обычаю, он провел в глубокомысленном обсуживании, что сказал французский учитель об Адаме; добравшись, наконец, до смысла, Густав Иванович громко расхохотался и, вынимая из чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупил с большим удовольствием: «Ich habe die Pointe, sehr gut!»¹

Но наибольшее действие этот рассказ сделал не на Густава Ивановича, а на человека, который почти не слышал его, т. е. на Круциферского. Что это значит — эти две фамилии, рядом поставленные? Да как же это, неужели страшная тайна, которую он едва подозревал, в которой он себе не смел признаться, сделалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили,— и вот они стоят еще на том же месте, и Густав Иванович продолжает хохотать... Круциферскому показалось, что у него в груди что-то оборвалось и что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступает выше и выше и скоро хлынет ртом... Голова у него кружилась, перед глазами прыгали огоньки, он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, он боялся упасть на пол — и прислонился к стене... Вдруг чья-то тяжелая рука схватила его за рукав; он весь содрогнулся; что еще будет? — думал он.

— Нет, любезный Дмитрий Яковлевич, честные люди так не поступают,— говорил Иван Афанасьевич, держа одной рукой Круциферского за рукав, а другою стакан пуншу,— нет, дружище, припрятался к сторонке да и думаешь, что прав. У меня такой закон: бери не бери, твоя воля, а взял, так пей.

Круциферский, долго всматриваясь и вслушиваясь,— вроде того, как Густав Иванович изучал замечание французского учителя,— наконец, смутно понял, в чем дело, взял стакан, выпил его разом и расхохотался.

¹ «Я понял, в чем соль, очень хорошо!» (нем.)

— Вот люблю, можно чести приписать! Каков? А говорит — не люблю, экой хитрец! Ну, Дмитрий Яковлевич, Митя, выпей еще стаканчик... Пелагея, — присовокупил Медузин, вытаскивая из стакана Круциферского собственным (обходительным) пальцем своим кусок лимона, — еще пуишу да покрепче... Выпьешь?

— Давайте.

— Браво, браво!..

И Медузин только потому не поцеловал Круциферского, что рот его был занят лимоном, который он съел с кожей и с косточками, прибавляя в виде объяснительной комментариин: «Кисленькое-то славно, когда фундамент выведен».

Пуиш принесли, Круциферский выпил его, как стакан воды. Никто не заметил, что он был бледен, как воск, и что посинелые губы у него дрожали, может, потому, что гостям казалось, что весь земной шар дрожит.

Между тем, как дело шло на пулюку, неустойчивая Пелагея принесла на маленький столик поднос с графинном и стаканчиками на ножках, потом тарелку с селедками, пересыпанными луком. Селедки хотя и были нарублены поперек, но, впрочем, не лишены ни позвоночного столба, ни ребер, что им придавало особенную, очень приятную остроту. Игра кончилась мелким проигрышем и крупным ругательством между людьми, жившими вместе целый бостон. Медузин был в выигрыше, а следовательно, в самом лучшем расположении духа.

— Полноте, полноте! — кричал он. — Пойдемте-ка лучше да с божьим благословением хватимте кантафресного.

Иван Афанасьевич постоянно называл настойку кантафресным, почему — не знаю, но полагаю, по достаточным и верным латинским источникам.

Гости отправились к столу.

— Дмитрий Яковлевич! Уж, верно, ты не откажешься и от кантафресного?

— Давайте и кантафресного, — отвечал Круциферский и опрокинул в горло огромную рюмку пенника, испорченного разными травами, отвратительными на вкус и полезными, как думают легковверные люди, для желудка.

Восторг гостей был неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирог с визнгой... Я, впрочем, полагаю, что мы довольно ознакомились с характером ватасаровского праздника, которым Медузин праздновал свое тезоименитство; тем более не считаю нужным

описывать продолжение его, что могу уверить читателей в том, что праздник продолжался совершенно в том же направлении и на тех же основаниях.

На другой день Круциферский имел длинный разговор с Любовью Александровной; она поднялась в его глазах опять так высоко, так недостижимо высоко: он был способен понять и оценить ее... но что-то отлетело между ними, и страшная мысль: «об этом говорят» — уничтожала его. Он, впрочем, насчет этого не сказал ей ни слова: ему было тяжело с ней говорить, и он торопился в гимназию; пришедши туда прежде окончания другой лекции, он стоял у окна в рекреационной зале. Давно ли он так спокойно смотрел из этого окна, давно ли, на вершине человеческого счастья, он так торопился бежать домой? И вдруг все переменилось: он хотел бы бежать из дому... и между тем он был подавлен ее величием и силой, он понял, что она страдает не меньше его, но что она скрывает эти страдания из любви к нему... «Из любви ко мне! Но разве она любит меня, разве можно любить бревно, лежащее на дороге к счастью?... Зачем я не умел скрыть, что все знаю; если б я был осторожнее, она не столько бы страдала; а я все сделал бы, чтоб она была счастлива; но что же делать; бежать, бежать — куда?..»

Его остановил Анемподист Кафернаумский. Он, видимо, еще не оправился от вчерашнего раута; глаза у него были красны и окружены каким-то пухлым кругом, как бывает луна зимою в морозные дни; на щеках и носу проступали сизые пятна.

— Что, почтеннейший,— сказал Кафернаумский, отирая пот с лица,— трешит?

Круциферский промолчал.

— Я сам едва жив.

Видала ль ты обломки корабля?

Видала, но почто? Се жизнь теперь моя...

Каков-с Медузин-то? Старый пес, расходился как! Да вы, Дмитрий Яковлевич, поправлялись? То есть, клин клином-то...

— Как, поправлялся ли?

— А вот я вам покажу как; и видно, что еще новичок! Пойдемте-ка ко мне. Я ведь тут возле живу,—

Ради рома и арака
Посети домишко мой.

Круциферский отправился к Кафернаумскому. Зачем? Этого он сам не знал. Кафернаумский вместо рома и арака предложил рюмку пеннику и огурцы. Круциферский выпил и к удивлению увидел, что, в самом деле, у него на душе стало легче; такое открытие, разумеется, не могло быть более кстати, как в то время, когда безвыходное горе разъедало его.

Часов в десять с небольшим Семен Иванович Крупов явился в небольшую залу «Города Кересберг» и принялся прохаживаться взад и вперед, с лицом озабоченным и сердитым. Минут через пять дверь из комнаты Бельтова отворилась, и вышел Григорий, со щеткой в руке и с пальто на руке.

— Что, небось еще спит?

— Сейчас проснулись, — отвечал Григорий.

— Скажи ему, что я пришел и имею до него дело.

— Семен Иванович! — закричал Бельтов. — Семен Иванович! Милости просим, — и показался в дверях.

— Имеете вы, — спросил он, — полчаса времени для меня?

— Хоть целый день! — отвечал Бельтов.

— Да не помешал ли я вам? Вы, кажется, по утрам занимаетесь политической экономией, что ли?

Старик несколько не скрыл иронический тон вопроса.

— Вы, кажется, сегодня и рано встали с постели, да только левой ногой, — заметил Бельтов, до высочайшей степени кротко принимавший замечания старого ворчуна.

— Стало, я встал с той ноги, с которой хотел.

— Итак, — сказал Бельтов, указывая на дверь.

Крупов молча вошел в нее.

— Владимир Петрович! — начал Крупов, и сколько он ни хотел казаться холодным и спокойным, не мог, — я пришел с вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о том, что делаю. Больно мне вам сказать горькие истины, да ведь не легко и мне было, когда я их узнал. Я на старости лет остался в дураках; так ошибся в человеке, что мальчику в шестнадцать лет надобно было бы краснеть.

Бельтов смотрел на старика с удивлением.

— Коли я уж начал говорить, так буду, как македонский солдат, вещи называть своим именем, а там что будет, не мое дело; я стар, однако трусом меня никто

не назовет, да и я, из трусости, не назову неблагородного поступка — благородным.

— Послушайте, Семен Иванович! Я уверен, что вы не трус, да еще более уверен в том, что и меня вы не считаете за труса, но мне бы очень было неприятно стать в необходимость доказывать это вам, которого я искренно уважаю: я вижу, вы раздражены, а потому, что бы ни было, сделаемте условие не употреблять грубых выражений; они имеют странное свойство надо мной: они меня заставляют забыть все хорошее в том, кто унижается до ругательств. Бранью вы ничего не объясните, а потому к делу, и извините за *aviso*¹.

— Хорошо-с; я буду, милостивый государь, вежлив, чрезвычайно вежлив. Позвольте мне иметь смелость, Владимир Петрович, вас спросить — знаете вы или нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходил радоваться, которая мне заменяла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сделали разом четырех несчастных. Из сожаления к вашему одиночеству я ввел вас в эту семью; вас приняли, как родного, вас отогрели там, а вы чем отблагодарили? Извольте знать, муж не нынче-завтра повесится или утопится, — не знаю, в воде или в вине; она будет в чахотке, за это я вам отвечаю; ребенок останется сиротою на чужих руках, и, в довершение, весь город трубит о вашей победе. Позвольте же и мне вас поздравить!

Благородный старик дрожал от гнева, говоря последние слова.

— А может, вам это ничего, с высшей точки зрения, — прибавил он, погодя немного.

Бельтов встал с дивана и быстро ходил по комнате; потом он вдруг остановился перед стариком.

— Позвольте мне вас теперь спросить, кто вам дал право так дерзко и так грубо дотрогиваться до святейшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнее других? Но я забываю ваш тон; извольте, я буду говорить. Что вам от меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! Тысячу раз повторяю вам: я люблю всеми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?

— Так зачем же вы ее губите? Если б вы были человек с душою, вы остановились бы на первой ступени, вы

¹ предупреждение (ит.).

не дали бы заметить своей любви! Зачем вы не оставили их дом? Зачем?

— Вы проще спросите: зачем я живу вообще? Действительно, не знаю! Может, для того, чтоб сгубить эту семью, чтоб погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все это легко и спрашивать и осуждать. Видно, в вас сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании. Извольте, я буду отвечать на ваши вопросы. Да! Я чувствую теперь потребности не оправдываться, — я не признаю над собою суда, кроме меня самого, — а говорить; да сверх того, вам нечего больше мне сказать: я понял вас; вы будете только пробовать те же вещи облекать в более и более оскорбительную форму; это, наконец, раздражит нас обоих, а, право, мне не хотелось бы поставить вас на барьер, между прочим, потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины.

— Говорите, говорите; я буду слушать.

— Я приехал сюда в одну из самых тяжелых эпох моей жизни. В последнее время я расстался с зарубежными друзьями; здесь не было ни одного человека, близкого мне; я толкнулся к некоторым в Москве — ничего общего! Это укрепило меня еще более в намерении ехать в NN. Вы знаете, что здесь было и весело ли я жил? Вдруг я встречаю эту женщину... Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсем не знаете, так точно, как не знаете меня. Вы дорого оценили ее семейное счастье, ее любовь к мужу, к ребенку — только; не сердитесь — есть минуты, в которые говорят не одни сладкие истины... Не думайте, чтобы внешняя близость или число лет распечатавали душу одного другому, — несколько! Очень часто людей, живших лет двадцать вместе, в гроб кладут чужими, а иногда они и любят друг друга, да не знают, а братственное сочувствие в один миг раскрывает в десять раз больше. К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели докторально, сверху вниз, а я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнью, до которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, — были для нее простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встречался, у каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрез который он пересадить не может; в ней я не видел этого горизонта. Какие

мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали! Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не оставился? Это, наконец, становится смешно, столько благо-разумия у меня нет. Да и потом это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял — было поздно.

— Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Ну, что же дальше?

— Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам.

— Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности.

— Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждал, чтоб вы пришли мне рассказать? Прежде вас я понял, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзии и упоения, прошла, что эту женщину затерзают... потому что она удивительно высоко стоит. Дмитрий Яковлевич хороший человек, он ее безумно любит, но у него любовь — мания, он себя погубит этой любовью, что ж с этим делать?.. Хуже всего, что он и ее погубит.

— Как же, по-вашему, ему следовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любит другого?

— Я этого не говорю. Вероятно, ему следовало то делать, что он сделал; каждая натура очень верна себе, особенно в критические минуты. А знаете, чего ему не следовало делать? Сочетать свою жизнь с женщиной такой силы, как она.

— По несчастью, это я ему говорил перед свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно об этом толковать и что до вашего приезда она была счастлива.

— Семен Иванович, это бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают; как это вы так непоследовательны!

— Право, это дело мудреное! Ох, то-то недаром всегда говорил я, что семейная жизнь — вещь преопасная, да проповедовал, как Иоанн в пустыне: никто меня не слушал. Хоть бы вы из сострадания просто...

— Я, право, не знаю, чего вы от меня хотите? После ее болезни я стал замечать ее грусть и его немое безвыходное отчаяние. Я почти перестал ходить к ним, вы это знаете, а чего мне это стоило, знаю я; двадцать раз принимался я писать к ней — и, боясь ухудшить ее состояние, не писал; я бывал у них — и молчал; в чем же вы меня упрекаете, что вы хотите от меня; надеюсь, что не простое

желание бросить в меня несколько оскорбительных выражений привело вас ко мне?

— Владимир Петрович, ну, докажите же, что вы сильный человек: я верю, что вам это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву... А мы, может, спасем эту женщину; Владимир Петрович, уезжайте отсюда!..

И какая-то нежность в тоне заменила натянутую жесткость... голос у старика дрожал. Он любил Бельтова.

Бельтов открыл свой портфель, порывлся в бумагах и подал ему начатое письмо.

— Прочтите,— сказал он.

Письмо было к матери; он извещал ее о своем твердом намерении опять ехать за границу и притом очень скоро.

— Вы видите, я еду. И вы думаете, что вы спасете ее этим,— спросил он грустно, качая головой,— добрейший Семен Иванович?

— Да что же делать? — спросил Крупов с каким-то отчаянием.

— Не знаю,— отвечал Бельтов.— Семен Иванович, я напишу к ней письмо и принесу его к вам, вы отдадите, честное слово?

— Отдам,— отвечал Крупов.

Бельтов проводил Семена Ивановича, печального и расстроенного, до дверей.

Потом он воротился к своему столику и бросился на диван в каком-то совершенном бессилии; видно было, что разговор с Круповым нанес ему страшный удар; видно было, что он не мог еще овладеть им, сообразить, осилить. Часа два лежал он с потухнувшей сигарой, потом взял лист почтовой бумаги и начал писать. Написавши, он сложил письмо, оделся, взял его с собою и пошел к Крупову.

— Вот письмо,— сказал Бельтов.— Можете вы, Семен Иванович, доставить мне случай с ней видиться при вас на две минуты или нет?

— Да зачем?

— Что вам до этого, хуже от этого не будет. Если в вас когда-нибудь была малейшая привязанность ко мне, вы это сделаете.

— Когда вы едете?

— Завтра утром.

— Будьте в восемь часов в саду.

Бельтов пожал ему руку.

— А я видел сегодня его в самом жалком положении.
— Перестаньте; ни слова, Семен Иванович, умоляю вас.

Бледная, исхудавшая, с заплаканными глазами, шла несчастная Любовь Александровна под руку с Круповым; она была в лихорадке, выражение ее глаз было страшно. Она знала, куда она шла, и знала зачем. Они пришли к заветной лавочке и сели на нее: она плакала, в руках ее было письмо; Семен Иванович, не находивший даже нравоучительных замечаний, обтирал слезу за слезою.

Подошел Бельтов; все светлое в лице его исчезло, в каждой черте видно было нестерпимое страдание; он взял ее руку. Он был похож на мертвеца.

— Прощайте,— сказал он ей едва внятным голосом,— я опять скитаться; но наша встреча, но ваш образ сохранится во мне... он меня утешит в последнюю минуту жизни.

— Навсегда? — спросила она.

Он молчал.

— Боже мой! — сказала она и умолкла.— Прощайте, Вольдемар,— прибавила она шепотом, и потом вдруг как будто силы ее разом удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно:— Вольдемар, помните, что вы любимы беспрдельно... беспрдельно любимы, Вольдемар!

Она встала, он не удерживал ее; в ней достало духу идти более твердым шагом, нежели как она пришла.

Он смотрел им вслед, провожал донельзя мелькание белого бурнуса между березками. Она не имела силы обернуться. Вольдемар остался. «Да неужели,— думал он,— я должен оставить ее и навсегда!» Он положил голову на руку, закрыл глаза и с полчаса сидел уничтоженный, задавленный горем, как вдруг кто-то его назвал по имени; он поднял голову и едва узнал общее советничье лицо советника; Бельтов сухо поклонился ему.

— Вы, кажется, Владимир Петрович, приходите сюда отдаваться мечтаньям и размышлениям.

— Да, и поэтому люблю быть один.

— Это точно-с, доложу вам, что может быть приятнее для образованного человека, как одиночество,— заметил советник, садясь на лавку,— а впрочем, есть и компания иногда не хуже одиночества. Я сейчас встретил Крупова, Семена Ивановича, он такую себе подцепил дамочку.

Бельтов встал в ту же минуту, как советник сел,

и хотел идти, но он его остановил последними словами. Насмешливый вид советника очень хорошо показывал, с какою целью он это говорил. Всего вероятнее, что он и в сад попал по тайному поручению какой-нибудь Марьи Степановны.

— Я знаю даму, с которой шел Крупов,— сказал Бельтов, задыхаясь от ярости.

— Да, как, чай, вам не знать, ха, ха, ха! — заметил развязный советник, — уж вы, молодые люди, знаете всех хорошеньких.

— Вы или сумасшедший, или дурак! В обоих случаях прощайте,— сказал Бельтов и отправился по аллее.

— Как вы осмелились меня так назвать! — вскричал советник, покрасневши, как пион, и вскакивая с лавки. Бельтов остановился.

— Что вы хотите от меня,— спросил он советника, — стреляться с вами? Извольте! Как ни гадко, я стану; если ж нет, вы меня извините, я имею скверную привычку отгонять тростью тех, которые мне мешают гулять.

— Как тростью? — спросил советник. — Да кто вы такой, что смеете тростью угрожать?

Во всяком другом случае Бельтов расхохотался бы от всего сердца над милым советником, но в эту минуту, когда он и без него был так сильно раздражен и вряд ли хорошо помнил, что делает, он показал советнику как. Советник удивился; Бельтов ушел.

На другой день утром, пока Григорий укладывал и хлопотал, Бельтов ходил по комнате: у него в уме и в груди была какая-то пустота, точно полжизни, полсуществования кануло в воду и нет ее, так что-то страшно и больно, какой-то трепет, — и вдруг навернутся слезы. Десять раз Григорий обращался к нему с вопросом, и он отвечал «все равно», и действительно в эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надеть на дорогу, а даже по какой дороге ехать, в Париж или в Тобольск. Вошел Семен Иванович, совсем не так, как вчера: на глазах его видны были следы слез, он как-то вошел тихо, чистил шляпу рукавом, постоял у окна, заметил Григорью, что вага у дормеза не хорошо привязана, и вообще был не в своей тарелке.

— Довольны мною, Семен Иванович? — сказал со смехом и со слезами Бельтов.

— Я оскорбил вас вчера; ну, что делать, простите меня... если вы так уедете...

И у старика голос замер.

— Полноте, полноте, Семен Иванович, что вы это?
И Бельтов протянул ему обе руки.

— Вот еще что: примите от меня в знак памяти, я истинно вас любил и хочу вам... — и он ему подал довольно большой сафьянный портфель, — хочу вам отдать вещь дорогую, очень дорогую мне.

Бельтов развернул портфель, взглянул на старика и бросился к нему на шею; старик рыдал и приговаривал: «Самому смешно, право, из ума выживаю. Экая глупость, под старость плаксой стал».

Бельтов бросился на стул и держал перед собою портфель... Это был акварельный портрет Любови Александровны.

Крупов стоял перед ним и, чтоб окончательно уверить Бельтова, что он вовсе ничего не чувствует, делал следующие комментарии, отирая украдкой слезы:

— Года два тому назад здесь проезжал англичанин-живописец, хороший живописец; он большие масляные портреты делал; вот губернаторский портрет, что висит в кабинете, он писал; я уговорил Любовь Александровну посидеть, — всего три сеанса... думала ли она?..

Бельтов не слушал его, а потому беда была не велика, когда речь Крупова перервал хозяин трактира, который, запыхавшись, возвестил приезд г. полицеймейстера.

— Что ему надобно? — спросил Бельтов.

— Имеет до вашей милости дело, — отвечал трактирщик.

— Скажи, что я дома.

Полицеймейстер вошел, страшно гремя саблею; ввалил сквозь растворенную дверь виделся тощий комиссар и половой, державший в страхе в руках шинель полицеймейстера.

Бельтов встал и всею фигурою своей выразил вопрос, так что слов не нужно было. Вопрос был естественно тот: *за кем диаволом?*

— Мне очень жаль, Владимир Петрович, что я должен остановить вас на несколько минут; вы, кажется, намерены отбыть из нашего города?

— Да.

— Генерал вас просит побывать к нему. Фирс Петрович Елканевич подал на вас, партикулярным письмом, жалобу его превосходительству насчет оскорбления его чести. Мне очень совестно; согласитесь сами — долг службы; сами извольте знать, мое дело — неумытное исполнение.

— Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте вас спросить, это надолго может меня остановить?

— Это будет зависеть от вас; г. Елканевич человек благородный: он, наверное, дела не затянет вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.

— Да как тут объясняться?

— Ох, Владимир Петрович, что мне это с тобою делать? Ничего, право, не понимаешь,— заметил Крупов.— Ну, хотите, я с г. полицеймейстером буду посредником и кончим в четверть часа?

— Очень бы обязали, истинно обязали бы.

— Помилуйте,— заметил полицеймейстер,— это священная обязанность наша, и самая приятная обязанность, когда можно эдак мирным образом и к общему удовольствию.

Так и случилось.

...Через две недели по той дороге, по которой некогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихих лошадей, и которая шла от Белого Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормез; Григорий сидел на козлах и закуривал трубку, ямщик убеждал лошадей идти дружнее и, чтоб ближе подделаться к их понятиям, произносил одни гласные: о... о... о... у... у... а... а... а... и т. д. А по сю сторону реки стояла старушка, в белом чепце и белом капоте; опираясь на руку горничной, она махала платком, тяжелым и мокрым от слез, человеку, высунувшемуся из дормеза, и он махал платком,— дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облаком пыли, и пыль эта рассеялась, и, кроме дороги, ничего не было видно, а старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядеть.

Скучно и пусто сделалось старушке в Белом Поле; бывало все же в неделю раз-другой приедет Вольдемар, она так привыкла слышать издали, еще с горы, бубенчики и выходить к нему навстречу на тот балкон, на котором она некогда ждала его, загорелого отрока с светлым лицом. Ее что-то звало в NN: там жила женщина, любящая ее сыном, несчастная жертва любви к нему. И в самом деле, старушка переехала туда к зиме. Она застала Любовь Александровну потухающею, ненадежною; Семен Иванович, сделавшийся вдвое угрюмее, качал головою,

когда его спрашивали об ней. Дмитрий Яковлевич, раздавленный горем, молился богу и плакал. Софья Алексеевна просила позволения ходить за больной и дни целые проводила у ее кровати, и что-то высоко поэтическое было в этой группе умирающей красоты с прекрасной старостью, в этой увядающей женщине со впавшими щеками, с огромными блестящими глазами, с волосами, небрежно падающими на плечи, — когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, с полуотверстым ртом и со слезою на глазах внимала бесконечным рассказам старушки-матери об ее сыне — об их Вольдемаре, который теперь так далеко от них...



Сорока-воровка



Повесть

*Посвящено
Михайлу Семеновичу Шепкину*

Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт;
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талней гостит;
Хозяин, ласковый душою,
Склонит к ним приветный взор.

«Украинский вестник» на 1816 г.

— Заметили ли вы,— сказал молодой человек, стриженный под гребенку, продолжая начатый разговор о театре,— заметили ли вы, что у нас хотя и редки хорошие актеры, но бывают, а хороших актрис почти вовсе нет, и только в предании сохранилось имя Семеновой; не без причины же это.

— Причину искать недалеко; вы ее не понимаете только потому,— возразил другой, стриженный в кружок,— что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе; ее место дома, а не на позорище. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем — она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов.

— Отчего же у немцев,— заметил третий, вовсе не

стриженный,— семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это несколько не мешает появлению хороших актрис? Да потом я и в главном не согласен с вами: не знаю, что делается около очага у западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете.

— А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особую жизнь, в городах, которые оставили сельский быт, один народный у нас, по большим дорогам, где мужик сделался торгошом, где ваша индустрия развратила его довольством, развила в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась; хотите ее видеть, ступайте в скромные деревушки, лежащие по проселочным дорогам.

— Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других, вредно для славян так, как вам угодно их представлять; по-вашему, чтоб сохранить чистоту нравов, надобно, чтоб не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства первого условия развивающейся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам.

— Все можно представить в нелепом виде; шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете, ну, так не поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейного, отеческого распорядка ни в избе, где отец — глава, ни в целом селе, где глава общины — отец. Вы привыкли к строгим очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданию и недоверью,— все это необходимо на Западе: там все основано на вражде, там вся задача государственная, как сказал ваш же поэт, в ловкой борьбе:

Здесь патисск пламенный, а там отпор суровый,
Пружинны смелые гражданственности новой.

— Этой дорогой я не думаю, чтоб мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редки актрисы,— сказал начавший разговор.— Если для полноты ответа

вы хотите *chemin faisant*¹ разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет сорок жизни, да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается: тут много истинного. Однако вы полагаете, что семейство — в маленьких деревеньках; ну, а ведь актрисы берутся не из этих же деревенок, к которым нет проезда.

— Здесь позвольте мне отвечать вам, — заметил европеец (так мы будем называть нестриженного), — у нас вообще и по шоссе и по проселочным дорогам женщина не получила того развязного права участия во всем, как, например, во Франции; встречаются исключения, но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством, — лучшее доказательство, что это исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое освобождение.

— Конечно, такая женщина была бы урод; и по счастью, — возразил славянин, — не у нас надобно искать *la femme émanicipée*², да и вообще надобно ли ее где-нибудь искать — я не знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас женщина пользовалась ими с самой глубокой древности больше, нежели в Европе, ее именье не сливалось с именьем мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами.

— Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, не все принадлежат европейской женщине. Но, извините, здесь речь вовсе не о писаных правах, а именно о правах неписаных, об общественном мнении. Что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам? Я уверен, что и нам и ей было бы не по себе; мы совсем иначе настроиваем себя, если предвидим дамское общество: в этом недостаток уважения к женщине.

— Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина во все не должен быть с женщинами нараспашку; и зачем

¹ попутно (фр.).

² эмансипированную женщину (фр.).

женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания, в которые не мешаются дамы, — в этом есть что-то строгое, неизнеженное.

— И чрезвычайно гуманное относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы в запорожские казаки, если б попрежде родились.

— Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русского не прибрали, чтоб ее выразить. Как будто мало женщины дела в скромном кругу домашней жизни; я не говорю уж о матери, которой обязанности и так святы и так сложны.

— Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории, держал дочь дома и с улыбкой говорил спрашивавшим о ней: «Дом сидит, шерсть прядет». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтоб нравы ее сохранились совершенно чистыми. Помоему, если женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она вполнину менее развита и браните меня хоть по-чешски, вполнину менее нравственна: твердая нравственность и сознание неразрывны.

— Теперь мой черед вам возражать, — сказал начавший разговор. — Каждый видел своими собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень понятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе, он занят делом: военный — ученьями, статский — протоколами, выписками, а жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы.

— Поздравляю их. Должно быть хорошо образованные, — вставил славянин, — которое можно почерпнуть из Бальзака, Сю, Дюма, из этой болтовни старика, начинающего морализировать от истощенья сил.

— Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорил, что дамы читают именно те романы, о которых вы говорите; и тут, удивительное дело, самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого, что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да по дороге или, вернее,

потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, от которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать страх, вы начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к мужскому, я и удивляюсь, что нет актрис.

— Да что же вам еще надо,— возразил с запальчивостью славянин,— у нас нет актрис потому, что запятые это несовместно с целомудренною скромностью славянской жены: она любит молчать.

— Давно бы вы сказали,— прибавил европеец,— вы больше объяснили, нежели хотели. Теперь ясно, отчего у нас актрис нет, а танцовщиц очень много. Но шутки в сторону. Я думаю, у нас оттого нет актрис, что их представляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо для того, чтоб его выразить не карикатурно. Китайца в «*Oriente et champleigne*» ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтоб я хорошо сыграл индейского браминна, повергнутого в глубокое отчаяние оттого, что он нечаянно зацепился за парню, или боярина XVII столетия, который в припадке аристократического местничества, из *point d'honneur*, валиется под стол, а его оттуда ташат за ноги. Если б, в самом деле, у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут быть страсти, но не те, которые возможны в драме,— слепая покорность, коварная скрытность, двоедушные так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как чувственность. Необразованная семья слишком неразвита, она семья,— а в драме нужны лица! По счастью, такая семья только и существует в преданиях да в славянских мечтах. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожившему, выстрадавшему опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? это не в ее роде совсем; или: как русский актер воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица, окружающие его Иоанна, Ричарда, Генрихов,— лица совершенно английские? Они для него так же стран-

ны, как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит скорее, потому что в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во всяком уездном городе...

— Но есть же общечеловеческие страсти?

— И да и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом зарезался, называя себя «собакой». А у меня был приятель, сосед по имени, тоже преревнивый; он перехватил раз письмо, писанное к его жене и притом очень недвусмысленное; в припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру, приобшил к ней всю девичью, отдал в солдаты лакея — и помирился с женой. Ревность — одна страсть, но похожа ли она в бешеном мавре и в нравоучительном приятеле? До некоторой степени можно натянуть себя на понимание чуждого положения и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Поверьте, так как поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце; то же с актером: чему он не сочувствует, того он не выразит или выразит учено, холодно; вы не забывайте, он все же себя вводит в лицо, созданное поэтом.

— О чем это вы так горячо проповедуете? — спросил, входя в комнату, один известный художник.

— Вот кстати-то, как нельзя больше; решайте нам вопрос, занимающий нас; мы единогласно выбираем вас непогрешающим судней.

— Много чести. В чем же дело?

— Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всем вашим требованиям на искусство?

— Которая была бы не хуже Марс, Рашель?

— Хоть Аллан и Плесси.

— Видел, — отвечал артист, — видел великую русскую актрису; только я ее сужу без всякого сравнения: все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису и что она была русская.

— В Москве или Петербурге?

— Вот задача-то для нашего славянина, — подхватил один из говоривших, — как вы думаете, ведь театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она была?

— Все-таки, должно быть, в Москве,— решительно возразил славянин.

— Успокойтесь. Я ее видел ни там, ни тут, а в одном маленьком губернском городе.

— Вы это, верно, говорите для оригинальности, хотите нас поразить эффектом.

— Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей — ваше дело верить. Ну, как я теперь вам докажу, что двадцать лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от «Сороки-воровки» и что все это было в маленьком городке?

— Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней: ведь не с неба же она свалилась прямо в «Сороку-воровку» и не улетела же вместе с безнравственной птицей.

— Пожалуй,— да только эти воспоминанья не отрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но извольте, что помню — расскажу. Дайте сигару.

— Вот вам *casadores cubreys*,— сказал европеец, вынимая из портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии табачного листа.

— Вы знаете человеческую слабость — о чем бы человек не вспоминал, он начнет всегда с того, что вспомнит самого себя; так и я, грешный человек, попрошу у вас позволения начать с самого себя.

— От души позволяем, от всей души.

— Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, а об вас-то наверное:

Parlez-nous de vous, notre grand-père,

*Parlez-nous de vous!*¹—

напевал европеец.

Все успокоились, все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготавливаются слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника: конечно, записанный, он много потеряет и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал, боясь перегрузить статейку. Но вот его рассказ.

— Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела на-

¹ Расскажите нам о себе, дедушка, расскажите нам о себе! (фр.)

шего театра порасстроились: я был уж женат, — надобно было думать о будущем. В самое это время распространялись более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, — надежды, а может быть, и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем; я предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в N, и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом, как водится, непривычка обзаводиться и расточительность в высшей степени. За последнее винить его не станем: это у нас в крови; я, небогатый художник, и он, богатый аристократ, и бедный поденщик, пропивающий все, что вырабатывает, в кабаке, — мы руководствуемся одними правилами экономии; разница только в цифрах.

— Мы — не расчетливые немцы, — заметил с удовольствием славянин.

— В этом нельзя не согласиться, — прибавил европеец. — Останавливался ли кто из нас мыслию, что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За него, говорит Пушкин:

Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья?

Совсем напротив: чем меньше денег, тем больше трагитим. Вы, верно, не забыли одного из наших друзей, который, отдавая назад налитой стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино.

— Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?

— Ничего. — Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно места достоин приславший за билетом. «Очень рад, очень рад, что вы вздумали, наконец, посетить наш театр, вы будете нашим дорогим гостем» — и бездну любезностей; мне оставалось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий и сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. — В тот же вечер я отправился в театр;

не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть: что за декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей! Словом, все внешнее было превосходно, даже выработанность актеров, но я остался холоден: было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал, был принят публикой как нельзя лучше; князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку-воровку»; мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме.

Пьеса уже началась, когда я вошел; я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский голос; в нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата... Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой! — думал я. — Откуда взялись такие звуки в этой юной груди; они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты». Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво; надежд мало его спасти, — и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик — крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через двадцать лет, я слышу этот раздирающий крик.

Он приостановился.

— Да, господа, — сказал он, помолчавши, — это была великая русская актриса!

Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть по родинской опере. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже; подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову; как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда; ей скажут: «Поди, голу

бушка, домой; видишь, какое счастье, что ты невинна!» А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорбленным нежное существо — этого рассказать не могу; для этого надобно было видеть игру Анеты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросе; ее голос и вид были громкий протест — протест, раздражающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплотой, кроткой женственностью, разливающей свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен; этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась, обвинение шло вперед, балли¹ хотел его для наказания неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво, — потом осудили невинную Анету, и толпа жандармов повела ее в тюрьму... да, да, вот как теперь вижу, балли говорит: «Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму» — и бедная идет! Но она останавливается еще раз. «Ришар, — говорит она, — я невинна, да неужели и ты не веришь, что невинна!» И тут уже среди стога угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех надежд, — развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого командора, искавшим Дон-Жуана: «Он побежал направо в переулок!»? Я чуть не сделал того же, когда Анету повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с балли. Развратный старик видит невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастливая жертва вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удваивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжение этой сцены на князя; он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. «Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису», — подумал я. Тихо, с опущенной головой, с связанными руками шла Анета, окруженная толпою солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость: это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности,

¹ судья (от фр. *bailli*).

и французские солдаты с тесаками, с штыками, и барабаны; да где же неприятель? А неприятель-то — это дитя в середине их, и они победят его... но она останавливается перед церковью, бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу; не укор Прометея, не надменность Титана в этом взгляде, совсем нет, а так, простой вопрос: «За что же это? И неужели это правда?» Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до конца: Анету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока, — и вот Анету несут назад в торжестве, но Анета лучше автора поняла смысл события; измученная грудь ее не нашла радостного звука; бледная, усталая, Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование, со стороны упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул; спасти его нельзя было; как мне жаль было эту девушку!..

— Фу, боже мой, — продолжал он, обтирая лицо платком, — я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь... Ну, занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять подняли; еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анеты я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама, — мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы... в партере меня остановил один любитель театра; он кричал мне, выходя из своего ряда: «А ведь Анета-то недурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры тривиальны». Я не возражал ему ни слова; его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» — спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку». — «Без княжого позволения нельзя». — «Помилуй, любезный, я сам артист, третьего дня играл». — «Мне не было приказу вас пускать». — «Пожалуйста», — сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный карман. «Какие вы мудреные, — отвечал лакей, — что же, мне из-за вас свою спину подставить?» Я больше не настаивал

и отправился домой, но я был близок к отчаянию, я был несчастен, и это не фраза, не пустое слово... Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает; и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким; какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече и что сигара скверно курится, — все оттого, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике; тоска по Анете привела меня в лихорадочное состояние. Я, больной, бросился на кровать, я бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто; кругом сумасшедшие, — их называют судьи, — и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее, со связанными руками, на торжественное убийство и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна — а она устала, у ней нет сил обрадоваться, она как будто спрашивает: «Да что же было, ведь ничего и не было?» Словом, тысячи вариаций на тему «Сороки-воровки» бродили у меня в голове всю ночь.

На другой день утром, часов в одиннадцать, я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костью или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо — один отпертый вход во все дома, домики и флигеля князя, — явился швейцар с своим глобусом на палке. Начался допрос: к кому, зачем? Я сказал. Швейцар объяснил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. «Ну, меценат ревнив», — подумал я. «Да как же берут эти дозволения?» — «Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству». Швейцар позвонил; вышел офицант и повел меня в контору. Гордо развалиясь перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу; вероятно, толстый госпо-

дни не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз-декоратёр прибежал крупно браниться с управляющим и ломаным русским языком говорил совершенно не русские вещи; он был растрепан, в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то Матюшку; привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «Пошел к себе,— сказал ему грубым голосом управляющий,— да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу; забыли о Сеньке». Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Sacré»¹,— пробормотал декоратёр и вышел вон, надевши середь комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо»,— сказал я лакею, случившемуся близь меня.— «Да вы с ним третьего дня играли».— «Неужели это тот, который играл лорда?»— «Тот самый».— «За что это его так скрутили?»— спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего и, видя, что он шелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен, отвечал мне полупшепотом: «Записочку перехватили к одной актерке; ну, князь этого у нас недолюбливает, т. е. не сам-то... а т. е. насчет других-то недолюбливает; он его и велел на месяц посадить в сибирку».— «Так это его тогда приводили на сцену оттуда?»— «Да-с; им туда роли посылают твердить... а потом связавши приводят».— «Порядок всего дороже»,— отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать.

Дверь в контору растворилась с шумом, все вскочили, вошел князь. Лакей взглянул на меня, я понял: это была просьба о скромности. Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил, как ему приятно, что артистка его труппы заслужила такое одобрение от меня, весьма лестно отзывался о ней, страх как жалел, что она слаба здо-

¹ «Проклятый» (фр.).

ровьем, извинялся, что меня не пустили без билета... «Делать нечего, порядок в нашем деле — половина успеха; ослабь сколько-нибудь вожжи — беда, артисты люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят: легче армией целой управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это, — прибавил он смеясь, — вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются такие замашки». — «Князь, — сказал я, — если французы это говорят, то потому, что они не знают устройства вашей труппы и ее управления». — «О, да вы к тому же и льстец большой!» — заметил князь, грозя пальцем, и, благосклонно улыбувшись, важно отправился к бюро. А я — к Анете.

Пока я достиг флигеля, где жила Анета, меня раза три останавливали то лакей в ливрее, то дворник с биродой: билет победил все препятствия, и я с биющим сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка лет тринадцати, я назвал себя. «Пожалуйста, — сказала она, — мы вас ждем». Она привела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь; дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне. Это была Анета. Она протянула мне обе руки и сказала:

— Чем заслужила я это... благодарю вас... — сказала тем голосом, который вчера так сильно потряс меня, и прежде нежели я успел что-нибудь отвечать, она залилась слезами. — Извините, — шептала она сквозь слезы прерывающимся голосом, — бога ради, извините... это сейчас пройдет... я так обрадовалась... я слабая женщина, простите.

— Успокойтесь, что с вами? Успокойтесь, — говорил я ей, и мои слезы капали на жилет, — если б я знал, что мое посещение...

— Полноте, как вам не грешно, полноте, — и она снова протянула мне руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза, — вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением, это — благодеяние... будьте же снисходительны, подождите минуту... я немного выпью воды, тогда все пройдет, — и она улыбулась мне так хорошо и так печально... — Мне давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человека, и вдруг я, — я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату, здесь могут нас подслушать; не думайте, чтоб я боялась, нет, ей-богу, нет. Но это шпионство уни-

зительно, грязно... и не для их ушей то, что я вам хочу сказать.

Мы вошли в спальню; она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были все придуманные мною похвалы, где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвастать? Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: в каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной негой, а как-то траурно, безнадежно; огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно; она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена: вот статуя страдания — страдания внутреннего, глубокого! «Что за благородная, богатая натура, — думал я, — которая так изяшно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастье!..» Минутами артист побеждал во мне человека... я восхищался ею как художественным произведением.

Между тем она оправилась и говорила:

— Не правда ли, какая смешная встреча? Да еще не конец; я вам хочу рассказывать о себе; мне надобно высказаться; я, может быть, умру, не увидевши в другой раз товарища-художника... Вы, может быть, будете смеяться, — нет, это я глупо сказала, — смеяться вы не будете. Вы слишком человек для этого, скорее вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает; да ведь я вас знаю, я видела вас на сцене: вы — художник.

Я жал ее руку и не мог вымолвить ни слова.

— История моя не длинна, очень коротка, напротив, — я не утомлю вас; послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила Анетой.

— Да говорите, ради бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вам откровенно, я бы мог вам рассказать вашу историю, не слышав ни от вас, ни от кого другого ни слова... я ее знаю.

— Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно

в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном, но мне там было хорошо, может быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания, я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую, — в мысль, что я имею призвание к сценическому искусству; мне собственное сознание говорило, что я — актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек; он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собою в Италию, в Париж, я видела Тальму и Марс, я пробыла полгода в Париже, и — что делать! — я еще была очень молода, если не летами, то опытом, и воротилась на провинциальный театр; мне казалось, что какие-то особенные узы долга связуют меня с воспитателем. Еще бы год!.. мало ли что могло бы быть... Он умер скоропостижно; в мрачной боязни ждали мы шесть недель; они прошли, вскрыли бумаги, но отпускные, написанные нам, затерялись, а может, их и вовсе не было, может, он по небрежности и не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы. Новость эта оглушила нас; пока мы еще плакали да думали, что делать, нас продали с публичного торга, и князь купил всю труппу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный; он с первого разу дал почувствовать всю необъятную разницу между им и его гаерами, назначенными для его удовольствия. Он привык к раболепию, он протягивал свою руку охотникам целовать; дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело, но были еще и отрадные минуты; меня берегли за талант, и я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тешило — самой смешно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, — даже становится невероятным, что было.

Я стала замечать, что князь особенно внимателен ко мне; я поняла эту внимательность и — вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид,

что ничего не понимаю; он счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения; наконец он подослал ко мне управителя, сулил отпускную на том условии, чтоб я на десять лет сделала контракт с его театром, не говоря о других обещаниях и условиях. Я прогнала управителя, и на время преследования прекратились. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала вслух, одна, читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улик в нелепости жизни, которую ведут люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление — гофмаршал, и леди, и старик камердинер, у которого дети пошли добровольно в Америку... и милые дети, Фердинанд и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо, если бы можно, при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею; вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» — и положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь.

— Что угодно приказать вашему сиятельству? — спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования, — я слабая женщина, вы это сейчас видели, но уверяю, я могу быть и сильной женщиной.

(— Я и это видел, — возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе.)

— Приказывать нечего, — отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу, — можно ли приказывать таким глазкам: они должны приказывать.

Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся, подошел ко мне, и, сказавши: «*Ne faites donc pas la grude!*», не дурачься, ну, посмотри же на меня не так; другие за счастье поставили бы себе...», он взял меня за руку; я ее отдернула.

— Князь, — сказала я, — вы меня можете отослать в деревню, на поселение, но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо по крайней мере. Идите к другим, осча-

¹ Не разыгрывай недотрогу (фр.).

стливые их, если вы успели воспитать их в таких понятиях.

— Mais elle est charmante!¹ — возразил князь. — Как к ней идет этот гнев! Да полно ролю играть.

— Князь, — сказала я сухо, — что вам угодно в моей комнате в такое время?

— Ну, пойдем в мою, — отвечал князь, — я не так грубо принимаю гостей, я гораздо добрее тебя. — И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен, с дрожавшими губами, с выражением... с гадким выражением.

— Дайте вашу руку, князь, подите сюда.

Он, ничего не подозревая, подал мне руку, я подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спростила его:

— И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому селадону? — Я расхохоталась.

Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если б он больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича:

— Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить! Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса...

Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом прятала его в рукав на всякий случай.

Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вам рассказывать ряда мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили непрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту, со мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов; не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю: он не так бы мог поступить со мною, он поделикатился, он меня уважил гонениями, в то время как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добились только такими мелочами... хуже всего этого были последние слова князя; они врезались в голову, в сердце; я не знаю, как вам сказать, антонов огонь сделался около них. Я не

¹ А ведь она очаровательна! (фр.)

могла отделаться от них, забыть... С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы, и я радуюсь этому, а с тем вместе, признаюсь вам, страшно, страшно и больно. Да разве не могло иначе быть?.. Видно, что нет... С тех пор, больная, в каком-то горячечном состоянии выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль, зрители не догадались. Талант мой тухнет, я становлюсь одностороннее; есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. Итак, все кончено — и талант и жизнь... прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене! Поживу еще года два с княжевими словами: их бы вырезать на моей могиле.

Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала:

— Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма — не дают. «В таком случае, — сказала я режиссеру, — я куплю на свои деньги что надобно и сошью его себе». Надеваю шляпку и хочу идти в лавки.

— Не велено никуда пускать без спросу; где у вас дозволение?

Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там: подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки.

— Странное время тебе назначают любовники для свиданья — утром! — заметил князь, к неопisanному удовольствию управляющего и лакеев.

Кровь бросилась мне в голову; мое поведение было незапятнанное; оскорбление вывело меня из себя.

— Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!

При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово.

Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей... она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала:

— Я сдержала слово!..

Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как

высока, как сильна, как чудно изящна казалась она мне в эту минуту признания!

Мы помолчали.

— Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других: в нем все лихорадочно, безумно; в нем не любовь, а отчаяние, безвыходность... Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать.

— Князь знает? — спросил я.

— Вероятно, знает; он все знает... да я бы была в отчаянии, если б он не знал. Я не боюсь его; я умру в этой комнате, а уж проснуться не пойду к нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не выдавши человека... теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение... Одно нехорошо, и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову: малютка будет его, он ему скажет: «прежде всего, ты мой». А впрочем, я так слаба, так больна, что бог милостив — приберет и его.

— Да нельзя ли как-нибудь... располагайте мною.

— Нет; вы видите, как нас строго пасут.

«Бедная артистка! — думал я. — Что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной».

— Пора нам расстаться, — сказала она печально.

— Прощайте, благодарю вас; как бы я желал что-нибудь...

Она улыбнулась.

— Вспоминайте иногда, что и во мне...

— Погибла великая русская актриса!..

Я вышел, заливаясь слезами.

— Знаешь ли, какая радость? — сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой. — Здесь сейчас был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходишь еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. — Он с торжествующим лицом подал мне бумагу.

Условия были превосходны.

— А знаешь ли ты новость? — отвечал я ему. — Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку,

которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.

— Да что ты, с ума сошел?

— Не знаю, но я здесь не останусь: климат не здоров для художника. А? Подумай-ка, да и поедем на наш старый театр, с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка!

— Я бы и готов, право, воротиться, — отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных, — да ведь с голоду там умрем.

— А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба, а кусок хлеба, слава богу, с нашим здоровьем вырабатываем. Болезни от сытости не так скоро лечатся.

Товарищ задумался; я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху:

— Ха-ха-ха! Еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло: как удивится Василий Петрович, когда мы через две недели воротимся, вот удивится-то!

Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием. Однако он спросил:

— Ну, а управляющему какой ответ?

— Тут очень затрудняться нечем; не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем; ему скажут: вчера отпраздновали. Вот и князю сюрприз такой же, как Василию Петровичу.

— В самом деле хорошо, оттого хорошо, что условия выгодны; пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться! — И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского».

Вот и все. Для полноты прибавлю, что через два часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злорада наполняла душу; я пробовал и на дороге смотреть, и по сторонам, и сигары курить — ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские дома с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.

— Что же сделалось потом с Анетой? Видели вы ее?

— Нет; она умерла через два месяца после родов.

Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали; он и они представляли прекрасную надгробную группу Анете.

— Все так,— сказал, вставая, славянин,— но зачем она не обвенчалась тайно?..

26 января 1846.



Доктор Крупов



Повесть

О ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЯХ ВООБЩЕ
И ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОНЫХ
В ОСОБЕННОСТИ

Сочинение доктора Крупова¹

Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время, от лечения больных и исполнения обязанностей остающееся, на изложение *сравнительной психиатрии* с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность доселе воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю оное, побуждаемый предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство — отсутствие сознания. Полагаю, что на мне лежит обязанность узnanное мною закрепить, так сказать, вне себя добросовестным рассказом для пользы и соображения сотоварищам по науке; мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушариям мозга моего, химических сочетаниях и разложениях.

Узнав случайно о вашем сборнике, я решился послать в него отрывок из введения, потому именно, что

¹ Этот небольшой отрывок был помещен в «Современнике» 1847 года с значительными пропусками, сделанными ценсурой. Мы его печатаем теперь в настоящем виде. (Примеч. автора.)

оно весьма общедоступно: в оном собственно содержится не теория, а история возникновения оной в голове моей. При сем не излишним считаю предупредить вас, что я всего менее литератор и, проживая ныне лет тридцать в губернском городе, удаленном как от резиденции, так и от столицы, я отвык от красноречивого изложения мыслей и не привык к модному языку. Не должно однако терять из виду, что цель моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу мои сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшим из учеников Иппократа наукообразно развитую и наблюдениями проверенную.

Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашим печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями.

S. Croupoff M. et Ch. Doctor¹

¹ С. Крупов, медицины и хирургии доктор (лат.).

Я родился в одном помещичьем селении на берегу Оки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил пономарь, человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей. В числе восьми детей, которыми бог наградил пономаря, был один ровесник мне; мы с ним вместе росли, всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу, делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали, даже крал для него спрятанные куски пирога, кашу — и передавал через плетень. Приятеля моего все звали «косой Левка», он действительно немного косил глазами. Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательнее перебираю их, тем яснее мне становится, что пономарев сын был ребенок необыкновенный: шести лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил за несколько верст от дома один-одинехонек, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. Лет восьми нас стали учить грамоте; я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до складов. Азбука сделала переворот в его жизни. Отец его употреблял всевозможные средства, чтобы развить умственные способности сына, — и не кормил дня по два, и сек так, что недели две рубцы были видны, и половину волос выдрал ему, и запирали в темный чулан на сутки — все было тщетно, грамота Левке не давалась; но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какою-то злою сосредоточенностью. Это ему не дешево стоило: он исхудал, вид его, выражавший прежде детскую кротость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя; па отца он не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще года два пономарь с сыном, увидел, наконец, что он глупорожденный, и предоставил ему полную волю.

Освобожденный Левка стал пропадать целые дни, приходил домой греться или укрываться от непогоды, садился в угол и молчал, а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с двумя существами — со мной и с своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда Левка лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя

к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку; в один миг Левка отправился за нею, нырнул и через минуту явился на поверхности со щенком; с тех пор они не разлучались.

Лет двенадцати меня отправили в семинарию. Два года я не был дома, на третий я приехал провести вакационное время к отцу. На другой день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, у плетня стоит Левка на том самом месте, где, бывало, я ему давал пироги; он бросился ко мне с такою радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька,— говорил он,— я всю ночь ждал Сеньку, Груша вчера молвила «Сенька приехал»,— и он ласкался ко мне, как зверок, с каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал: «Ты не сердит на меня? Все сердиты на Левку,— не сердись, Сенька, я плакать буду, не сердись, я тебе векшу поймал». Я бросился обнимать Левку; это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее, я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес»,— сказал я ему.— «Пойдем далеко за буераки, хорошо будет, очень хорошо»,— отвечал он. Мы пошли; он вел версты четыре лесом, поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место; внизу текла Ока, кругом верст на двадцать стелился один из превосходных сельских видов Великороссии.

«Здесь хорошо,— говорил Левка,— здесь хорошо». — «Что же хорошо?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на мне какой-то неверный взгляд, лицо его приняло другое, болезненное выражение, он покачал головой и сказал: «Левка не знает, так хорошо!» Мне стало смерть стыдно. Левка сопровождал меня на всех прогулках, его безграничная преданность, его бесперывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна: один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его; крестьянские мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая: «Юродивого обижать не надо, юродивый — божий человек». Он обыкновенно ходил задрами села, когда же ему случалось идти улицей, одни собаки обходились с ним по-человечески; они, издали завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу, прыгали на шею, лизали в лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слез, садился середь дороги и целые часы занимал из благодарности своих при-

ятелей, занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень наудачу, в собак ли попадет или в бедного мальчика; тогда он вставал и убегал в лес.

Перед сельским праздником мой отец, видя, что Левка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам шить. Управитель, услышавши об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был приставлен старик лакей, он был приставлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был фершал и портной; он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ шить Левке кафтан, — как скроить дурацкий кафтан? Сколько он ни думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан, а потому он и решился на отчаянное средство — пришить к нему красный воротник из остатков какой-то старинной ливреи. Левка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правде сказать, радоваться было нечему. Доселе крестьянские мальчики несколько удерживались, но когда на Левку надели парадный мундир дурака — гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда приветливое слово; мудро ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужиной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мне было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно; унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Seriously с ним никто слова не молвил; даже мой отец, от природы вовсе не злой человек, хотя исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения, и тот иначе не мог обращаться с Левкой, как унижая его и возвышая себя.

— А что, Левка, — говаривал он ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?

— Люблю, — отвечал Левка, — Сеньку люблю больше.

— Видишь, губа-то не дура, ну, а еще кого больше любишь?

— Никого, — простодушно отвечал Левка.

— Ах, глупорожденный, глупорожденный, ха-ха-ха, а мать родную меньше любишь разве?

— Меньше, — отвечал Левка.

— А отца твоего?

— Созсем не люблю.

— О господи боже мой, чти отца твоего и мать твою, а ты, дурак, что? Бессмысленные животные и те любят родителей, как же разумному подобно божью не любить их?

— Какие животные?

— Ну, какие — лошади, псы, всякие.

Левка качал головой: «Разве щенята, а большие нет. Они так любят, кто по нраву придется, вот наша кошка Машка любит моего Шарика».

И батюшка мой хохотал от души, прибавляя: «Блаженны нищие духом!»

Я тогда уже оканчивал риторику, и потому нетрудно понять, отчего мне в голову пришло написать «Слово о богопротивном людей обращении с глупорожденными». Желая расположить мое сочинение по всем квинтиллиановским правилам, с соблюдением законов хрии, я, обдумывая его, пошел по дороге; шел, шел и, не замечая того, очутился в лесу; так как я взошел в него без внимания, то и не удивительно, что потерял дорогу; искал, искал и еще более терялся в лесу; вдруг слышу знакомый лай Левкиной собаки; я пошел в ту сторону, откуда он раздавался, и вскоре был встречен Шариком, шагах в пятинадцати от него, под большим деревом, спал Левка. Я тихо подошел к нему и остановился. Как кротко, как спокойно спал он! Он был дурен собой на первый взгляд, белые льняные волосы прямо падали с головы странной формы, бледный лицом, с белыми ресницами и несколько косившимися глазами. Но никто никогда не дал себе труда взглянуть в его лицо; оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда он спал; щеки его немного покраснелись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно.

Тут, стоя перед этим спящим дурачком, я был поражен мыслью, которая преследовала меня всю жизнь. С чего люди, окружающие его, воображают, что они лучше его, отчего считают себя вправе презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда? И какой-то таинственный голос шептал мне: «Оттого, что и все остальные — юродивые, только на свой лад; и сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их».

Странная мысль эта выгнала у меня из головы все хрии и метафоры, я оставил спящего Левку и пошел бродить наудачу по лесу, с какой-то внутренней болью перевертывая и вглядываясь в новую мысль. «В самом

деле, — думалось мне, — чем Левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы, ну, а пятьдесят поколений, которые жили только для того на этом клочке земли, чтобы их дети не умерли с голоду сегодня и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили, — где же польза их существования? Наслаждение жизнью? Да они ей никогда не наслаждались, по крайней мере гораздо меньше Левки. Дети? Дети могут быть и у Левки, это дело нехитрое. Зачем Левка не работает? Что за беда, он ни у кого ничего не просит, кой-как сыт. Работа — не наслаждение, кто может обойтись без работы, тот не работает, все остальные на селе работают без всякой пользы, работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба, а хлеб едят для того, чтобы завтра работать в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик, Федор Григорьевич, один ничего не делает, а пользы получает больше всех, да и то он ее не делает, она как-то сама делается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки, который, чего нет другого, гуляет, а тот все сердится. Чем Левка сыт, я не понимаю, но знаю одно, что как он ни туп, но если наберет земляники или грибов, то его не так-то легко убедить, что он может есть одни неспелые ягоды да сыроежки, а что вкусные ягоды и белые грибы принадлежат... ну, хоть отцу Василию. Левка никогда дома не живет, не исполняет ни гражданских, ни семейных обязанностей сына, брата. Ну, а те, которые дома живут, разве исполняют? У него есть еще семь братьев и сестер, живущих дома в каком-то состоянии постоянной войны между собой и с пономарем. Все так, но пустая жизнь его. Да отчего же она пустая? Он вжился в природу, он понимает ее красоты по-своему — а для других жизнь — пошлый обряд, тупое одно и то же, ни к чему не ведущее».

И я постоянно возвращался к основной мысли, что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой особенный салтык — а другие повально глупы; и так, как картежники не любят неиграющего, а пьяницы нелюбимого, так и они ненавидят бедного Левку. Однако диссертации я не написал; для меня, ученика семинарии, казалось трудным и даже неприличным писать о таких суетных предметах. Нас учили все писать о предметах возвышенных, душу и сердце возносящих горю. Вакационное время прошло, пора мне было возвращаться в монастырь. Когда батюшка мой заложил

пегую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню; он не совался вперед, а, прислонившись к верее, обтирал по временам грязным спущенным рукавом рубашки слезы. Мне было очень грустно его оставить; я подарил ему всяких безделушек, он на все смотрел печально. Когда же я стал садиться в телегу, Левка подошел ко мне и так печально, так грустно сказал: «Сенька, прощай», — а потом подал мне Шарика и сказал: «Возьми, Сенька, Шарика себе». Дороже предмета у Левки не было, и он отдавал его! Я насилу уговорил его оставить Шарика у себя, что пусть он будет мой — но жить у него. Мы поехали. Левка пустился лесом и выбежал на гору, мимо которой шла дорога; я увидел его и стал махать платком. Он стоял неподвижно на горе, опираясь на свою палку.

Мысль о Левке, о причине его странного развития не выходила из головы моей. Она мешала мне вполне предаваться изучению духовных предметов, и я вместо превыспренних созерцаний стремился к изучению предметов земных, несмотря на то, что я знал ничтожность всего телесного и суестьность всего физического. Мало-помалу во мне развилось непреодолимое желание изучать медицину. Когда я впервые заикнулся об этом отцу моему, он взшел в неописанный гнев. «Ах ты, баловень презорный, — кричал он на меня, — вот как схвачу за вихры, так ты у меня и узнаешь, где раки зимуют. Деда твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили из своего звания, а ты что вздумал? Пришлось под старость дожиться до такого сраму, — вот и радость, приносимая сыном, от плоти моей рожденным. Не один, видно, пономарь посещен богом, недаром с дураком валандаешься вечно: свой своему поневоле брат. А все ты, малоумная баба, испортила его», — прибавил батюшка, обращаясь к матушке. Почему именно матушка была виновата, что я хотел учиться медицине, этого я не знаю. «Господи, — думал я, — да что же я сделал такое, мне хочется заниматься медициной, а послушаешь батюшку, право, подумаешь, что я просился на большую дорогу людей резать». Дал я место родительскому гневу, промолчал; через месяц опять завел было речь; куда ты — с первого слова так его лицо и зардело. Делать нечего, жду особого случая, а сам только и занимаюсь латынью. Отец ректор славно знал латинский язык и полюбил меня за мои успехи. Я выбрал минуту добрую да в ноги ему; он так кротко и благосклонно сказал: «Встань, сын мой, встань, что тебе надобно,

говори просто». Я рассказал ему о моем желании и просил замолвить отцу. Отец ректор покачал головой и велел мне утром и вечером сверх обыкновенной читать другую молитву, говорил, что это влияние нечистой силы, отвлекающей от служения престолу к служению мирскому, от лечения духовного — к лечению плотскому. Потом напомнил четвертую заповедь, дал прочесть сочинение Нила Сорского о монашеском житии. Я все исполнил в точности, но не мог переломить влечения к медицине.

На вакации поехал я опять домой. Левка еще более одичал, он добровольно помогал пастуху пасти стадо и почти никогда не ходил домой. Меня, однако, он принял с прежней безграничной, нечеловеческой привязанностью; грустно мне было на него смотреть, особенно потому, что у него язык как-то сделался невнятный, сбивчивый, и взгляд еще более одичал. Через год мне приходилось окончить курс, временно было нечего; батюшка уже готовил мне место. Что было делать, утопающий за соломинку хватается; слышал я от дворовых людей, что сын нашего помещика (они жили это лето в деревне) — добрый барин, ласковый, я и подумал, если бы он через Федора Григорьевича попросил обо мне моего отца, может, тот, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сделать опыта? Надел я свой нанковый сюртук, тщательно вычистил сапоги, повязал голубой шейный платок и пошел в господский дом. На дороге попался Левка.

— Сенька, — кричал он мне, — в лес, Левка гнездо нашел; птички маленькие, едва пушок, матери нет, греть надо, кормить надо.

— Нельзя, брат, иду за делом, вон туда.

— Куда?

— В барский дом.

— У-у! — сказал Левка, поморщившись, — у-у! Весной, весной дядя Захар — его били, Левка смотрел, дядя Захар здоровый, сильный, а дурак стоит, его бьют — а он ничего — дядя Захар дурак, сильный, большой и стоит. Не ходи, прибьют.

— Не бось, дело есть.

Он долго смотрел мне вслед, потом свистнул своей собаке и побежал к лесу, но едва я успел сделать двадцать шагов, Левка нагнал меня. «Левка идет туда — Сеньку бить будут — Левка камнем пустит», — при этом он мне показал булыжник величиною с индючье яйцо. Но меры его были не нужны, люди отказали, говоря, что господа чай кушают; потом я раза три приходил, все недосуг мо-

лодому барину; после третьего раза я не пошел больше. И чем же это молодой барин так занят? Вечно ходит или с ружьем, или так просто, без всякого дела, по полям, особенно где крестьянские девки работают. Неужели он не мог оторваться на пять минут?

Сам бог показал выход, хотя, по правде, очень горестный. В селе Поречье, верст восемь от нас, был храмовый праздник; село Поречье казенное, торговое, богаче нашего, праздник у них справлялся всегда отлично. Тамошний священник (он же и благочинный) пригласил нас всех на праздник. Мы отправились накануне: отец Василий с попадьей, батюшка один, причетник и я, для того чтобы отслужить всенощную соборне. Праздник был великолепный, фабричные пели на крылосе. Во время литургии приехал сам капитан-исправник с супругой и двумя заседателями. Голова за месяц собирал по двадцати пяти копеек серебром с тягла начальству на закуску. Словом сказать, было весело, шумно; один я грустил; грустил я и потому, что намерения мои не удавались, и по непривычке к многолюдью; вина я тогда еще в рот не брал, в хороводах ходить не умел, а душе всего мне досадно было, что все перемигивались, глядя на меня и на дочь пореченского священника. Я приглянулся ее отцу, и он предлагал, как меня похиротонисают, женить на дочери, а он-де место уступит и обзаведение, самому, мол, на отдых пора. А дочь-то его, несмотря на то, что ей было не более восемнадцати или девятнадцати лет, была сильно поражена избытком плоти, так что скорее напоминала образ и подобие оладий, нежели господ бога.

Таким образом поскучав в Поречье до вечера, я вышел на берег реки; откуда ни возьмись — Левка тут: и он, бедняга, приходил на праздник, сам не зная зачем. Его никто не звал и не потчевал. Стоит лодочка, причаленная к берегу, и покачивается; давно я не катался — смерть захотелось мне ехать домой по воде. На берегу несколько мужичков лежали в синих кафтанах, в новых поярковых шляпах с лентами; выпивши, они лихо пели песни во все молодецкое горло (по счастью, в селе Поречье не было слабонервной барыни). «Позвольте, мол, православные, лодочку взять прокатиться до Раздеришина», — сказал я им. «С нашим удовольствием, мы-де вашего батюшку знаем. Митюх, Митюх, отвяжь-ка лодочку-то, извольте взять», — и Митюх, несколько покачиваясь и без нужды ступая в воду по колена, отвязал лодку, я принялся пра-

вить, а Левка грести; поплыли мы по Оке-реке. Между тем смерклося, месяц взошел, с одной стороны было так светло, а с другой черные тени берегов, насупившись, бежали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дым огромного пожара, белела на лунном свете и двигалась по воде, будто нехотя отдираясь от нее.

Левка был доволен, мочил беспрестанно свою голову водой и встряхивал мокрые волосы, падавшие в глаза. «Сенька, хорошо?» — спрашивал он, и когда я отвечал ему: «Очень, очень хорошо», — он был в неопisanном восторге. Левка умел мастерски грести, он отдавался в каком-то опьянении ритму рассекаемых волн и вдруг поднимал оба весла, и лодка тихо, тихо скользила по волнам, и тишина, заступавшая мерные удары, клонила к какому-то полусну, а издали слышались песни праздничных поречан, носимые ветром, то тише, то громче.

Мы приехали поздно ночью. Левка отправился с лодкой назад, а я домой. Только что я лег спать, слышу — подъезжает телега к нашему дому. Матушка — она не ездила на праздник, ей что-то нездоровилось, — матушка послушала да говорит:

— Это не нашей телеги скрип — стучат, треба, мол, верно, какая-нибудь.

— Не вставайте, матушка, я схожу посмотрю, — да и вышел; отворяю калитку, пореченский голова стоит, немножко хмельной.

— Что, Макар Лукич?

— Да что, — говорит, — дело-то неладно, вот что.

— Какое дело? — спросил я, а сам дрожу всем телом, как в лихорадке.

— Вестимо, насчет отца диакона.

Я бросился к телеге: на ней лежал батюшка без движения.

— Что с ним такое?

— А бог его ведает, все был здоров, да вдруг что ни есть прилучилось.

Мы внесли батюшку в дом, лицо у него посинело, я тер его руки, вспрыскивал водой, мне казалось, что он хрипит, я уложил его на постель и побежал за пьяным портным; на этот раз он еще был довольно трезв, схватил ланцет, бинт и побежал со мною. Раза три просек руку, кровь не идет... я стоял ни живой, ни мертвый; портной вынул табакерку, понюхал, потом начал грязным платком обтирать инструмент.

— Что? — спросил я каким-то не своим голосом.

— Не нашего ума дело-с, экскузе¹, — отвечал он, — а извольте молитву читать.

Матушка упала без чувств, у меня сделался озноб, а ноги так и подламывались.

II

После смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопотал себе, наконец, увольнение из семинарии и вступил в Московскую медико-хирургическую академию студентом. Читая печатную программу лекций, я увидел, что адъюнкт ветеринарного искусства, если останется время, будет читать студентам, оканчивающим курс, *общую психиатрию*, т. е. науку о душевных болезнях. Я с нетерпением ждал конца года и, хотя мне еще не приходилось слушать психиатрии, явился на первую лекцию адъюнкта. Но я тогда так мало был образован по медицинской части, что почти ничего не понял, хотя слушал с таким вниманием, что до сих пор помню красноречивое вступление ветеринарного врача. «Психиатрия, — говорил он, — бесспорно, самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное влияние ее самое благотворное. Ни метафизика, ни философия не могут так ясно доказать независимость души от тела, как психиатрия. Она учит, что все душевные болезни — расстройства телесные, она учит, следственно, что без тела, без сей скудельной оболочки, дух был бы вечно здоров» и пр. Я уже в семинарии знал Вольфиеву философию, но совершенно ясно изложения адъюнкта не понимал, хотя и радовался, что самая медицина служит доказательством высоких метафизических соображений.

Когда я порядком изучил приуготовительные части, я стал мало-помалу делать собственные наблюдения над одержимыми душевными болезнями, тщательно записывая все виденное в особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводил я почти всегда в доме умалишенных. Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшего Левки, т. е. что официальные, патентованные сумасшедшие в сущности и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех. Странные поступки бе-

¹ извините (от фр. *excusez*).

зумных, раздражительную их злобу объяснял я себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает непрерывным противуречием, жестким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных; вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастие явно безумных — их гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные, со всею злобою слабых характеров, запирают их в клетки, поливают холодной водой и пр.

Главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его (он надевал, например, на себя один шейный и два петличных ордена для того, чтобы пройти по палатам безумных; он давал чувствовать фельдшерам, что ему приятно, когда они говорят «ваше превосходительство», а чином был статский советник, и разные другие шалости ясно доказывали поражение больших полушарий мозга); больные ненавидели его оттого, что он сам, стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнование. «Я китайский император», — кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться. Я, совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобиюстрастия. «Лазурь неба, прозрачайший брат солнца, — говорил я ему, — плодородие земли, позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, по капать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуются океан, что вода имеет счастье освежать священную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа».

И больною улыбался и позволял с собою делать все, что я хотел.

Обращаю особенное внимание на то, что я для этого больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как добрые люди поступают друг с другом всегда — на улице, в гостиной.

В заведение ездил один тупорожденный старичок, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больными ходить, и всякий раз приказывал такой вздор, что за него делалось стыдно; однако главный доктор с непокрытой головой слушал его до конца благоговейно и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его, а китайского императора дразнил. Где же тут справедливость!

Продолжая мои наблюдения, я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга; эти уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так, в V палате жили восемь человек легко помещаемых в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том, что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая преспешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и шесть остальных готовы были оттащить злодея; он называл его вором, стяжателем; и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съедать все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою, и награжденный точил слезы умиления, а остальные — слезы зависти.

Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно, как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми (самые бешеные собою совершенно довольны), но признаваемым за таких другими. Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия.

Главные признаки расстройства умственных способностей состоят:

а) в неправильном, но и произвольном сознании окружающих предметов;

б) в болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным даже вредом самому больному, и отсюда —

с) тупое и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных.

Этого достаточно для того, чтобы убедиться в исти не моих выводов.

Выписка из журнала

Субъект 29. Мещанка Матрена Бучкина. Сложение сангвиническое, склонность к толщине, лет тридцати, замужем.

Субъект этот находится у меня в услужении в должности кухарки, а потому я изучал его довольно внимательно в главных психических и многих физиологических отправлениях. *Alienatio mentale*¹, не подлежащее никакому сомнению; все умственные отправления поражены, несмотря на хорошие врожденные способности, что доказывается сохранившеюся ловкостью обшчитывать при покупках и утаивать половину провизии. Как женщина Матрена живет более сердцем, нежели умом; но все ее чувства так ниспровергнуты болезненным отклонением деятельности мозга от нормального отправления, что они не только не человеческие, но и не животные.

а) Чувство любви.

Не видать, чтобы у нее была особенная нежность к мужу, но отношения их в высшей степени замечательны и драгоценны как патологический факт. Муж ее — сапожник и живет в другом доме, он приходит к ней обыкновенно утром в воскресенье, Матрена покупает на последние деньги простого вина и печет пирог или блины. Часу в десятом муж ее напивается пьян и тотчас начинает ее продолжительно и больно бить; потом он впадает в летаргический сон до понедельника, а проснувшись, отправляется с страшной головной болью за свою работу, питаясь приятной надеждой через семь дней снова отпраздновать так семейно и кротко воскресный день.

Так как она приходила всякий раз с горькими жалобами ко мне на своего мужа, я советовал ей не покупать ему вина, основываясь на том, что оно имеет на него дурное влияние. Но больная весьма оскорблялась моим советом и возражала, что она не бесчестная какая-нибудь и не нищая, чтобы своему законному мужу не поднести стакана вина — свят день до обеда, что, сверх того, она покупает вино на свои деньги, а не на мои, и что если муж ее и колотит, так все же он богом данный ей муж. Ответ этот, много раз повторяемый, очень замечателен: можно добраться по нем до странных законов мышления мозга, пораженного болезнью; ни одного слова нет в ее ответе, которое бы шло к моему

¹ Умопомешательство (лат.).

замечанию, а при болезни мозга ей казалось, что она вполне опровергала меня.

Но до какой степени и это поверхностно, я доказываю тем, что стоило мне, продолжая мои наблюдения, сказать ей: «А ты зачем с ним споришь, ты бы смолчала, ведь он твой муж и глава?» — тогда больная приходила в состояние, близкое мании, и с сердцем говорила: «Он злодей мне, а не муж, я ему не дура досталась молчать, когда он несет всякий вздор!». И тут она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая, истинно в материнских попечениях своих о подданных, сама приняла на себя труд избрать ей мужа; выбор пал на сапожника не случайно, а потому, что он крепко хмелем зашибал, так барыня думала, что он остепенится, женившись, — конечно, не ее вина, что она ошиблась: *errare humanum est!*¹

б) Отношение к детям.

Любопытно до высшей степени и имеет двойной интерес. Тут я имел случай видеть, как с самого дня рождения прививают безумке. Сначала чисто механически крепким пеленанием, причем сдавливают *ossa parietalia*² черепа, чтобы помешать мозговому развитию, — это с своей стороны уже очень действительно. Потом употребляют органические средства; они состоят преимущественно в чрезмерном развитии прожорливости и в дурном обращении. Когда организм ребенка не изловчился еще превратить всю дрянь, которая ему давалась, от грязной соски до жирных лепешек, дитя иногда страдало; мать лечила сама и в медицинских убеждениях своих далеко расходилась со всеми врачами от Иппократа до Бюргера и от Бюргера до Гуфланда; иногда она откачивала его так, как спасают утопленников (средство совершенно безвредное, если утопленник умер, и способное показать усердие присутствующих), ребенок впадал в морскую болезнь от качки, что его действительно облегчало; или мать начинала на известном основании Ганеманова учения клин клином вышибать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенок не выздоравливал, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконец прибегала к последнему средству — давала ему или настойки или макового молока и радовалась очевидной пользе от лекарства, когда

¹ человеку свойственно ошибаться! (лат.)

² теменные кости (лат.).

ребенок впадал в тяжелое опьянение или в летаргический сон. В дополнение следует заметить, что Матрена, на свой манер, чрезвычайно любила ребенка. Любовь ее к дитяти была совершенно вроде любви к мужу: она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одеяльце и потом бесшадно была ребенка за то, что он ненарочно капал на него молоко. Мне очень жаль, что я скоро расстался с Матреной и не мог доучить этот интересный субъект; к тому же я впоследствии услышал, что ее ребенок не выдержал воспитания и умер.

с) и d) Отношения гражданские и общественные; отношения к церкви и государству...

Но я полагаю, сказанного совершенно достаточно, чтобы убедиться, что жизнь этого субъекта проходила в чаду безумия. А посему снова обращаюсь к прерванной нити моего жизнеописания, которое с тем вместе и есть описание развития моей теории.

По окончании курса меня отправили лекарем в один пехотный полк. Я не нахожу нужным в предварительной части говорить о наблюдениях, сделанных мною на сем специальном поприще безумия, я им посвятил особый отдел в большом сочинении моем¹. Перехожу к более разнообразному поприщу. Через несколько лет по распоряжению высшего начальства, которому, пользуясь сим случаем, свидетельствую искреннейшую благодарность за начальственное внимание, — получил я место по гражданскому ведомству; тут с большим досугом предался я сравнительной психиатрии. Для занятий и наблюдений я избрал на первый случай два заведения — дом умалишенных и канцелярию врачебной управы.

Добросовестно изучая субъекты в обоих заведениях, я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными; разумеется, наружные различия тоже бросались в глаза, но врач должен идти далее, — по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различие между писарями и больными состояло в образе поступления в заведение: первые просились об определении, а вторые были определяемы высшим начальством вследствие публичного испытания в губернском правлении. Но однажды помещенные в канцелярию писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро заражав-

¹ См. Сравнительной психиатрии часть II, глава IV. Марсомания, отдел I. Марсомания мирная и т. д. (Примеч. автора.)

шей все нормально человеческое и еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления; целые дни работали эти труженики с усердием, более нежели с усердием, с завистью; штаты тогда были еще невероятные, едва эти бедняки в будни досыта наедались и в праздники допьяна напивались, а ни один не хотел заняться каким-нибудь ремеслом, считая всякую честную работу не совместною с человеческим достоинством, дозволяющим только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполне убедился, что чиновничество (я, разумеется, далее XIII класса восходить не смею) есть особое специфическое поражение мозга, мне опротивели все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками. Смеяться над больными показывает жесткость сердца.

Влияние эпидемии до того сильно, что мне случилось наблюдать ее действие на организации более крепкие и здоровые, и тут-то я увидел всю силу ее. Какое-то беспокойное чувство, похожее на угрызение совести, овладевало вновь поступавшими здоровыми субъектами; им становилось заметно тягостно быть здоровыми, они так страдали тоскою по безумию, что излечались от умственных способностей разными спиртными напитками, и я заметил, что при надлежащем и постоянном употреблении их они действительно успевали себя поддерживать в искусственном состоянии безумия, которое мало-помалу становилось естественным.

От чиновников я перешел к прочим жителям города, и в скором времени не осталось ни малейшего сомнения, что все они поврежденные. — Предоставляю тем, которые долго трудились над каким-нибудь открытием, оценить то чувство радости, которым исполнилось сердце мое, когда я убедился в этом драгоценном факте.

Городок наш вообще оригинален, это губернское правление, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около присутственных мест; он тем отличается от других городов, что он возник собственно для удовольствия и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвет, корень и плод города. Остальные жители — как купцы, мещане — больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу без купцов и мещан. Все получали смысл только в отношении к начальству (и к откупу, впрочем); мастеровые — например, портные, сапожники — шили для чиновников фраки и сапоги, содержатель трактира имел для них бильярд. Прочие не служащие

в городе занимались исключительно производением тех средств, на которые чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярде.

В нашем городке считалось пять тысяч жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семисот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые дено и ночью работали, не выработывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно выработывали, и очень много.

Утвердив на прочных началах общую статистику помешательства, перейдем снова к частным случаям. В качестве врача я был часто призываем лечить тело там, где следовало лечить душу; невероятно, в каком чадунелепостей, в каком резком безумии находились все мои пациенты обонх полов.

«Пожалуйте сейчас к Анне Федоровне, Анне Федоровне очень дурно». — «Сию минуту, еду». Анна Федоровна — лет тридцати женщина, любившая и любящая многих мужчин, за исключением своего мужа, богатого помещика, точно так же расположенного ко всем женщинам, кроме Анны Федоровны. У них от розовых цепей брачных осталась одна, которая обыкновенно бывает крепче прочих, — ревность, и ею они неутомимо преследовали друг друга десятый год. Приезжаю; Анна Федоровна лежит в постеле с вспухшими глазами, у нее жар, у нее боль в груди; все показывает, что было семейное Бородино, дело горячее и продолжительное. Люди ходят испуганные, мебель в беспорядке, вдребезги разбитая трубка (явным образом не случайно) лежит в углу и переломанный чубук — в другом.

— У вас, Анна Федоровна, нервы расстроены, я вам пропишу немножко лавровишневой воды, на свет не ставьте — она портится, так принимайте... сколько, бишь, вам лет? — капель по двадцать. — Больная становится веселее и кусает губы. — Да знаете ли что, Анна Федоровна, вам бы надо ехать куда-нибудь, ну хоть в деревню; жизнь, которую вы ведете, вас расстроит окончательно.

— Мы едем в мае месяце с Никанор Ивановичем в деревню.

— А! Превосходно — так вы останетесь здесь. Это будет еще лучше.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вам надобен покой безусловный, тишина; иначе

я не отвечаю за то, что наконец из всего этого выйдут серьезные последствия.

— Я несчастнейшая женщина, Семен Иванович, у меня будет чахотка, я должна умереть. И все виноват этот изверг — ах, Семен Иванович, спасите меня.

— Извольте. Только мое лекарство будет не из аптеки, вот рецепт: «Возьми небольшой чистенький дом, в самом дальнем расстоянии от Никанор Ивановича, прибавь мебель, цветы и книги. Жить, как сказано, тихо, спокойно». Этот рецепт вам поможет.

— Легко вам говорить, вы не знаете, что такое брак.

— Не знаю — но догадываюсь: полюбовное насилие жить вместе — когда хочется жить врозь, и совершеннейшая роскошь — когда хочется и можно жить вместе; не так ли?

— О, вы такой вольнодум! Как я покину мужа?

— Анна Федоровна, вы меня простите, одна долгая практика в вашем доме позволяет мне идти до такой откровенности, я осмелюсь сделать вам вопрос.

— Что угодно, Семен Иванович, вы — друг дома, вы...

— Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?

— Ах, нет, я готова это сказать перед всем светом, безумная тетушка моя сварганила этот несчастный брак.

— Ну, а он вас?

— Искры любви нет в нем. Теперь почти в открытой интриге с Полиной, вы знаете, — мне бог с ним совсем, да ведь денег что это ему стоит...

— Очень хорошо-с. Вы друг друга не любите, скучаете, вы оба богаты — что вас держит вместе?

— Да помилуйте, Семен Иванович, за кого же вы меня считаете, моя репутация дороже жизни, что обо мне скажут?

— Это конечно. Но, боже мой, — половина первого! Что это, как время-то? Да-с, так по двадцати капель лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я заеду как-нибудь завтра взглянуть.

Я только в залу, а уж Никанор Иванович, небритый, с испорченным от спирту и гнева лицом, меня ждет.

— Семен Иванович, Семен Иванович, ко мне в кабинет.

— Чрезвычайно рад.

— Вы честный человек, я вас всю жизнь знал за честного человека, вы благородный человек — вы пой-

мете, что такое честь. Вы меня по гроб обяжете, ежели скажете истину.

— Сделайте одолжение. Что вам угодно?

— Да как вы считаете положение жены?

— Оно не опасно; успокойтесь, это пройдет; я прописал капельки.

— Да черт с ней, не об этом дело, по мне хоть сегодня ногами вперед да и со двора. Это змея, а не женщина, лучшие лета жизни отняла у меня. Не об этом речь.

— Я вас не понимаю.

— Что это, ей-богу, с вами? Ну, т. е. болезнь ее подозрительна или нет?

— Вы желаете знать насчет того, нет ли каких надежд на наследничка?

— Наследничка — я ей покажу наследничка! Что это за женщина! Знаете, для меня уж коли женщина в эту сторону, все кончено — нет, не могу! Законная жена, Семен Иванович, она мое имя носит, она мое имя питает.

— Я ничего не понимаю. А впрочем, знаете, Никанор Иванович, жили бы вы в разных домах, для обоих было бы спокойнее.

— Да-с — так ей и позволить, ха-ха-ха, выдумали ловко! Ха-ха-ха, как же — позволю! Нет, ведь я не француз какой-нибудь! Ведь я родился и вырос в благочестивой русской дворянской семье, нет-с, ведь я знаю закон и приличие! О, если бы моя матушка была жива, да она из своих рук ее на стол бы положила. Я знаю ее проделки.

— Прощайте, почтеннейший Никанор Иванович, мне еще к вашей соседке надобно.

— Что у нее? — спросил врасплох взятый супруг и что-то сконфузился.

— Не знаю — присылали горничную, дочь что-то все нездорова, — девка не умела рассказать порядком.

— Ах, боже мой, — да как же это? Я на днях видел Полину Игнатьевну.

— Да-с, бывают быстрые болезни.

— Семен Иванович, я давно хотел — вы меня извините, ведь уж это так заведено: священник живет от алтаря, а чиновник от просителей, я так много доволен вами. Позвольте вам предложить эту золотую табакерку, примите ее в знак искренней дружбы, — только, Семен Иванович, я надеюсь, что, во всяком случае, — молчание ваше...

— Есть вещи, на которые доктор имеет уши — но рта не имеет.

Никанор Иванович обнял меня и своими мокрыми губами и потным лицом произвел довольно неприятное впечатление на щеке.

И кто-нибудь скажет, что это не поврежденные! Позвольте еще пример.

Рядом со мною живет богатый помещик, гордый своим именем, скряга. Он держит дом назаперти, никого не пускает к себе, редко сам выезжает, и что делает в городе, понять нельзя; не служит, процессов не имеет, деревня в пятидесяти верстах, а живет в городе. Были, правда, слухи, что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил; он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город. Главное занятие его — стяжание и накопывание денег; но это делается за кулисами; я вам хочу показать его в торжественных минутах жизни. У него в гостинице и на почте закуплены слуги, чтобы извещать его, когда по городу проезжает какой-нибудь сановник, генерал внутренней стражи, генерал путей сообщения, ревизующий чиновник не ниже V класса.

Сосед мой, получивши весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству; тот, разумеется, с дороги спал, соседа не пускали; он давал на водку целковый, синенькую, упорствовал, дожидался часы целые, — наконец об нем докладывали. Генерал (ибо в эти минуты и чиновник V класса чувствовал себя не только генералом, но генерал-фельдмаршалом) принимал просителя, не скрывая ярости и не воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал, что вся его просьба, от которой зависит его счастье, счастье его детей и жены, состоит в том, чтобы его превосходительство изволило откусать у него завтра или отужинать сегодня; он так трогательно просил, что ни один высокий сановник не мог противустоять и давал ему слово. Тут наставали поэтические минуты его жизни. Он бросался в рыбные ряды, покупал стерлядь ростом с известного тамбурмажора, и ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор: выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Он бегал из комнаты в комнату, бранился с женою, делал отеческие исправления дворецкому, грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара (для ободрения), звал человек двадцать гостей, бегал с ку-

рильницей по комнатам, встречал в сенях генерала, целовал его в щек, идущий под руку. Шампанское лилось у скляги за здравие высокого проезжего. И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И, что еще важнее для психиатрии, — что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал. Каковы диагностические знаки безумия!

Отвсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли.

Успокоившись насчет жителей нашего города, я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения и подписался на аугсбургскую «Всеобщую газету».

Слезы умиления не раз наполняли глаза мои при чтении. Я не говорю уже об аугсбургской газете, на нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страдающих душевными болезнями. Нет! Что бы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона — никакой разницы: все они, равно как и наш отечественный историк Карамзин, — все доказывают одно: что история не что иное, как связанный рассказ родового, хронического безумия и его медленного излечения (этот рассказ дает по наведению полное право надеяться, что через тысячу лет двумя-тремя безумиями будет меньше). Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; взгляните, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, — и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройств умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти так же очевидно, как в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь на жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, — и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за перво-

священника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цыкутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство! Разве трудно было рассудить, что эти средства палачества, тюрем, крови, истязаний ничего не могли сделать против сильных убеждений, а удовлетворяли только животной свирепости гонителей?

Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики.

Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках — тот вовсе не знаком с психиатрией. В средних веках все безумно. Если и выходит что-нибудь путное, то совершенно противоположно желанию. Ни одного здорового понятия не осталось в средневековых головах, все перепуталось. Проповедовали любовь — и жили в ненависти, проповедовали мир — и лили реками кровь. К тому же целые сословия подвергались эпидемической дури — каждое на свой лад; например, одного человека в латах считали сильнее тысячи человек, вооруженных дубьем, а рыцари сошли с ума на том, что они дикие звери, и сами себя содержали по селлюлярному порядку новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах по скалам, лесам и пр.

История доселе остается непонятною от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности.

История — горячка, производимая благодетельной натурой, посредством которой человечество пытается отделяться от излишней животности; но как бы реакция ни была полезна, все же она — болезнь. Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история — аутобиография сумасшедшего.

Интерес летописей и путешествий тот же самый, который мы находим в анатомико-патологическом кабинете. Кстати — о путешествиях. Они не менее истории принесли мне подтверждений, и тем приятнейших, что все описываемые в них безумия делались не за тысячу лет, а совершаются теперь, сейчас, в ту минуту, как я пишу, и будут совершаться в ту минуту, как вы, любезный читатель, займетесь чтением моего отрывка. Доказательства и здесь совершеннейшая роскошь; разверните Магеллана, разверните Дюмон д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется,— будет хорошо: вам или индеец попадется какой-нибудь, который во славу Вишны сидит двадцать лет с поднятой рукой и не утирает носу для приобретения бесконечной радости на том свете, или женщина, которая из учтивости и приличия бросается на костер, на котором жгут труп мужа. Восток — классическая страна безумия, но, впрочем, и в Европе очень удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме, и во многих других. Да, сверх того, в Европе остались несколько видоизмененными и все азиатские глупости, собственно переменились только названия.

Здесь я останавливаюсь. Я хотел передать публике на первый случай небольшой отрывок. Кто желает более знать по сей части, тот пусть купит курс психиатрии, когда он выйдет (о цене и условиях подписки своевременно через ведомости объявлено будет).

Я не могу положить пера, не сказав еще несколько объяснительных и, так сказать, предупредительных замечаний. Знаю я, что неблагонамеренность обвинит меня в желании блеснуть новизною, в гордости и пренебрежении к больным — за то, что я их не считаю здоровыми. Совесть моя чиста. Не гордость и пренебрежение, а любовь привела меня к моей теории, и, когда я совершенно убедился в истинности ее, весь нравственный быт мой переменился; мне стало легко, упования и надежды расцвели, как в молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицания и осуждения заменились теплым чувством сострадания к больным, и вместо желания отвратительной мести за действия, явным образом сделанные под влиянием болезни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. (Я даже в доме умалишенных вывел наказания, не желая вступать в соревнование с безумными, ни побеждать их в целепопости. Что же касается до предполагаемого мною обвинения в желании блеснуть новизною, то я обязан заметить, что в разных формах мысль медицинская, мною проведенная, являлась многим в голову. Аристотель называл Анаксагора единым трезвым в сонме пьяных. Спиноза видел одно бессилие разума в человеке безнравственном, Бентам прямо сказал, что «всякий преступник прежде всего дурной счетчик», человек с здравым смыслом не может дурно считать. Бентам прав; он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические ошибки слишком грубые, то все остальные — тоже дурные счетчики, но ошибаются в мелочах или с общего согласия. Люди окружены целой атмосферой, призрачной и одуряющей, всякий человек более или менее, как Матренина дочь (зри выше), с малых лет, при содействии родителей и семьи, приобщается мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды (немецкие врачи называют эту болезнь *der historische Standpunkt*¹⁾); вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере, в том роде, как челепые формы ихтиозавров, мастодонтов были рассчитаны и сообразны первобытной атмосфере земного шара.

¹ исторической точкой зрения (нем.).

Местами воздух становится чище, болезни душевные укрощаются. Но не легко перерабатывается в душе человеческой родовое безумие; большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм — эту духовную золотуху, одну из зловещейших психических эпидемий, поддерживающую организм в непрерывном и неестественном раздражении, поселяющую отвращение к всему действительному, практически — и истощающую страстями вымышленными.

Вспомните аристократизм, эту застарелую подагру нравственного мира, иудейскую проказу исключительной национальности и пр.

Предвижу еще один вопрос: что же ты, занимавшийся столько лет исторической психиатрией, — открыл ли какие-нибудь средства лечения? Что же плод твоих трудов?

— Во-первых, истина, во-вторых, точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только.

Средств я нашел мало, но средства есть. При дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи природы можно будет выделять и поправлять вещество мозга.

Мы имеем уже драгоценные наблюдения касательно возможности химически улучшать и видоизменять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Так, например, прилично употребленное лечение шампанским располагает человека к дружбе, к доблести, к чувствам радостным и объятиям разверстым. Действуя же бургонским точно таким же образом, т. е. отправляя его через желудок в вены и оттуда в голову, выходит результат совсем иной: человек делается мрачен, несообщителен, более склонен к ревности, нежели к любви, к раскаянию, нежели к наслаждению, к плачу о грехах мира сего, нежели к снисхождению, — для меня тут ключ к психотерапии, и вот я десятий год, не щадя ни издержек, ни здоровья, занимаюсь постоянно изучением действия на умственные способности вышеозначенных медикаментов и разных других. Чего не сделает человек из пламенной любви к науке!

Москва, 10 февраля 1846.



Мимоездом

Отрывок

Ехавши как-то раз из деревни в Москву, я остановился дни на два в одном губернском городе. На другое утро явилась ко мне жена одного крестьянина из нашей вотчины, который торговал тут. Она была в отчаянии: муж ее сидел шестой месяц в остроге, и до нее дошел слух, что его скоро накажут. Я расспросил дело; никакой важности в преступлении его не было.

Я знал когда-то товарища председателя, честнейшего человека в мире и большого оригинала; отправляюсь прямо к нему в уголовную палату; присутствие еще не начиналось; мой старичок, с своим добродушным лицом и синими очками на глазах, сидел один-одинешенек, читая страшной толщины дело. Мы с ним не видались года три, он обрадовался мне, и я ему обрадовался, не потому, чтобы мы друг друга особенно любили, а потому, что человек всегда радуется, когда увидит знакомые черты после долгого отсутствия. Я сказал ему о причинах моего появления. Он велел подать дело; резолюция была подготовлена, я попросил его обратить внимание на некоторые «облегчающие обстоятельства», он согласился в возможности уменьшить наказание.

Поблагодаривши его, я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, дружески взявши его за руку:

— Владимир Яковлевич, ну, а если б я не пришел да не попросил бы вас перечитать дело, мужика-то бы наказали строже, нежели надобно.

— Что делать, батюшка,— отвечал старик, поднимая свои синие очки на лоб,— совесть у меня чиста; я, не читавши всего дела, никогда не подпишу протокола, но,

признаюсь, как огня боюсь отыскивать облегчающие причины.

— Ну, вас нельзя обвинить ни в снисходительности, ни в особом желании облегчить участь подсудимого.

— Совсем напротив. Я двадцатый год служу в этой палате, а всякий раз как придется подписывать строгий приговор, так мурашки по телу пробегут.

— Так отчего же вы не любите облегчающих обстоятельств?

— Ведут далеко, вот что; право, вы, нынешние, всё только вершки хватаете — ну, ведь вы, чай, служили там где-нибудь в министерстве, а дела наверно в руки не брали; но вам оно все темная грамота. Не хотите ли позаняться у нас в архиве, прочтите дела хоть за два последние года, вперед пригодится, и судопроизводство узнаете, и людей тоже. Тут и поймете, что такое отыскивать оправдания и куда это ведет.

— Благодарю за доброе предложение, однако прежде нежели я перееду в ваш архив на несколько месяцев, — скорее не прочтешь двух полков, — объясните теперь еще более непонятное для меня отвращение ваше от облегчающих обстоятельств.хлопот, что ли, много, времени недостает рыться в каждом деле?

— Господи, прости мои прегрешения, да что я, батюшка, в ваших глазах турка или якобинец какой, что из лени (заметьте, якобинцев во всем обвиняли прежде, но исключительно Владимиру Яковлевичу принадлежит честь обвинения их в лени) стану усугублять участь несчастного; говорю вам — далеко поведет.

— Воля ваша, я готов согласиться, что я непростительно туп, но не понимаю вас.

— О... о... ох, эти мне петербургские чиновники, портфельчик эдакий сафьяновый с золотым замочком под мышкой, а плохие дельцы. Да помилуйте, возьмите любое дело да начните отыскивать облегчающие обстоятельства, от одного к другому, от другого к третьему, так к концу-то и выйдет, что виноватого вовсе нет. Что же за порядки?

— Тем лучше.

— Так это, по-вашему, за все по головке гладить. Это где-нибудь в Филадельфии хорошо, что люди друг друга едят, как же в благоустроенном обществе виноватого не наказывать?

— Да какой же он виноватый, когда вы сами найдете ему оправдание?

— Ну, да этак и всякого оправдаешь, коли дать волю

мудрованиям. Я разве затем тут посажен? Я старого покроя человек, мое дело — буквальное исполнение, да и так нехорошо — ну, как же, видишь, что человек украл, вор есть, а тут пойдет... да он от голоду украл, да мать больна, да отец умер, когда ему было три года, он по миру с тех пор ходил, привык бродяжничать... и конца нет; так вора и оставить без наказания? Нет, батюшка, собственное сознание есть, улики есть — прошу не гневаться, XV том Свода законов, да статейку. Вот оттого эти облегчающие обстоятельства для меня нож вострый, мешают ясному пониманию дела.

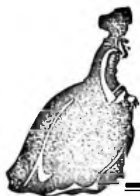
Теперь я, знаете, понаторел и попривык, а бывало сначала, ей-богу, измучишься, такой скверный нрав. Ночью придет дело в голову, вникнешь, порассудишь — не виноват да и только, точно на смех уснуть не дает: кажется, из чего хлопотать — не то что родной или друг, а так — бродяга, мерзавец, беглый... поди ты, а сердце кровью обливается. Оправдай этого, оправдай другого а там третьего... на что же это похоже, я себя на службе не замарал, честное имя хочу до могилы сохранить. Что же начальство скажет — все оправдывает, словно дурак какой-нибудь, да и самому совестно. Я думал, думал, да и перестал искать облегчающих причин. Наша служба мудреная, не то что в гражданской палате — доверенность засвидетельствовал, купчую совершил, духовную утвердил, отпускную скрепил да и спи спокойно. А тут подумаешь — такой-то Еремей вот две недели тому назад тут стоял, говорил, а идет теперь по Владимирской; такая-то Акулина идет тоже, да и, знаете, того... на ногах... ну и сделается жаль. Понимаете теперь?

— Понимаю, понимаю, добрейший и почтеннейший Владимир Яковлевич. Прошайте, этого разговора я не забуду.

— Пожалуйста, батюшка, по Питеру-то не рассказывай такого вздору, ну, что скажет министр или особа какая — «Баба, а не товарищ председателя».

— О, нет, нет, будьте уверены — я вообще с *особами* ни о чем не говорю.

Москва. Май 1846.



Долг прежде всего

Повесть



«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год *священного долга* моего и не принес бы Вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокотожественным праздником».

I

ЗА ВОРОТАМИ

Сыну Михайла Степановича Столыгина было лет четырнадцать... но с этого начать невозможно; для того, чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться.

Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть, раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, — и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков, по-видимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестами избы; но,

боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше как за воротами большого московского дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева, с одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии, в ней вставлена доска, на доске сидит обтерханный старик, по-видимому, нищий.

Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михайла Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русский юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михайла Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому, что ему особенно пужен был мальчик, а так, ему понравился добрый вид Ефимки, он решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мел с обкладистой бородой, мел с проседью, мел совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности — название Ефимки; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того как страсть ко двору и к улице у него делалась сильнее и доходила до того, что он вставал раза два, три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были закрыты и две настоящих собаки спущены с цепи, — в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тоскливее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь — жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться, — тем дело и кончилось. Ефимка потосковал, никому не говорил о том ни слова и стал попивать. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мел улицу пред лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михайлом Степановичем.

Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михайлом

Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами, за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани; Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом помнил то блаженное время, когда уллиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине, — потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В Светлое воскресенье вся дворня приходила христосоваться с баринном. Причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздражительный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом — отчасти в предупреждение других подарков. «А помнишь, — говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосованья, — помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?» Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать: «Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить, оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче, было, помню, вот словно вчера». — «Ну, оно вчера не вчера, — прибавлял Михайло Степанович улыбаясь, — а небось пятый десяток есть. Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а уллицу мети, да пьяных много теперь шляется, так ты, как смеркнется, ворота и запри. Что, не крадут ли булыжник?» — «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз, другой поглядеть», — отвечал дворник, и барин давал знак, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя: «Ведь, подумаешь, какая память у Михайла-то Степановича, помнит что — а ведь это сухая правда, бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то знай кнутиком погоняет — ей-богу — а сколько годов, подумаешь», — и он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печн, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести в полвека), думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например, дворников.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, больше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой, потом понюхал табак, посидел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгонять мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо, казачок в сенях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука, однако и этого довольно было, чтоб отпугивать ее; она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине, она испугалась ее ласк и отошла как можно скорее. Осмотревши еще раз, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и назвать его.

— Ась,— пробормотал Ефим,— чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ним говорит.

— Ефимушка,— продолжала незнакомка,— вызови сюда Кирилловну.

— Настасью Кирилловну, а на что вам ее?— спросил дворник, что-то запинаясь.

— Да ты меня разве не узнаешь?

— Ах ты, мать пресвятая богородица,— отвечал старик и вскочил с лавки,— глаза-то какие стали, матушка... Эх я кого не спознал, простите, матушка, из ума выжил на старости лет, так уж никуда не пожусь.

— Послушай, Ефим, мне некогда, коли можно, вызови Настасью.

— Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя,— оно все можно, я сейчас для тебя-то сбегал бы,— да вот, мать ты моя родная,— и старик чесал пожелтевшие волосы свои,— да как бы, то есть, Тит-то Трофимович не сведал?

Женщина смотрела на него с состраданием и молчала; старик продолжал:

— Боюсь, ох, боюсь, матушка, кости старые, лета

какие, а ведь у нас кучер Неподист — не приведи господь какая тяжелая рука, так в конюшне богу душу и отдашь, христианский долг не исполнишь.

Старик еще не кончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка, худощавая, подслепая, вся в морщинах, с седыми волосами.

— Ах, матушка, не извольте слушать, что вам старый сыч этот напевает, пожалуйста ко мне, я проведу вас, — ведь из окна, матушка, узнала, походку-то вашу узнала, так сердце-то и забилося, — ах, мол, наша барыня идет, шепчу я сама себе, да на половину к Анатолию Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка, предовитый у нас такой, шпиониска мерзкий. «Что, — спросила я, — барин-то спит?» — «Спит еще» — чтоб ему тут, право, не при вас будь сказано.

Ведь это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валерьяновна не успела раскрыть рта и наконец уж перебила ее вопросом:

— Настасьюшка, да здоров ли он?

— Ничего, матушка, ну, только худенький такой. Какое и житье-то! Ведь аспид-то наш на то и взял их, чтоб было над кем зло изливать, человеконенавистник, ржа, которая на что железо и то поедом ест. У Натоль же Михайловича изволите знать какой нрав, весь в маменьку, не то, что наше холопское дело, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости господи, ну, а они все к сердцу принимают.

Марья Валерьяновна утерла наскорю слезу и шепнула:

— Пойдем же, Настасьюшка.

Настасья строго-настрого наказала Ефимке, если Тит подойдет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем взошла, сказать: со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марью Валерьяновну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд мели ли когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в маленькую каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжение пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло Степанович наконец дозволил занять ее с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем, на нем покоился покрытый полотенцем самовар, в соседстве чайника и двух

опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины, страшно вытаращив глаза, вместо кудрей у нее были черви — должно думать, что цель была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно, выходявшего из воды, судя по голому плечу; лицо у него было отвратительно правильно, нос вроде ионийской колонны, опрокинутой волютами вниз, голову он держал крепко на сторону, разумеется, этот жандарм был — Александр Макендонский.

Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась Марья Валерьяновна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала ото всей души, приговаривая: «Да это он, мой голубчик, в именины подарил».

— Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать?

— Не извольте беспокоиться, матушка, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел, так он и пошел в трактир принимать; самый вредный человек и преальчный, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской водкой как следует да потребует бутылку белого, рыбы, икры; как чрево выносит, небось седьмой десяток живет, да ведь что, матушка, какой неочестливый — и сына-то своего приведет, и того угошай. Ну, да он угодит еще под красную шалку, сын-то озорник. Покуда старый-то пес жив, так все шито и крыто, а как бог по душу пошлет, мы все выведем, и как синенькая у кучера пропала...

Длинная речь *in Titum*¹ осталась неоконченною. Молодой человек лет тринадцати, стройный, милый и бледный от внутреннего движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валерьяновны и спрятал голову на ее груди; она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну, привел же бог, привел же бог,— говорила она.— Да дай же посмотреть на тебя...», и она всматривалась долго, с тем упоением, преданным, святым, с каким может смотреть одна любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чисты и открыты, она молилась ему.

— Дружок ты мой, какой ты худенький,— говорила она ему,— здоров ли ты?

¹ против Тита (лат.).

— Я здоров, маменька,— отвечал молодой человек.— Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня.

— И, батюшка,— вмешалась няня,— что это, уж такой умирик, и не умеете держать ответ. Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворянщина надует.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке.

II

ДЯДЮШКА ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ

Кажется, что и хорошо я начал мой рассказ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей в маленькой комнатке Настасьи.

Начнемте там, где оканчиваются воспоминания Ефимки; он возил молодого барина в салазках при жизни «дяденьки». Дяденька Лев Степанович уже потому заслуживает, чтобы начать с него, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый *ручной* представитель Столыгинных. Этими он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату. Степушку никогда бы не решились они отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку, напротив, родители не жалели, и как только он кончил курс своего воспитания, т. е. научился читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург. Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был впоследствии президентом какой-то коллегии и в большой близости с кем-то из временщиков. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время падений и успехов, воцарений и низвержений, после Петра I и до Екатерины II, потерял наконец равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Помощник и ставленник его Лев Степанович премудро и вовремя умел отделать свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на племяннице другого временщика, которую тот не знал куда девать, и наконец, что премудрее всего вместе, Лев Степанович, получив аннинскую кавалерию, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства именина, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтоб в его удалении был один расчет или дипломация; причина столько же сильная звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему все было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле; родители его давно померли, Степушка был отделен, именье, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою, верст сотню по Можайке от города. Как же не ехать ему было в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке?

В Москве он остался недолго, заложил на Яузе, вместе деревянного дома, каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего именья не расстроил, а, напротив, к родовым тысяче душам прикупил тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком с той сноровкой, с которой из лейб-гвардии капитанов стал в год времени деловым советником. Удвоивая доходы, он улучшил состояние крестьян. Он и хлебом поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст в замену падшей, ну да после держи ухо востро. Вдруг, никто не думает, не гадает, барин с старостой и десятскими на двор. «Эй ты, Акулька, покажи-ка горшки для молока». — Не вымыты, тут бабе и расправа. — «А ты, Нефед, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то». Словом, поучал их, как неразумных детей, и мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «Точно, бывало спуску не дает, ну, а только умница был, все знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет; то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры, у него были мальчишки, единственно употребляемые днем на то, чтоб чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома. У него были девочки, которых все назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты; все, начиная с самых личностей, было домашнее: рожь и гречи-

ха, горох и капуста. И не один корм... Умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвета маренго-клер¹ и широкие панталоны из небеленого холста, которым были обложены рабочие бабы. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, — талант, совершенно утраченный в наше время, он вселял с юных лет такой страх, что даже его фаворит и долею лазутчик, камердинер Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барыни без особого чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавёра² очень не даром доставались Титу, особенно потому, что он часто попадался на глаза. Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговор. В эти «характерные» минуты сильно доставалось Титу, — побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, — говорит, — покажи ей свою рожу и скажи — вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки Варвары Мученицы, но детей все не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович особенно был от того несчастен, однако он сердился за это как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «У меня жену бог даровал глупее таракана; что такое таракан — нечистота, а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винит, — да и в самом деле,

¹ светло-серого (от фр. *marengo clair*).

² благоволения (от фр. *faveur*).

без волнующей несправедливости мудро было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, — это отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я, — говорил он, — денно и нощно хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу; а подумаю на что, сам не знаю: точно управляющий братнина сына, а тот возьмет все, да и спасибо не скажет, я его знаю, по матери пошел, баба продувная была, и в нем хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долг, на то я и поставлен богом в помещики, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; все же лучше если бы был настоящий наследник!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздичками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, подтягивал клиросу и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши шаливших мальчишек и через старосту показывал, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Он был любитель и знаток богослужения, он на дом к себе призывал молодого диакона и месяца три всякий день учил кадить и делать возглас, поднимая орарь с полуоборотом на амвоне; диакон действительно так мастерски делал возглас и полоборота, что можайские купцы приезжали любоваться и находили, что перодиакон Саввина монастыря далеко будет пониже липовского.

Монастырь этот был верст тридцать от усадьбы Льва Степановича. Он постоянно посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения — возов десять прошлогоднего и несколько сгоревшего сена, овес, не годный на семена, сырые и почерневшие дрова. Марфа Петровна с своей стороны делала приношения, тоже более

ценные по усердию, нежели по чему иному; она посылала в монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину (иноки, не зная, что с ней делать, настаивали ее пенным вином), несколько банок грибов в уксусе, искусно уложенных, так что с которой стороны ни посмотришь, все видно одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик или масленок. Иноки иногда посещали благочестивый дом богоприбжежного помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, которая любила их и как-то боялась.

Других гостей почти никогда не являлось у Столыгинных. Кроме их двоих, еще проживали у них дядя Марфы Петровны с своей женой. Ехавши из Петербурга, Лев Степанович пригласил к себе дядю своей жены, не главного, а так — дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная, куда его деть, намекнул Льву Степановичу, который хотя уже тогда и был в отставке, но все же не смел поперечить особе. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римский нос и на огромные орлиные глаза, отличалась великим смирением духа. Ее Столыгин употреблял на прием талек, холстины, орехов, на чищение ягод, сушение трав, варение грибов. Марфа Петровна, призревая родственников, была уверена, что этим загладит все свои грехи, а может, сделает доступною и свою молитву о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патриархальное. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, — с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель или вещь не очень нужную, но к которой он привык.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В час девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сертук, повязывала белый галстук и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу, торжественного выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если он опоздает,

тут доставалось не только ему, но и Таньке, служившей при нем корнаком, и молдаванке. Старик увязывали на шею салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидаясь, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую он ему подливал воды. За столом старик не смел ничего просить, да не смел ни от чего и отказываться; даже больше двух стаканов квасу (хозяева пили кислые щи, но для дяди с теткой приносили людского квасу, кислого, как квасцы) ему не позволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же с зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор и почти грех думать, что бог так создал дыню, что одну закраинку можно употреблять в пищу.

В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать,— кричал он,— добро пожаловать, отец Ксенофонтий! — Эй, Васильч (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить». — «Не вижу, государь мой, не вижу», — отвечал слепой. — «Да вот с правой-то стороны», — и он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое забавное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик с тою остротой слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия покровителя, что обманут. Но верх наслаждения для Столыгина состоял в том, чтобы накласть на тарелку старик у чего-нибудь скромного в постный день и, когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что это ты на старости лет, в Молдавии, что ли, в турецкую перешел, в такой день утираешь скромное?» У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным — это очень забавляло Столыгина.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премьер-майор по чину. «Ваше высокородие,— отвечал Столыгин, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции,— да ты бы ехал в полк,— ну, я тебе пришелся не по нраву, прости великодушно, а уж переучиваться мне поздно, мне не под лета; да и что

же, я тебя не на веревочке держу, ступай себе в Молдавию в женينو именье». — «Лев Степанович, — робко прибавляла Марфа Петровна, — ведь как бы то ни было, он мне дядя и вам сродственник». — «Вот? В самом деле? — возражал еще более разъяренный Столыгин. — Скажите, пожалуйста, новости какие! А знаешь ли ты, что если бы он не был твой дядя, так у меня не только б не сидел за столом, да и под столом?» Испуганная майорша дергала мужа за рукав, начинала плакать, прося простить неразумного слепца, не умеющего ценить благодеяния. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие, он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой и пьяной толпой.

После обеда барин ложился отдохнуть. Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых шей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал по именному назначению той или другой горничной палить ромашки и подать барину, что «де на животе не хорошо», и горничная с каким-то страхом бежала к Агафье Ивановне. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не навешала мужа во время его гастрических припадков; она ограничивала свое участие разведыванием, кто именно носил ромашку, для того чтобы при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение.

Лев Степанович, запивши кислыми шамп или ромашкой сон, отправлялся побродить по полям и работам и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок, — единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал, Лев Степанович, разумеется, этого не мог вынести и тотчас кричал горничной: «Танька, не зевай!», и Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он и по ночам плохо спит, от поясницы. После чая Столыгин вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дураки с женою и молдаванкой. Если он бывал в особенно хорошем расположении, то среди игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих; как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним, но притом дружба дружкой, служба службой. «Бывало, задаст такую баню и бумаги все по полу разбрасает и раскричится. Ну, иной раз и чувствуешь, что прав, да и не отвечаешь, надо дать место гневу. Он

же у нас терпеть не мог, как отвечают; тогда было жутко, а теперь с благодарностью вспоминаю».

Всего же более любил он останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорию Григорьевичу... «Утром встал я часов в пять. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть, — ну, только и тогда был преленный и преглупый. Вхожу я в переднюю, наслу его растолкал, чтобы скорей за парикмахером сбежал. Парикмахер пришел, причесал меня... Тогда носили вот так, три пукли одна над другой; я надел мундир и отправляюсь к князю. Вхожу в переднюю, говорю официанту, что вот по такому делу от графа к его светлости прислан. Официант посмотрел на меня, видит, с двумя лакеями приехал — и говорит: «Раненько изволили пожаловать, князь не встает раньше десяти, а в десять я, мол, камердинеру доложу». — «А можно, — говорю я ему, — где-нибудь обождать?» — «Как не можно, комнат у нас довольно. Вот пожалуйста в залу». — Я взошел, люди полы метут да пыль стирают, я сел в уголок и сижу. Часика так через два вышел секретарь ли, камердинер ли и прямо ко мне: «Вы от графа?» — «Я, батюшка, я». — «Пожалуйте за мною к его светлости в гардеробную». Вхожу я, князь изволил в пудермантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, таким громким ласковым голосом мне и молвили: «Благовари графа, я сегодня доложу об этом деле. Мне граф говорил о тебе, что ты деловой и усердный чиновник, старайся вперед заслуживать такой отзыв». — «Светлейший, мол, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу». — «Хорошо, хорошо, — сказал князь и изволил со стола взять табакерку, золотую. — Государыня тебе жалует в поощрение». Как он это изволил сказать, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцаловать, но он отдернул. Я его в плечо, князь взглянул на меня да пальчиком парикмахеру показал — да оба так и вспрыснули от смеха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дело-то было просто: цалую светлейшего в плечо, я весь вымарался в пудре. Князь потом за ее величества столом рассказывал об этом, ей-богу». И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

Но большей частью, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лев Степанович, угрюмый и «гнев-

ный», как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил молдаванку, с бешенством критиковал каждый ход и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович отправлялся в спальню, замечая: «Ну, слава богу, вот день-то и прошел», — как будто он ждал чего-то или как будто ему хотелось поскорее скоротать свой век.

Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами в киоте красного дерева. Две лампадки горели беспрестанно перед образами. Лев Степанович всякий вечер молился иконам, кладя земные поклоны или по крайней мере касаясь перстом до земли. Потом он отпускал Тита. Тит, пользуясь единственным свободным временем, отправлялся на село к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, всего же чаще к старосте, который на мирской счет покупал для дворовых свуху. Тит брал с собою кого-нибудь из лакеев, особенно же Митьку-цирюльника, отлично игравшего на гитаре.

Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устраивая и улучшая свое имение, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с сестрами и деревнями составлял какой-то особенный мир, разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенной генеральным межеванием. Даже «Московские ведомости» не получались в Липовке. Войны раздирали Европу, миры заключались, троны падали; в Липовке все шло нынче, как вчера, вечером игра в дурачки, утром сельские работы, та же жирная буженина подавалась за обедом, Тит все так же стоял у дверей с квасом, и никто не только не говорил, но и не знал и не желал знать всемирных событий, наполнявших собою весь свет.

Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и этому застою, и притом очень крутой. Однажды после обеда Лев Степанович, употребивши довольно рассольника с потрохами, жирной индейки и разных сдобных и слоеных пирожков и смочив все это кислыми шами, перешел в гостиную закусить обед арбузом и выпить княженичной наливки. Освежившись арбузом и разгорячившись наливкой, он в самом лучшем расположении духа пошел в кабинет уснуть. Но как нарочно в зале застал Настьку, говорившую в дверях передней с известным нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степа-

нович был чрезвычайно ревнив во всем, что касалось до горничных. Ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал страшным голосом и схватил в углу стоящую палку. Митька, горячая голова, как все артисты, ударился бежать. Столыгин за ним, со всем грузом индейки, потрохов, под квасом и арбузом; Митька от него, он за ним, Митька на чердак по узенькой лестнице, Столыгин сунулся было, но увидел, что судьба его не создала матросом. На крик барина сбежалась вся дворня. Багровый от гнева, сбиваясь в словах на буквах, барин велел поймать Митьку где бы он ни был и посадить в колодку, пока он решит его судьбу; отдавши приказ, он, усталый и запыхавшись, удалился в кабинет.

Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, на конюшне и наконец во всем селе. Агафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичьей перед иконой всех скорбящих заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся по всех чрезвычайных случаях на поврежденную, бормотала сквозь зубы «о царе Давиде и всей кротости его» и беспрестанно повторяла: «Свят, свят, свят», как перед громовым ударом.

Титу не пришлось долго Митьку искать; он сидел босиком в питейном доме, уже выпивши на сапоги синухи, и громко кричал:

— Не хочу служить аспиду такому, хочу царю служить, в солдаты пойду, у меня нет ни отца, ни матери, за народ послужу, а уж я ему не слуга, и назад не пойду, а силой возьмет, так грех над собой совершу, ей-богу, совершу.

— Митрий, Митрий, ты не горлань,— говорил ему Тит,— и такого вздора не ври; барина рука длинная, она тебя везде достанет, а ты лучше ступай со мной, а не то ведь и руки свяжем, на то барский приказ.

Красноречие Тита победило наконец Митьку, и он, протестуя и говоря, что завтра же грех совершит, пошел, прибавляя: «Нет, Тит Трофимович, вязать меня не нужно, я не вор и не собака, чтобы меня на веревке водить — мы дойдем и без веревки». На дороге Митька во весь голос пел: «Ай, барыня, барыня!» с теми богатыми вариантами, которыми изобилуют все переднии.

Неумытый Тит, посадив своего друга в колодку, побежал к дверям с кислыми шами. В пять часов Марфа Петровна присылала узнать, проснулся ли барин; Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В

шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется, еще не изволили просыпаться», — доложил Тит. Марфа Петровна тихо отворила дверь и так вскрикнула вдруг, что Тит опрокинул кувшин с кислыми шами. Закричать было немудрено. Старый барин лежал, растянувшись, возле кровати, один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно стеклянным выражением; рот был перекошен и несколько капель кровавой пены текло по губам. С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня; грозный Тит не препятствовал, а стоял как вкопанный. Марфу Петровну вынесли в обмороке и положили ей под ложечку образ, в котором были мощи св. Антипия; молдаванка вбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломала ногу.

Тит, как более сильный характер, первый пришел в себя и снова тем повелительным голосом, которым отдавал барские приказы лет двадцать, сказал:

— Ну, что тут зевать! Сенька, втащи сюда корыто да воды. А ты, Ларивон, сбегай-ка за батюшкой. Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, медного пятака — на правый глаз-то ему надобно положить...

И все пошло как по маслу.

Освобожденный арестант Митька без малейшего злопамятства приготавлился, как записной грамотей, ночью читать взапуски псалтырь с земским и пономарем, просил только молдаванку дать ему табаку позабирательнее, на случай если сон клонить будет.

Дворня была испугана. Она доставалась человеку неизвестному; к праву старого барина применились, теперь приходилось вновь начинать службу, и как и что будет, и кто останется в Липовке, кто поедет в Питер, на каком положении — все это волновало умы и заставляло почти жалеть покойника.

Через два дня, после необыкновенных напряжений, написал Тит будущему обладателю следующее письмо:

«Все Милостивейший Государь, Государь батюшка и единственный заступник наш Михайло Степанович.

По приказанию Ее Превосходительства тетушки вашей, а нашей госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам, батюшка Михайла Степанович, сии строки, так как по большему огорчению они сами писать сил не чувствуют богу же угодно было посетить их великим несчастьем утрату их и нашего отца и благодетеля

о упокоении души коего должны до скончания дней наших молить господа и Дядюшки вашего ныне в бозе преставившегося Его превосходительства Льва Степановича, изволившего скончаться в двадцать третье месяца число, в 6 часов по полудни. Оного же телу вынос завтрашнего числа

Так как мы по известности вашей, то батюшка и все милостивейший Государь, можете призреть нас яко сирот отца лишенных и неоставить милосердием вашим недостойных подданных, а мы чувствуем как обязаны усердием Вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшки так и вам все едино, как вся дворян так и выборный Трофим Кузмин с миром.

Пребывая Нижайший раб Ваш Тит — если изволите помнить что при покойном Дядюшке камардинером находился.

Село Липовка. 1794 года июня 25 дня».

III

НЕЖНЫЙ БРАТЕЦ ПОКОЙНОГО ДЯДЮШКИ

Михайло Степанович был сын брата Льва Степановича — Степана Степановича. В то время, как Лев Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и цаловал светлейшее плечо, карьера его меньшого брата разыгрывалась на ином поприще, не столько громком, но более сердечном.

Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворян, он постоянно оставался в деревне под крылом материнским. В двенадцать лет старуха-няня мыла его еще всякую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтобы он хорошенько позволил промылить голову и не кричал бы на весь дом, когда мыльная вода попадала в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начинали ясно оказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не только не препятствовала развитию его ранних способностей, но даже не без удовольствия смотрела на удаль сынка и исподволь помогала ему, что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей не представляло непреодолимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; любовь, как выражаются поэты, была единственным призванием его, он до кончины своей был

верен избранному пути букоoliko-эротического помещика.

Степушка недолго пользовался покровительством родителей. Ему было семнадцать лет, когда он лишился матери, года через три спустя умер его отец. Смерть родителей и честное предание их тела земле не доставили Степану Степановичу столько беспокойств и сердечных мук, как приезд брата; он вообще не отличался храбростью, брата же он особенно боялся. Не зная, что делать, он совещался со своими подданными и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала и девицья. Он взял некоторые меры, всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставивши налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице, сильную шадровитость, косые глаза. Лев Степанович все понял, обделил брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и, благословляемый им, уехал назад.

Проводивши брата, Степан Степанович принялся с своей стороны за устройство имения. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились хоть куда, учителя играли один на торбани, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли после обедни крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов и песней. Степан Степанович, откушавши, выходил в сени в халате нараспашку, окруженный горничными, тут он садился, горничные готовили чай и обмахивали мух павлиньими перьями. Благодарный помещик угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошовыми серьгами, иногда сам участвовал в хороводах, но чаще засыпал под конец; чай имел на него очень сильное влияние, хотя он и подливал французской водки, чтобы ослабить его действие.

Материальной частью хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли вотчиной; до барина доступ был нелегко, кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться, барин все рассказывал горничным. Случилось раз, что крестьянка, с большими черными глазами, пожаловалась барину на старосту. Степан Степанович, не давая себе труда разобирать дела и вечно увлекаемый своим нежным сердцем, велел старосту на конюшне посечь. Староста обмылся пенником и кротко вынес наказание, не думая оправдываться, несмотря на то, что он в деле был прав; тем не

менее желание мести сильно запало в его душу. Спусти неделю-другую староста через повара доложил барину, что де, несмотря на барское приказание, такая-то баба сильно балуется и находится в очень близких отношениях с своим мужем, возвратившимся с работы в городе. Поступок этот, так грубо неблагодарный, глубоко огорчил Степана Степановича, и он велел бабу назначить без очереди в работу. Похудев, состарясь через год, она на себе носила доказательства, что приказ был исполнен в точности. После этого примера никто, кроме горничных, не смел делать оппозицию старосте и повару.

Веселая сельская жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околотке; явились соседи, одни с целью его женить на дочери, другие обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому, что им казалось пить чужой пунш приятнее своего. Он поддавался всему, весьма вероятно, что его бы женили и обыграли, но нежное сердце его спасло. Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную — так сердце у него и опустилось... Он приехал домой растроенный, влюбленный, да как! Есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он позволял себе кой-какие шалости, то больше, чтобы не отставать от привычек, нежели из удовольствия.

Встал Степан Степанович к соседу, чтобы тот продал Акульку; сосед поломался, потом согласился с условием, чтобы Столыгин купил отца и мать. «Я, — говорит, — христианин и не хочу разлучать того, что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему три тысячи рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить пять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами и матерями.

Сельская Брунегильда поняла именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела своего господина в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты. Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала, а держала их в страхе и повиновении — и всего этого было ей мало, ей хотелось открыто и явно быть помещицей, она стала питать династические интересы. И года через два Степан Степанович поехал в четвероместной колымаге покойного родителя своего в церковь и обвенчался с Акулиной Андреевной. Брак их, не так как брак Льва Степановича,

не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда новобрачные воротились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом кормилица в золотом повойнике поднесла десятимесячного сына; брак их был благословен заблаговременно. Грудной ребенок этот — Михайло Степанович, которого Ефимка возил на салазках, а он его кнутиком подгонял.

После свадьбы барин сделался призрак. Акулина Андреевна приняла бразды правления сильной рукой. Она с глубоким политическим тактом взяла все меры, чтобы упрочить свое самовластие, — но как всегда бывает, взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота, и на ней-то все оборвалось. Мало знакомая с врачебной наукой, она не только не ограничивала, но развивала в Степане Степановиче его страсть к наливкам и сладким водкам; она не знала, что человеческое тело только до известной степени противудействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, отекший от водяной, полунемой от паралича, отдал богу душу — около того времени когда Лев Степанович отделял свой дом на Яузе.

Получив весть о смерти брата, Лев Степанович в первые минуты горести попробовал опровергнуть брак покойника, потом законность его сына, но вскоре увидел, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни мужа и что седьмую часть ей выделить во всяком случае придется и сыну именею предоставить, да еще заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, звал ее в Москву для окончания дел и для того, чтобы показать ему наследника его брата, а может, и его собственного, пчясь о котором он считал священной обязанностью, ибо богом и законом назначен ему в опекуны. Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. Лев Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом и взял на себя все хлопоты по опеке и по управлению именею.

Акулину Андреевну провести было нелегко; но ее устранил совершенно неожиданный случай. Своей

седьмой частью она прельстила одного поручика из ординарцев при московском главнокомандующем и сама прельстилась его ростом, его дебелий и свирепой красотой, совершенно противоположной аркадскому покойнику. Акулина Андреевна не могла удержаться, чтобы не выйти за него замуж. Роли переменялись. Поручик с четвертого дня начал ее бить, и уж Акулина Андреевна, на этот раз, стала пить подслащенные наливки. Лев Степанович сильно покровительствовал поручику и выхлопотал ему прибыльное место по комиссариатской части где-то на Черном море. Лев Степанович требовал, чтобы племянник его остался в Москве для получения приличного его звание воспитания. Мать не хотела оставить его; но поручик прикрикнул и уговорил ее, основываясь на том, что место получил по ходатайству Столыгина и что его дружбу надо беречь на черный день.

IV

ТРОЮРОДНЫЕ БРАТЯ

Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно; простое, деревенское воспитание того времени, оно ограничивалось с физической стороны — развитием непобедимого пищеварения, с нравственной — укоренением верного взгляда на отношение столбового помещика к дворовым и крестьянам. Воспитание это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, и по тому самому имело несомненный успех. Десятилетний мальчик был окружен толпой оборванных, грязных и босых мальчишек, которых он теснил, бил и на которых жаловался матери, бравшей всегда его сторону.

Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что не совсем покрывали кожу на черепе, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи не пьянея. Он иногда обижал Мишу, не позволяя ему себя тотчас поймать в горелках, обгонял его в запустях, сам ел найденные ягоды. Мишу это оскорбляло, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной к такому нарушению приличий; она обыкновенно подзывала к себе поповича и поучала его следующим образом: «Ты, толокенный лоб, ты помни, дурак, и чувствуй, с кем я тебе позволяю играть, ты ведь воображаешь, что Михайло-то Степанович дьячков сын».

Матушка попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносящем для лампады Тихвинской божией матери, — и довольно удачно представляет, будто беспощадно дерет его за волосы, приговаривая: «Ах ты, грубиян эдакий поганый, вот истинно дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, извольте сами знать, какой ум в наших детях, в сраме и запустении живут; а ты благодари, дурак, барыню, что изволит обучать», — и она наклоняла его масленную голову и сама кланялась. Миша после подтрунивал над приятелем, но попович, с досадой улыбаясь, говорил: «Ведь все врет, мать-то, так для барыни в угоду горячку порет, пример делает».

Лев Степанович недолго продержал у себя племянника; цель его была достигнута, он его разлучил с матерью и мог распоряжаться, как хотел, именем. Он думал отдать Мишу в пансион; но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе воспитывать с своим сыном, который, говорила она, был один и скучал. Льву Степановичу не очень хотелось, но он побанвался княгине и согласился. Побанвался он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге; что она могла ему сделать болтовней и связями, не знаю, да и он не знал, а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом и занималась деланием визитов. При сыне находился француз-гувернер. Рекомендованный самим Вольтером Шувалову, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковой нашей княгине, он безусловно управлял воспитанием. Гувернер был не глупый человек, как все французы, и не умный человек — как все французы; он имел все забавные недостатки своей страны, лгал, острял, был дерзок и не зол, высокомерен и добрый малый. Он смотрел с улыбкой превосходства на все русское, отроду не слышал, что есть немецкая литература и английские поэты, зато знал на память Корнеля и Расина, все литературные анекдоты от Буало до энциклопедистов, он знал даже древние языки и любил в речи поразить цитатой из «Георгии» или из «Фарсала».

Само собою разумеется, что наш гувернер был поклонник Вовенарга и Гелвеция, упивался Жан-Жаком, мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамилией «Дрейяк» смягчающее «де», на которое он не имел

права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения. «Без тяготения, — говорил он, морща лоб от усилий, — был бы хаос, и атомы разлетелись бы, тяготение поддерживает великий порядок, в котором раскрывается великий художник». При развитии этих глубоких и ясных истин он никогда не забывал прибавить, что поэтому Платон и называл бога геометром, а Ньютон снимал шляпу, когда произносил имя божье. Сверх своей религии тяготения, которою он был совершенно доволен, он упорно не хотел суда на том свете и извительно смеялся над людьми, верившими в ад, — хотя против бессмертия души он не только ничего не имел, но говорил, что оно крайне нужно для жизни.

Учение с де-Дрейяком шло весело и легко. Он мог всегда говорить без различия времени, предмета, возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались сначала слушать по-французски, а потом говорить. Воспитание почти в этом и состояло.

Миша сначала погрузил в доме княгини и, утирая слезы, помнил о Липовке. Он очень хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит, он был «братец», он был «*cher cousin*»¹, в то время как князь был самым собою. Различные это Миша равно видел и в обращении княгини, и в обращении гостей, и еще более в обращении дядьки. Старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что он может послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчик, глубоко оскорбленный всем этим, дулся, сидел в углу, смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие вовсе не замечали.

Видя безуспешность своих протестаций, Миша вдруг сделался шелковый, ласков, весел, приветлив. Через несколько месяцев он был любимец Дрейяка. Сама княгиня не могла надвинуться, какой он неглупый мальчик. «точно, можно сказать, *c' est un miracle se qu'en a fait*² мой Дрейяк, он совсем *sauvage*³ был, ну а теперь эдакий *дурнушка*, а право, премилый мальчик». В слове *дурнушка* выражалось сознание матери, что ее сын не так умен,

¹ «любезный кузен» (фр.).

² чудо что из него сделал (фр.).

³ дикарь (фр.).

не так даровит, и она торопилась утешиться его красотой. Молодой князь не любил учиться, он был рассеян и зевал за уроками; добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натуре, он был вял, и ум его дремал еще беспробудно, да и не знаю, просыпался ли впоследствии когда-нибудь. Лень и невниманье князя поощрили Мишу, и Миша бросился на занятия со всем усердием, которое дает зависть и затаенное желание превосходства. Дрейяк чуть не плакал, видя, как ловко Миша цитирует места из «Кандида», из «Девы Орлеанской», из «Жака Фаталиста»...

Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских. При всей своей лени князь знал довольно хорошо греческую мифологию и французскую историю, больше в то время не требовалось; тогда у нас еще не выдумывали своей литературы, о русских журналах и не слылось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто. Знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила писать пьесу, знали еще благодаря Вольтеру некоторые неверные подробности о царствовании Петра I. У княгини было-таки небольшое собрание русских книг: сочинения Сумарокова, «Россиада» Хераскова, «Камень веры» Стефана Яворского и томов сорок записок Вольного Экономического Общества, но молодые люди никогда не развортывали этих книг.

Княгиня свезла детей в гвардию и сама поселилась в Петербурге. Служба тогда была легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле, это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домово́й церкви княгининого брата и скучного обеда у самой княгини, было в полном распоряжении молодых людей. Князь радовался мундиру, радовался воле, пылко бросался на все наслаждения, на все удовольствия; отроду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он часто обжигался, был обманут, ссорился и при всем этом был славный товарищ и лихой малый. Столыгин был скромнее; он глядел на своего товарища с каким-то снисхождением, порицая внутри все, что делалось. Из всех историй Столыгин выходил чистым, так мастерски он умел себя держать. Князь любил его, верил в его дружбу, признавал

его превосходство и с детским простосердечием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом.

Князь был хорош собою, румяный, нежный, отрочески мужественного вида, с легким пухом на губах, с чистым голубым взглядом, он нравился особенно сангвиническим девицам и молодым вдовам. Столыгин, бывший не столько красотою, сколько дерзкой речью, любезностью и злословием, не мог простить своему другу его высокий рост, его красивые черты и старался всякий раз затмить его остроумии и колкостями.

Они занялись исключительно волокитством; от боярских палат до швей иностранного происхождения и до отечественных охотенок — ничего не ускользало от наших молодых людей. К тому же князь успел раза два проиграться в пух, надавать векселей за страстную любовь, побить каких-то соперников, упасть из саней мертво пьяный, словом, сделать все, что в те счастливые времена называлось службой в гвардии.

Когда Столыгин заметил, что, несмотря на все его красноречие, князь решительно берет верх у женщин, он стал его подбивать ехать в Париж. Действительно, только этого рукоположения и недоставало нашим друзьям.

Сначала, как водится, княгиня не хотела пустить; потом сама им выпросила отпуск. Надзор за детьми снова был поручен Дрейяку, успевшему в антракте образовать еще двух русских помещиков греческой мифологией и французской историей. Тогда еще существовали пространство и даль, не так, как теперь, месяца два тащились они до Парижа.

...Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения — все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, что у камней бился пульс, в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая душу на злобу и беспокойство, на охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений, на все, чем были полны писатели XVIII века. И все это выговорилось, появилось, выказалось путешникам, прежде нежели запыленный и тяжелый дормез остановился у отеля в улице Сент-Оноре и двое крепостных слуг стали отстегивать пряжки у важей...

И вот Михайло Степанович, напудренный и разду-

шенный, в шитом кафтане, с крошечной шпажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, острит в Версале, как острит в Петербурге; он толкует о тьерсе¹, перевозит Неккера и пугает смелостью опасных мнений двух старых маркиз, которые от страха хотят ехать в Берри в свои имения. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторились.

— ...Знаете, что меня всего более удивляет в этом *marquis hyperboréen*², — сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом, — не столько ум — умом нас, слава богу, нелегко удивить — нет, меня поражает его способность все понимать и ни в чем не брать участия; для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как сказания о Сезострисе. Это какой-то посторонний всему.

— Скиф в Афинах, — заметил какой-то ученый.

— Совсем нет, — возразил аббат, — у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я мог бы ненавидеть такого человека, если б я не жалел его. Это — болезненное произведение образования, привитого к корню, не нуждавшемуся в нем. Будьте уверены, что у него нет будущности.

— Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат, он даже лицом похож на Кауница.

— В самом деле похож, — подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свои годы, — и гиперборейский маркиз был забыт.

Пока Столыгин занимал собою гостиные, князь успел отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подраться с ним на шпагах, обезоружить его, простить и в тот же вечер ему спустить пятьсот червонцев. Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю.

Путешествие князя и Столыгина окончилось прежде, нежели они предполагали, виною этого был Дрейяк. Де-Дрейяк, которого прислуга в трактире звала «месье ле шевалье»³, одобрительно и не без задних мыслей улыбался «успехам человечества и торжеству разума над предрассудками», но он, как все благоразумные люди, больше успеха любил безопасность и больше торжества ума и разума — покой. А тут вышел вот какой случай. Погода

¹ третьем сословии (от фр. *tiers état*).

² северном маркизе (фр.).

³ господин кавалер (от фр. *monsieur le chevalier*).

раз была чудесная, Дрейак пошел гулять утром; но только что он вышел на бульвар, как услышал за собой какой-то нестройный гул; он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, блеск пик, ружей, наконец вырезалась нестройная пестрая масса людей. Прежде нежели Дрейак что-нибудь понял, высокий плечистый мужчина без сертука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, порывавшись с ним, спросил его громовым голосом: «Ты с нами?» Дрейак, бледный и уж несколько нездоровый, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знаконец был нетерпелив, он взял нашего шевалье за шиворот и, сообщив его телу движение весьма неприятное, повторил вопрос. Дрейак, вместо ответа, уронил трость; учтивая дама почтенного размера с седыми космами, торчавшими из-под чепчика, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила: «Да это аккапарист¹, аристократ, посмотрите, какой набалдашник, золотой и с резьбою, что вы толкуете с ним, на фонарь его!» — «На фонарь», — сказали несколько голосов спокойным, подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что, действительно, его необходимо повесить на фонарь, что это просто аксиома. Человека три выступили было с очень враждебным намерением, дело остановилось за веревкой, мальчик лет двенадцати обещался тотчас принести. Дрейак воспользовался этим временем, чтобы сказать: «Помилуйте, что вы? С молодых лет я питался писаниями наших великих писателей и примерами римской и спартанской республики». — «Хорошо, очень хорошо», — закричали несколько человек, слышавших только слово «республика». — «Я с вами», — продолжал ободренный оратор, — я принадлежу народу, я из народа, как же мне не быть с вами?» — И остановившаяся кучка двинулась вперед грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними. Долго спустя раздавался еще на бульваре рев, похожий на морские волны, гонимые ветром в скалистый берег, — рев, иногда утихавший и вдруг раздававшийся торжественно и страшно.

Дрейаку удалось завернуть, под самым суетным предлогом, в переулок, вылучив счастливую минуту, когда

¹ скупщик, спекулянт (от фр. *accapareur*).

все внимание его соседей обратилось на аббата, которого толкали вперед три торговки; он дал оттуда стрелка и пришел домой полумертвый, с потухшими глазами и с изорванным кафтаном. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны и в первый раз признался, что дорого бы дал, если бы был на варварских, но покойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал приходить в себя и собирался было прочесть в Тите Ливии о народном возмущении против Тарквиния Старшего, как вдруг раздался ружейный залп, прогремела пушка, еще раз и еще — а там выстрелы вразбивку; временами слышался барабан и дальний гул; и гул, и барабан, и выстрелы, казалось, приближались. По улице бежали блузники, работники с криком: «А ла Бастиль, а ла Бастиль!»¹ Перед окнами остановили офицера из *Royal Allemand*², сташили с лошади и повели. «О, боже мой, боже мой, пощади нас и помилуй», — бормотал Дрейяк, изменяя закону тяготения и забывая, что Платон бога называл «великим геометром». Тут он вспомнил, что прислуга его называет «шевалье», и это проклятое «де» перед фамилией. «Все люди, — говорил он гарсону, который вошел, чтобы вынести чайник, — равны, все люди братья и могут отличаться только гражданскими добродетелями, любовью к народу и к неотъемлемым правам человека».

Михайло Степанович ходил смотреть взятие Бастилии; Дрейяк был уверен, не видя его вечером, что он убит, и уже начинал утешаться тем, что нашел славную турнюру³, как известить об этом княгиню, когда явился Столыгин, помирая со смеху при мысли, как его версальские приятели обрадуются новости о взятии Бастилии.

Дрейяк объявил, что дольше в Париже не останется и, несмотря на все споры и просьбы, опираясь на полномочия княгини, отстоял свое мнение с тем мужеством, которое может дать один сильный страх; делать было нечего, *дети* воротились. И маленькая француженка очутилась как-то в то же время на Литейной и сильно хлопотала об отделке своей квартиры и топала ножкой с досады, что лакей Кузьма ничего не понимает, что она говорит.

Раз вечером князь застал Михайла Степановича в слишком огненном разговоре с *mademoiselle Nina*. Князь был не в духе, рассердился и обошелся колко, сухо с

¹ «К Бастилии, к Бастилии!» (от фр. *à la Bastille, à la Bastille*)

² Королевской немецкой стражи (фр.).

³ способ (от фр. *tournure*).

Столыгинным. Столыгин и уступил бы, да на беду он взглянул на плутовские глазки маленькой француженки, глазки помирали со смеху, и, шурясь, как будто говорили: «Какая ж ты дрянь». Взгляд этот подзадорил его. Ссора разгорелась. Князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и разругал его так, что на этот раз маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понял.

Они дрались. Дуэль кончилась почти ничем. Столыгин ранил князя в щеку. Это подражание Цезаревым солдатам в Фарсальской битве вряд было ли случайю, зато оно и не прошло ему даром; раны на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ее дом.

Таким образом, лет двадцати восьми от роду, Столыгин очутился впервые на собственных ногах.

Привычный к роскоши княгинина дома, он так испугался своей бедности, хотя он очень прилично мог жить своими доходами, что сделался отвратительнейшим скрягой. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы разбогатеть. Одна надежда у него и была — на смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем был оскорбительно тверд.

Он было принялся хозяйничать, дядя вручил ему бразды правления после его выезда из дома княгини, но как-то неловко, и знал-то он плохо сельское дело и время терял на мелочи. Но человек этот, как говорят, родился в рубашке. К нему повадился ходить какой-то отставной морской офицер, основываясь на том, что он служил вместе с его вотчимом в Севастополе и знал его родительницу. Моряк имел процесс и знал, что через связи Столыгина может его выиграть. Столыгин обещал ему, чтоб отделаться от него, поговорить с тем и с другим и, разумеется, не говорил ни с кем. Но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Столыгину. Ему отказывали — он возвращался, его не пускали — он прогуливался около дома и ловил Столыгина на улице. Наконец, Михайло Степанович, выведенный из терпения, исполнил его просьбу. Офицер был безмерно счастлив.

— Чем вы намерены заниматься? — спросил его Столыгин, перебивая длинное и скучное изъяснение флотской благодарности.

— Искать частной службы по части управления имением, — отвечал моряк.

Михайло Степанович посмотрел на него и почти покраснел от мысли, как он до сих пор не подумал употре-

бить его на дело. Действительно, человек этот был для него клад.

Моряк, как нарочно, отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, поломан и помят; но, несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть, эта хирургическая редкость сохранила неутомимую деятельность, непрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен и честен, он никогда бы не обманул, тем более человека, которому был обязан важной услугой; но многим именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякого плутовства.

Михайло Степанович предложил ему ехать осмотреть его имение. Моряк отправился.

У

НАСЛЕДНИК

Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проспектами и планами, когда вместо его пришло красноречивое письмо Тита. Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая радость, которой он не мог и предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться новому барину, известили его о смерти Марфы Петровны.

— А что, есть завешание? — спросил с некоторым беспокойством Михайло Степанович.

— Покойная тетушка письмо только изволила вашей милости оставить, — отвечал Тит, вынимая бумажник.

— Ты бы с этого и начал, болван, — заметил Столыгин поспешно, вырывая из рук Тита письмо.

Лицо его просветлело при чтении, он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать «никаких глупых распоряжений».

— Кто при доме в деревне остался? За коим чертом вы оба приехали? — спросил Михайло Степанович.

— Агафья Петровна, ключница, батюшка, и покойной тетушки дядюшка майор с супругой.

— Они-то первые и расташат все, да где же бумаги?

— В кабинете покойного барина, дверь вотчинной печатью запечатана, и десятский приставлен в коллере.

— Я завтра собираюсь в Липовку, будьте готовы.
— Милости просим, батюшка,— отвечал, низко кланяясь, староста.— Лошади дожидаются, моих тройка на *вашем* дворе, да крестьянских еще две придут под вечер в Роговскую.

— Хорошо, ступай. А ты, эй! Тит! Сейчас с Ильей Антипычем (так назывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестью о кончине Льва Степановича) в доме все по описи прими, слышишь?

— Слушаю, батюшка,— отвечал Тит густым голосом.

На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную. На границе липовской земли ждали Михаила Степановича дворовые люди и депутация от крестьян с хлебом и солью. Староста и Тит Трофимов, ехавшие впереди в телеге, остановили дормез и доложили Михайлу Степановичу, что этот большой камень и эта большая яма означают границу его владений. Он вышел из кареты; подданные повалились в ноги, старик, седой, как лунь, с длинной бородой и с лицом буонарротиевских статуй, поднес хлеб и соль. Михайло Степанович указал Титу, чтобы он принял хлеб, и дребезжащим голосом сказал крестьянам, что благодарит их за хлеб, за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле.

— А что, на оброчных есть недоимка?

— Есть невеликое, батюшка, дело,— отвечал староста.

— А ты чего смотрел, у меня чтобы слово недоимка не было известно. Слышишь! Какой оброк платят, неслыханное дело, дядюшка так попустил от старости. Я чай, вам, православные, перед соседями совестно так мало платить.

— Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла,— заметил моряк.

— Еще бы. Подмосковные мужики. Видите, что люди говорят.

— Как вашей милости взгодно будет, как изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дело сполнять,— сказал буонарротиевский старик, и мужики снова поклонились в землю, благодаря за доброе намерение лишить их стыда так мало платить.

— Об этом я поговорю завтра, собери утром на барский двор стариков.

— Это что за рожи? — продолжал помещик, обращая приветствие к дворовым.— Откуда это покойник набрал их, один Тит на человека похож. Кто это в засаленном нанковом сертуке направо-то?

— Земский Василий Никитин, — отвечал староста, — то есть он, батюшка, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взявши во двор, изволили Васильем назвать.

— Сюда от него вином пахнет. Дорогу к кабаку вы не будете у меня знать.

После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, который шел возле без фуражки; староста и Тит плелись несколько отступя и не глядя друг на друга, а за ними дворовые, крестьяне, дормез и телега. Никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, дряхлые старики, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за ворота, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна; одна собака какая-то, смелая и даже рассерженная процессней, выбежала с лаем на дорогу, но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина. Так достигли господского дома, тут дожидались священник с женой и с сотами от пчелок своих, тощий, плешивый дякон и причетники с волосами, которых расчесать не было возможности. Слепой майор и молдаванка, повязанная белым платком и закутанная в черную шаль покойной благодетельницы, встретили в сенях нового обладателя Липовки.

Михайло Степанович учтиво обошелся со всеми, но всем как-то стало жаль Льва Степановича больше, нежели прежде. Он попросил священника отслужить молебен с водоосвящением и потом панихиду о покойнике, осведомился, говеют ли крестьяне, и отправился в запечатанный кабинет, сопровождаемый моряком. Он нашел все в порядке — и деньги и ломбардные билеты. Говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он, справедливо заметив моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не написал отпускных, и что в таком случае отпустить их было бы противно желанию покойника, — сжег эту записку на свече.

На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить их, он им жалует две тысячи рублей. Причем он вручил билет (по которому проценты были взяты). Потом он им объявил, что сколько ни желал бы, но не может по разным

соображения оставить за ними комнаты и советует им переселиться в Москву. «Кирилле Васильевичу часто может быть,— прибавил он,— нужда в докторе, ему непременно надобно жить в городе». Молдаванка хотела было просить Михаила Степановича позволить им остаться, хоть в людской избе, но, встретив холодные глаза его с рыжеватыми ресницами, она не смела вымолвить ни слова и пошла укладывать свои пожитки.

Осмотревши прочие имения и повелев беспрекословно слушать во всем моряка, он уехал в Петербург, а через несколько месяцев отправился снова за границу. Где он был, что делал в продолжение целых четырех лет? Трудно сказать. И что, собственно, его привязывало к заграничной жизни?..

Когда он воротился в Москву, моряк подал ему отчеты; другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович нашел во всем приращение, без всякого труда, без всяких пожертвований почти; он чрезвычайно мало давал моряку. Даже теперь, воротившись из путешествия, он отделался золотыми нортоновскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказывал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Эффингстону.

Один-единехонек жил Михайло Степанович в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании, он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Столыгин оставлял его дня на два, под предлогом разных дел, а в сущности из потребности живого человека. Дворню свою он страшно теснил. У него в воображении все носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного, не тратя денег; задача была невозможная, на всяком шагу он видел, что ему не удастся, бесился и вымещал это на слугах. При всей своей скупости он серьезно имением не занимался, иногда только, без всякой нужды, он врывался в управление моряка, распространял ужас и трепет, брал лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами — там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место... Показавши, таким образом, свою власть, он снова предоставлял моряку управление крестьянами.

Сверх моряка, являлся к Столыгину раза два в неделю высокий, подслепый меняла в бесконечном сертуке;

моргая глазами и пошевеливая плечом, он называл все камни и все вещи наизушку, что вовсе ему не мешало быть тонким знатоком. Через него Михайло Степанович помещал свои деньги за баснословные проценты. Меняла, не удовлетворяясь куртажем за безносых адо-нисов, за новые антики и старые картины, — занимался в свободное время приятной должностью сводчика. Михайле Степановичу не хотелось выступать ростовщи-ком, да не хотелось тоже и капитал оставлять на один несчастные пять процентов, которые тогда платил лом-бард, так он и прибегал к услугам менялы. Несмотря на все предосторожности его, меняла все-таки надул Столыги-на. Завелся процесс. Ни один сенатский секретарь, ни один герой, посевший в чернила, вскормленный на справках и сандараке, не догадался бы никогда, чем окончится этот процесс.

Хождение по делу было поручено Столыгинным зна-менитому тогда в Москве стряпчему, отставному статскому советнику Валерьяну Андреевичу Трегубскому. У стряп-чего была дочь, скромная, залуганная отцом, дикая от одиночества и очень педурная собою. Михайле Степано-вичу она приглянулась, он любил эти скромные воло-китства, не вовлекавшие в большие траты. Молодая де-вушка, совершенно неопытная и подбиваемая беспрерывно кухаркой, шла, сама не зная как, прямо на свою гибель. Кухарка статского советника, помогавшая Столыгину за беленькую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, но все не приносил, вдруг испугалась могущих быть из этой связи последствий, и раз вечером, немного напившись, все рассказала отцу, разумеется, кроме собст-венного участия. Старик разом убедился в справедливости доноса и в том, что предупредить поздно, но поправить самое время.

Сказать по правде, новость эта больше обрадовала его, нежели опечалила; тем не менее он с свирепостью напал на дочь, разобрал ее, оттащав по обычаю праотцев за косу, запер в чулан, словом, сделал все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив эту тяжелую, хотя и святую обязанность, он снова сделался чем был — стряпчим и принялся делать повальный обыск в комнате дочери. Нашел он и записочки и вещицы разные, все пересмотрел внимательно, все перечитал раза два, три. Прочтенное явным образом доставляло ему удовольствие. Он взял письма к себе, принялся сам писать, писал долго, подгибая третий палец под перо и наклоняя правый

глаз к самой бумаге. И перемарывал он, и перечитывал, и прибавлял, и сокращал; наконец, удовлетворенный редакцией, он раза два до кашля понюхал табак и принялся переписывать набело. Переписавши, он взял свечу и отправился к дочери.

Бедная девушка, оскорбленная, униженная, пристыженная, заплаканная, сидела в углу. Старик на все на это считал как нельзя лучше. «Убила, — говорил он ей, — убила старика отца, седины покрыла позором». Девушка стояла ни живая ни мертвая и шептала бледными губами: «Простите, простите». — «Поди сюда, — закричал отец, — возьми перо, пиши, тут — ну же». — «Батюшка!» — «Да ты еще не слушаться, опозорила отца, да и из повиновения вышла, тебе говорят, пиши!» — и он диктовал: «Дочь статского советника Марья Валерьяновна Трегубская». Девушка писала в лихорадке, в безумии; когда отец взял у нее перо, руки ее опустились, она упала на колени перед пустым стулом и прижала к нему голову. Почтенный старец вышел, не говоря ни слова; он думал, что ему больше придется ломаться, он был даже несколько сконфужен легкой победой.

На другой день Столыгин получил от статского советника длинное письмо, он сообщал ему, что весть о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, поверг его дочь в гибель несчастья и лишил его последней опоры и последнего утешения, поразила его в самое сердце; что он находит, наконец, положение жертвы его соблазна сомнительным. А потому полагает, что он, наверно, свой поступок покроет божьим благословением через брак, которым возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превыше всех благ земных. Буде же (чего боже сохрани) Михайле Степановичу это не угодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего закона и у высоких особ, богом и монархом поставленных невинным в защиту и сильным в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельства домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы, собственную Михайла Степановича рукою писанные. В заключение оскорбленный отец счел нужным присовокупить, что преступная дочь его есть с тем вместе его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части, третьем квартале, за № 99, так и капитала, имеющего ей достаться, когда господу богу угодно будет прекратить грешные дни его.

Михало Степанович задохнулся от гнева и от страха; он очень хорошо знал, с кем имеет дело, ему представились траты, мировые сделки, грех пополам. О браке он и не думал, он считал его невозможным. В своем ответе он просил старика не верить клеветам, уверял, что он их рассеет, говорил, что это козни его врагов, завидующих его спокойной и безмятежной жизни, и главное, уговаривал его не торопиться в деле, от которого зависит честь его дочери.

Валерьян Андреевич недаром лет сорок был стряпчим; он видел, что Столыгин выигрывает время, что, следовательно, ему его терять не следует. Между разными делами, вверенными его хождению, был у него на руках длинный, запутанный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Трегубский отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении дела, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал пресмешной вид и начал капать слезами. Граф удивился, встревожился, стал спрашивать, старик просил прощения, извинялся своим нежным сердцем и безмерным горем, наконец рассказал всю историю, показал письма Столыгина и просьбы дочери. Граф, забывая вовсе ненужные в то время воспоминания собственных проделок, принял сердечное участие в горе несчастного старца и сказал ему, отпуская его: «Будь покоен, негодяю этому даром это не пройдет. Оставь письмо дочери у меня. Да, кстати, апелляционную записку по моему делу окончи поскорее». Старик успокоился.

Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михайла Степановича по «экстренному и конфиденциальному делу». Осведомившись о состоянии его здоровья и об урожае озимых хлебов, предводитель спросил его — как он намерен окончить неосторожный пассаж свой с девицей Трегубской, присовокупляя, что ему велено посоветовать Михайле Степановичу кончить это дело, как следует дворянину и христианину. Столыгин пустился в ряд объяснений. Предводитель выслушал их с чрезвычайным вниманием и заметил, что все это совершенно справедливо, но что он тем не менее уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие высоких особ и поступит как христианин и дворянин; что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть письмо, полученное им по поводу этой неприятной истории.

Михайло Степанович прочел письмо и положил его на стол молча и с изменившимся лицом.

— Не угодно ли вам будет теперь,— спросил его предводитель,— подписать вот эту бумажку?

Столыгин взял перо.

— Позвольте, позвольте,— с жаром заметил предводитель, вежливо вырывая из его руки перо,— это перо нехорошо, вот это гораздо лучше.

Столыгин взял лучшее перо и несколько дрожащей рукой подписал. Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и вполне убеждала в необходимости подписать вторую. Предводитель, прощаясь, сказал Столыгину, что он искренно и сердечно рад, что дело кончилось келейно и что он так прекрасно, как истинный патриот и настоящий христианин, решился поправить поступок, или, лучше, пассаж.

Через неделю Михайло Степанович был женат. Несмотря на то, что Москва — классическая страна бракосочетаний, но я уверен, что со времени знаменитого кутежа, по поводу которого в летописях в первый раз упоминается имя Москвы, и до наших дней не было человека, менее расположенного и менее годного к семейной жизни, как Столыгин. Благотворительное начальство исправило эти недостатки отческим вмешательством своим.

Трудно себе представить хуже, нелепее и неловче положения бедной новобрачной. Перейдя по распоряжению высшего правительства из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в чужой дом, в котором не было в ней нужды, в котором ничего не переменилось от ее появления,— положение ее собственно ухудшилось. Столыгин ее держал не как жену, а как крепостную фаворитку. У ней не было ни одной знакомой, Столыгин запретил ей принимать каких-то родственников, раза два являвшихся из-за Москвы-реки позавидовать ее счастью; она сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую Столыгин хотел ввести по части супружеской тайной полиции. Она никуда не выезжала, иногда только Михайло Степанович предлагал жене проехаться в карете, одной, и тут кучеру и лакею давалась инструкция, какими улицами ехать.

Несколько лет оставалась она потерянной, оскорбляемой и безгласной. Существо доброе, готовое любить, готовое на всякую преданность, она отдавалась молча своей судьбе и, вспоминая страдания, выносимые от отца, она думала, что так и надобно, что такое положение женщин на свете.

Первый утешитель, явившийся ей, был малютка

Анатолий, родившийся через год после ее свадьбы, впоследствии он же и развил, и воспитал, и освободил ее.

Рождение сына на несколько степеней поправило положение Марьи Валерьяновны. Столыгин был доволен сходством. Он до того расхотелся в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спросил Тита: «Ты видел маленького?», и, когда Тит отвечал, что не сподобился еще этого счастья, он велел кормилице показать Анатолия Михайловича Титу. Тит подошел к ножке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил: «Настоящий папенька, вылитый папенька, папенькин портрет».

Михайло Степанович, очень довольный, тут же отдал приказ, чтобы люди вставали, когда проходит кормилица с маленьким баринном; а кормилице, напротив, разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинаясь инструкциям моряка. Кормилица была из Липовки. За две недели до родов Марьи Валерьяновны приказал Столыгин моряку выслать для выбора двух-трех здоровых, красивых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней; от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились и так основательно, что потом сколько их старуха-птичница ни окуривала калганом и сабуром, все-таки водянка сделалась; у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, вероятно, от дурного глаза, и, несмотря на чистый воздух и прочие удобства зимнего пути в пошевнях, он умер не доезжая Реполовки, где обыкновенно липовские останавливались; так как у матери от этого молоко поднялось в голову, то она и оказалась неспособной кормить грудью. Остались три для выбора согласно желанию Михайла Степановича. Из них он сам с повивальной бабкой избрали женщину действительно замечательную. Будучи третий год замужем, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья, и была то, что называется кровью с молоком, со сливками даже, можно сказать. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жительство, мужа, двух снов, старосту, свекровь и барщину, можно было слепо положиться. Кормилица на барском дворе в два месяца сделалась вдвое толще и румянее. Так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее и всякий раз бормотала, выходя

из ворот: «Вишь, разъелась на барских чаях какая. Дай срок, воротнишься домой, спустим жир... Погоди». Говорят, что простодушная старушка добросовестно сдержала обещание.

Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Стук во время его сна, сквозной ветер, отворенная дверь — все это выводило из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мудрено себе представить. Кормилице дозволялось иногда спать, Настасья должна была день и ночь быть налицо. Она раздевалась раз только в неделю — в бане. Настасье было приказано, чтобы летом в детской не было мух; она отвечала за крик ребенка, за то, что он падал, начиная ходить, за насморк, который делался от прорезывания зубов... И подите, исследуйте тайны сердца человеческого — Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся жизнь ее, за которого она вынесла сколько нравственных страданий, столько и физической боли. Марья Валерьяновна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишения всякого покоя, за вечный страх, вечную брань и вечное преследование.

Пока ребенок был зверком, баловству со стороны Михаила Степановича не было конца; но когда у Анатоля начала развиваться воля, любовь отца стала превращаться в гонение. Болезненный эгоизм Столыгина, раздражительная капризность и избалованность его не могли выносить присутствия чего бы то ни было свободного; он даже собачонку, не знаю как попавшуюся ему, до того испортил, что она ходила при нем повеса хвост и опуска голову, как чумная.

Марья Валерьяновна, до тех пор кроткая и самоотверженная, явилась женщиной с характером и с волей непреклонной. Она не только решилась защитить ребенка от очевидной порчи, но, уважая в себе его мать, она сама стала на другую ногу. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович и решился сломить ее во что бы то ни стало.

Пяти-шестилетний Анатолий был свидетелем грубых, отвратительных сцен, нервный и нежный мальчик судорожно хватался за платье матери и не плакал, а после ночью стонал во сне и, проснувшись, дрожа всем телом, спрашивал няню: «Папаша еще тут, ушел папаша?» Марья

Валерьяновна чувствовала необходимость положить предел этому и не знала как. Обстоятельства, как всегда бывает, помогли ей.

В гостиной стояла горка, на которой были расставлены всякие ненужности, взятые у менялы, для поощрения его. Анатоль, тысячу раз игравший этой дрянью, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу.

— Не тронь! — закричал отец.

Анатоль посмотрел на него с испугом, оставил куклу и через две минуты опять ее взял. Михайло Степанович подошел к нему, схватил за руку и дернул его с такой силой, что он грянулся об пол и разбил себе до крови лоб. Мать и няня бросились к нему.

— Оставьте его, это вздор, капризы! — закричал отец.

Няня приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла Анатоля и понесла его, говоря:

— Пойдем, дружок мой, в детскую, папаша болен.

— Да ты слышала или нет, что я сказал? — спросил Михайло Степанович. — Оставь его.

— Ни под каким видом, — отвечала оскорбленная мать, — как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия?

— Это что значит? — спросил Столыгин, дрожа всем телом от бешенства.

— То, — отвечала Марья Валерьяновна, — что есть всему мера, и если вы сошли с ума, то мой долг положить предел вашему вредному влиянию на ребенка.

Михайло Степанович не дал ей кончить, он ударил ее. Анатолю взвизгнул и помертвел.

Марья Валерьяновна, пришедши в спальню, бросилась на колени перед образом и долго молилась, обливаясь слезами, потом она поднесла Анатоля к иконе и велела ему приложиться, одела его, накинула на себя шаль и, выслав Настю и горничную зачем-то из девичьей, вышла с Анатодем за ворота, не замеченная никем, кроме Ефима. На дворе смерклося; Марья Валерьяновна почти никогда не выходила вечером на улицу, ей было страшно и жутко; по счастью, извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги, она кой-как уселась на калибере, взяла на колени Анатоля и отправилась к отцу в дом. Сходя с дрожек, она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в ворота; но извозчик остановил ее, он думал, что она ему дала пятак, и сказал:

— Нет, барыня, постой, как можно, — и разглядевши, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и нисколько не потерявшись: — Как можно целковый взять с двоих, синенькую следует получить, матушка.

Она бросила ему какую-то монету и взошла в ту несчастную калитку, из-за которой лет шесть тому назад, бог знает под влиянием какой чары, вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтобы мучить ее целую жизнь.

Когда Михайло Степанович пришел в себя, он понял, что преступил несколько границу. «Ну, да что же делать, — думал он, — у меня нрав такой, пора в самом деле привыкнуть, сердит меня как нарочно, *et ensuite elle devient impertinente*¹, я не могу своего сына воспитывать по моим идеям». Утешивши себя такими рассуждениями, он отправился в гостиную, однако на лице его было видно, что как ни убедительны они были, но совесть не совсем была покойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, освещенная двумя сальными свечами. Он посидел на диване — пусто, нехорошо. «Сенька! — закричал он, и мальчик лет двенадцати, одетый казачком, показался в дверях. — Скажи Наське, чтобы привела Анатоля Михайловича».

Казачок вышел, но долго не возвращался, слышны были голоса, шепот, шаги; Тит, бледный, как смерть, стоял в зале, Настасья с заплаканными глазами ему объясняла что-то, Тит качал головой и приговаривал: «Господи боже мой, прости наши прегрешения». Через несколько минут казачок вошел с докладом: «Анатоля Михайловича дома нет, их барыня изволили взять с собою».

— Что... о... о... о?

Казачок повторил.

— Что ты врешь, пошли Наську и Тита.

Наська и Тит взошли.

— Куда барыня пошла? — спросил Столыгин.

— Не могу доложить, — отвечала старуха, дрожа всем телом, — меня изволили послать за водой, изволили надеть желтую шаль — я думала так, от холоду...

— Молчи и отвечай только на то, что я спрашиваю. Ну, а ты, старый разбойник, ты чего смотрел, Тит Трофимович, домоуправитель? Кто пошел за барыней?

— Виноват, батюшка, Михайло Степанович, бог попутал на старости лет, я не видал.

¹ и потом начинает дерзить (фр.).

— Виноват, батюшка, — передразнил его Столыгин, входивший более и более в ярость, позови, старый дурак, Кузьку и Оську да дурака Ефимку и кучеров.

Люди переглянулись с ужасом друг на друга, они очень хорошо знали, что значит приглашение кучеров...

На другой день утром Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валерьяновны, утирая слезы и умоляя ее спасти их. Столыгин велел им или привести барыню с сыном или готовиться в смиренный дом и потом на поселение. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая:

— Сгубит он нас, матушка, со свету божьего сгонит.

— Марья Валерьяновна, — говорила Настасья, — спаси ты нас, заступница наша, или уж оставь меня здесь.

— Я домой не пойду, — прибавил старик, — я с Каменного моста брошусь в воду, один конец.

Марья Валерьяновна долго молчала, тяжело ей было, она еще раз взглянула на эти растерянные и отчаянные лица, встала и сказала грустным голосом:

— Так и быть, я спасу вас, я не могу допустить, чтобы он замучил вас за меня, я возвращусь теперь, может, на свою собственную гибель. Только молитесь же бога, чтобы не на гибель малютки.

— Мать ты наша родная! — говорил Тит, — Иверской божьей матери отслужим молебен, всей дворней свечу десятифунтовую поставим.

Марья Валерьяновна явилась домой не как виновная и беглая жена, а с полным сознанием своей правоты и своего призвания быть защитницей сына. Она покойно и твердо объявила Столыгину, что возвратилась только для того, чтобы спасти совершенно невиновных людей от его бешенства, но что она решилась не жертвовать более сыном необузданности такого отца.

— Ох, — говорил Михайло Степанович, притворившийся больным, — ох, *ma chère*¹, зачем это ты употребляешь такие слова, мое ухо не привыкло к таким выражениям. У меня от забот, от болезни (он жаловался на аневризм, которого у него, впрочем, не было) бывают иногда черные минуты — надобно кротостью и добрым словом остановить, а не раздражать, я сам опла-

¹ моя дорогая (фр.).

киваю несчастный случай, — и он остановился, как бы подавленный сильными чувствами.

Но на Марью Валерьяновну его речи более не действовали. Весь prestige¹, окружавший его, исчез, она чувствовала себя настолько выше, настолько сильнее его, что у ней начала развиваться жалость к нему.

После этой истории Столыгин стал себя держать попристойнее. Марья Валерьяновна с сыном жила большую половину года в деревне; так как это значительно уменьшало расходы, то муж и не препятствовал. Смерть доброго старика Валерьяна Андреевича, случившаяся через несколько лет, снова запутала и окончательно расстроила жизнь, устроенную Марьей Валерьяновной.

Он умер вскоре после московского пожара. Старик оставался все время войны в Москве, довольно счастливо скупая, долею у французов, долею у казаков, разные серебряные и золотые вещицы. По выходе неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении для поправления дома, сожженного боготпротивным врагом во время нашествия галлов и с ними дванадцати язык. Но, несмотря на то, что его просьба была совершенно несправедлива, он получил отказ. Это его сильно огорчило, он помаячил еще годик да и умер, оставивши Марью Валерьяновне дом, золотые и серебряные безделушки и толстую пачку ломбардных билетов.

Марья Валерьяновна в это время была в Петербурге, куда Столыгин переехал во время приближения неприятеля. Дом их на Яузе сгорел. Моряк отстранял его медленно, потому что Столыгин скупился на деньги. Старик перед смертью звал дочь проститься. Она поехала, но не застала его. Моряк, имевший уже свои инструкции, распоряжался в доме ее отца, как на корабле, взятом в плен. Марья Валерьяновна молчала, но билеты ломбардные прибрала. Михайло Степанович не давал почти вовсе денег на воспитание сына, да и сверх того она хотела на всякий случай иметь капитал в своих руках.

Это обстоятельство снова ее поссорило с мужем. Переписка их приняла горький тон. Видя непреклонность жены, Столыгину пришла в голову мысль воспользоваться разлукой ее с сыном, чтобы поставить на своем.

Он писал моряку во всяком письме, чтобы все было

¹ ореол (фр.).

готово для его приезда, что он на днях едет, и нарочно оттягивал свой отъезд. Возвратившись наконец в свой дом на Яузе, он прервал все сношения с Марьей Валерьяновной, строго запретил людям принимать ее или ходить к ней в дом. «Я должен был принять такие меры,— говорил он,— для сына; я все бы ей простил, но она женщина до того *эгрированная*¹, что может пошатнуть те фундаменты морали, которые я с таким трудом вывожу в сердце Анатоля».

Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения, и защищал Столыгина только следующим выразительным аргументом: «Все же ведь как там угодно, а она супруга Михайла Степановича, а Михайло Степанович, как бы то ни было, все же ее супруг есть!..»

¹ озлобленная (от фр. *aigre*).

В начале 1848 года я посылал эту часть повести в Петербург. Несмотря на повторенное объявление на обертке одного журнала, печатать ее не позволили. Отчего? Не понимаю; судите сами, повесть перед вами.

Тогда именно в России был сильнейший припадок ценсурной болезни. Сверх обыкновенной гражданской ценсуры, была в то время учреждена другая, военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац-и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра. Она разбирала те же книги, но книги, авторов и ценсоров вместе.

Эта осадная цензура, руководствуясь военным регламентом Петра I и греческим Номоканоном, запретила печатать что бы то ни было писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или задушевная переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов.

Запрещением своим лейб-ценсурный аудиторнат напомнил мне, что русским пора печатать вне России, что нам нечего сказать такого, что могла бы пропустить военно-судная цензура.

..... Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план.

Мне хотелось в Анатоле представить человека, полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противуречия между его стремлениями и его долгом. Он усиливается и успевает всякий раз покорять свою мятежную волю тому, что он считает обязанностью, и на эту борьбу тратит всю свою жизнь. Он совершает героические акты самоотвержения и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура. Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него.

Этот характер и среда, в которой он развивался, — наша родная почва, или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь, заволакивающее непременно всякую личность, как она там себе ни бей-

ся, — вот что мне хотелось представить в моей повести.

С самой первой юности Анатолий втянут в роковое столкновение с долгом. Перед ним в страшной нелепости является родительская власть. Он ненавидит Михаила Степановича, но он переламывает свое естественное отвращение и повинуется этому человеку, потому что он его отец.

Гонимый и притесняемый, Анатолий нашел выход, который находят все юноши с теплым и чистым сердцем: он встретил девушку, которую полюбил искренно, откровенно. Для их счастья недоставало одного — воли.

Пришла и она.

Михайло Степанович наконец умер, к неописанной радости дворовых людей. Анатолий, как Онегин:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
Мужик судьбу благословил,

а семидесятилетний моряк слег в постель и не вставал больше от этого «дебаша»; он, грустно качая головой, повторял: «А все библейское общество, все библейское общество, это из Великобритании идет».

Анатолий между тем начинал чувствовать усталость от своей любви, ему было тесно с Ольенькой, ее вечный детский лепет утомлял его. Чувство, нашедшее свой предел, непрочно, бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду.

Оленька принадлежала к тем милым, но неглубоким и неразвивающимся натурам, которые, однажды вспыхнув сильным чувством, *готовы*, оседают и уже дальше не идут.

Когда Анатолий убедился, что он ее не любит, он ужаснулся своей сухости, своей неблагодарности; в несчастии он не находил другой отрады, иного утешения, как в ее любви, а теперь, свободный, богатый, он готов ее покинуть. Разумеется, после этого рассуждения он женился.

Близость лиц — факт психологический, легко любить их за что и очень трудно любить за что-нибудь. Людские отношения, кроме деловых, основанные на чем-нибудь вне вольного сочувствия, поверхностны, разрушаются или разрушают. Быть близким только из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот другой меня вытащил из воды, а этот

третий упадет сам без меня в воду,— один из тяжчайших крестов, которые могут пасть на плечи.

Анатоль через несколько месяцев после брака был несчастен и губил своим несчастьем бедную Оленьку.

Мой герой (вы, может, и не подозреваете этого) был конноегерским офицером; вскоре после его свадьбы его назначили адъютантом корпусного начальника, который ему был сродни.

Корпусный командир был не кто иной, как наш старый знакомый князь,— князь, взявший с собой из Парижа маленькую Нину, в то время как парижский народ брал Бастилию. Он славно сделал свою карьеру и воротился из кампании в 1815 году обвешанный крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и млечным путем русских звезд. Он был прострелен двумя пулями и весь в долгах. Он уже плохо видел, нетвердо ступал, неясно слышал, но все еще с некоторым *fiop*¹ зачесывал седые волосы à la Titus, подтягивая мундир, прыскался духами, красил усы, волочился за барышнями и, бог знает для чего, кажется, из одного приличия, держал французскую актрису на содержании.

Это лицо меня чрезвычайно занимало; его мне хотелось особенно отделать. Князь должен был принадлежать к типу людей, который утрачивается, который я еще очень хорошо знал и который необходимо сохранить,— к типу русского генерала 1812 года.

Русское общество с Петра I раза четыре изменяло нравы. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, оттого ли, что они ближе к нам или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «памятной книжки» и действующих лиц «адрес-календаря».

При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях и возведениях на престол, они распоряжались русской короной, упавшей на финскую грязь, как своим добром, и очень хорошо знали, что ножки петербургского трона не так-то крепки и что не только Петропавловская крепость и Шлюссельбург, но Пелым и вообще Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная горсть

¹ шиком (фр.).

богатых сановников, с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких плутов, храня наружный вид рабского подобострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи; в сущности, народу было безразлично имя тех, которые держали кнут, спине одинаково было больно.

Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавою хитростию женщины и куртизаны обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы важным почетом, милостивой улыбкой, крестьянскими *душами*, а иногда своим собственным высочайшим телом. Из них образовалось в половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях было смешано русское патриархальное барство с версальским царедворством, неприступная «морга»¹ западных аристократов и удалые казацких атаманов, хитрость дипломатов и зверство диких. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами; с русскими они иногда были ласковы, иногда милостивы, но всем, до полковничьего чина, говорили ты. Ограниченные и надутые собой, вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили матушку императрицу и святую Русь. Екатерина II щадила их и снисходительно слушала их советы, не считая нужным исполнять их.

Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрой и нюхательным табаком, сенаторов и кавалеров ордена св. Владимира первой степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, — век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, — был разом подрезан воцарением Павла Петровича.

Он в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского серала, называвшегося Зимним дворцом, казарму, кордегардию, острог, экзерциргауз и полицейский дом. Павел был человек одиночный в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый и влюбленный, вечно раздраженный и вечно раздражаемый; он, наверное, по-

¹ спесь (от фр. *morgue*).

пал бы в сумасшедший дом, если бы не попал прежде на трон.

Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы, ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы, недаром учил Павел на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и метанию эспонтоном; он хотел ввести гатчинское управление в управление Российской империи, он хотел царствовать по темпам.

В такой простой, в такой наивной форме самовластье еще ни разу не являлось в России, как при Павле. Это был бред, хаос; его *марсомания*, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного и в то же время до трагического; этот коронованный Казимодо со слезами на глазах бил рукою такт, разогрался в лице, был счастлив, когда солдаты верно маршировали. Те же пароксизмы бывали потом у цесаревича Константина. Свирепости Павла не оправдываются даже государственными необходимостями, его деспотизм был бессмысленный, горячечный, ненужный; кого пытал он и ссылал толпами с своим генерал-прокурором Оболенским и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил, труслили они и вспомнили, что они такие же крепостные холопы, как их слуги. С ужасом смотрели они, как император «шутит шутки нехорошие», то того в Сибирь, то другого в Сибирь; они втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах в Москву и в свои жалованные покойной императрицей вотчины.

Там их и оставил Александр после кончины Павла; он не считал нужным вызывать из деревень маститых государственных людей, благо они засели, обленелись и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики вроде екатерининских. Александр окружил себя новым поколением.

Поколение, захваченное в гвардии павловской сиверкой, было бодро и полно сил. События их довоспитали. Шуточное ли дело Аустерлиц, Ейлау, Тилзит, борьба 1812 года, Париж в Москве, Москва в Париже?

Старые гвардейцы возвращались победоносными генералами. Опасности, поражения, победы, соприкосновение с армией Наполеона и с чужими краями, все это образовало их характер; смелые, добродушные и очень недалекие, с религией дисциплины и застегнутых крюч-

ков, но и с религией чести, они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.

Люди эти занимали не только все военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах и подписывая бумаги, не читая их. Они любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть оттого, что им ни разу не пришлось в голову, что солдата можно выучить, не бывши его палкой. Они тратили страшные деньги, и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, книги и казну у нас никогда не считалось воровством. Но они не были ни доносчиками, ни шпионами и за подчиненных стояли головой.

Один из полнейших типов их был граф Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона и как нарочно убитый в первый день царствования Николая.

Когда раненого Милорадовича принесли в конногвардейские казармы и Арсент, осмотрев его раны, приговаривая вынуть пулю, Милорадович сказал ему: «Ну, *ma foi*¹, рана смертельная, я довольно видел раненых, так уж если надо еще пулю вынимать, пошлите за моим старым лекарем; мне помочь нельзя, а старика огорчит, что не он делал операцию». Действительно, пулю вынул старый лекарь, заливаясь слезами. После операции адъютант спросил графа, не желает ли он продиктовать какие-нибудь распоряжения. Милорадович тотчас потребовал нотариуса; но когда тот пришел, он думал, думал — и сказал наконец: «Ну, братец, это очень мудрено, ну так все как по закону следует, разве вот что — у одного старого приятеля моего есть сын, славный малый, но такая горячая голова, он, я знаю, замешан в это дело, ну, так напишите, что я, умирая, просил государя его помиловать, больше, *ma foi*, ничего не знаю».

Потом он умер, и хорошо сделал.

Прозанческому осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей, которые, раненные насмерть, помнят о старом лекаре, и, умирая, не знают, что завещать, кроме просьбы о сыне приятеля. Эти люди вообще нелов-

¹ право (фр.).

ки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служат до конца дней своих верой и правдой; но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они не способны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю — а ходил он к нему раз пять в день, — всякий раз бледнел — вот какие люди нужны были новому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов — Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве.

Надобно было много труда, усилий, времени, чтоб воспитать современное поколение чиновников по особым поручениям, корреспондентов, генералов «от чернил» и прочих жандармов под разными учтивыми названиями, чтобы дойти до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло петербургское правительство теперь.

Да, износил, истер, исказил все хорошее alexandroвского поколения, все, хранившее веру в близкую будущность Руси, жернов николаевской мельницы, целую Польшу смолот, балтийских немцев зацепил, бедную Финляндию, и все еще мелет, все мелет...

У отца была белая горячка самовластья, *delirium tyrannorum*¹, у сына она перешла в хроническую *fièvre lente*². Павел душил из всех сил Россию и в четыре года свернул шею — не России, а себе. Николай затягивает узел исподволь, не торопясь — сегодня несколько русских в рудники, завтра несколько поляков, сегодня нет заграничных пассов, завтра закрыты две, три школы... Двадцать седьмой год трудится его величество, воздуху нам недостает, дышать трудно, а он все затягивает — и до сих пор, слава богу, здоров.

В царствование Николая желтая, желчная, злая фигура Аракчеева нежно исчезает — Рогнедой, плачущей на гробе Анастасии, но школа его растет, но его ставленники, его ученики идут вперед. Школа писарей, кантонистов и аудиторов, дельцов и флигельманов, людей бездарных — но точных, людей бездушных — но полных честолюбия, людей посредственных — но которых «усердие все превозмогает»!

Для этих людей, может, найдется место в министер-

¹ безумие тиранов (лат.).
² изнурительную горячку (фр.).

ствах и в арестантских ротах, но, наверно, нет в повестях...¹.

Как попал Анатолий в военную службу, трудно сказать. Эти вещи у нас дельвались обыкновенно случайно. Сверх того, гражданская служба не могла нравиться, серьезно управлять именем еще не считалось делом, оставалась одна военная карьера.

Попавши в адъютанты к князю, Анатолий погибал от скуки. Юнкером он по крайней мере физически развлекался гимнастикой манежа и ученья. Адъютантом он ездил с князем на балы и обеды и праздно сидел по несколько часов у него в зале. Но скучать ему пришлось недолго, новое скорбное столкновение волн с долгом вполне рассеяло его. В то время, когда всего менее кто-либо ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своим корпусом и идти примкнуть к войску Дибича. Все засуетилось в его армии, князь ожил, забыл свои лета, целые дни верхом делал смотры и ревизии. Офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что не будет учений, бесперывных смотров во время похода.

Анатолий, хранивший свято юные мечты студентского периода, хотя и удовлетворялся собственным одобрением за благородное биение сердца и искренним желанием освобождения крестьян, тем не менее все благородные симпатии его были за Польшу, на которую он шел врагом, палачом, слугой деспотизма², — что же ему было делать? Подавать в отставку было поздно, сказать больным — выдадут за труса. С непреодолимым отвращением, почти с раскаянием, явился он на поле битвы, совался в огонь без всякой нужды, но пули обходили его, а храбрость его была замечена; князь привязал ему сам георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали ему.

На приступе Варшавы граф Толь подъехал к князем к первому взятому бастиону, расцеловал майора, поздравил его с крестом и потом спросил его, указывая на толпу пленных: «Кто же у вас будет их беречь?» Майор, державший платок на ране, молчал и с испуганным недоумением смотрел в глаза генералу. «На приступе,—

¹ В первом издании тут были пропущены несколько страниц; мы их помещаем в том виде, в котором они были написаны в Нице в 1851 году. (Примеч. автора.)

² Я рассказываю здесь план моей повести так, как он складывался в моей голове. Разумеется, мне нельзя бы было говорить о Польше и о восстании иначе как намеками. (Примеч. автора.)

сказал Толь, — каждый человек нужен; если все офицеры наберут столько пленных, половина солдат выбудут из строя, — он сделал знак рукой и прибавил: — Понимаете?¹ Майор понимал, но не говорил ни слова. Толь поморщился и, обернувшись к Анатолю, сказал ему вполголоса: «Господи, майор, кажется, ослаб от раны, скажите старшему капитану: *il faut en finir avec les prisonniers*». Анатолий стоял как вкопанный, рука его будто приросла к шляпе. «Ну чего ж вы ждете? Скажите, что я велел их расстрелять; адъютант ваш не очень расторопен», — заметил он князю, повертывая лошадь и показывая ему зрительной трубой какие-то осадные работы.

Старший капитан отдал нужные приказания и сказал майору и Анатолю: «А впрочем, я охотнее пошел бы еще раз на бастион — бить безоружного не манер. Эй, — закричал он, — Федосеев, выведи людей!» Анатолий хотел ускорить, но был остановлен колонной охотников, шедших с песнями и с криками «ура!» на приступ. За ним раздалось отрывистые слова команды и ружейный залп грянул почти в то же время. Анатолий обернулся — человек двадцать пленных лежали в крови, одни мертвые, другие в судорогах, — столько же живых и легко раненых стояли у стены. Одни, обезумевшие от страха, судорожно хохотали, кричали и плакали, два-три человека громко читали молитвы по-латыни, третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. В их числе был белокурый юноша; он остановил взгляд своих больших голубых глаз на Анатоле, в этом взгляде, рядом с укором, видно было столько презрения, что Анатолий опустил голову. У солдат дрожали руки, сам унтер-офицер Федосеев, хотя для поддержания чести и говорил: «Эк живучи эти поляки!», но был бледен и не в своей тарелке.

«Вторая ширинга впе-ред! Шай-клац!» — командовал капитан; ружья склонились и брякнули. У Анатолия потемнело в глазах, он покачивался и дал шпоры лошади, но лошадь вдруг поднялась на дыбы и брякнулась наземь — осколок русской бомбы ранил лошадь и раздробил Анатолю плечо; новая толпа охотников шла с песнями и гарцеваньем мимо раненого. Анатолий лишился сознания.

Недель через шесть Анатолий выздоравливал в лазарете

¹ Это — истинное происшествие, рассказанное мне самим офицером.
(Примеч. автора.)

² с пленными надо покончить (фр.).

от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Все время своей болезни он бредил о каких-то голубых глазах, которые на него смотрели в то время, как капитан командовал: «Вторая ширинга вперед!» Больной спрашивал, где этот человек, просил его привести — он хотел ему что-то объяснить и потом повторял слова Федосеева: «Как поляки живучи!»

Князь, жалевший очень своего адъютанта, говорил, что он, по-видимому, контужен в голову и потому заговаривается, впрочем, надеялся, что он выздоровит, и приводил в пример разных раненных в голову в 1812 и 13 годах.

Анатоль вышел в отставку и поехал к водам. Слабый от раны и убитый духом выехал он из Варшавы. Голубые глаза поляка преследовали его, ему казалось, что он несколько раз встречал молодого страдальца, который, может, избежал смерти; ему казалось, что он узнаёт то же выражение укора, беспокойной печали и презрения, смешанного почти с сожалением. Несколько раз хотелось ему подойти взять за руку незнакомца и рассказать ему, как он попал на поле сражения. Но польские раны были еще слишком свежи, время понимать друг друга и мириться еще не приходило, и он останавливался, боясь холодного ответа.

В Познани он на станции вышел из коляски и велел ей ехать за собой, когда заложат лошадей, а сам пошел пешком. В нескольких шагах от деревни стояла в небольшой нише мадонна, перед ней на коленях молился молодой поляк — опять он и, может, в самом деле. Несчастный был скорее похож на мертвеца, умершего после изнурительной болезни и которого забыли схоронить, нежели на живое существо лет двадцати. Он был в военной шинели, рука лежала на перевязке, челюсть и ухо были подвязаны, сухие посиневшие губы и белая бледность свидетельствовали о лихорадке и потере крови. Он только что перебрался через границу и был еще весь под влиянием счастливого спасения; Анатоль заговорил с ним. Сначала раненый вздрогнул, не скрывая, что встреча с русским ему неприятна.

Анатоль не хотел пропустить этой встречи; он взял его за руку и просил выслушать его. Он говорил долго и горячо. Удивленный поляк слушал его с вниманием, пристально смотрел на него и, глубоко потрясенный, в свою очередь сказал ему: «Вы прилетели, как голубь в ковчег, с вестью о близости берега, и именно в ту минуту, когда

я покинул родину и начинаю странническую жизнь. Наконец-то начинается казнь наших врагов, стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы, еще не все погибло!»

Анатоль был счастлив, они поехали вместе.

Что униженный, что холоду и оскорблений должен был вынести Анатоль в этом путешествии! Для каждого польского выходца в то время путешествия было рядом торжеств, симпатических приемов; на каждого русского народы смотрели с затаенной злобой, как на сообщника Николая. Раз два граф Ксаверий должен был, избегая неприятностей со стороны раздраженной толпы, выдавать Анатоля за поляка. Действительная нелюбовь к русским идет с того времени, мы ею обязаны Николаю.

В этой встрече Анатоля с графом Ксаверием мне хотелось представить нашу русскую натуру, широкую, но распушенную, многостороннюю, но неустоявшуюся, в соприкосновении с натурой польской — определенной, испытанной, односторонней, не идущей вперед, но твердо стоящей на своей почве. У Анатоля были прекрасные стремления, но они больше определялись отрицательно и никогда не приходили в ясность. У поляка во внутренней жизни все было кончено, решено, он шел своим путем, не возвращаясь к точке отправления, не подвергая всякий шаг непрерывной критике, не пытая его сомнением. В его образе мыслей была очевидная непоследовательность, перелом, но это не уменьшало его энергической деятельности и, главное, не мешало ему. Он был католик и революционер, аристократ и бунтовщик, светский человек в нашем смысле слова — и породистый поляк. Отважный, твердый, фанатик чести, надежный заговорщик, он был бесхитростен и беззаботен, как дитя, так что жизнь его, при всей тягости его положения, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого не было никакого внешнего несчастья.

Граф Ксаверий должен был совершенно овладеть Анатолием — познакомить его с польскими иезуитами. Их строгий чин, их наружный покой, под которым казались заморенными все сомнения и страсти, кроме веры и энергии в деле прозелитизма, должны были потрясти его. Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела. Жена его умерла, с родственниками у него было так же мало общего, как с московской жизнью вообще, никакой сильной связи, общего интереса или

общего упования. Опять та же жизнь, которая образовала поколение Онегинных, Чацких и нас всех...

Серьезность религиозных убеждений католика или протестанта часто удивляет нас: она еще больше должна была поразить Анатоля. Когда он воспитывался, тогда еще не было ни православных славянофилов, ни полнцейского православия, не было ни *накожного* обращения уннатов, ни мошей Митрофана Воронежского, ни путешествий к святым местам — чужим и своим — Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал еще вакхические песни, а ирмосов и кондаков не только не писал, но и не читал. Церковь, приложив кисточкой печать дара духа святого во время крещения, оставляла человека в покое и сама почивала в тишине.

Но если религиозного воспитания не было в ходу, то циническое становилось со всяким днем труднее: за него ссылали на Кавказ, брили лоб. Отсюда то тяжелое состояние нравственной праздности, которое толкает живого человека к чему-нибудь определенному. Протестантов, идущих в католицизм, я считаю сумасшедшими, но в русских я камнем не брошу, они могут с отчаяния идти в католицизм, пока в России не начнется новая эпоха.

Легко стало жить Анатолю, когда он переступил за порог монастыря и подпал строгому искус ставленника-послушника. Покойная гавань, призывающая труждающихся, открывалась для него, он *слушался* не рассуждая, и, усталый к вечеру от работы, усиленного изучения латинского языка и разных утренних и вечерних служб, он засыпал покойно.

Но церковь призывает не одних труждающихся, но и нищих духом. Тут, в виду католического алтаря, хотел я представить последнюю битву его с *долгом*. Пока продолжались искус, учение, работа, все шло хорошо, но с принятием его в братство Иисуса старый враг — скептицизм снова проснулся; чем больше он смотрел из-за кулис на великолепную и таинственную обстановку католицизма, тем меньше он находил веры, и новый ряд мучительных страданий начался для него. Но тут выход был еще меньше возможен, нежели в польской войне. Разве не он сам добровольно надел на себя эти вериги? Их он решился носить до конца жизни.

Мрачный, исхудалый, задавленный горьким сознанием страшной ошибки, монах Столыгин исполнял несколько лет, как автомат, свои обязанности, скрывая от всех внутреннюю борьбу и страдания.

Инквизиторский глаз пастыря их разглядел. Боясь будущего, он выхлопотал от Ротгана почетную миссию для Столыгина в Монтевидео. И наследник Степана Степановича и Михайла Степановича, обладатель поместий в Можайском и Рузском уездах, отправился на первом корабле за океан проповедовать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки...

Таков был мой план.

Ницца. Осенью 1851



Поврежденный

Повесть

...В одну очень тяжелую эпоху моей жизни, после бурь и утрат и перед еще большими бурями и утратами, встретил я одно странное лицо, которого слова и суждения мне сделались больше понятны спустя некоторое время.

Человек этот попался мне на дороге, точно как эти мистические лица чернокнижников, пилигримов, пустынников являются в средневековых рассказах для того, чтобы приготовить героя к печальным событиям, к страшным ударам, вперед примиряя с судьбой, вооружая терпением, укрепляя думами.

Дело было на Корниче.

Я приплыл на лодке из Ниццы в небольшой городок; оттуда я собирался ехать сухим путем, но лошади единственного ветурина только что воротились, надобно было им дать отдохнуть, по его словам, «два маленьких часа», что значило по крайней мере четыре очень больших. Мне было некуда торопиться и совершенно все равно, днем позже или раньше приеду в Геную. Я заказал себе завтрак и пошел бродить по берегу.

Какое счастье, что есть на свете полоса земли, где природа так удивительно хороша и где можно еще жить до поры до времени свободному человеку!

Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, — ему нужна и даль, и горы, и море, и теплый, кроткий воздух; нужны для того, чтобы грусть не превращалась

я ожесточение, в отчаяние, чтобы он не зачерствел. Хороший край нужнее хороших людей. Люди готовы сострадать, но почти никогда не умеют; от их сострадания становится хуже, они бередят раны, они неловки. Сверх того, люди бесят или рассеивают; к чему еще беситься, к чему, с другой стороны, бежать от печали, это так же робко и слабо, как глупо бежать от наслаждений, когда они еще веселят.

Досадно, что я не пишу стихов. Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами веками нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... в прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии.

День был удивительный, жар только что начинался, яркое утреннее солнце освещало маленький городок, померанцевую рошу и море. Пригорок был покрыт лесом маслин. Я лег под старой, тенистой оливой, недалеко от берега, и долго смотрел, как одна волна за другой шла длинной, выгнутой линией, подымалась, хмурилась, начинала закипать и разливалась, пропадая струями и пеной, в то время как следующая с тем же важным и стройным видом хмурилась и закипала, чтобы разлиться. Нам так чуждо все бескорыстное, так дешево все настоящее, что и в вечном колыбании природы человек невольно ждет чего-то — следующей волны, развязки... вот теперь, кажется, что-то да выйдет... кажется, что теперь, а волна опять разлилась и шумит, шурстя камнями, которые утягивает с собой вглубь, чтобы при первом ветре выбросить их снова на берег.

Волна моей жизни, думалось мне, тоже перегнулась и течет вспять, я чувствую, как она отступает, касается камней дна и берега, как увлекает меня назад, не обращая внимания ни на ушибы, ни на усталость и нашептывая в утешение:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты!

...Наша жизнь вовсе не наша, все делается помимо нас.

Человек растет, растет, складывается и прежде, нежели замечает, идет уж под гору. Вдруг какой-нибудь удар будит его, и он с удивлением видит, что жизнь не только

сложилась, но и прошла. Он тут только замечает тягость в членах, седые волосы, усталость в сердце, вялость в чувствах. Помочь нечем. Узел, которым организм связан и затянут — личность — слабеет. Жгучие страсти выдыхаются в успокоивающие рассуждения, дикие порывы — в благоразумные отметки, сердце холодеет, привыкает ко всему, мало требует, мало дает, химическое сродство, где может, утягивает составные части в минеральный мир и заменяет их чем-то мертвым, каменным. Безличная мысль и безличная природа одолевают мало-помалу человеком и влекут его безостановочно на свои вечные, неотвратимые кладбища логики и стихийного бытия...

II

...Когда я пришел в гостиницу, на дворе уже было очень жарко, я сел на балконе. Перед глазами тянулась длинной ниткой обожженная солнцем дорога, она шла у самого моря, по узенькой нарезке, огибавшей гору. Мулы, звоня бубенчиками и украшенные красными кисточками, везли бочонки вина, осторожно переступая с ноги на ногу; медленное шествие их нарушалось дорожной каретой, почтальон хлопал бичом и кричал, мулы жаллись к скалистой стене, возчики бранились, карета, покрытая густыми слоями пыли, приближалась больше и больше и остановилась под балконом, на котором я сидел.

Почтальон соскочил с лошади и стал откладывать, толстый трактирщик в фуражке Национальной гвардии отворил дверцы и два раза приветствовал княжеским титулом сидевших в карете, прежде, нежели слуга, спавший на козлах, пришел в себя и, потягиваясь, сошел на землю.

«Так спят на козлах и так аппетитно тянутся только русские слуги», — подумал я и пристально посмотрел на его лицо; русые усы, сделавшиеся светло-бурыми от пыли, широкий нос, бакенбарды, пушенные прямо в усы на половине лица, и особый национальный характер всех его приемов убедили меня окончательно, что почтенный незнакомец был родом из какой-нибудь тамбовской, пензенской или симбирской передней. Как ни философствуй и ни клеветни на себя, но есть что-то шевелящееся в сердце, когда вдруг неожиданно встречаешь в дальней дали своих соотечественников. Между тем из кареты выскочил человек лет тридцати, с сытым, здоровым и веселым видом, который дает беззаботность, славное пи-

шеварение и не излишне развитые нервы. Он посадил на нос верховые очки, висевшие на шнурке, посмотрел направо, посмотрел налево и с детским простодушием закричал спутнику в карете:

— Чудо, какое место, ей-богу, прелесть, вот Италия так Италия, небо-то, небо синее, яхонт! Отсюда начинается Италия!

— Вы это шестой раз говорите с Авиальона, — заметил его товарищ усталым и нервным голосом, медленно выходя из кареты.

Это был худощавый, высокий человек, гораздо постарше первого; он почти весь был одного цвета, на нем был светло-зеленый пальто, фуражка из небеленого батиста, под цвет белокурым волосам, покрытым пылью, слабые глаза его оттенялись светлыми ресницами и, наконец, лицо завялое и болезненное, было больше изжелта-зеленоватое, нежели бледное.

Печальная фигура посмотрела молча в ту сторону, в которую показывал его товарищ, не выражая ни удивления, ни удовольствия.

— Ведь это всё оливы, всё оливы, — продолжал молодой человек.

— Оливовая зелень прескучная и преоднообразная, — возразил светло-зеленый товарищ, — наши бреззовые роши красивее.

«Ба, — подумал я, — да это старые знакомые, это Ноздрев и Мижуев, переложенные на новые нравы и едушке не в Заманиловку, а в Сан-Ремо».

Молодой человек покачал головой, как будто хотел сказать «Неисправим, хоть брось!» — и взглянул наверх. Лицо его показалось мне знакомо, но сколько я ни старался, я не мог припомнить, где я его видел. Русских вообще трудно узнавать в чужих краях, они в России ходят по-немецки, без бороды, а в Европе — по-русски, отращивая с невероятной скоростью бороду.

Мне не пришлось долго ломать головы. Молодой человек с тем добродушием и с той беззаботной сытостью в выражении, с которым радовался оливам, бежал ко мне и кричал по-русски:

— Вот не думал, не гадал, — истинно говорят, гора с горой не сходится, — да вы меня, кажется, не узнаете? Старых знакомых забывать стали?

— Теперь-то очень узнаю, вы ужасно переменились — и борода, и растолстели, и похорошели, такие стали — кровь с молоком.

— *In corpore sano mens sana!* — отвечал он, от души смеясь и показывая ряд зубов, которому бы позавидовал волк. — И вы переменились, постарели — а что? Жизнь-то кладет свои нарезки? Впрочем, мы четыре года не видались; много воды утекло с тех пор.

— Немало. Как вы сюда попали?

— Еду с больным...

Это был лекарь Московского университета, исправлявший некогда должность прозектора; лет пять перед тем я занимался анатомией и тогда познакомился с ним. Он был добрый, услужливый малый, необыкновенно прилежный, усердно занимавшийся наукой à l'ivge ouvert², т. е. никогда не ломая себе головы ни над одним вопросом, который не был разрешен другими, но отлично знавший все разрешенные вопросы.

— А! Так этот зеленый товарищ ваш больной; куда же вы его дели?

— Это такой экземпляр, что и в Италии и у вас не скоро сыщешь. Вот чудак-то. Машина была хороша, да немного повредилась (при этом он показал пальцем на лоб), я и чиню ее теперь. Он шел сюда, да черт меня дернул сказать, что я вас знаю, он перепугался; ипохондрия, доходящая до мании; иногда он целые дни молчит, а иногда говорит, говорит — такие вещи, ну, просто волос дыбом становится, все отвергает, все — оно уж эдак через край; я сам, знаете, не очень бабым сказкам верю, однако ж все же есть что-то. Впрочем, он претихий и предобрый. Ему ехать за границу вовсе не хотелось. Родные уговорили, знаете, с рук долой, ну, да и языка-то его побавались — лакси, дворники, все на откуп у полиции — поди там, оправдывайся. Ему хотелось в деревню, а именно у него с сестрой неделиное, та и перепугалась — коммунизм, говорит, будет мужикам проповедовать, тут и собирай недоимку. Наконец он согласился ехать только непременно в южную Италию, Magna Graecia!³ Отправляется в Калабрию и ваш покорный слуга с ним в качестве лейб-медика. Помилуйте, что за место, там, кроме бандитов да полов, человека не найдешь; я вот проездом в Марселе купил себе пистолет-револьвер, знаете, четыре ствола так повертываются.

¹ В здоровом теле здоровый дух (лат.).

² Здесь: не мудрствуя лукаво (фр.).

³ Великую Грецию (лат.).

— Знаю. Однако ж должность ваша не из самых веселых — быть беспрестанно с сумасшедшим.

— Ведь он не в самом деле на стену лезет или кусается. Он меня даже любит по-своему, хотя и не даст слова сказать, чтобы не возразить. Я, впрочем, совершенно доволен; получаю тысячу серебром в год на всем готовом, даже сигарок не покупаю. Он очень деликатен, что до этого касается. Чего-нибудь стоит и то, что на свет посмотришь. Да, послушайте, надобно вам показать моего чудака.

— Бог с ним совсем. Кстати, вы не только других не знакомьте, но и сами будьте осторожны, со мной верноподданным дозволяется только грубить, а не то вас, пожалуй, после возвращения из Италии в такую Калабрию пошлют, где ни попов, ни разбойников нет. А может быть, и *peggio* — такое зададут *agreggio*¹.

— Ха, ха, ха — эк язык-то, язык, все тот же, все сядом, все бы кусаться, вот, небось, этого не забыли — *agreggio*. Не боимся мы, наше дело медицинское; ну, позовут к Леонтию Васильевичу, что же? Я скажу откровенно: «Помилуйте, генерал, на дороге встретил человека, без живота лежит, не может дальше ехать, ну я ему лауданума с мятой дал, это обязанность звания, долг «человечества». Он ведь и поймет, что это вздор, ну, да умный человек, надоело же все в Сибирь да в Сибирь, скажет: «Ну, вперед будьте осторожны, я говорю для вашего собственного блага, это отеческий совет». Так и отпустит. Нынче у нас как-то меньше смотрят за этим, ей-богу; у Излера «Пресса» лежит так, как «Петербургские ведомости», просто на столе лежит.

— И потом еще отборные нумера, не так, как здесь, — сплошь да рядом.

— Смейтесь, смейтесь, много, небось, вы здесь выиграли февральской революции?

— У... у... да вы преопасный человек, вы уж разрешили эдак о мятежах и злоумышленниках говорить, смотрите — до добра это не доведет.

— Я притащу моего пациента — ну что вам в самом деле; через час разъедетесь; он предобрейший человек и был бы преумный.

— Если б не сошел с ума.

¹ *peggio* — хуже (ит.); по-видимому, здесь игра слов: удары последуют один за другим, как в музыкальном аккорде арпеджио.

— Это несчастье... вам, ей-богу, все равно, а ему рассеяние и нужно и полезно.

— Вы уже меня начинаете употреблять с фармацевтическими целями,— заметил я, но лекарь уже летел по коридору.

Я не подчинился бы его желанию и его русской распорядительности чужою волею, но меня, наконец, интересовал светло-зеленый коммунист-помещик, и я остался его ждать.

Он взмошел робко и застенчиво, кланялся мне как-то больше, нежели нужно, и нервно улыбался. Чрезвычайно подвижные мускулы лица придавали странное и неуловимое колебание его чертам, которые беспрерывно менялись и переходили из грустно-печального в насмешливое, а иногда даже в простоватое выражение. В его глазах, по большей части никуда не смотревших, была заметна привычка сосредоточенности и большая внутренняя работа, подтверждавшаяся морщинами на лбу, которые все были сдвинуты над бровями. Недаром и не в один год мозг выдавил через костяную оболочку свою такой лоб и с такими морщинами, недаром и мускулы лица сделались такими подвижными.

— Евгений Николаевич,— говорил ему лекарь,— позвольте вас познакомить; представьте, какой странный случай, вот где встретился — старый приятель, с которым вместе кошек и собак резали.

Евгений Николаевич улыбался и бормотал:

— Очень рад — случай — так неожиданно — вы извините.

— А помните,— продолжал лекарь,— как мы собачонке сторожа Сыцова перерезали пневмогастрический нерв — закашляла голубушка.

Евгений Николаевич сделал гримасу, посмотрел в окно и, откашлянув раза два, спросил меня:

— Вы давно изволили оставить Россию?

— Пятый год.

— И ничего, привыкаете к здешней жизни? — спросил Евгений Николаевич и покраснел.

— Ничего.

— Да-с, но очень неприятная, скучная жизнь за границей.

— И в границах,— прибавил развязный лекарь.

Вдруг, чего я никак не ожидал, мой Евгений Николаевич покотился со смеху и наконец, после долгих усилий, успел настолько успокоиться, чтобы сказать прерывающимся голосом:

— Вот Филипп Данилович все со мной спорит, ха, ха, ха,— я говорю, что земной шар или неудавшаяся планета или больная, а он говорит, что это пустяки; как же после этого объяснить, что за границей и дома жить скучно, противно?

И он опять расхохотался до того, что жилы на лбу налились кровью. Лекарь лукаво подмигнул мне с таким видом превосходства, что мне стало его ужасно жаль.

— Отчего же не быть больным планетам? — спросил пресерьезно Евгений Николаевич, — если есть больные люди?

— Оттого, — отвечал лекарь за меня, — что планета не чувствует; где нет нервов, там нет и боли.

— А мы с вами что? Да для болезни нервов и не нужно, бывает же виноград болен или картофель? Я того и смотрю, что земной шар или лопнет или сорвется с орбиты и полетит. Как это будет странно: и Калабрия, и Николай Павлович с Зимним дворцом, и мы с вами, Филипп Данилович, — все полетит, и вашего пистолета не нужно будет. — Он снова расхохотался и в ту же минуту продолжал с страстной настойчивостью, обращаясь ко мне:

— Так жить нельзя, ведь это очевидно надобно, чтобы что-нибудь да сделалось; лучше планете сызнова начать; настоящее развитие очень неудачно, есть какой-то фаут¹. При составе, что ли, или, когда месяц отделялся, что-то не сладилось, все идет с тех пор не так, как следует. Сначала болезни были острые; каков был жар внутренний во время геологических переворотов! Жизнь взяла верх, но болезнь оставила следы. Равновесие потеряно, планета мечется из стороны в сторону. Сначала ударились в количественную нелепость; ну, пошли ящерицы в дом величины, папоротники такие, что одним листом экзерциргауз покрыть можно, ну, разумеется, все это перемерло, как же таким нелепостям жить. Теперь в качественную сторону пошло — еще хуже — мозг, мозг, нервы, развивались, развивались, до того, что ум за разум зашел. История сгубит человека, вы что хотите говорите, а увидите — сгубит.

После этой выходки Евгений Николаевич замолчал. Подали завтрак, он очень мало ел, очень мало пил и во все время ничего не говорил, кроме «да» и «нет».

¹ ошибка, промах (от фр. *faute*).

Перед концом завтрака он спросил бордо, налил рюмку, отведал и поставил ее с отвращением.

— Что, — спросил лекарь, — видно, скверное?

— Скверное, — отвечал пациент, и лекарь принялся стыдить трактирщика, бранить слугу, удивляться корыстолюбию людей, их эгоизму, упрекал в том, что трактирщики берут 35 процентов и все-таки обманывают.

Евгений Николаевич равнодушно заметил, что он не понимает, за что сердится лекарь, что он с своей стороны не видит, отчего трактирщику не брать 65 процентов — если он может, и что он очень умно делает, продавая скверное вино — пока его покупают.

Этим нравственным замечанием кончился наш завтрак.

III

Поврежденный с самого первого разговора удивил меня независимою отвагой своего больного ума. Он был явным образом «надломлен», и хотя лекарь уверял меня, что он во всю жизнь не имел ни большого несчастья, ни больших потрясений, я плохо верил в психологию моего доброго прозектора.

Мы поехали вместе в Геную и остановились в одном из дворцов, разжалованных в наш мешанский век в отели. Евгений Николаевич не показывал ни особенного интереса к моим беседам, ни особенного отвращения от них. С доктором он беспрестанно спорил.

Когда темные минуты ипохондрии подавляли его, он удалялся, запирался в комнате, редко выходил, был желто-бледен, дрожал, как в ознобе, а иногда, казалось, глаза его были заплаканы. Лекарь побанвался за его жизнь, брал глупые предосторожности, удалял бритвы и пистолеты, мучил больного разводящими и ослабляющими нервы лекарствами, сажал его в теплую ванну с ароматической травой. Тот слушался с желчной и озлобленной страдательностью, возражая на все и все исполняя, как избалованное дитя.

В светлые минуты он был тих, мало говорил, но вдруг речь его неслась, как из прорвавшейся плотины, прерываемая спазматическим смехом и нервным сжатием горла, и потом, скошенная середь дороги, она останавливалась, оставляя слушающего в тоскливом раздумье. Его странные парадоксальные выходки казались ему легкими, как таблица умножения. Взгляд его действительно был верен

и последователен тем произвольным началом, которое он брал за основу.

Он много знал, но авторитеты на него не имели ни малейшего влияния, это всего более оскорбляло хорошо учившегося лекаря, который ссылался как на окончательный суд на Кювье или на Гумбольдта.

— Да отчего мне, — возражал Евгений Николаевич, — так думать, как Гумбольдт? Он умный человек, много ездил, интересно знать, что он видел и что он думает, но меня-то это не обязывает думать, как он. Гумбольдт носит синий фрак — что же и мне носить синий фрак? Вот, небось, Моисею так вы не верите.

— Знаете ли, — говорил глубоко уязвленный доктор, обращая речь ко мне, — что Евгений Николаевич не видит разницы между религией и наукой, — что скажете?

— Разницы нет, — прибавил тот утвердительно, — разве то, что они одно и то же говорят на двух наречиях.

— Да еще то, что одна основана на чудесах, а другая на уме, одна требует веры, а другая знания.

— Ну, чудеса-то там и тут, все равно, только что религия идет от них, а наука к ним приходит. Религия так уж откровенно и говорит, что умом не поймешь, а есть, говорит, другой ум поумнее, тот, мол, сказывал вот так и так. А наука обманывает, воображая, что понимает как... а в сущности и та и другая доказывают одно, что человек неспособен знать всего, а так кое-что так и понимает; в этом сознаться не хочется, ну, по слабости человеческой, люди и верят, одни Моисею, другие Кювье; какая проверка тут? Один рассказывает, как бог создавал зверей и траву, а другой — как их создавала жизненная сила. Противуположность не между знанием и откровением в самом деле, а между сомнением и принятием на веру.

— Да на что же мне принимать на веру какие-нибудь патологические истины, когда я их умом вывожу из законов организма?

— Конечно, было бы не нужно, да ведь ни вы и ни кто другой не знает этих законов, ну, так оно и приходится верить да помнить.

В мире не было человека, менее способного ладить с нашим чудачком, как лекарь; он вовсе не был глуп, но принадлежал к числу тех светлых, практических умов, — умов подкожных, так сказать, которые дальше рассудочных категорий и общепринятых мнений не только не

идут, но и не могут идти. Он удивлялся, как я мог иной раз артистически наслаждаться разговорами Евгения Николаевича и брать его сторону; я утешал его, говоря: «Свой своему поневоле брат».

— Однако некоторые законы организма нам известны, — возражал защитник наук.

— Какие же, например?

— Мало ли — я не знаю — да чтобы далеко не ис-
кать — вот вам общий закон: все родившееся должно умереть.

— Зачем же? — возразил Евгений Николаевич, — что за долг умирать? Да это и не закон, это так, факт; внутренней необходимости никакой нет в смерти; неужели вы думаете, что медицина не дойдет до того, чтобы продолжить жизнь до бесконечности?

При этом вопросе и я, грешный человек, взглянул на него почти так же, как доктор.

— Я много встречал людей, — заметил я в свою очередь, — верящих и не верящих в бессмертие души, но вы первый, который не верите в смертность тела.

— Как не верить, я не то говорю, я только не вижу никакой серьезной необходимости в смерти. Жить значит есть окружающее; если пища будет поддерживать химический процесс, он и продолжится. Если пища будет мешать костям каменеть, хрящу делаться костью, крови становиться гуще или жиже, нежели надобно, на что же умирать? Родившееся должно жить; оно умирает не потому, что родилось, а потому, что не ту пищу нужно. Следует ли теперь из того, что мы плохие повара, что смерть нельзя удалить на бесконечное время? Жизнь лучше не просит, как продолжаться.

— Со стороны послушать, точно будто и дело, — сказал Филипп Данилович. — А вот как нам быть с этим, если медицина дойдет до того, что людей будут лечить от смерти; а планета, которая, по-вашему, сильно хиреет, совсем зачахнет и умрет; странное будет положение — пересажать придется на Луну или прямо на Венеру.

Вопрос этот несколько смутил Евгения Николаевича, он задумался, походил по комнате и потом с видом человека, доискавшегося до важного разрешения, ответил:

— Tout bien pris¹, болезнь не так глубока, я, может, ошибался; во-первых, уж то хорошо, что болезнь специаль-

¹ Приняв все во внимание (фр.).

ная — один только род человеческий ею поражен. Да и род-то человеческий не весь болен. Это местная болезнь, эндемическая в одной Европе. Так, как холера идет с берегов Инда, чума с берегов Нила, желтая лихорадка с устьев Миссисипи, так болезнь исторического развития идет из Европы. Как только люди коснутся этой проклятой земли, так их мозг и поражается болезнью. С пелазгов, с греков начиная и до нашего времени. Англия разнесла заразу по всему земному шару. Чего Австралия — совсем негодный материк, и тот не оставляют в покое. В Африке жить нельзя европейцу — так по окраинам поселились: вот вам за холеру да за чуму; это уж не зуб за зуб, а челюсть за зуб.

— Вы так рассуждаете, — сказал я ему шутя и взяв его за обе руки, — что я несколько не удивлюсь, если после вашего возвращения Николай Павлович сделает вас министром народного просвещения.

— Не обвиняйте меня, пожалуйста, не обвиняйте, — возразил он с чувством, — и не шутите над моими мыслями. Я сам шутил над Руссо и знаю, как Вольтер ему писал, что учиться ходить на четвереньках поздно. Трудом тяжелым и мученическим дошел я до того, что понял, откуда все зло — понял, и сам оробел; я никому не говорил, молчал, но когда страдания и плач людей становились громче и громче, зло очевиднее и очевиднее, тогда я перестал прятать истину. Мы погибшие люди, мы жертвы вековых отклонений и платим за грехи наших праотцев, где нас лечить! Будущие-то поколения, может, опомнятся.

— Итак, *à la fin des fins*¹, выздоровление человека начнется тогда, когда, вместо прогресса, люди пойдут спать с целью зачислиться со временем в орангутанги, — сказал лекарь, закуривая свежую сигару.

— Приблизиться к животным не мешает после неудачных опытов сделаться ангелами. Все звери рассчитаны по среде, в которой жить должны, перестановки почти всегда губительны. Речная вода для нас приятнее и чище морской, а пустите в нее какого-нибудь морского моллюска — он умрет. Человек вовсе не так богат одарен природой, как воображает; болезненное развитие его нервов и мозга увлекает его в жизнь ему не свойственную, высшую, в ней он гибнет, чахнет, мучится. Где люди переломили эту болезнь, там они успокоились, там они довольны и были бы счастливы, если бы их оставля-

¹ в конце концов (фр.).

ли в покое. Посмотрите на эти ряды поколений где-нибудь в Индии: природа им дала все с избытком, язва государственной и политической жизни прошла, болезненное преобладание ума над другими отправлениями организма утихло; всемирная история их забыла, и они жили так, как людям хорошо живется, так, как людям возможно жить до проклятой Ост-Индской компании, которая все перепортила.

— Впрочем,— заметил лекарь,— толпа почти так и у нас живет.

— Это было бы важнейшее доказательство в мою пользу; то, что вы называете толпой, это-то и есть человеческий род; но толпе не дают жить так, как она хочет,— вот беда-то в чем. Просвещение страшно дорого стоит; государство, религия, солдаты морят с голоду нижние слои, да чтобы окончательно их сгубить, развешивают перед их глазами свои богатства, они развивают в них неестественные вкусы, ненужные потребности и отнимают средства удовлетворения даже необходимых; какое печальное, раздирающее душу положение! Снизу кишит задавленное работой, изнуренное голодом население, сверху вянет и выбивается из сил другое население, задавленное мыслью, изнуренное стремлениями, на которые так же мало ответа, как мало хлеба на голод бедных. А между этими двумя болезнями, двумя страданиями, между лихорадкой от другой <трудной?> жизни и чахоткой от сумасшедших нерв, между ними лучший цвет цивилизации, ее балованные дети, единственные люди, кое-как наслаждающиеся, кто же они? — Наши помещики средней руки и здешние лавочники. Но природа себя в обиду не дает... она клеймит за измену не хуже всякого палача... — продолжал он, ходя по комнате, и вдруг остановился перед зеркалом: — Ну, посмотрите на эту рожу — ха, ха, ха, ведь это ужасно, сравните любого крестьянина нашего со мной, новая *varietas*¹, которую Блуменбах проглядел, «кавказско-городская», к ней принадлежат чиновники и лавочники, ученые, дворяне и все эти альбиносы и кретины, которые населяют образованный мир: племя слабое, без мышц, в ревматизме и притом глупое, злое, мелкое, безобразное, неуклюжее — точь-в-точь я, старик в тридцать пять лет, беспомощный, ненужный, который провел всю жизнь, как кресс-салат, выращенный зимой между двух войлоков,— фу, какая гадость! Нет, нет, так продолжаться не может, это слишком

¹ разновидность (лат.).

нелепо, слишком гнило. К природе... к природе на покой,— полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественного устройства; оставить ее, да и конечно, полно помогать невозможных вещей. Это хорошо влюбленным девочкам мечтать о крыльях, von einer besseren Natur, von einem andern Sonnenlichte¹. Пора домой на мягкое ложе, приготовленное природой, на свежий воздух, на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалия.

— Так это уже просто врассыпную по лесам? — заметил Филипп Данилович.

— Люди всегда будут жить стадами, — отвечал докторально наш чудак.

— Евгений Николаевич, — прибавил я, — а ведь как люди-то надуют философию истории и учение о совершенствовании, когда они вылечатся от хронической болезни historia morbus² и начнут жить мирными стадами?

— Да, да, — с восторгом подхватил он, — Кондорсе-то с своей книжкой, ха, ха!

И Евгений Николаевич, покрасневший в лице, с жилами, налившимися кровью, на лбу, вдруг сморщился, сделал серьезный вид и упорно замолчал.

IV

Вы там что ни толкуйте, Филипп Данилович, а в истории вашего больного есть какие-нибудь странные события, — сказал я раз доктору, гуляя с ним по мраморной террасе у моря.

— Ну, да как не быть чего-нибудь, кто же до тридцати пяти лет доживал без каких-нибудь неприятностей?

— Какие же однако были у него неприятности?

— Я важного ничего не знаю. Вы сами видите, какой организм, нервы почти наружи, всякая всячина его раздражает, крови нет, от природы слаб, пищеварение скверное, матери было за сорок лет, когда он родился, да еще по смерти отца форсепсом полуживого достали. А тут петербургский климат, богатство, английская болезнь, глупое холенье довоспитали. С родными он никогда особенно близок не бывал; оно и немудрено, он давно уже занимается болезнью земного шара и излечением рода человеческого от истории, а те думают, как бы

¹ о лучшей природе, о другом солнечном свете (нем.).
² недуга истории (лат.).

побольше денег слупить с крестьян. Разумеется, хозяйство шло у него через пень-колоду; сестра жила на его счет и теперь на его счет всю семью содержит, да это его и не заботит, благо конца нет деньгам. Сначала, говорят, он жил покойно, занимался науками, не выходил почти никогда из своей половины, пристрастился к музыке, читал всякую всячину, только на службу никак не хотел. Потом, говорили, какая-то девчонка обманула его и обобрала. Он все становился пасмурнее, тяжелее для окружающих, ипохондрия развивалась, они его и спровадили.

— Какая же это девчонка его обманула?

— У вас так уж в голове и вертятся Вертер и Шарлотта, письма, пистолеты — мечтатели и вы страшные; успокойтесь, история эта очень проста. Шарлотта была сестрина горничная. Он презастенчивый и отроду не подходил близко к женщине, не знаю уж, как там их бог свел, только, говорят, он ее любил, вообразил, что чудо открыл, кантатрису¹, а она, как-то сговорившись с любовником, обокрала его — вот вам и весь роман. Я видел ее перед отъездом, так, неважная, а впрочем недурна; если б мы дольше остались в Петербурге, я, так и быть, приволокнулся бы за ней.

Больше я не мог ничего добиться от моего патолога, мне было досадно, что он так, играя, скользит по жизни, досадно, а может и завидно...

Стройная, высокая гёнуэзка в черном платье и покрытая белым, длинным, прикрепленным к косе вуалем, шмыгнула мимо нас, незаметно улыбнулась, прищурила глаза и быстро прошла. «Ah, che bellezza, che bellezza!»² — закричал лекарь. Она обернулась и поблагодарила его тем грациозным, легким, чисто итальянским движением руки, которым они кланяются и, как будто этого было мало, кивнула своей прекрасной головкой. Лекарь бросился за ней.

Я оставил его и пошел в *Stabilimento della Concordia*³.

Это самое изящное, самое красивое кафе во всей Европе. Там, бродя между фонтанами, цветами, при гремющей музыке и ослепительном освещении, переходя из мраморных зал в сад и из сада в залы, раскрытые

¹ певицу (от фр. *cantatrice*).

² Ах, какая прелесть, какая прелесть! (ит.)

³ кафе-ресторан «Конкордия» (ит.).

al fresco¹, середь энергических вороных голов римских изгнанников, середь бесконечных савойских усов и генуэзских породистых красавиц, я продолжал думать о поврежденном.

Вспоминая его речи и рассказ лекаря, я пошел к одному из маленьких столиков в саду и спросил граниту². Увидя меня, человек, сидевший за ближним столом, поспешно встал, выпил наскоро свою рюмку росолло³ и собрался уйти. Это был слуга Евгения Николаевича, который так по-русски тянулся на козлах.

— Для чего ж вы это идете? Я вам не мешаю, ни вы мне.

— Помилуйте-с,— отвечал Спиридон, снявши шляпу,— оно нашему брату не приходится то есть с господами.

— Ведь вы теперь не в Петербурге и не в Москве. Пожалуйста, наденьте вашу шляпу и оставайтесь — или я уйду.

Он остался и надел шляпу, но садиться не хотел никак.

— Да вы ведь сидели же прежде меня, почем вы знаете, кто были ваши соседи, может, князя как-нибудь,— спросил я.

— Это точно-с. Но ведь вы русские, а те что же — тальянцы-с.

«Voilà mon homme»⁴,— подумал я и потребовал у камерьера⁵ графинчик марсалы и две рюмки.

— Что это ваш Евгений-то Николаевич здоровьем эдак расстроен; жаль его, такой, кажется, хороший человек.

— Это-с, позвольте вам доложить, таких господ на редкость, самый душевный-с характер. Как же не жаль-с, оченно даже жаль; мыслями все расстраиваются... такой нрав-с. Все изволят к сердцу брать и никакой отрады не имеют. Бывало, когда им на душе нехорошо сделается, сядут за клавинорд — то есть так играли, что не уступят любому музыканту в александринском оркестре. Господа, прекрасно одетые, барыни настоящие останавливались иной раз на улице. Бывало, в передней сидишь, сердце

¹ настезь (ит.).

² мороженого (от ит. *granita*).

³ паливки (от ит. *rosolio*).

⁴ «Вот нужный мне человек» (фр.).

⁵ официанта (от ит. *cameriere*).

радуется, каково наш-то отличается. Иногда так жалобно играет, что даже истома возьмет,— отменно играли. Ну, впрочем, как оставили музыку, так больше стали сбиваться, по нашему замечанию.

— Да разве он совсем не играл дома последнее время?

— Больше двух годов-с. Раз София Николаевна, сестрица их, бывши в их комнате, отворили клавикорд и так взяли одну аккорду: «Вечерком красна девица». А Евгений Николаевич только глухо сказали: «Зачем это вы, сестрица, боже мой». Да так, как пласт и упали, потом сделалась спазмы, слезы и смех-с — с полчаса продолжалось. Дохтур говорит — нервы у них так расстроены, не могут слышать музыки. Так с тех пор наш дом и замолк-с. А им все хуже; в лице много перемены, стареют... так жаль, что сказать нельзя, больше все молчат, а иногда слово одно скажут: «Ты устал, чай, Спиридон, поди-ка да ляг», таким трогательным голосом, и взгляд такой добрый у них делается, и видно самим-то им плохо, наболело на сердце; вот те и богатства и всё,— иной раз, доложить вам откровенно, слеза прошибет.

— Мне Филипп Данилович говорил, что у Евгения Николаевича какая-то история была с горничной.

— Дело точно было-с. И она, эта самая Ульяна, доводится мне сродни, племянница, сестрина дочь. Наварила каши чего сама не стоит — а добрейшая душа была, ей-богу-с. Жаль, что барин тогда так к сердцу приняли и огорчились. Просто дуру следовало проучить и все тут; и она благодарить стала бы потом, ей всего было лет восемнадцать, какой ум в эти лета, к тому же баловство-с.

— Да в чем же дело-то?

— Извольте видеть, Ульяна эта у Софии Николаевны при комнате находилась, и барыня ее жаловали, умница такая была. Был у нас тоже-с человек, Федор, человек пьющий, но, впрочем, играл на скрипке отменно; только рука уж очень дрожала от горячих напитков, а чести был примерной. Вот Федор этот возьми и обучи песни петь Ульяну, голосом она брала-с и на музыку препонятливая. Так это шло, год, другой, и никто подумать не мог, что за катавасия выйдет. Барин наш слышали несколько раз, как Ульяна поет, и говорят сестрице: «Ведь это клад, дайте ей, мол, вольную, а я ее певицей сделаю». Вот извольте заметить, какая душа, не хотели,

чтобы, обучившись, крепостной осталась. Сестрица им в глаза смотрела: «Сейчас, мол, Енюша», и отпускную совершила. Учитель ходил из немцев, иной раз с нами вступал в разговор, шинель когда подаешь или что, приостановится, не гордый был, простой, — вот как вы теперь изволите, примером, со мной разговаривать. — «Ну, говорил он, а помещик ваш в музыке собаку съел, мне у него учиться приходится, и голос у фрейлен Юльхен очень прекрасен; да и глаза-то у нее недурны, философ-то ваш знает, где раки зимуют». Ну, так, бывало, посмеемся для балагурства, а то в самом-то деле он у нас вел себя, как красная девица, только к церкви не был прибежен и постов не соблюдал. Однако мы стали замечать уж и промеж себя, что Евгений Николаевич очень руководствуются Ульяной. Уж и сестрица-то перепугалась, что, мол, много воли заберет. Но только она никому вреда никогда не делала и смысла не имела о том; так, детский, пустой нрав, безосновательный — поет себе, бывало, дендешской да конфет закупит, а грубого слова никто не слышал, со всеми преласковая была.

К тому случаю у Евгения Николаевича будь камердинером Архип. С детства при них состоял, только был года четыре помоложе, казачком так поступил с малолетства к Евгению Николаевичу на половину. И кто его знает, какой человек, не то что дурной, а безалаберный и нерегулярный. Пить пойдет, весь дом поит до положения риз и с себя все спустит — часы, жилетку, исподнее. Барин его жаловали очень, с детства, например, росли вместе, и что ему давали — невероятно, они же забывчивы. Евгений Николаевич ему верили, как самому себе. Вот этот самый Архип и сбил с толку Ульяну. Мудрено ли глупую девку с ума свести, а уж это до добра в доме никогда не доводит; на стороне разве мало есть, слава богу, этого снадобья довольно, Петербург не клином сошелся. Сначала все шло благополучно, вдруг только случилась такая беда, что у нас в доме отродясь не бывало; у барина из шкатулки пропало две тысячи рублей. Евгений Николаевич, изволите видеть сами, какой человек, самый бессчетный, они бы, может, и не догадались, но деньги-то следовало сестрице отдать, они их и приготовили с вечера, утром хватить-похватить, а денег нет. Поднялся в доме гвалт, Архип наш суетится, ищет, платья швыряет, волосы на себе рвет — денег нет. Барин-то и ничего, словно не его дело, но София Николаевна расходилась, говорит — это дело Федьки-музыканта, он все пьян,

откуда деньги берет. Так-с, женское рассуждение, видите, — на вино эдакий куш украл. Взял я смелость и говорю: «Вы меня простите, барыня, а только Федор человек слабый, точно, но вором не будет, я его с малолетства знаю». — «Ты, говорит, молчи, да за себя отвечай» — и Федора отправили при записке во Вторую адмиралтейскую. Жаль мне стало старика, так, мочи нет, сошел я в людскую да и говорю: «Ребята, если вор дома, следует его сыскать и выдать, а старого человека и невинного не приходится отдавать на терзание, хоша на то и барская воля, но мы в очистку себя и его вора поймать должны». Все наши говорят в одно слово: «Как не сыскать вора, коли дома». Ну, думаю, постой, не уйдешь ты, голубчик, от нашего глаза, а сам пошел наверх и присматриваюсь часок, другой, так, как будто не мое дело. Вижу я-с эдак в Архипе перемену. Э, брат, это не мадель, суетится слишком Архип, ищет после обеда за диваном, извольте знать, у нас что называются турецким диваном, подушки по стене. «Что, мол, ты это, Архип, хлопочешь?» — «Да что, говорит, всё эти проклятые деньги, такая беда». — «Да как же, мол, деньгам попасть за диван?» А он мне в ответ: «Да вот, мол, подите, с полоумного спрашивайте отчет; все побросает, а потом нищи за ним, да еще, чего доброго, скажут, что кто-нибудь украл».

Посмотрел я ему в глаза, вижу — взгляд нехорош, ну, думаю, была не была — то есть Федора мне было смерть жаль, да и на дом похула нехороша, — я-таки, не говоря худого слова, хватя его в грудь да и на пол, тут я его коленкой прижал да и говорю: «Ну, признавайся, мошенник, твое это дело, а других не марай и за себя не губи». Он так оторопел, что ни слова. На этот шум выходит барин. Я ему докладываю: «Батюшка, мол, Евгений Николаевич, извольте меня на поселение послать, как угодно, а деньгам вашим вор не кто иной, как Архип». — «Да ты, братец, пьян, — барин-то мне в ответ, — оставь его, как вором называть?» — «Нет-с, говорю, воля ваша, а я не пьян и до квартального надзирателя его не пушу. Что Федора, невинного человека, сестрица ваша отправила в часть, это бог рассудит. А вор ваших денег вот».

Барин эдак приостановился, подумал и таким тихим и грустным голосом сказал: «Архип, неужели в самом деле?» Не выдержал Архип, в три рывка залился, рванулся от меня и барину в ноги: «Виноват, говорит, кругом виноват и запирается не намерен. Запутался я в од-

ном нечистом деле, мне приходилось в острог идти или выкупиться, ну, лукавый подтолкнул меня. Готов я всякое наказание принять, а деньги ваши, Евгений Николаевич, еще целы». При этом он в азарте, расплаканный, вытащил из кармана ассигнации, завернутые в бумажку, и подал.

Барин все время не говорили ни слова, только, взявши деньги, они вздрогнули и вышли вон. А Архип так и взвыл: «Посажу себе пулю в лоб, не хочу больше горе мыкать, лучшего я не достоин; господи, что я наделал, ведь деньги-то были завернуты в Ульянino письмо — сгубил я себя и ее!»

«Спиридон», — позвал барин из кабинета, — я взошел. А Архип так и остался на коленях расплаканный, инда самому мне жаль его стало. Барин стояли близ дверей, прислонившись к стене, такой страшный, будто неживой, губы посинели; они два раза хотели что-то сказать — и не могли, голоса не было, — потом они так ручку приложили ко лбу — плохо-с им было. Собрались с силами, наконец, и говорят таким глухим голосом: «Спиридон, никто в доме не знает, что было. Так вот поди сюда, вот отпускная Архипа и еще отпускная, — тут они остановились, однако так и не сказали, — так ты им отдай да устрой, чтобы сейчас из дому переехали, только сейчас, не мешкая, возьми сколько надобно денег из тех. Да ты, Спиридон, сделай это все помягче, понимаешь; ну, да хорошо, ступай», — прибавил он, видя, что слова-то не выходят.

Ну, уж как бедная Ульяна плакала, у меня сердце надорвалось. И взять ничего не хотела своего: «У меня ничего, говорит, нет собственного. Хоть бы взглянуть еще раз на него, прощенья бы попросить, руку бы поцеловать. Ведь как добр-то он был ко мне, как ласково смотрел — пусть бы, кажется, побил меня, все лучше бы было». — «Ну, я говорю, послушай, Уля, о том надобно было думать прежде, а теперь убирай-ка свои пожитки». Пока я с ней хлопотал, привел полицейский Федора, и комиссар с ним, говорит: «Сколько мы его ни принимались сечь, не признается; видно, деньги не он украл». Я посмотрел — Федор в лице нехорош. Комиссар говорит барыне: «Следует допросить других, на кого есть подозрение». Она пошла к братцу, что-то по-французски потолковала, вдруг она выходит в зал и говорит комиссару: «Представьте, какой случай, брат мой нашел деньги, мне, право, совестно, что вас даром обеспокоили». — «Помилуй-

те, это наша обязанность», — говорит комиссар, а она ему красненькую да Федора приказала чаем напоить.

Я вечером взошел с докладом, барин сидел за столом, опершись на обе руки. Увидевши меня, он как с испуга, вскочил, поднял руку и сказал: «Не нужно». С тех пор и помину не было об этой истории. Тем дело, почитай, и кончилось. Ну, только Федор слег в постель да месяца через два и помер. Невинную душу загубила София Николаевна. Наше крепостное дело, не приведи бог!

— Я не понимаю в этой истории одного: как же Ульяна могла так сблизиться с Архипом — из ваших слов видно, что она Евгения Николаевича любила.

— Да еще как-с. Вот теперь третий год пошел, как она выбыла из дома. Без слез ни разу не говорила о барине, и Архип ей совсем опостылел; он, впрочем, ушел в солдаты охотником, мы об нем не слыхали после. Все ветреность-с и баловство. По нашему простому рассуждению, извольте видеть, Ульяна и не подумала, ей и в голову не приходило, что она барину в самом деле что-нибудь значит. Ведь все же он был барин, не могла же она его не бояться, быть его ровней, не могла, эдак, вольный дух иметь с ним, как с Архипом, они же по характеру всегда серьезны бывали. Извольте сами знать, молодость кипит, все бы смехи да дурачества. Ну, Архип мелким бесом, бывало, рассыпается — и пляшет, и на торбане играет, и кроновским пивом потчует, и мороженым угощает, — всякий под богом ходит, оно нехорошо потачку давать, но так, к слову, по человечеству рассудить, так оно и понятно. В самый день нашего отъезда, утром, из ресторации с Сучка, где мы обыкновенно чай пивали, прибегает за мной половой, говорит: «Барыня вас требует какая-то»; что, думаю, за пропасть, однако пошел. Смотрю — Ульяна сидит и опять заливается слезами. «Дяденька, говорит, уладьте как хотите, мне хоть бы взглянуть на Евгения Николаевича, и что у них за сердце за жесткое, что гневается так долго; меня, говорит, в театр в хористки взяли, ему ведь я обязана, что петь обучил. Хоть бы поблагодарить, слово одно сказать, камень точно на сердце. Да еще Василеиса говорит, что и болезнь их все через меня — жизнь мне не мила». Не хотелось мне долго барина беспокоить, но вижу — она никакого интереса не имеет, а сильно кручинится; думаю, что же, головы не снимет. Вхожу в кабинет, Евгений Николаевич, как обыкновенно, сидят в задумчивости, вид ничего, добрый. Я, эдак, немного

позамямшись, говорю: «Да вот еще, Евгений Николаевич, я осмелюсь доложить, так уж оченно меня просила»; вдруг у них глаза так сверкнули, лицо переменялось. Я поскорее за чемодан. Она потом, бедняжка, в людской спряталась, чтобы в окно взглянуть, когда мы поедем; тут я Филиппу Даниловичу ее показывал...

— Я вам очень, очень благодарен,— сказал я Спиридону,— ну пойдете-ка в наше *Stose di Malta*¹ да выпьемте последнюю рюмку марсалы за здоровье бедной Ульяны. Мне ее жаль, несмотря ни на что.

— Точно-с, не наше дело чужие грехи судить, и за ваше, сударь, здоровье с тем вместе,— прибавил Спиридон...

С. Елен, возле Ниццы. Зимой 1851

¹ Мальтийский крест (ит.).



Трагедия за стаканом грока



Тебе, друг мой Тата, дарю я этот рассказ в память
нашего свиданья в Неаполе.

28 сентября 1863 г.

Очерки, силуэты, берега беспрерывно
возникают и теряются — вплетаясь своей тенью и своим
светом, своей ниткой в общую ткань движущейся с нами
картины.

Этот мимолетный мир, это проходящее — все идет
и все не проходит, а остается чем-то *всегдашним*. Мимо
идет, видно, *вечное* — оттого оно и не проходит. Оно так
и отражается в человеке. В отвлеченной мысли — нормы
и законы; в жизни — мерцание едва уловимых частностей
и исчезающих форм.

Но в каждой задержанной былинке несущегося вихря
те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и пере-
воротах, — и буря в стакане воды, над которой столько
смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как
кажется.

I

Я искал загородный дом — утомившись
одними и теми же вопросами, одними и теми же ответами, я
взошел в трактир, перед которым стоял столб и на столбе
красовался портрет Георга IV — в мантии, шитой на манер
той шубы, которую носит бубновый король, в пудре, с взби-

тыми волосами и с малиновыми щеками. Георг IV, повешенный, как фонарь, и нарисованный на большом железном листе, не только видом напоминал путнику о близости трактира, но и каким-то нетерпеливым скрежетом петель, на которых он висел.

Сквозь сени был виден сад и лужайка для игры в шары — я прошел туда. Все было в порядке — то есть совершенно так, как бывает в загородных трактирах под Лондоном. Столы и скамьи под трельяжем, раковины в виде руин, цветы, посаженные так, чтоб вышел узор или буква; лавочки сидели за всеми столами с супругами (может быть, не с своими) и тяжело напивались пивом, сидельцы и работники играли шарами тяжести и величины огромного пушечного ядра, не выпуская из рта трубки.

Я спросил стакан гроку, усаживаясь в стойло под трельяжем.

Толстый слуга, в очень истертом и узком черном фраке, в черных и лоснящихся панталонах, приподнял голову и вдруг, как обожженный, повернулся в другую сторону и закричал: «Джон — водки и воды в 8-й №!» Молодой, неловкий и рябой до противности малый принес поднос и поставил передо мной.

Как ни быстро было движение толстого служителя, но лицо его мне показалось знакомо; я посмотрел — он стоял спиной ко мне, прислонясь к дереву. Фигуру эту я видел... но как ни ломал себе голову, вспомнить не мог; удрученный, наконец, любопытством и улучив минуту, когда Джон побежал за пивом, я позвал слугу.

— Yes, Sir!¹ — отвечал спрятавшийся за дерево слуга, и как человек, однажды решившийся на трудный, но неотвратимый поступок, как комендант, вынужденный сдать крепость, он бодро и величественно подошел ко мне, несколько помахивая грязной салфеткой.

Эта величественность и показала мне, что я не ошибся, что я имею дело с старым знакомым.

...Три года тому назад останавливался я на несколько дней в одном аристократическом отеле на Isle of Wight. В Англии эти заведения не отличаются ни хорошим вином, ни изысканной кухней, а обстановкой, рамами — и на первом плане прислужой. Официанты в них совершают службу с важностью наших действительных статских

¹ Да, сэръ! (англ.)

советников прежнего времени — и современных камергеров при немецких *задних дворах*.

Главным waiter'ом¹ в Royal hotel был человек неприступный, строгий к гостям, взыскательный к живущим, он бывал снисходителен только к людям, привычным к отельной жизни. Новичков он не баловал и вместо ободрения — взглядом обращал назад дерзкий вопрос, «как могут котлета с картофелем и сыр с латуком стоить 5 шиллингов?» Во всем, что он делал, была обдуманность, потому что он ничего не делал спроста. В градусе поворота головой и глазами, и в тоне, которым он отвечал «Yes, Sir», можно было до мелочи знать лета, общественное положение и количество издерживаемых денег господина, который звал.

Раз, сидя один в кабинете с открытым окном, я его спросил, позволяют ли здесь курить. Он отступил от меня к двери и, выразительно глядя на потолок, он мне сказал голосом, в котором дрожало негодование: «Я, Sir, не позволяю, Sir, что вы спрашиваете».

— Я спрашиваю, можно ли курить здесь? — сказал я, поднимая голос, что всегда удается с вельможами, служащими в Англии за трактирным, а в России за присутственным столом.

Но это был не обыкновенный вельможа, — он выпрямился, но не потерялся, а отвечал мне с видом Каратыгина в «Кориолане»:

— Не знаю — в мою службу, сэр, этого не случалось, *таких* господ не бывало — я справлюсь у губернатора.

Не нужно и говорить, что губернатор велел меня за такую дерзость конвоировать в душный smoking-room², куда я не пошел.

Несмотря на гордый нрав и на постоянно бдящее чувство своего достоинства и достоинства Royal hotel, главный waiter сделался ко мне благосклонен, и этому я обязан не личным достоинствам, а месту рождения — он узнал, что я русский. Имел ли он понятие о вывозе пеньки, сала, хлеба и казенного леса, я не могу сказать, но он положительно знал, что Россия высылает за границу огромное количество князей и графов и что у них очень много денег. (Это было до 19 февраля 1861 г.).

Как аристократ по убеждениям, по общественному

¹ лаксем (англ.).

² курительную комнату (англ.).

положению и по инстинктам — он с удовольствием узнал, что я русский. И, желая поднять себя в моих глазах и сделать мне приятное, он как-то, грациозно играя листком плюща, висевшего над дверью в сад, обратился ко мне с следующей речью: «Дней пять тому назад я служил вашему великому князю — он приезжал с ее величеством из Осборна».

— А!

— Ее величество, «His Highness»¹ кушали лонч, ваш эрчдук очень хороший молодой человек, — прибавил он, одобрительно закрывая глаза, и, ободрив меня таким образом, поднял серебряную крышку, под которой не простывала цветная капуста.

Когда я поехал, он указал мизинцем дворнику на мой дорожный мешок — но и тут, желая засвидетельствовать свою благосклонность, схватил мою записную книжку и сам ее донес до кеба. Прощаясь, я ему подал гафкрону сверх взятого за службу, он ее не заметил, и она каким-то чародейством опустилась в карман жилета такой белизны и крахмальной упругости, которых мы с вами не допросимся у прачки...

— ...Ба! — сказал я, сидя в стойле трактирного сада, служителю, подававшему мне спички, — да мы старые знакомые!..

Это был он.

— Да, я *здесь*, — сказал waiter и вовсе не был похож ни на Каратыгина, ни на Корниолана.

Это был человек, разбитый глубоким горем, в его виде, в каждой черте его лица выражалось невыносимое страдание, человек этот был убит несчастьем. Он сконфузил меня. Толстое, румяное лицо его, откормленное до арбузной упругости и полноты мясами Royal hotel'я, висело теперь неправильными кусками, обозначая как-то мускулы в лице; черные бакенбарды его, подбритые на пол-лице, с необыкновенно удачным выемом к губам, одни остались памятником иного времени.

Он молчал.

— Вот не думал... — сказал я чрезвычайно глупо.

Он посмотрел на меня с видом пойманного на деле преступника и потом окинул глазами сад, деревянные скамьи, пиво, шары, сидельцев и работников. В его памяти очевидно воскресал богатый стол, за которым сидели

¹ «Его высочество» (англ.).

русские эрчдук и ее величество, за которым стоял он сам, благоговейно нагнувшись и глядя в сад, посаженный по кипсеку и вычищенный, как будуар..., воскресала вся столовая, с ненужными вазами и кубками, с тяжелыми, толстыми шелковыми занавесами, — и его собственный безукоризненный фрак воскресал, и белые перчатки, которыми он держал серебряный поднос со счетом, приводившим в уныние неопытного путника...

А тут — гам играющих в шары, глиняные трубки, плебейский джиниватер и вечное пиво draft.

— Тогда, Sir, было другое время, — сказал он мне, — а теперь другое!..

— Waiter, — закричал несколько подгулявший сиделец, стуча оловянной стопкой по столу, — пинту гафанаф, да скорее, please!¹

Мой старый знакомый взглянул на меня и пошел за пивом — в его взгляде было столько унижения, стыда, презрения к себе, столько помешательства, предшествующего самоубийству, что у меня мороз пробежал по жилам. Сиделец стал расплачиваться медью, я отвернулся, чтобы не видеть лишний пенс.

Плотина была прорвана — ему хотелось сказать мне что-нибудь о перевороте, низвергнувшем его из Royal hotel'я в «Георга IV». Он подошел ко мне без моего зова и сказал: «Я очень рад вас видеть в полном здравье».

— Что нам делается!

— Как это вам вздумалось прогуляться в наши захолустья?

— Дом ишу.

— Домов много, вот тут, пройдя шагов десять направо — да еще другой. А насчет того, что со мной случилось, это точно замечательно.

Все, что я заработал с малых лет, все погибло — все до фардинга... Вы, верно, слышали о типерарском банкротстве — именно тут-то все и погибло. Я в газетах прочитал, сначала не поверил, бросился, как поврежденный к солиситору — тот говорит: «Оставьте всякое попечение, вы не спасете ничего, а только последнее израсходуете — вот, например, мне за совет потрудитесь 6 шилл. 6 пенсов отдать».

Ходил я, ходил по улицам — день целый ходил — думаю, что ж тут делать, со скалы да и в море — самому

¹ пожалуйста (англ.).

утопиться да и детей утопить, — я даже испугался, когда их встретил. Слег я больным — это в нашем деле первейшее несчастье, через неделю воротился к службе — разумеется, лица нет, а внутри словно рана не дает покоя. Губернор раза два заметил, что вид у меня печальный, что сюда, мол, не с похорон ездят, гости не любят печальные физиономии. А тут середь обеда я уронил блюдо — отроду подобного случая не бывало — гости хохочут, а содержатель вечером отзывает меня в сторону и говорит: «Вы уж себе поищите другое место — у нас нельзя служить невоздержному человеку».

— Как, говорю я, я был болен.

— Ну, так и лечитесь — а здесь для *таких* места нет.

Слово за слово пошло крупно — он мне в отместку ославил по всем отелям пьяницей и буяном. Как ни бился, нет места — переменял я имя, как какой-нибудь вор, и стал искать хоть на время место — нет как нет, между тем всё, даже серьги и брошка жены — ей их подарила герцогиня, у которой она жила четыре года в должности *upreglady-maid*¹, — все пошло на крючок. Пришлось закладывать платье — это у нас первая вещь — без платья ни в одно хорошее заведение не примут. Служил я иногда во временных буфетах и в этой бродячей жизни совсем обносился — я и сам не знаю, как меня принял хозяин «Георга IV», — и он взглянул с отвращением на свой старый фрак, — кусок хлеба могу для детей заработать, и жена... она теперь... — он приостановился, — она стирает на других, не надобно ли вам, Sir, вот карточка... она очень хорошо стирает. А прежде никогда... никогда... она... ну, да что толковать — где же нищим выбирать работу... Лишь бы *милости* не просить — а только тяжело...

Слеза, дрожавшая на реснице, блеснула и капнула на его грудь, уже не покрытую жилетом из лубка или латуни с белой эмалью.

— Waiter! — кричали с другой стороны.

— Yes, Sir!

Он ушел, и я тоже.

¹ главной горничной (англ.).

Такой искренней разрушающей боли я давно не видал. Человек этот явным образом подавался под тяжестью удара, разрушившего его существование, и, конечно, страдал не меньше всех павших величин, прибиваемых со всех сторон к английскому берегу...

Не меньше?... Да полно, так ли? Не больше ли в десять, во сто раз страдал он, чем Людвиг-Филипп, например, живший возле «Георга IV»?

Крупные страдания, перед которыми обыкновенно останавливаются целые столетия, пораженные ужасом и состраданием, большою частью достаются крупным людям. У них бездна сил и бездна врачеваний. Удары топора в дуб раздаются по целому лесу, раненое дерево стоит себе, потряхивая верхушкой, — а трава грядой падает, подрезанная косой, и мы, не замечая, топчем ее ногами, идучи за своим делом. Я нагляделся на столько несчастий, что сознаю себя знатоком, экспертом в этом деле, и потому-то у меня перевернулось сердце при виде обнищавшего слуги, — у меня, видевшего столько великих нищих.

...Знаете ли вы, что значит везде, и особенно в Англии, слово *нищий* — beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи..., всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего...

...Усталый, оскорбленный возвращался этот человек в свою конуру из «Георга IV», преследуемый своими воспоминаниями, с своей открытой раной в груди, — и там его встречала старшая горничная герцогини, сделавшаяся по его милости прачкой. Сколько раз, должно быть, бессильный, чтоб наложить на себя руки, то есть покинуть детей на голодную смерть, он искал облегченья у единственного утешителя бедных и страждущих — у джинна, у оклеветанного джинна, снявшего на себя столько бремени, столько горечи и столько жизней, которых продолжение было бы одно безвыходное страдание, одна боль в невидимой мгле...

...Всё это очень хорошо — да почему этот человек не стал выше своего несчастья? В сущности, быть напыщенным лакеем в Quen's hotel или скромным половым «Георга IV» — разница не бог знает какая...

— Для философа, — но он был трактирным слугой,

в их числе редко бывают философы — я помню только двух: Езопа и Ж. Ж. Руссо — да и то последний в молодых годах оставил свою профессию. Впрочем, спорить нельзя, гораздо было бы лучше, если бы он *мог* стать выше своей беды — ну, а если он *не мог*?

Да зачем же не мог?

Ну, уж это вы спрашивайте у Маколея, Лингарда и пр..., а я вам лучше когда-нибудь расскажу о других *нищих*.

Да, я знал *великих нищих* — и потому-то, что я их знал, я и жалею слугу в «Георге IV», а не их.



Скуки ради

I

Я сел в вагон в самом скверном расположении духа, — ехать в путь, когда не хочется, скучно; ехать на лечение — еще скучнее... но чувствовать себя ко всему этому совершенно здоровым... этого и выразить нельзя...

Быть не в духе, скучать, капризничать можно, когда кто-нибудь этим огорчается, занимается, когда кто-нибудь развлекает, а сидеть в вагоне и знать, что никому дела нет до этого, что никто не обращает внимания, — это выше сил человеческих.

Я попробовал придрататься к соседу за то, что у него дорожный мешок велик, и нарочно сказал ему: «Ваш чемодан мне мешает». Дурак извинился и переложил, с кротостью, мешок на другое место.

Поэты говорят, что вынести они могут многое, но что им надобно *пропеть* свое горе... Пропеть *кому-нибудь* — петь без уха слушающего так же трудно, как легко петь без голоса... Уха-то, уха пригодного у меня не доставало. «Впрочем, — подумал я, — поэты для большего удобства поют чернилами, а я буду капризничать карандашом...» Затем я вынул из кармана только что купленный «Метогандит» и еще раз окинул взглядом соседей. Их было четверо — четыре в четырех углах. Когда это они успели забиться, сейчас нас спустили из *salle d'attente*¹. Что за безобразные рожи! Надобно правду сказать, род человеческий некрасив. Через две станции трое вышли

¹ зала ожидания (фр.).

и, едва я успел броситься в угол, вошли трое других, еще хуже, — так и видно, что череп им жмет мозг, как узкий сапог, что мысль их похожа на китайские ножки, на которых ходить нельзя, — слаба, мала, тесна... А жиру вволю. Средний класс во Франции очень потолстел за последние двадцать лет.

Впрочем, на каком же основании ждал я Аполлонов Бельведерских в случайном наплыве, который зачерпывала железная дорога, *chemin faisant*¹, почти не останавливаясь.

Красота вообще редкость; есть целые народы из *меньших братий*, у которых никакой нет красоты, например, обезьяны с своими ирландскими челюстями, молодыми морщинами и выдавшимися зубами, лягушки с глазами навывкате и ртом до ушей... Да и часто ли встречается красивая лошадь, собака? Одна природа постоянно красива, потому что мы на нее смотрим издали, с благойродной дистанции; к тому же она нам посторонняя и мы с ней не ведем никаких счетов, не имеем никаких личностей, смотрим на нее как чужие и просто не видим тех безобразий, которые нам бросаются в глаза в человеческих лицах и даже в звериных, имеющих с нашими родственное сходство. А присмотришься к лицам и, при всем их безобразии, не отвернешься. Лицо — послужной список, в котором все отмечено, паспорт, на котором визы остаются. И как это все умещается между темем и подбородком; все с малейшими подробностями, нескромностями и обличениями, все вываяно бедными средствами мышц, жира, оболочек и костей! Недаром мне Фан-Муйден говорил: «Чем больше я рисую, тем больше меня занимают лица, одни лица, головы, физиономии; что за неисчерпаемое богатство оттенков выражений», — «и невольных исповедей», — прибавил я.

Решительно, я слишком строго осудил тесные лбы, теснящие черепа, толстые носы, глупые глаза, ненужные усы — всё оттого, что был не в духе. Очень много уже бед было со мной еще до вагона. Перед самым отъездом оторвалась пряжка у чемодана. Господи, как смешно, беспомощно стоит наш брат перед такой бедой... Если б нас между Расином и Шиллером немного учили шилу да игле, взял бы да починил, а тут комическое отчаяние и мрачные рассуждения. Только что я успокоился на том, что без пряжки можно обойтись, стоит запереть чемодан, — ключ пропал! Сейчас был здесь, вот на этом столе,

¹ мимоходом (фр.).

как теперь вижу; перерываю, перебрасываю всё — ключа нет, и я, утомившись, сел на стул, самоотверженно скрестив руки на груди. Разн, мол, судьба, если еще есть стрела.

Какое счастье было, в старые годы, когда при ремне, при ключе состоял камердинер и на нем можно было выискать, зачем перегорел ремень и зачем сам потерял ключ. Ничего не может быть вреднее для здоровья, как именно то, что нельзя выместить на ком-нибудь беду, — поди тут и берегись.

Лонже, знаменитый физиолог, Лонже de l'Institut, — его авторитета не ответит никто — раз подымался со мной в Монпелье по улице, идущей вверх от медицинской школы.

— Куда вы торопитесь? — сказал он мне, останавливаясь, — не у всех такие легкие, как у вас, я вот не могу перевести духа. Погодите минуту, я вам расскажу, отчего я задыхаюсь: это очень любопытно. Вы, верно, знаете старого дурака (здесь он назвал одного академика, которого имя так громко, что я не хочу обозначить его даже предательскими заглавными буквами), *il est tout gamolli*¹, а все презлая бестия; меня он терпеть не мог и врал на меня всякую чушь: я долго спускал ему, но наконец решился ему дать урок. «Как, — говорю я ему, — вы, негодный старикашка...» — и взял его за плечо (при этом он сделал на мне повторение манипуляции, — я хоть и не *gamolli*, но чуть не вскрикнул), — говорили то-то и то-то, да в заседании Института, знаете ли, что таких негодяев, клеветников, как вы...» А старик, перетрусивши, растерялся, начал извиняться, уверял, что он не то говорил, что он вперед не будет. Я бросил его и выбежал вне себя на улицу; ветер был скверный, я пришел домой, и на другой день, *monsieur*, у меня сделалась *pleurésie*, *monsieur*, и вот отчего я задыхаюсь. Не будь этот урод такой подлый, я бы ему дал пинка, два пинка, и этим вся первая буря разрешилась бы покойно и естественно, и у меня не было бы плерези, и я не задыхался бы. Экий изверг!

А ключей все нет; что же я буду делать без них? «*Sonnez pour l'homme de charge trois fois*»²; встав тихо и торжественно, подошел я к звонку, жму три раза пуговку — входит горничная.

— Нет ли, *madame*, веревки перевязать чемодан?

¹ он совершенно выжил из ума (фр.).

² «Коридорному звоните три раза» (фр.).

— De la ficelle autant que monsieur voudra¹.

Она приносит веревку, я шарю в кармане, чтобы сыскать франк, и нахожу ключ. Фу, как глупо! Я с ненавистью посмотрел на его бородку, на его дырочку, даже швырнул его на пол, потом поднял и бросился в омнибус. Мелкий дождь, начавшийся с утра, продолжался.

В омнибусе, очень сальном и пропитанном особым, но скверным запахом, который распускался в весь букет в сырую погоду, были отмежеваны местечки для тощих и почти беспозвоночных французов. Втеснившись кой-как и открывая окно, я сказал молодому человеку, сидевшему против меня:

— Как это странно, что в Париже такие же скверные и неудобные омнибусы, как были лет двадцать тому назад: в Лондоне, в Швейцарии, везде омнибусы гораздо лучше.

Молодой человек сконфузился, даже покраснел.

— Да, — сказал он, — конечно, *этот* омнибус не из лучших, но есть прекрасные другой компании; впрочем, обратите внимание на лошадей: какие лошади!

Лошади были посредственные, но патриотизм велик. Что вы сделаете с страной, которая так упорно, так ревниво, так глупо, так упрямо верит, что она краса всей планеты, что Париж — «образцовый хуторок» человечества и фонарь, зажженный на планете, по свету которого она гордо несется по своей орбите? Дело вовсе не в том, чтобы быть хорошим или счастливым, а в том, чтобы верить в свое превосходство и счастье.

II

Между тем мои соседи — не в омнибусе, а в вагоне — поразговорились...

— Ну, что же скажете?

— Я боюсь одного: что Прим — un ambitieux² и эгоист...

— Это может быть. В генералах нет никогда проку... Заметьте, у нас все генералы были реакционеры: Ламорисьер, Шангарнье — один Шаррас остался верным демократии, но зато он был полковник, а не генерал.

— Все же он будет вынужден провозгласить республику, а это что-нибудь...

¹ Вербки — сколько угодно, сударь (фр.).

² честолюбец (фр.).

— Никогда не провозгласит,— заметил третий угол несколько хриплым голосом. Голос этот издавал седой, подстриженный под гребенку господин лет пятидесяти, с лицом Пелисье.

— Да на какой им черт республика?— одно слово, название. Испании надобно *либеральную власть*, порядок и свободу, а не республику. Я знаю Испанию.

— А вы бывали там?

— Да, то есть не то чтобы в самой Испании, но бывал в Байоне. Я *работаю в Маконах* и по этой части бывал в Байоне.

— А я так думаю, что если *только Англия*, стоящая на дороге всякого прогресса, не воспрепятствует, то испанцы провозгласят республику.

— Вы ошибаетесь самым глубочайшим образом. Испанец слишком горд, чтобы быть без короля. Гранд какой-нибудь, весь покрытый звездами, как они представляют себя на фотографических карточках, перешедши спальней Эскурнала,— никогда не согласится быть простым гражданином.

— Да ведь рано или поздно,— заметил несколько подавленный глубокими политическими знаниями говорящего молодой человек,— Европа будет же республикой.

— Европа?.. Никогда,— заметил решительно Пелисье, работавший в Маконах, и даже провел рукой, как будто срезывая всякую возможность.

— Что же вы говорите,— а Швейцария?

— Тут-то я вас и ждал. Помилуйте, будто это республика? Я сам бывал в Женеве, насчет божоле,— черт знает что такое. Вся Швейцария — клочок земли, да и то еще негодный, покрытый горами да скалами, и этот клочок разделен на двадцать, что ли, клочочков, из которых каждый, милостивый государь, считает себя туда же самодержавным, свободным государством, имеет свой суд, свою расправу — и настоящее правительство не мешайся... Ведь это смешно. Ни силы, ни приличья, ни войска; правительство не пользуется никаким уважением. Знаете ли, кто президент Швейцарского союза?.. наверное, нет. Да и я не знаю — вот вам и республика. Я люблю, чтобы правительство было правительством, главное — чтобы оно действовало, *l'action c'est tout*¹. Где же действовать, когда каждый кантон кричит о себе, тянет на свою сторону? Силы нет, воли нет. Я сам люблю свободу, но надобно признаться: республика просто не идет как-то

¹ действие — это все (фр.).

к современным нравам, к развитию промышленности и просвещенья.

— Позвольте! А Северные Штаты?

— Я их ненавижу, я... я их терпеть не могу. Для меня люди, занимающиеся одними денежными выгодами, одной наживой,— не люди. Разумеется, этим торгашам не нужно правительство: им достаточно конторы, фактории. У них нет души, сердце не бьется, нет этого *élan*¹, как у нас. Ну, что же, заступились они за Польшу?

Молодой человек, подавленный Пелисье, замолчал и взял газету; я сделал то же.

Папа зовет протестантов и католиков на вселенский собор и совет, чтобы положить предел и преграду избаловавшемуся уму человеческому; конгресс мира в Берне кладет прочное основание... война готовится со всех сторон... Всё мой Пелисье, работающий в Маконах...

«*Цуг*. В высшее народное училище вызывается учитель чистой математики. Желавший обязан представить, сверх: удостоверения своих знаний, свидетельство о католическом вероисповедании». Вот это хорошо.

«*Франция*. Две женщины — мать и дочь, обвиняемые содержательницей пансиона, у которой они жили на харчах, в том, что они, вопреки условия, взяли с собой, на работу, съестные припасы (те, которые они имели право съесть), — были, несмотря на честное поведение и крайнюю бедность, осуждены на три месяца тюремного заключения... И это недурно... но скучно, однообразно. Великий Пелисье! Действительно, республика не идет к современным нравам. *Il faut de l'action!*²

III

— Все по глупости-с, — оправдывается русский человек, когда ему решительно оправдаться нельзя.

— Ты, стало быть, дурак! — говорит ему на это власть имущий.

— Не всем быть умным, надобно кому-нибудь быть «дураком», — отвечает он, если имущий власть без боя.

Хотя, собственно, настоятельной крайности в дураках нет, но, пожалуй, можно согласиться с этим извинением. Только отчего же в свою очередь нет такой ясно сознанной потребности в *умных*? Мудрено ли, после этого, что миром

¹ порыва (фр.).

² Нужны действия! (фр.)

владеют «нищие духом», там — как большинство, тут — как один за всех.

В сущности, все делается по глупости, только никто не признается в этом, кроме русского человека, и все ищут всегда и во всем умных причин и объяснений и потому идут всякий раз направо, когда следует идти налево, — и запутываются дальше и дальше в безвыходных соображениях и затемняющих объяснениях.

Люди выбиваются из сил, отыскивая тайные пружины, спрятанные причины, глубокие замыслы, сокровенные связи, злостные цели, коварные планы, обдуманные ковы, — всего этого *вовсе нет* и придумано после. Мир идет гораздо наивнее и проще, чем кажется сквозь призму критики и рефлексий.

Девять десятых всех злодейств делаются по глупости и наказываются по двойной, и это — не особенность злодейств, а вообще всех поступков, особенно крупных. В самых решительных событиях жизни ум не участвует или участвует, помогая глупости. Не по уму же люди, например, играют в карты — в карты *по уму* играют одни шулеры, оттого-то они и выигрывают всегда, пока их кто-нибудь не поколотит по глупости. Не умом же собирал Спержен и легион других торговых богословов в Лондоне тысячи занятых англичан на слушание неимовернейшего вздора, проповедываемого ими.

«Вы, — кричал Спержен в Crystal Palace, — вы, ищущие со вниманием и за дорогую цену ягненка для питания вашего тела и часто обманутые корыстным торговцем, — мы вам предлагаем агнца, вечно свежего, в питание души вашей, и предлагаем даром (он забыл цену за вход) ...»

Где же тут искра ума?

Где искра ума в гомеопатии?

Где искра ума в юмопатии и всех заклинателях, вызывателей?

Отчего весь мир видит ясно, просто, что война — величайшая глупость, и идет резаться?..

Мудрено понять, и мудрено-то именно потому, что глупо!

Свет стоит между не дошедшими до ума и перешедшими его, между глупыми и сумасшедшими, и стоит довольно давно и прочно, если же и не устоит, так не ум же будет в этом участвовать, а бессмысленные физические силы.

Действуют страсти, страхи, предрассудки, привычки, неведение, фанатизм, увлечение, а ум является на другой

день, как квартальный после события; производит следствие, делает опись и в этом еще останавливается на полдороге: ограниченный там — вперед идущими обязательными статьями закона, тут — опасностью далеко уйти по неизвестной дороге, всего больше — ленью, происходящей, может быть, от инстинктивного сознания, что делу не поможешь, что вся работа все же сводится на патологическую анатомию, а не на лечение!

От этой лени и небрежности мы всю жизнь бродим в каком-то приятном полумраке и умираем в сумрачном мерцании. Все мы ужасно похожи на докторов, довольствующихся знанием, что они не знают, что делают, но что снадобья хороши.

Мы повторяем сто лет, двести лет какой-нибудь вздор и чувствуем, что что-то неладно, да так и идем мимо, за недосугом, страшно озабоченные чем-то другим.

Что же это за другое дело?..

Об этом люди еще не подумали, а, должно быть, *дело нешуточное!*..

IV

Поезд остановился. Кто-то стал отворять дверцы вагона; сначала взмошел громкий смех, вслед за ним явился небольшого роста свеженький старичок, почти совершенно плешивый, с мягкими щеками, тонкими морщинами и очками, из-за которых продолжали смеяться серые, прищуренные глаза. На нем было два черных сюртука: один весь застегнутый, другой весь расстегнутый; он бросил небольшой мешок в угол и махнул рукой провожавшему его товарищу; тот, все еще смеясь, прокричал: «Вы большой чудак, доктор. Bon voyage, docteur!» — и ушел.

Доктор протер очки, устроился, протянулся, потянулся и приготовился соснуть, как вдруг мой Пелисье разразился рядом ругательства и, бросая газету, обратился к доктору и ко мне, как к старейшим по летам, с словами:

— Это возмутительно, это черт знает что такое; вот вам французские судьи, которым завидует вся Европа. Представьте себе: этих арабов, людоедов, извергов приговорили не к гильотине, не к смерти, а к каторжной работе. C'est trop fort, ça n'a pas de nom².

Доктор улыбнулся и прибавил:

¹ Счастливого пути, доктор! (фр.)

² Это уж слишком; этому нет названия (фр.)

— Я по профессии за лечение, а не за убийство.

— Да-с, но позвольте: есть справедливость или нет? есть казнь в законе или нет? Если есть, то после этого примера кого же прикажете казнить?

— Что за беда, — заметил доктор, — если после этого никого не будут казнить? Людосдство — вещь печальная, но очень редкая, кроме Африки, а казнят беспрестанно во всем образованном мире и во всем необразованном. Ведь, коли на то пошло, все же больше смысла в том, чтоб убить человека в безумии голода, для того чтоб его съест, чем убить его на сытый желудок и для того, чтоб бросить в яму и залить известью.

«Ну, это радикал и в самом деле чудак», — подумал я и сложил газету.

На этот раз сконфузился Пелисье. Он долго смотрел вылупя глаза на улыбающегося доктора и наконец вымолвил:

— Я вас не понимаю; по-вашему, этим диким зверям так и позволить есть котлеты из убитых детей?

— Я этого не говорил. Да, сверх того, они, наверно, отказались бы от этих котлет, если б у них были бараны. Когда человек несколько дней ничего не ел, он ест без спроса.

— Голод — не оправдание.

— Нет, но облегчает виновность, пока нет средств отучить голодных от привычки есть.

— А до тех пор как же прикажете наказывать таких извергов?

— Как волков; вы сами называете их дикими зверями, а наказывать хотите как образованных людей.

— Я никогда не слыхивал ничего подобного, — заметил совсем сбитый с толку Пелисье. — После этого страшно по улице ходить: встретится голодный и откусит палец.

— Полноте. Ведь мы не в Алжире, а во Франции. На что же централизация, цивилизация, полиция, юстиция, администрация? Разве мы не затем жертвуем волей, словом, умом, платим налоги, содержим духовное воинство и светскую армию, чтоб они нас защищали от голодных, диких, воров, безумных людей и бешеных собак? Если человек и умрет где-нибудь на чердаке или в подвале, то он падает жертвой для поддержания порядка. Ни в чем торжество общественного строя не выражается так мощно, как в перенесении нужд до последнего предела. И если у нас умирающий с голода похож на *съеденного* по иному способу, то он никогда не лишен духовной пищи и похож

на тех мучеников, которых нам представляют великие художники,— снизу его обдирают, а сверху его зовет хор летающих ангелов, так что вы по лицу видите, что операция ему скорее доставляет удовольствие. Ну, а в Алжире, чем вы украсите, выкупите голодную смерть? Там наши французы и те дичают в зуавов.

— Я в такие тонкости не вхожу. Если их религия не удерживает, долг не удерживает, пусть страх казни удержит.

— Пристрашать виселицей умирающего с голода трудно, одно — *embarras du choix*¹.

— А позор?

— Это еще мудренее растолковать полудиким. Сегодня одного расстреливают за побег из какого-нибудь легиона, куда его взяли насильно с обязанностью убивать кого попало. Завтра будут вешать Фатиму за людоедство,— толкуй им различие. Для их тупости им все кажется, что они побежденные, и падают на поле сражения.

— *Vous vous moquez du monde*². Нашли что защищать,— заметил уже взволнованным голосом Пелисье.

— Я согласен с вами,— отвечал, смеясь, доктор,— что лучше было бы всей семье, проголодавши месяцы и ничего не евши четыре дня, завернуть головы в бурнусы и умереть. Да как им растолковать корнелевское «*qu'il mourût!*» Для того, чтоб они поняли, надобно их непременно откормить, а откормишь их — они не станут есть соседних детей. Это логический круг! — И веселый доктор опять расхохотался.— Посмотрели бы вы своими глазами на этих урабов, как их называл один солдат, которому я резал ногу.

— А вы бывали в Алжире? — спросил Пелисье, усталый и очень встревоженный болтовней доктора.

— Лет десять жил там полковым врачом сначала, потом в лазарете. Кстати, я вспомнил этого солдата, расскажу вам лучше пресмешной анекдот об нем. Старый солдат — он еще при Бюжо делал всякие экспедиции — наконец-таки потерял ногу. Долго лежал он в лазарете и ужасно любил рассказывать свои похождения. Прихожу я раз в палату, фельдшер катается — хохочет. «Доктор,— говорит,— сделайте одолжение, попросите ветерана рассказать историю, которую сейчас кончил». — «*Eh bien, mon vîeux*»³, — говорю я и сел возле койки. Он поломался,

¹ затруднение из-за большого выбора (фр.).

² Вы издеваетесь над людьми (фр.).

³ «Ну-ка, старина» (фр.).

как вызванная певица. — «Самая обыкновенная история: это молодежь все хочет, неопытность, ничего еще не видела». — «Ну, да вы историю-то», — говорю я ему. «Это было уже давненько. Мы стояли близ Орана; дела никак-го не было... Люди сильно скучали; продовольствие было скверное. Капитану жаль нас стало. Хотел позабавить солдат и велел охотникам сделать небольшую *gazzia*¹ на урабскую деревушку и тем способом отогнать баранов. Деревушка не то чтоб бунтовала — так, не любила нас, ну, мы, разумеется, и усмирили. Урабы — это народ коварный, лукавый; силой не взяли, а внутри хранили злобу. Недели через две они подстерегли одного из наших, который баран отгонял; веревку ему на шею да на большой дороге и повесили. Капитан, разумеется, делает рапорт полковнику. Полковник взбесился; приказывает отыскать во что б ни стало убийцу. Ну, где его сыщешь; все эти урабы на одно лицо и не то, что наши, — не выдают друг друга, — к тому же уйдет в горы, и поминай как звали. Посылает капитан меня и двоих солдат: «Приведите непременно убийцу; хоть из земли достаньте». Походили мы день, другой — ни слуху, ни духу. С пустыми руками возвращаться к начальству неловко. Сели мы эдак на дороге и рассуждаем. Вдруг нам навстречу спускается какой-то ураб. Один из товарищей — проказник был большой — и говорит: «Бог нам послал его на выручку», — да с тем бросился на ураба; за горло его и кричать: «Зачем убил нашего солдата?» Ураб — руками, ногами; мы его повалили, связали и представили. Капитан доволен, нас с убийцей к полковнику, полковник сам вышел: «Люблю, — говорит, — молодцы!..» Нарядили тот-час суд. Привели нашего ураба. Полковник рассвирепел, кричит на него: «Зачем ты, собака, убил фузилера?»² Тот ему отвечает — т. е. ничего не отвечает: он по-французски ни слова не знал, а бормочет что-то да руками разводит и показывает на небо. «А, — говорит полковник, — так он еще запирается», взял да и приговорил его к расстрелянию. Ну, его и расстреляли. А уж потом как мы хохотали — убил-то фузилера не он, а совсем другой».

— Ну, господа, извините, одиннадцать часов, пора спать... — и доктор задернул лампочку, освещавшую вагон.

¹ набег (фр.).

² стрелка, солдата (от фр. *fusilier*).

В казино, под пенью чувствительного и разбитого тенора, под говор играющих в карты, под шелест женских платьев и шум бегающих гарсонов, какой-то господин спал за листом газеты. Над газетой было видно что-то вроде лоснящегося страусового яйца, и по нему-то я узнал защитника алжирских людоедов, ехавшего со мной в вагоне.

Когда доктор проснулся, я завел с ним речь и, между прочим, напомнил ему о том, как он встревожил Пелисье, «работающего в Маконах».

— У меня такая глупая привычка, — сказал доктор: — и, несмотря на лета, она не проходит. Меня сердит театральное негодование и грошовой нравственность этих господ. Долюю все это ложь, комедия, а долюю — того хуже: они сами себя уважают за то, что не наделали уголовщины; им кажется достоинством, что, выходя от Вефура, они не едят детей и, получая десять процентов с капитала, не воруют платки. Вы иностранец, вы мало знаете наших буржуа *pur sang*¹.

— Догадываюсь, впрочем.

— Я в вагоне рассказал алжирскую шалость, когда-нибудь я вам расскажу и не такие проказы парижан. Тут поневоле забудешь Фатиму и ее голодную семью... Мне, на старости лет, всего лучше идет роль того доктора, который ходил в романе Алфреда де Виньи лечить рассказами своего нервного пациента от «синих чертиков». Жаль, что я не так серьезен, как мой собрат.

— Я лечусь у вас у одного, доктор, к тому же и у меня головные боли без нервности и без всяких голубых и синих чертей.

VI

...Семь часов утра. Проклятый дождь, не перестает четвертый день, мелкий, английский, с туманом... воздух точно распух. Здесь такой дождь не на месте — сердит.

И какая скверная привычка у кошек петь ночью свои нежности; истинная любовь должна быть скромнее.

А может, доктор столько же виноват в моей бессоннице, сколько кошки и дождь.

¹ чистокровных (фр.).

Порассказал он мне вчера удивительные вещи. Какой шут однако ж человек: живет себе припеваючи, зная очень хорошо, что за картонными и дурно намалеванными кулисами совершаются вещи, от которых волосы не станут дыбом — разве у плешивых, у прежних наших помещиков и у юго-американских охотников по беглым неграм. Много он видел и много думал, его несколько угловатый юмор ему достался не даром. Когда другой доктор, и именно Трела, был министром внутренних дел, он его посылал по тюрьмам, где содержались побежденные работники в ожидании ссылки без суда. Он с Кормеши был в тюльерийских подвалах, в фортах и один в марсельском Шато д'Иф. В декабрьские дни 1851 он попался, неосторожно перевязывая своему товарищу рану, нанесенную жандармом, и за это был приговорен к Кайене. В понтонах военного корабля, стоявшего наготове в Брест, его случайно нашел адмирал, у которого он спас дочь, и выхлопотал ему дозволение ехать в Алжир. Его рассказ я непременно запишу, но не сегодня, — сегодня я в дурном расположении, скажешь что-нибудь лишнее, а это грешно.

Пойду обедать в маленький ресторан напротив.

Надобно сказать, что здесь *обедают* под скромным названием *завтрака* в *одиннадцатом часу* — не вечера, а утра! И, может, это меньше удивительно, чем то, что я ем, как будто всю жизнь прямо с постели садился за стол. А говорят, что болен!

Меня одно лишает аппетита — это *table d'hôte*, затем-то я и хочу идти в небольшой ресторанчик. Мне за *table d'hôte*-ом все ненавистно, начиная с крошечных кусочков мяса, которые нарезывает скупой за хозяина, намаженный и важный оберфоршнейдер, до гарсонов, разодетых, как будто они на чьих-нибудь похоронах или на своей свадьбе, до огромных кусков живого, но пороченного мяса (дело на водах), одетых в пальто и поглощающих маленькие кусочки, одетые в соус... Мне совсем не нужно знать, как ест этот худой, желтый, с какой-то чернью на лице нотариус из Лиона, ни того, что синяя бархатная дама в критических случаях выпинает целую челюсть зубов, жевавших когда-то пищу другому желудку. А тут еще англичанин, который за десертом полощет рот с такими взрывами гаргаризаций, что кажется, будто в огромном котле закипает смола или какой-нибудь металл... Словом сказать, я ненавижу *table d'hôte*. И в ресторане едят другие, но они сами по себе, а я сам по себе:

а за table d'hôte'ом есть круговая порука, какое-то соучастие, прикосновенность, пезнакомое знакомство и в силу его разговор и взаимные любезности.

Два часа. День на день не приходится. Сегодня я и в маленьком ресторане почти ничего не ел. Стыдно сказать отчего. Я всегда завидовал поэтам, особенно «антологическим»: напишет контурчики, чтоб было плавно, выпукло, округло, звучно, без малейшего смысла: «Рододендрон — Рододендрон» — и хорошо. В прозе люди требовательнее, и если нет ни таланта, ни мысли, то требуют хоть какого-нибудь доноса. А мне именно приходится написать такую «антологическую прозу».

Передо мной в ресторан вошла женщина с двумя детьми в трауре и с ними высокий господин тоже в черном.

Возле столика, за который я сел, обедали четыре *commis voyageurs* из Парижа: они толковали свысока о казино и с снисхождением о певницах, в которых ценили вовсе не голос, — они говорили что-то друг другу на ухо и раздражались вдруг громким хохотом.

Слушать и смотреть на комми еп *pégligé* между собой — моя страсть, но мне не долго пришлось питать ее.

— Ты плачешь? — спросила женщина в трауре.

Мальчик лет восьми-девяти поднял на нее глаза, полные слез, и сказал:

— Нет, нет!

Мать взглянула на мужчину улыбаясь, — она, видимо, извинялась за слезы ребенка. Мужчина положил ему большой кусок чего-то на тарелку и прибавил:

— Будь же умен и ешь.

— Я не хочу есть, — отвечал мальчик.

— Мой друг, это глупо, — сказал мужчина.

— Ты с утра ничего не ел, кроме молока, — прибавила мать и просила взглядом, чтоб мальчик ел. Мальчик принялся за котлету, взглянув на мать с невыразимым горем, — крупная слеза капнула в тарелку. Женщина и господин сделали вид, что не заметили, и начали говорить между собой. Другой ребенок — гораздо моложе — болтал, шумел и ел. Мать погладила старшего, он взял ее руку и поцеловал, задержав слезы.

«Башмаков не успела она износить» — и маленький Гамлет это понял.

Господин велел подать какого-то особенного вина.

чокнулся с матерью и, наливая детям, улыбаясь, сказал старшему:

— Не будь же плаксивой девочкой и выпей браво твое вино.

Мальчик выпил.

Когда они пошли, мать надела на мальчика шарф, чтоб он не простудился, и обняла его. В ее заботе было раскаяние и примирение с собой, — она, казалось, просила прощения, пощады — у него и у него.

И может, она во всем права.

Но мальчик не виноват, что помнит *другого*, что ему хотелось *доносить башмаки* и что новые его жали, так, как не виноват в том, что испортил мне обед.

Пойду в казино искать доктора — он, наверное, спит или читает какую-нибудь газету.

VII

— Скажите, доктор, как вы при всем этом сохранили столько здоровья, свежести, сил, смеха?

— Всё от пищеваренья. Я с ребячества не помню, чтоб у меня сильно живот болел, разве, бывало, объешься неспелых ягод. С таким фундаментом нетрудно устроить психическую диету, особенно с наклонностью смеяться, о которой вы говорили. Человек я одинокий, семьи нет. Это с своей стороны очень сохраняет здоровье и аппетит. Я всегда считал людей, которые женятся без крайней надобности, героями или сумасшедшими. Нашли героизм — лечить чумных да под пулями перевязывать раны. Во-первых, это всякий человек с здоровыми нервами сделает, а потом выждал час, другой — перестанут стрелять, прошло недели две — нет чумы, аппетит хорош, — ну и конечно. А ведь это подумать страшно, на веки вечные, хуже конскрипции¹ — та все же имеет срок. Я рано смекнул это и решился, пока розы любви окружены такими бесчеловечными шипами, которыми их оградил, по папскому оригиналу, гражданский кодекс, я своего палисадника не заведу. Охотников продолжать род человеческий всегда найдется много и без меня. Да и кто же мне поручил продолжать его, и нужно ли вообще, чтоб он продолжался и плодился, как пески морские, — все это дело темное, а беда семейного счастья очевидна.

¹ воинской повинности (от лат. *conscriptio*).

— Что вы на это решились, дело не хитрое, — хитрое дело в том, что вы выдержали. Впрочем, тут темперамент.

— Темперамент — темпераментом... ну однако без воли ничего не сделаешь. Вы, может, думаете, что монахи первых веков были холодного темперамента? Все зависит от того, что приму играет, да от воспитания воли.

— Однако, доктор, вы верите, кажется, в *libre arbitre*¹, — это почти ересь?

— *Libre arbitre*, воля — все это слова. Я не верю, а вижу, что если человек захочет стоять на столбу — простоят; захочет есть траву и хлеб — и ест одну траву да хлеб, возле жареных рябчиков. А чем он хочет, волей или неволей, это все равно. Конечно, воля не с неба падает, а так же из нерв растет и воспитывается, как память и ум; главное дело в том, что она *воспитывается*. Человек привыкает попридерживать себя или распускаться, давать отпор внешнему толчку или пасовать перед каждым. Всякий может сделаться нравственным Митридатом и выносить яды жизни, лишь бы оба пищеварения были исправны.

— Как, уж два пищеварения?

— Непременно! *желудочное и мозговое*. Без хорошего мозгового претворенья и с хорошим желудком далеко не уедешь. Без него нельзя понять, что съедобно и что несъедобно, что существенно и что нет, что необходимо и что безразлично, наконец — что возможно и что невозможно. Без здорового мозга мелочи и призраки заедают людей и портят им желудок. Мелочам конца нет, как мухам, прогнал одних — другие напали; а призраки хуже мух: это мухи внутри, их и прогнать нельзя, разве одним смехом. Но люди непонимающие — больше люди угрюмые, серьезные — всё берут к сердцу, всем обижаются, ни через что не умеют переступить, ни над чем не умеют смеяться, смех просто их оскорбляет. Года два тому назад умер один из старых товарищей моих, известный хирург, и умер оттого, что его не позвали к принцессе, сломавшей ногу. В начале его болезни я зашел к нему. Два часа битых толковал он мне, желтый, исхудалый, о своих правах на принцессину ногу и все повторял одно и то же на сто ладов. Человек лет семидесяти, большая репутация, большое состояние — ну что ему

¹ свободу воли (фр.).

было так сокрушаться о принцессинной ноге; сломит еще кто-нибудь из них ногу или руку — они же теперь все сами кучерами ездят, — пришлют и за ним. Я постарался навести его на другой разговор — куда, все свое говорит. А тут вошел мальчик и подал газету; большой взял ее, что-то прочел, глаза его сверкнули, губы затряслись, и он, улыбаясь, ткнул пальцем в газету и сунул мне ее в руку. Лента почетного легиона была дана хирургу, починившему ногу принцессы. Чтоб бедняка как-нибудь рассеять, я ему говорю: «Погода сегодня славная, поедемте-ка в Анвер, у меня там есть знакомый chef, отлично делает бульябес и котлеты à la Soubise». — «Что вы, говорит, смеетесь надо мной, у меня желудок ничего не варит, а вы потчуете провансальской кухней? Это вы, cher ami, уж не утешаете ли меня в ленте... ха-ха-ха!.. Нужно очень мне ленту, мне досадно, мне больно, что во мне оскорблены права, заслуги тридцатилетней деятельности... а лента... ха-ха-ха... Хорошо выдумали: à la Soubise... чеснок — это почетный легион провинциальных cordon bleu!», — и он расхохотался, уверенный, что сделал чрезвычайно ядовитый и удачный каламбур. Дело пропащее: ни мозг, ни желудок не находятся в исправности, какой же тут может быть выход. Заметьте мимоходом патологическую особенность, что люди большею частью выносят гораздо легче настоящие беды, чем фантастические, и это оттого, что настоящими бедами редко бывает задето самолюбие, а в самолюбии источник болезненных страданий. Наши братья обыкновенно мало обращают внимания на душевную причину болезней, да если и обращают, то очень плохо, оттого и лечение не идет. Для меня тип докторского вмешательства в психическую сторону пациентов составляет серьезный совет человеку, дрожащему и обезумевшему от страха, — не бояться заразы. Настоящий врач, милостивый государь, должен быть и повар, и духовник, и судья, — все эти должности врозь — слепы, а соедините их — и выйдет что-нибудь путное, пока люди остаются недорослями.

— Итак, после теократии — атрократия; вы не метите ли, как ваш предшественник, доктор Франсия, в генерал-штаб-архитраты врачедержавной империи? Человек наделал мерзостей, его отдают в судебную лечебницу, и дежурный врач приговаривает его к двум ложкам рицинового масла, к овсяному супу на неделю или, в важном случае, к ссылке месяца на три в Карлсбад. Осужденный протестует, дело идет в кассационный меди-

цинский совет, и он смягчает Карлсбад на Виши.

— Смейтесь сколько хотите, а что же, лучше, что ли, запирать в Мазас, посылать в Кайену и вместо ричинового масла прописывать денежные штрафы? Но до пришествия царства врачебного далеко, а лечить приходится беспрерывно, и я на долгой практике испытал, что знай себе, как хочешь, терапию, без — как бы это сказать — без своего рода философии...

— У вас она есть, доктор, это я еще в вагоне заметил, и пресоригинальная.

— Худа ли, хороша ли, но я не нахожу надобности менять ее.

— Как же вы дошли до нее?

— Это длинная песня.

— Да ведь времени довольно до второго стакана.

— Вы подметили, что я люблю поболтать, и эксплуатируете меня.

— Лучше же болтать, чем играть целое утро и целый вечер в домино, как наши соседи.

— Эге, так вы еще не освободились от порицаний и пересуд безразличных действий людских. Не играй они в домино, что же бы они делали? Жизнь дала им много досуга и мало содержания, надобно чем-нибудь заткнуть время утром до обеда, вечером до постели. Моя философия все принимает.

— Даже алжирское людоедство?

— Оно только зацепляется за европейское. Дошел я до моей философии не в один день, да и не то чтобы вчера. Первый раз я порядком подумал о жизни лет сорок тому назад, шедши от Шарьера; фирма его и теперь делает превосходные хирургические инструменты, может, лучше английских, — вы это на всякий случай заметьте — прямо по Rue de l'Ecole de Médecine, в окнах увидите всевозможные пилы, ножницы. От Шарьера я вышел часов в пять с сильным аппетитом и пошел «Au bœuf à la mode», возле «Одеона», да вдруг, среди дороги, остановился и, вместо «Au bœuf à la mode», повернул в Люксембургский сад. У меня в кармане не было ни одного су! Какое варварство, что часть этого сада уничтожают; ведь в таком городе, как Париж, такие сады — прибежища, лодки спасения для утопающих. Иной, без сада, походит по узким переулкам, вонючим, неприятным, да прямо и пойдет в Сену; а тут по дороге сад, воробьи летают, деревья шумят, трава пахнет; ну, бедняк и не пойдет топиться. Вот тут-то, в саду, на пустой желудок, я и расфилософство-

вался. Ну,— думаю,— почтенные родители очень бесцеремонно надули тебя в жизнь; без твоего спроса и ведома втолкнули тебя в какой-то омут, как шенят толкают в воду: «Спасайся как знаешь, а не то — тощи». Как я ни думал, вижу, выплывать надобно. Надобно затем, зачем и шенок барахтается, чтобы не идти ко дну, просто привык жить. До этого случая нужда меня не очень давила. Прежде мне из дому посылали немного денег. Отец мой умер года четыре тому назад, все поправлял какие-то брешы в состоянии, сделанные спекуляциями, и кончил свои поправки тем, что ничего не оставил. У него был брат, старый полковник, обогатившийся на войне и имевший деньги в Амстердамском банке; он помогал нашей семье и радовался моей карьере, говоря, что Наполеон уважал Ларре и Корвизара. Разумеется, он мысленно меня называл в полковые доктора. О дяде я должен вам рассказать кое-что. Меньше меня ростом, с огромной львиной головой, седыми всклокоченными волосами и черными усами, которые он подстригал под щетку, он был отчаянный бонапартист, никогда не давая себе никакого отчета, что, собственно, было хорошего в империи. Подумать об этом ему казалось бы святотатством. После Июльской революции он с презрительной улыбкой говорил:

— Это все не то, это ненадолго,— пристегивая толстую трость с белым набалдашником к верхней пуговице сюртука, застегнутого по горло.— Мы этих *barbouilleurs de lois*¹, этих подьячих, адвокатов в Сену бросим; люди без сердца, без достоинства; нам надобно империю, чтобы отомстить за 1814 и 1815 годы.

— И,— заметил я,— утратить те небольшие свободы, которые приобрели на баррикадах.

— Что?— закричал дядя, и лицо его побагровело.— Что? Как, у меня в доме!.. Что ты сказал?

Я с ним никогда не спорил и тут уступил бы, если б он не взбесил меня криком, а потому я повторил сказанное.

— Кто ты такой?— кричал полковник, свирепо подходя ко мне и отвязывая палку от пуговицы совершенно безуспешно, палка вертелась, как веретено, и все туже прикреплялась к пуговице.— Ты сын моего брата или чей ты сын? чей?.. Развратили мальчишку эти доктринеры. Неужели ты не чувствуешь кровавую обиду вторжения

¹ горе-законопиков (фр.).

варваров в Париж, des Kalmuck, des Kaiserlich¹ и проклятый день ватерлооской битвы?

— Нет, не чувствую! — сказал я хладнокровно и совершенно искренно.

Лев отпрянул, отдулся и тем голосом, которым командовал «en avant!»² своему отступившему полку под Лейпцигом, закричал: «Вон, вон из моего дома!»

Я вышел — и с тех пор от дяди ни гроша. Он только матери написал письмо, исполненное сожаления (а отчасти и упреков), что она родила и воспитала изверга, который не принимает ватерлооскую битву за лично ему данную пощечину и не стремится ее отомстить. «Куда мы идем с такой негодной молодежью?» — заключил Лев. Мать моя могла что-нибудь посылать иной раз, но я не хотел; у нее самой едва в хозяйстве концы сводились.

Походил я в саду на тощий желудок и вспомнил старого фармацевта, искавшего помощника. Я прямо к нему, нанялся из-за обеда и постели, стоявшей между кухней и лабораторией. Месяца четыре я вынес, но потом терпенье лопнуло. Старик, полуслепой, полуглухой, с деньгами и без наследников, дрожащими руками обвешивал на всех медикаментах; ну, на какой-нибудь соли, которой унц стоит двадцать сантимов, и на той украдет на полсантима. Мне было это очень противно, и я только скрепя сердце молчал. Наконец, старый отравитель говорит мне и раз и два: «Вы вешаете без всякого расчета, вы меня разоряете! Вы должны с меня пример брать». — «Послушайте, почтенный père Philippe, я глупые микстуры делать готов, а воровать на все не хочу: разве не довольно с лишком 50% да taxa laborum?»³. «А я, — сказал старик, кашляя, задыхаясь и утирая грязным платком давно вертевшуюся табачную каплю на конце носа, — а я у себя в доме хочу быть хозяином и всякому студенту bon à rien⁴ не позволю делать дерзкие замечания». — «Особенно, — заметил я, — когда они справедливы». Затем я взял шляпу и, насвистывая песню, пошел вон. Это был второй урок философии.

¹ калмыка, австрияка (искаженное нем.: des Kalmiks, des Kaiserlichen).

² «вперед» (фр.).

³ плата за труд (лат.).

⁴ никчемному (фр.).

Третий урок образовал меня по сердечной части.

— Тут-то я вас и ждал.

— И совершенно ошибаетесь. В моей жизни все было очень просто, и роман мой меньше сложен, чем все повести, перемежающиеся по фельетонам газет. Года три после того, как я бросил старого отравителя, был я интерном в Maternité¹ и на дежурстве.

— Помилуйте, доктор, там часто оканчиваются романы, но ни один, сколько я знаю, не начинался.

— А мой не только начался, но почти и кончился в этом «арьергарде любви», как ее называла м-те Обержин, с которой я вас сейчас познакомлю. Провозился я целый день и, усталый, как собака, бросился на диван, закурил трубку и взяв книгу Сивьяля о болезнях мочевых путей. Едва я успел заснуть и выронить трубку и книгу, кто-то дернул за колокольчик.

— Это вы, бригадье?— кричу я ему, т. е. нашему сторожу, или консьержу, которого, шутя, мы называли «бригадье» за его необыкновенно военную и суровую посадку. Мы, смеясь, говорили, что правительство его намеренно посадило консьержем в Maternité для того, чтоб отпугивать родильниц и делать их больше осторожными.

— Я,— говорит,— я.

— Что у вас?

— Пожалуйста сейчас в № 21.

— Не дадут, проклятые, уснуть. Вы бы прикрикнули, бригадир, куда торопиться, могла бы подождать до утра. А что, м-те Обержин там?

— Она-то и послала за вами.

Я вытер лицо мокрым полотенцем и побежал в № 21. М-те Обержин сидит, по обыкновению, расставивши ноги. Она столько учила своих пациенток сидеть на больничных креслах, что сама приняла эту посадку. За занавесью, слышно, что-то охает и стонет слабо, очень слабо. «Никакой силы нет,— говорит шепотом м-те Обержин,— и ребенок неправильно лежит».— «А вот мы его научим шалить до рождения»,— говорю я ей. М-те Обержин, старшая повивальная бабка наша, была отличнейшая женщина и со всеми нами приятель и товарищ. Через

¹ родильном доме (фр.).

ее руки прошли не только несколько поколений, нечаянно родившись в Париже, но два, три выпуска интерьеров. Жирная, рослая, сильная, всегда готовая врать вздор, смешить и хохотать, никогда не заспанная и всегда готовая уснуть, она, как нарочно, была создана для своей должности. Смолоду, вероятно, она не только принимала детей, но страсти мало-помалу ушли в жир, и если случались кой-какие безделицы, то это уж, как *hors d'oeuvre*¹. Удивляться нечему, самые наши занятия наводили на щекотливые предметы, да и потом ночи, целые ночи, просиживаемые в ожидании... Как живая, она передо мной, с ее серыми, смеющимися глазами, с белокурым усом на одной губе и клоком таких же волос на противоположной стороне подбородка; этот клочок она любила крутить, как гусар, — славная была женщина!

Подхожу я к кровати, отдернул немного занавес и говорю:

— Извините, сударыня, я пришел подать вам нужную помощь! — Молодая женщина закрыла лицо и рыдала. — Успокойтесь, — говорю я ей, — хлебните немного воды.

— Я очень страдаю, — отвечала она едва внятным образом, — и очень боюсь.

— Верю, верю — но это гораздо легче, чем вы думаете: не вы первая, не вы последняя, *du courage*²; дайте-ка вашу руку; эге, да у вас препорядочная лихорадочка. — И я попросил м-те Обержин приблизить свечу. Испуганное, болезненное лицо большой каким-то гаснущим взглядом просило у меня помощи... и... и прощения. Такого выраженья я никогда не видывал, я даже смутился. Роды были тяжелы, мучительны, долги. Наконец «рекрут», как м-те Обержин называла всех новорожденных мужского пола, хлебнул воздуха и запищал.

— Что, кисло и холодно? — проговорила м-те Обержин, пошлепывая его и повертывая с необыкновенной ловкостью, — приучишься и кислым дышать. — Ну, — прибавила она, обращаясь ко мне, — что вы устали глаза на родильницу, осматривайте, годный ли рекрут.

— Он-то годен, а вы посмотрите сами на больную: как свеча на дворе, того и гляди потухнет при легчайшем ветерке.

— Да она и то чуть ли не умирает, — сказала м-те

¹ вводный эпизод (фр.).

² смелей (фр.).

Обержин и сама взяла ее руку, чтоб узнать, как бьется пульс.

Мы сделали что могли, чтоб задержать отлетающую жизнь; наконец она раскрыла глаза — слабые, мутные, — долго вглядывалась и потом едва внятно спросила:

— Где?

Я взял у m-те Обержин «рекрута» и поднес ей; она зарыдала и опять лишилась чувств. Умиравшая, хрупкая, тщедушная женщина сильно потрясла меня. Видал я и прежде нее и родильниц, и красавиц. Какие красавицы лежали у нас в Отель Дье — была одна креолка — фу!

Я невольно улыбнулся, думая, в каких необычных местах доктор мой изучал прекрасный пол и его красоты.

— Словом, видал довольно, но ни одна не сделала на меня такого впечатления. Я почти не отходил от больной. Старуха наша все заметила и дня через два говорит мне, уцепившись в плечо: «Вероломный Артюрь! И ты туда же, хочешь фуражировать в нашем арьергарде, glapet¹ на поле битвы, между ранеными и убитыми — ха-ха-ха!» И смех, и слова неприятно действовали на меня, я как-то отшутился и ушел в свою комнату — хотел позаняться, отдохнуть и, не знаю как, часа через два очутился опять в № 21. M-те Обержин спала на кушетке, окончив свою третью чашку кофе, в который она прибавляла, чтоб не сильно действовал на нервы, бенедиктинской водки; я обрадовался ее сну и на цыпочках подошел к больной. Спала и она, — если бы не легкое, едва уловимое дыхание — можно бы положить в гроб. Я скрестил руки и смотрел, смотрел — что за чистые линии, что за профиль! После я видел что-то такое в картинах Ван-Дика, в головках Андрея дель Сарто — красота вообще сила, но она действует по какому-то избирательному средству.

Я магнетизм отрицаю, а, пожалуй, тут есть что-нибудь похожее на магнетизм. Красота и звук голоса — принадлежности чисто личные и действуют тоже совсем лично; ум, знание и все такое — мое и не мое, а черты мои, мой голос — совершенно мои. Мне всегда казалось, что именно по их личности и переходимости они и действуют так неотразимо на нашу страстную, т. е. тоже личную сторону. Пока я стоял и смотрел, т. е. все больше и больше подвергался влиянию магнетизма, m-те Обержин подкралась

¹ подбирать колосья (фр.).

ко мне и говорит: «*Tu es donc bien pincé, mon petit chat?*»¹. Придется мне тебе помогать, коварный изменник!» Я взял ее руку и в каком-то азарте отвечал ей: «Помоши мне никакой не надобно, но я чувствую, что стою на краю пропасти!» Добрая женщина посмотрела на меня с каким-то материнским участием и с тех пор ни разу не заикалась об этом. Больная поправлялась медленно. Тяжелая плита лежала на ее груди, и, по мере того как грудь становилась крепче, плита давила тяжелее. Никто не приходил навесить бедняжку, справиться, жива ли она; никто не писал, не сделал опыта что-нибудь прислать, как обыкновенно делают, — варенья, конфект. Между тем подошло время выписываться. Тревога и горе росли. После долгих усилий она мне призналась, что ей просто некуда идти, что матери ее нет в Париже, а что он оставил ее — «не по моей вине», прибавила она, заливаясь слезами. Что тут было делать? Спасти ее надобно было — я предложил ей переехать к знакомой мне старушке. Не принять она не могла, иначе ей пришлось бы переехать на улицу. В небольшом переулке Латинского квартала вылечил я как-то, случайно, долго пичкая, одну старушку; она была одинокая, вся в ревматизмах, но умереть боялась ужасно. Она имела ко мне собачью привязанность и была уверена, что я один могу еще раз вылечить от смерти. Она отдавала внаймы довольно удобную и светлую мансарду. Ходить в нее надобно было через какой-то чердак, в котором вечно висело сырое белье и пахло шелоком, — но на войне как на войне — в самой комнате было недурно. Перевез я туда мою вандиковскую головку и ее рекрута. Что же, в самом деле, родился без отца, так и погибать? Вы, пожалуйста, не полагайте, что я хочу похвастаться особенной доблестью, — все такого рода подвиги подтасованы, по пристрастью к матери одни без смысла любят ее детей, другие ненавидят. Вандиковская головка никогда, ни разу не помнила даже издали об отце ребенка. Я ни одним словом не заикался о моей любви. Она удивляла меня: в ней все было полно такта, грации, чуткости. Только в Париже, и притом в прежнем, неперестроенном, не в вновь крещенном, а в старом, полуязыческом Париже, встречались такие чудеса. Я проводил с ней вечера, читал ей Бальзака и Гюго; чуть ли это не было лучшее время моей жизни,

¹ Значит, тебя здорово зацепило, мой котик? (фр.)

проде весеннего утра — теплого, светлого, но в котором еще чувствуется свежесть; да оно и прошло, как мартовское солнце. — Доктор приостановился. — Вы, верно, не ждете, что мы при развязке?

— Конечно, нет.

— Прошло около месяца. Маргарита, так звали вандиковскую головку, настолько оправилась и окрепла, что стала выходить в хорошую погоду. Раз возвращается она домой страшно расстроенная, на лице мертвая бледность и пятна, руки дрожат. Я хотел спросить, но, взглядевшись, до того испугался, что не нашел слов. Она бросилась к люльке, взяла рекрута и зарыдала истерически. Теперь, думаю, будет легче. И, в самом деле, она через две, три минуты взяла мою руку и сказала: «Я видела его... он... он требует, чтоб я малютку отдала в воспитательный дом; он прежде говорил это, с этого и началась наша ссора. Будто малютка может мешать. Он его даже не видал ни разу и говорил об нем так холодно, так равнодушно. Он негодяй!» — вскрикнула она и прижала к себе ребенка, как будто его вырывали у ней силой. Потом бросилась на колени передо мной и, захлебываясь слезами, говорила: «Ты, ты меня не разлучишь с ним, ты так добр, — о, я тебя знаю, я все оценила, я оценила твое молчание. Ты меня любишь, возьми меня, спаси меня и его, я буду тебя любить, не отнимай у меня ребенка!» — и она положила его мне на колени и рыдала, ухватившись обеими руками за меня. Я взял малютку, слезы катились из глаз моих. Она встала, взглянула на меня, улыбнулась, да, улыбнулась с каким-то торжеством и бросилась ко мне на шею. Я уложил ее в постель, укрыл и вышел на улицу, — я не мог не выйти. Прощаясь, она мне сказала: «Ты мне прости, не сердись, ведь я сумасшедшая!» И вот я опять очутился в пустынных аллеях Люксембургского сада; свежий, ночной ветер пронимал, но мне было не до того; я сел на скамью; что происходило во мне — это, я думаю, и Бальзак не мог бы описать, а у него именно был талант описывать эти сложные мудреные блаженства, сбивающиеся на страдания, и страдания, сбивающиеся на блаженства. Для меня было ясно, что в ней говорило *dépit* — оскорбленная мать, она бежала от него ко мне, она пряталась за меня с своим рекрутом, но горячие губы ее горели на моей щеке, но горячие слезы едва обсохли на ней, но она улыбалась мне, и — будто можно любить такого негодяя? — она его так называла. Когда я пришел к ней, было уже утро. Дело приняло

плохой оборот. Лихорадочное молоко отравило ребенка, он кричал и бился в корчах; выбившись из сил, он уснул; уснула и мать. Я взял ребенка на руки — он все спал, долго спал; потянулся раза два и стал тяжелее и холоднее. Тихо, тихо положил я его в люльку, покрыл и сел у изголовья матери. Она проснулась — мое лицо, тишина — она бросилась к люльке и с криком грохнулась без чувств на землю. На другой день она была в белой горячке.

— И умерла? — спросил я.

— Нет, она выздоровела и потом ушла к «отцу рекрута», выбившего из строя, — препятствий больше не было. Ей не легко было покинуть меня, она писала мне письмо — Ж. Санд такого не напишет, — потом забыла, да и я ее потом забыл.

IX

И вот мы опять несемся, поправивши и укрепивши наши пищеварения и кроветворения, в обратный путь, и я с ужасом думаю, что в Лионе придется расстаться с доктором: он поедет направо, я — налево. Со мной целая тетрадь, в которую я внес половину его рассказов и, главное, его подстрочных замечаний к ним. Со временем я издам *«Слышанное и забытое, записанное и ненапечатанное, — из воспоминаний другого»*.

— Вы зачем это записывали? — спросил доктор.

— Такая мода теперь у нас. С тех пор как суд из письменного сделался словесным, мы все словесное записываем.

— И печатаете потом?

— Отчасти, отобравши плевелы.

— Какая же польза от этого? Совсем не нужно печатать так много.

— Все для исправления нравов.

— Книгами-то! Хорошо выдумали. Во-первых, книг никто не читает.

— А во-вторых, любезный доктор, книг читают очень много.

— Ну, то есть «никто» в пропорции к вовсе неграмотному большинству, к большинству едва грамотному и к большинству грамотному, но не берущему никаких книг в руки, кроме прихода-расходных. А во-вторых, хотел я сказать, людей совсем не надобно исправлять и переиначивать. Оно же и не удается никогда. Умнее

станут — сами кое в чем поисправятся, хотя все же останутся людьми, а так с чего же? Для удовольствия моралистов? И то нет. Начни люди в самом деле исправляться, моралисты первые останутся в дураках — кого же тогда исправлять?

— Отчего же вы не можете допустить, что иной раз человек, просто жалея других, любя их, старается их исправить по крайнему разумению?

— Мудрено что-то. Не спрашивая человека, хочет ли он, может ли он измениться, говорят ему: «Видишь, мол, какой ты негодяй, тебе надобно сделаться вот таким отличным, как я, развившийся под другими условиями, в другом нравственном климате, в другом историческом кряже, достигай же до меня, и, когда достигнешь, я тебя в награду назову *меньшим* братом, и притом братом бескорыстным, титулярным, потому что наследством я буду все-таки пользоваться один. Хороша любовь! Животных люди считают больше посторонними или уж очень дальними родственниками и с ними умнее обходятся или просто-напросто их едят или пользуются их глупостью, не стараясь исказить их самобытности и характера, а скорее признавая его. Иногда берут крутые меры, когда звери на нас смотрят, как мы на них, и принимают нас тоже за съестной припас, но, вообще, откровенно пользуются их особенностями и кабалят их в свою крепостную работу. Весь прием не тот. От лошади мы требуем, чтоб она была хорошей лошадью, и вовсе не стремимся стереть ее характер, воспитывая в ней ее общеживотную натуру и стараясь из нее сначала образовать хорошего зверя вообще, а потом ее специальность. Немцу же или англичанину толкуют, что он прежде всего человек, он и старается с самого начала не походить на себя. Животных мы наблюдаем, а людям все внушаем, ну, и выходит вздор. Примеры на всяком шагу. Мы знаем, что кошка личной собственности не признает, авторитетов — еще меньше, что она ни к полицейским должностям, ни к военной дисциплине собачьей страсти не имеет, и не ходим с ней на охоту, не ставим ее сторожем при вешах, квартальным при стаде, а, напротив, соглашая ее эгоистические вкусы с нашей потребностью, предоставляем ей удовольствие охотиться по мышам, которые нам почему-то всегда мешают. Отчего же никто не исправляет кошки, не прививает ей голубиных добродетелей, не внушает ей любовь к мышам и птицам, не внушает даже военного духа, вследствие которого загрызть мышей должно, но есть

унизительно, а следует после сраженья набрать побольше мышиных трупов и зарыть в яму...

— Ха-ха-ха! Я, доктор, и это запишу.

— И это будет так же бесполезно, разве для провождения времени.

— Вы мне напоминаете одного нашего генерала, который, рассуждая о революционных движениях 1848 года, говорил, что, по его мнению, вся эта кутерьма была сделана для «изошрения в стиле журналистов».

— Не помните ли вы его фамилию?

— Нет.

— Экая досада, я записал бы ее. Это умнейший генерал у вас после Суворова; а вы хотели над ним посмеяться!

— Нет пророка в своем отечестве!

— Lyon Perrache — Lyon Perrache! Les voyageurs pour Ambérieux Culos, ligne de Chambéry, ligne de Genève! Changement de voiture. Les voyageurs de l'express Arseille — Lyon continuent immédiatement¹.

Я вышел из кареты, люди выгружали багаж. Я подошел еще раз к окну — доктор протянул обе ноги на мое место и повязал себе на голову фуляр.

Экспресс двинулся.

Досадно, запрут меня теперь в ящик с какими-нибудь часовщиками из Шо-де-Фона или с лионскими комми, «работающими в шелках», или, чего боже сохрани, с путешествующими дамами, которые закроют все окна, займут все места необычайным количеством *ручного* добра, который они таскают с собой...

...С тех пор, как поднялся вопрос об освобождении женщин от супружеской зависимости, они вовсе *не крепки* дома и ужасно легко отрываются от «ложа и стола», как выражается римское право. Встреч они никаких не боятся, мы их боимся. Сама природа, кажется мне, споспешествует к уравниванию прекрасного пола с просто полом; Швейцария, например, окружает по крайней мере городскую часть женского населения каким-то нимбом, удаляющим всякую опасность временного перемирия и *entente cordiale*² между враждебными станами.

Я заметил это (в другой форме) ехавшему со мной

¹ Лион Перраш — Лион Перраш! Едушие на Амберье Кюло, линию Шамбери, линию Женевы! Пересадка. Пассажиры экспреса Арсель — Лион продолжают путь (*фр.*).

² сердечного согласия (*фр.*).

члену женевского Большого совета. Он не то чтоб очень доволен был моим замечанием и совершенно неожиданно возразил:

— Но зато, как они *свежи*.

В этом неоспоримом достоинстве устриц и сливочного масла искал он облегчающей причины.

Х

Последний туннель — и *post tenebras lux*¹.

Женеву я знаю с давних лет. Я ее слишком знаю.

— Скажите, пожалуйста, как бы мне сделать,— говорила одна дама, соотечественница наша, не без угрозы совести.— Как бы мне сделать, чтоб полюбить Швейцарию?

Задача была нелегкая, несмотря на то, что есть множество причин, по которым Швейцарию следует любить.

— А вы куда едете?— спросил я ее.

— В Женеву.

— Как можно, вы уж лучше поезжайте в другое место.

— Куда же?

— В Люцерн или что-нибудь такое.

— Неужели там лучше?

— Нет, гораздо хуже, но там вы скорее дойдете до разрешения вашей задачи.

В самом деле, в Женеве все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живется туго. Начнешь рассуждать — ясно, как дважды два, что в наше серенькое время мало мест лучше в Европе, а наймешь квартиру — так и тянет куда-нибудь, лишь бы из Женевы вон.

Достоинств Женевы кто не знает. Каподистрия в те веселые времена, когда Европа танцевала свою историю на конгрессах и вся пахла *fleur d'orange*² ем и белыми лилиями, сравнивал Женеву с ладанкой, в которой бережется *кабардинская струя*, напоминающая что-то Европе своим запахом, Каподистрия был правее покойного императора Павла I, называвшего движения в Женеве «бурями в стакане». Конечно, привыкнув брать за единицу меры пространства от Петербурга до Камчатки — Женева может показаться не только стаканом, но и рюмкой, — но одной рюмки мо-

¹ после мрака свет (лат.).

хуса было действительно достаточно, чтоб во всей Европе помнили, что известный мохус существует. В ней, как в фокусе, усиленно и сокращенно отражается все движение и все движения современной истории с тем преувеличением, которое имеют Альпы на выпуклых картах и капли под микроскопом.

Вы видите — я далек от того, чтобы клеветать на рюмку, служившую века целые гаванью всем преследуемым за грех мысли, бежавшим в нее с четырех сторон, — на рюмку, из которой вышел Руссо и со дна которой Вольтер мучил Европу. Но что же мне делать, когда при всем этом *чего-то в ней недостает*.

Наружно женевцы давно бросили свой отталкивающий пиетизм, свою канцелярскую, педантскую обрядность. Женева в этом даже опередила Англию — в ней человек может, не теряя честного имени, кредита, места, уроков и приглашений на обеды, не явиться несколько воскресений к проповеди¹. Но за спавшей с души коростой кальвинизма осталась постно сморщенная кожа. Эти формы без содержания, эти рябины прошлой болезни уцелели вместе с сухой раздражительностью, с приемами прежней нетерпимости. Женева похожа на расстриженного патера, потерявшего веру, но не потерявшего клерикальные манеры.

Кто-то сказал, что в каждом женевце остается на веки веков след двух простуд, двух холодных дуновений: *бизы*² и *Кальвина* — и, кто бы ни сказал, это совершенно верно, но он забыл прибавить, что к двум прирожденным простудам прибавляются разные пограничные оттенки и осложнения: савойские — немного с зобом внутри, французские — с *soup d'Etat*'скими поползновениями и централизационными стремлениями. Все это вместе составляет в общем швейцарском характере — тоже больше свежем, чем любезном, — особый оттенок женевский, конечно, очень хороший, но не то чтоб чрезвычайно приятный.

Женевец — гражданин и буржуа, гражданин раздражительный, буржуа агрессивный, несколько хищный и всегда готовый сдать сдачу — крупной, медной монетой дурного чекана. Между собой у них расплата идет свирепее и быстрее, чем с нашим братом. Иностранца, особенно туриста, пока не замечают в нем на-

¹ церковной проповеди (от нем. *predigt*).

² северного ветра (от фр. *bise*).

клонности к оседлой жизни, шадят как хорошую оборочную статью и выгодный транзитный товар. Таких соображений между жителями быть не может. На другие кантоны женевцы смотрят свысока, они *нарочно* не знают по-немецки. Вообще надобно заметить, что у швейцарцев два, три, даже четыре патриотизма и, стало быть, столько же ненавистей. Есть патриотизм федеральный — и есть кантональный; федеральный, в свою очередь, раздвоен на романский и германский. Как добрые родственники, граждане разных кантонов любят собираться на семейные праздники, вместе покушать и попить, пострелять в цель, попеть духовную музыку и послушать светских речей, после чего, как *настоящие* родственники, они возвращаются по домам с той же завистью и нелюбовью друг к другу, с которой пришли, с теми же пересудами и взаимными антипатиями.

В Германской Швейцарии вы встречаете на каждом шагу ту природную, наивную англосаксонскую грубость и бессознательную неотесанность, которая очень неприятна, но не оскорбительна, которая сердит, не озлобляет, так, как сердит неповоротливость осла, слона. Женевец, заимствуя у немецких кантонов это патриархальное свойство, усложняет его, переводя на французский язык, не имеющий столько емкости или выразительности по этой части, и, мало этого, он возводит простодушную соседскую грубость в квадрат преднамеренной дерзости и сознательным *sans façon*¹. Он наступает на ногу, зная, что это очень больно; он скорее потому-то и позволяет себе это маленькое удовольствие, что знает.

То, что у немецкого немца идет до приторности, чем он производит в непривычном морскую болезнь и что называется словом, не переводимым ни на какой язык, — словом *Gemütlichkeit* — это до такой степени отсутствует в женевце, что вы от него бежите и без морской болезни. К тому же женевец особенно скучен, когда он весел, и пуше всего, когда разострится. Вероятно, во времена женевских *либертинов* они были размахистее, смеялись смешно и остряли не ту пым концом ума — но они выродились.

Так, как у женевцев следа нет немецкой *задушевности*, так у них нет признака сельского, горного элемента, сохранившегося в других местах Швейцарии,

¹ бесцеремонностью (фр.).

женевцам не пужно ни полей, ни деревьев, им за все и про все служит издали Mont Blanc и вблизи озеро. Если он хочет гулять за городом, у него есть на то пароходы с фальшивящей музыкой и двигающимся рестораном. Богатые уезжают в загородные дома, но бедное население женевское не имеет ничего, подобного маленьким местечкам возле Берна, Люцерна, разным Шенцли, Гютчли, Ютли; есть кое-где несчастные пивные с кеглями — вот и все. Впрочем, надобно и то сказать, женевцу некогда много ездить *ins Ggüpe*; все время, остающееся от промысла, он посвящает делам отечества, выбирает, выбирается, поддерживает одних, топит других и постоянно сердится. К тому же его торговые дела именно и идут бойко только в то время, когда людям в городе душно. Главный промысел Женевы, так же, как и всей городской Швейцарии, — стада туристов, прогоняемые горами и озерами из Англии в Италию и из Италии в Англию. наших соотечественников, делающих также свои два пути по Швейцарии, и больше, чем когда-нибудь, не так дорого ценят, — «не стоят столько», по американскому выражению, — как прежде, до 19 февраля 1861 г. Англичане и американцы *котируются* выше. Женева к торговле пространствами, вершинами и долинами, водами и водопадами, пропастями и утесами прибавляет торговлю временем и продает каждому путешественнику часы и даже цепочку, несмотря на то, что у всякого есть свои¹.

В отправлении своей коммерции с иностранцами женевский торговец является во всей своей оригинальности, он сердится на свою жертву за ее опыты самосохранения, и мало что сердится — в случае упорства оскорбляет бранью и криком. Иностранец, который не поддается, в глазах женевца что-то вроде вора.

XI

Ч тоб подражать в болтовне моему уехавшему доктору и быть истым туристом, я должен бросить,

¹ В Женеве до того усовершенствовали теперь измерение времени, что узнать, который час если не невозможно, то чрезвычайно трудно. Как ни посмотришь — все разный час, один циферблат показывает парижское время (оно, верно, отстаёт *au jour d'aujourd'hui* <в настоящее время (фр.)>, другое бернское (полагать надобно, совсем нейдет), наконец, женевское (по карманным часам Кальвина на том свете). (Примеч. автора.)

заговоривши о женевцах, взгляд на их историю. Дальше 1789 г. мы, разумеется, не пойдем, — скучно и не очень нужно. Резче этой черты история на Западе не проводила, это своего рода экватор.

Перед этим годом генерального межевания Женева жила набожной и скупой семьей, двери держала назаперти и без большого шума, но с большой упорностью; молилась богу по Кальвину и копила деньги. Опекуны и пастыри много переливали из пустого в порожнее по части богословских препинаний с католиками. Католики меньше болтали, больше интриговали, и, когда отчаянные кальвинисты торжественно их побили в контрверзе, католики уже обзавелись землицей и всяким добром. Известно, что католические клерикалы имеют при своей бездетности то драгоценное свойство хрена, что, где они пустят корни, их выполоть трудно. Кальвинисты побились-побились да так и оставили хрен в своем огороде.

В те времена в Швейцарии было много добродушно-патриархального; несколько семейств, переродившихся, покумившихся друг с другом, пасли кантоны тихо и выгодно для себя, как свои собственные стада. Разные почтенные старички с клюками, так, как они являются в свят день после обеда потолковать нараспев, — не в гётевском «Фаусте», а в «Фосте» Гуно, — заведовали Женевой, как своей кладовой, распоряжаясь всем и употребляя на себя все рабочие силы своих племянников, дальних родственников и меньших братьев. К роскоши они их не приучили, а работать заставляли до изнеможения, «в поте, мол, лица твоего снискивай хлеб» — всё по писаниям. Метода эта к концу XVIII века перестала особенно нравиться племянникам, потому что дяди богатели, а они исполняли писания. Как дяди ни доказывали, что женевец женевицу розь, что один женевец — гражданин, другие — *мещане*, а третьи — только *уроженцы*, племянники не верили и начинали поговаривать, что они равны дядям. «Вы правы, мы все равны перед богом, — отвечали дяди, — а о суетных, земных различиях, если они и есть, стоит ли толковать!» — «Стоит, и очень», — отвечали те из племянников, которых старые скряги не совсем сломали, — и стали отлынивать от благочестивого острога. «Вы люди свободные, — толковали им дяди, — не нравится дома — свет велик, ступайте искать хлеба, где хотите, а мы вас даром кормить не будем,

а будем молиться за вас богу, чтоб очистил души ваши от наваждения общего врага нашего».

«Ничего,— думали про себя старички,— пусть помаются да поучатся, пусть поголодают да перебесятся, воротятся и опять будут работать на ниве нашей».

Взяли племяннички котомки и длинные палки и пошли смотреть свет. Кто с запяток, кто с козел, кто с булавой *швейцара* в руке, кто с бурбонским ружьем на плече, кто с историей и географией под мышкой, кто кондитером, кто часовщиком, кто трактирным слугой, кто слугой вообще, жены и сестры их шли в *французенки*, по части выкровок и воспитания.

Те, которым повезло, весело ехали домой и сами зачислялись в дяди, но не все остальные возвращались, к особенному удовольствию набожных сродников. Жившие в Вене и в Москве, в Неаполе и Петербурге конфетчиками и буфетчиками, гувернерами в России или «швицерами» в Риме,— еще ничего. Но другие, встретившиеся в Париже с беспорядками, и притом не с той стороны, с которой были их храбрые соотечественники, стрелявшие по народу из окон тюльерийского дворца 10-го августа 1792 года, возвратились никуда не годными. Вместо молитвенников в черных переплетах с золотым обрезом они начитались гневного «*Père Duchesne*»¹ и мягкого «Друга народа». Старые родственники, сделавшиеся еще закоснейшими раскольниковыми, так и ахнули. «Ах, говорят, вы богоотступники, мошенники, вот мы вас!» — «Вы погодите ругаться, благочестные старцы,— отвечают племянники,— мы ведь не прежние, мы раскусили вас, *pas si boeuf*², давайте прежде делить наследство, *Liberté, Fraternité, Égalité ou...*»³. Старики и кончить не дали. Давно отупевшие от ханжества и стяжания, они совсем рехнулись при виде такой черной неблагодарности племянников. Страх на них нашел такой; вспомнили площадь, на которой они поджарили и отляпали невинную голову Серве,— ну, думают, как «наши-то» с бесстыжих глаз ограбят, потузят да еще, пожалуй... фу! как от бизы, так мороз по коже и дерет.

¹ «Отец Дюшен» (фр.).

² Истинное жевенское выражение <не такие уж мы дураки (фр.)>. (Примеч. автора.)

³ Свобода, Братство, Равенство или... (фр.)

По счастью, Франция явилась на выручку. Первому консулу было как-то нечего делать, за неимением двух, трех тысяч какой-нибудь армии Sambre-et-Meuse, для гуртового отправления на тот свет, он вдруг отдал следующий приказ:

«Article I. Женевская республика перестала существовать.

Article II. Департамент Лемана начал существовать. Vive la France!»¹.

Великая армия, *освобождавшая* народы, заняла Женеву и тотчас освободила ее от всех свобод. Пользуясь досугом, старики стали забираться и прятаться все выше и выше, запирались все крепче и крепче в неприступных домах, в узких и вонючих переулках... другие, посмышленнее, принялись укладываться — да, не говоря худого слова... за Альпы да за Альпы.

Хорошим людям все на пользу — добровольное заключение и добровольное бегство послужило старичкам как нельзя лучше. Оставшиеся, желая отомстить за порабощение отечества, принялись продавать неприятелю военные и съестные припасы по страшно патристическим ценам. Во время Империи никто не торговался (кроме Талейрана, и то только когда он продавал свои ноты и мнения). Недостало денег в одном месте — контрибуцию в другом, две контрибуции в третьем; ясно, что комиссариатские Вильгельмы Телли в убытке не остались. Освобожденные в свою очередь реакцией 1815 года от своих страхов, эмигранты возвращались (точно так же разжившись разными дипломатическими и другими аферами) к затворникам, и давай друг на друге жениться, для того чтоб составить плотную аристократию.

Какой ветер веял тогда, вы знаете: Байрон чуть от него не задохнулся, Штейны и Канинги казались якобинцами, и Меттерних был *человек минуты*.

Объявляя, обратно первому консулу, о том, что департамент Лемана перестал существовать, а женевская республика снова начала существовать, Священный союз резонно потребовал, чтобы во вновь воскресающей республике ничего не было республиканского. Это-то старикам и было на руку. Для либерально-учено-литературной наружности им за глаза было довольно мадам Сталь в Коппете, де Кандоля в ботанике и

¹ Да здравствует Франция! (фр.)

Росси в политической экономии... Снова принялись они обшипывать и брать голодом понуривших голову племянников, снова завели богословские скачки и беги с католиками, которые еще больше накупили земель. скряжническую жизнь свою старики выдавали за олигархическую неприступность — мы-де имеем наши знакомства при разных дворах, а по другую сторону Pont des Bergues никого не знаем. Замкнутые в горной части и лепясь около собора, они не спускались вниз, предоставляя черни селиться в С.-Жерве. Как всегда бывает, взявши все меры, они не взяли самой важной, не строить им надобно было Pont des Bergues, не поправлять, а подорвать его порохом, — не подорвали.

По этому мосту прошла революция 1846 года.

XII

Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве, — аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов.

— Ну, помилуйте, сударь мой, — говорил он мне в 1849, — какая же это аристократия — будто делать ча-сы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед дает *des titres*¹... и *origine*² богатства какой — один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе...

— Вы забываете, граф, — отвечал я ему, — что женевские аристократы имеют и другие права. Разве они не находились в бегах и разве не возвратились восояси — отчасти благодаря вам, сопровождаемые казаками и кроатами, как другие венценосцы и великие имена...

Блудные племянники точно так, как кулмский герой, понимали значение *высокого* патрициата женевского, и в особенности так понимал блуднейший из них *Джемс Фази*.

Джемс Фази — это смертная кара женевского патрициата, ее мука перед гробом, ее позорный столб, палач, прозектор и гробокопатель. Кровь от крови их, плоть от их плоти, потомок одной из старинных фамилий, о бже скупавших с Кальвином, — и у него-то поднялись руки

¹ права (фр.).

² источник (фр.).

на беззащитные, но не бессребренные седины. Он «дядей отечества», выбранных собственными батраками и кортомниками в верховный совет, прогнал в 1846 году в три шен и сам себя выбрал на их место, вверяя себе почти диктаторскую власть. Сен-Жерве и вся бедная Женева с восторгом рукоплескала ему.

От него старики спрятались этажом выше и повесили к дверям по замку больше, от него они отупели еще на степень, мозги стали быстрее размягчаться, а сердца каменеть. Умных людей между ними больше не было. Вообще Джеймс Фази чуть ли не последний умный человек в Женеве. Глупое озлобление, с которым они повели войну, было худшее оружие с таким врагом.

Фази похож на хищную птицу, и теперь, состарившись и сгорбившись, он напоминает еще исхудалого кобчика — и злым клювом и пронизывающим взглядом. И теперь он еще полон просктов и деятельности, кипучей отваги, готовности рисковать, бросать перчатку и поднимать две... он все еще задорен и дерзок, он все еще молод, а ему семьдесят два года — подумайте, что он был в пятьдесят.

Ему все шло впрок, больше всего недостатки и пороки. Середь удушающей скуки женевской жизни с ее протестантски-монашеским, постным лицемерием его разгульное спуща рукава, его веселое беспутство, его блестящие, шипучие пороки, опрокидывавшие на него удесятеренную ненависть святош, привязывали к нему всю молодежь, с которой он жил запанибрата, никогда не позволяя себе наступить на ногу. Фази стоял головой выше своего хора и тремя — своих врагов. Добавьте к этому большую сметливость в делах, верный и решительный взгляд, неутомимость в работе, настойчивость, не останавливавшуюся ни перед каким препятствием, гнувшую и ломавшую всякую оппозицию, — и вы поймете, что не женевскому патрициату было бороться с ним. Дипломат и демагог, конспиратор и комиссар полиции, президент республики и гуляка, он все еще находил в себе бездну лишних сил, которая разъедала его своей незанятой праздностью. Этому человеку очевидно не доставало широкой рамы, Женева была не по его росту... вытягиваться точно так же вредно, как съезживаться. Фази в Лондоне, в Нью-Йорке, в освобожденном Париже был бы великим государственным деятелем. В женевской тесноте он испортился — привык кричать и бить кулаками по сто-

лу, беситься от возражений, привык видеть против себя и за себя людей ниже его ростом. Отсюда страсть к тратам и наживам, привычка бросать деньги и недостаток их... ажиотаж... потери... долги. Долги — наше национально-экономическое средство, наша хозяйственная уловка, — именно долги-то в глазах женевских гарпагонов должны были уронить Фази больше, чем все семь смертных грехов вместе.

Что ему было за дело до их ненависти, пока вся Женева — небогатая, молодая, рабочая, *католическая* — подавала за него голос... и кулак.

Но *tempora mutantur*¹.

Около пятнадцати лет диктаторствовал тиран Лемана над женевскими старцами... город удвоил, крепостные стены сломал, сады разбил, дворцы построил, мосты перекинул, игорный дом открыл и *других* домов не закрывал... но Кашеи бессмертные таки подсидели его. У них явился отрицательный союзник.

К борьбе Фази привык, он жил в ней, и, когда не тотчас случалось ему одолеть, он раненым львом отступал в свое С.-Жерве и выходил вдвое яростнее и сильнее из своей берлоги.

С таким неприятелем, как Фази с своими молодцами, старикам-формалистам и легистам нечего было делать, как тотчас опять отступать. Они воевали парламентскими средствами и исподволь распускаемыми клеветами. А с какой стороны он хватит — как было знать? С таким неочестливым противником всего можно было ждать. Пока масса была за него, сила его была несокрушима, а переманить ее на свою сторону воспоминанием прежнего патриархального закрепощения было дело не особенно легкое. Помощь должна была явиться из среды *по ту сторону* Фази.

Время шло исподволь, меняя умы и мысли в Женеве, как и на всех точках земного шара, где история еще делается... Опираясь на свою живую стену, Фази, наконец, почувствовал, что стена холоднее... что она не так плотна и не так сплошно поддерживает его... Он годы старался не верить, но вот там... тут ропот или, хуже, равнодушие. И уязвленный своими, гладиатор-вождь обернулся назад с раздраженным лицом... «Кто бунтует против прежнего агитатора... Неужели он?...» Укоряющая, печальная тень Алберта Галера сумрач-

¹ времена меняются (*лат.*).

но качала головой и указывала с упреком на работников, как будто говоря: «Они не твои больше». Галер был суровый проповедник — Фази боялся его социальных идей и гнал его... гнал до гробовой доски, — в могиле он вырос и окреп. Теперь наступало утро его дня... солнце Фази садилось.

Старый боец не оробел, он снова ринулся вперед, но силы бить на две стороны не хватило, и он бил зря. Нанося удары консерваторам, он в то же время хотел левой рукой держать за горло «гидру» социализма — на таком противуестественном раздвоении нельзя было надолго удержаться.

Действительно, Швейцария, Женева — микрокосмы. Разве в моем беглом рассказе не вся современная драма человеческого развития с 1789... до нынешнего дня? Не все ее действующие элементы?

Радикальная партия раскололась на две партии — без всякого повода. Одна часть бросила старого вождя — другая несла его с криком на прежних шитах. Земля терялась под их ногами, и озлобление росло. Возле огороженного поля для травли ходили безучастные работники — у старых племянников явились свои племянники. Новый бой не имел для них смысла — они не верили ни тем, ни другим. Оставленные противники вцепились друг другу в волосы... С этих пор, т. е. с начала шестидесятых годов, озлобление борющихся партий приняло форму периодического членовредительства. Женевцы пользуются каждым общественным делом, чтоб *почистить друг другу предместья*. *Labourer les faubourgs* — гениальное женевское выражение, не уступающее гоголевскому «съездить под никитки». После каждых выборов победители и побежденные ходят татуированные, как ирокезы; у кого синий глаз, у кого ссадина на лбу, у кого нос отделан под грушу. Столько мышечного усердия и фонарей ни одна страна не приносит на алтарь отечества, как цивическая весь Кальвина.

Нигде в мире не занимаются с такой рьяностью и так часто выборами, как в Женеве; месяцы прежде — только об них и говорят, месяцы после — только об них и спорят. Отчасти это происходит от чрезвычайной важности, которую женевцы им придают. Консерваторы и радикалы, не согласные ни в чем, согласны в огромном значении Женевы в всемирном хозяйстве и развитии. Для одних это Рим «очищенного протестан-

тизма», для других — исправляющий должность Парижа во время его тяжелой умственной болезни и горькой доли. Женевцы уверены, что как весь мир, чтоб знать время, смотрит на женевские часы, так все политические партии смотрят на них самих. Как же им не заниматься после этого — денно и нощно — выборами; они выбирают некоторым образом не только за кантон, но и за вселенную.

...Запершись на ключ и спустивши сторы, конспирируют на тощий желудок консерваторы в пользу старого порядка вещей, соображая подкупы подешевле и даровые влияния — в виду будущей подачи голосов. Конспирируют и радикалы, заперши свою дверь тоже на ключ, но не с внутренней стороны, а снаружи; *la démocratie permanente et militante*¹ конспирирует не натошак, а на абсинт и кирш — она шумит в душевных кофейнях, самоотверженно морщась от невозможного пива и не смея заикнуться об этом, потому что хозяин — не только радикал, а голос, власть и центр.

В сущности, все это делается бескорыстно. Ни «*fiscelle*»², ни радикалов сущность дел не заботит, они занимаются торжеством общих мест и победой или поражением частных лиц. Остальное, т. е. вся реальность жизни, администрация, опускается как мелочь... а иногда и так, что радикалы делают консервативное дело, а консерваторы — радикальное.

Это удовлетворение политической гимнастикой подорвало старые радикальные и либеральные партии. Новые люди потеряли интерес к их препинаниям.

Да и как было его не потерять?

В пятнадцать лет радикального владычества в Женеве ее законодатели не коснулись до целого ряда готически-патриархальных узаконений, пропитанных крепостничеством и неуважением к самым элементарным правам лица.

Чтоб убедиться в этом, не угодно ли взглянуть на текст «книжонок», или *permis de séjour*³, выдаваемых всем иностранцам — и в том числе швейцарам других кантонов. Каждый «неженевец» безапелляционно отдан во власть того часовщика, которому на ту минуту

¹ перманентная и воинствующая демократия (фр.).

² «продувной человек, ловкач»; здесь: «политический интриган» (фр.).

³ видов на жительство (фр.).

вверен полицейский хронометр. Он может иностранца *выслать за дурное поведение*. Законодателям не пришло даже в голову определить, что такое дурное поведение, — для кальвиниста, например, ходить в католическую церковь — самое скверное поведение. Далее штрафы за просроченные дни, поборы за *житье* в Женеве — сверх всякого рода поборов за дом, мастерскую, за то и се. Вот тебе и *post tenebras lux*!

Я указал, например, одному из старых правительственных радикалов унижительный текст, который жег мне руки.

— Все это или совсем не исполняется, или *on fait semblant*¹.

— Что же вы это храните как приятный сувенир — и вам это было не гадко?

— Если б вы знали, сколько мы выбросили старого хлама.

— Чего же было жалеть остальной?..

— Вы знаете наше положение — особенно какое оно было после 1848... Франция, Австрия, Пруссия.

— Это другое дело. Стало быть, вам было нужно, *нравилось* иметь в ваших руках — знаете — такую... эдакую власть...

— Что же, мы злоупотребляли ей?..

— Не знаю, вероятно, что да. Знаете, что вы эдак из приличия бы ввели в дело высылки суд присяжных. Если двенадцать женеццев, которых иностранец не знает, приговорят выслать, высылайте — все ж лучше, чем один часовщик.

— А вы думаете, что мы до вас об этом не думали?

— За чем же дело стало?

— Если б мы остались в власти...

— *Ничего бы не сделали...* С 1846 было довольно времени...

«Думали — да не отменили». О Селифан, Селифан... по крайней мере ты сам удивлялся, что, видевши необходимость починить колесо, ты не сказал об этом!

Долею в этом холодном пренебрежении к ближнему и в этой черствой неприхотливости опять-таки следы бизы и Кальвина. В угловатости и бесцеремонности женецца есть непременно что-то чисто архипротестантское, пресрежившее религию. Фази, составляющий яркое исключение, старался украсить пуританский фон...

¹ делают вид, что исполняют (фр.).

полиялыми французскими обоями с двусмысленными картинками, из-за которых все-таки так и торчат постные кости. Пасторская нетерпимость и скучные тексты заменились скучными общими местами и юридическими сентенциями... Церковь без украшений, демократия без равенства, женщины без красоты, пиво без вкуса или, хуже, с прескверным вкусом — все сведено на простую несложность, которая идет человеку, пуше всего спасающему душу. Самый разврат в Женеве до того прост, до того сведен на крайне необходимое, что больше отстрашивает, чем привлекает. «Ты, мол, грешни, коли надобно, но не наслаждайся, единое наслаждение там, где тело оканчивается и дух на воле».

От этого происходят удивительные контрасты. Полуповрежденная Лозанна считает театр грехом и никак не дает деньги на возобновление погорелой оперы... и все неповрежденные в ней только и мечтают о постройке нового театра. Театр занимает воображение — отвлекает от последних новостей библии и от болтовни празднующихся и вольнопрактикующихся пасторов. В Женеве два театра, но они до того наводнены элементом *простой* камелии и элементом *voeuu*¹, что солидные мужчины и особенно женщины (не из иностранных) без крайней необходимости их не посещают.

Зато если есть какое послабление и распушение — по поводу французской близости и пены, прибываемой к ее границам, есть и полиция. Женева любит круто распорядиться. Куда остальным кантонам, с своими допотопными жандармами, в киверах, напоминающих картины войн 1814 и баварские каски времен фельд-маршала Вреде... Стоит эдакий увалень, — стоит да вдруг от скуки или как спросонья спрашивает у гуляющего: «Фо бапье»... и готов сдуру вести *au poste*, где ему же и достается за это.

Женевский жандарм разит Парижем, это уж отчасти *sergent de ville*², охотник своего дела... Чтoб это увидеть, не нужно въезжать в город, а достаточно приехать в женевский амбаркадер³ с швейцарской стороны. После итальянской учтивости и простоты в других кантонах перед вами круто раскрывается преддверие Франции — страны регламентации, администрации, надзора,

¹ бродяга, проходимец (фр.).

² полицейский (фр.).

³ железнодорожная платформа (от фр. *embarcadère*).

опеки, предупреждения, внушения. Кондукторы и сторожа железной дороги наглазно превращаются в самодержавных приставов, вагонных тюремщиков и прежде всего в ваших личных врагов и строгих начальников, с которыми говорить и рассуждать не советую.

Франция так нахлороформизировала собою Женеву, что она и не почувствует сначала операции l'annexion¹. Хотя и найдется меньшинство, которое наделает в желудке галльского кита хлопот не меньше Ионы... но Франция — не кит: что ей проглочено, то она не скоро выбросит...

Не странно ли, что первый человек, который хотел предать Женеву французам, был сам Кальвин. Найдя, впрочем, что в случае нужды и в Женеве можно зажарить еретика Серве, он примирился с независимостью республиканской веси.

¹ аннексии (фр.).



Aphorismata По поводу психиатрической теории д-ра Крупова



*Сочинение прозектора
и адъюнкт-профессора
Тита Левиафанского*

Милостивый государь и господин редактор (имени и отчества, извините, не знаю).

В заграничной периодике, издаваемой вами, я с удовольствием прочитал введение в психиатрию добрейшего наставника и товарища моего д-ра Крупова. Я Семена Ивановича знал лично, любил, уважал и, могу сказать, отдал ему последний дружеский долг, т. е. вскрыл после кончины его тело и обнаружил хроническую болезнь в печени, которой он и не предполагал, но которая свела его в могилу.

Увлекательная теория покойного, во время ее появления, сильно подействовала на меня. Я долгое время был под ее влиянием, и сам везде, на практике, в житейских отношениях и в книге, приискивал новые факты и свидетельства в подтверждение главных положений ее. Так, например, я в одном английском авторе, Байроне, нашел замечательную по верности мысль, что «если б из Бедлама выпустить больных, а здоровых, вне Бедлама находящихся, запереть, то значительной перемены не было бы заметно» (vid. Don Juan, cap. XIV, v. 87)¹. Другой английский писатель, Вильям Шекспир (читанный мною в переводе одного из моих сотоварищей, Н. Хр. Кетчера), намекнул на это, говоря, что «сумасшедшего датского принца за тем и посылают в Англию, чтоб его состояние не было заметно в стране, где все поврежденные». Не удивительно, что именно на этом острове и выразился

¹ См. «Дон Жуан», песнь XIV, стих 87.

первый свободный, энергический протест одного лично поврежденного, который, содержась в больнице, сказал врачу: «Весь свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же. Беда моя в том, что *большинство* со стороны всего света».

Но не буду наполнять моего письма цитатами; скажу, напротив, что впоследствии во мне возникли некоторые сомнения, — не в главном положении д-ра Крупова, однако же в вещах очень важных.

Летами гораздо постарее меня, С. И. принадлежал еще к слушателям знаменитого профессора М. Я. Мудрова, в силу чего и получил несколько религиозно-мистическое и отчасти франмасонское направление.

Я же, как студент Дядковского и М. Г. Павлова, ими был наведен на направление более философское. Наведен, но не удовлетворен, а оставлен на собственные силы.

Некоторые возражения я тогда пометил и для большей доступности написал их по-латыне. Но не только не дал им никакого развития, но даже не привел в систематический порядок.

По обязанностям моего служения я посвящаю время свое людям, уже кончившим свою жизнь, и так как долг относительно их и мой интерес собственно начинаются с полицейского удостоверения о приключившейся кончине, — то и нетрудно понять, что, имея большую практику как от университетской больницы, так и от военного госпиталя, поставляющего нам в обилии трупы, я занимался психиатрическими возражениями в фермах¹ и канкулах не как моим специальным делом, но скорее отдохновительным extra².

Впоследствии, при возрастающих занятиях, благодаря акклиматизации холеры и укоренению простого и возвратного тифа, я забыл о моей тетради, как вдруг один из коллег, ездивший в Германию, привез с собой номер издаваемой вами периодики (имя его, по причинам, понятным вам, я считаю долгом, до поступления его в прозекторскую, умолчать). В нем я нашел сочинение учителя и наставника моего д-ра Крупова вульгаризированным на французский язык. Невольно вспомнил я тетрадку свою, перечитал ее, исправил, местами перебелил и, пользуясь отправлением за границу нашего добрейшего Ки-

¹ праздничные дни.

² дополнением, сверх обычного.

лиана Вильгельмовича, профессора теологической экзегезы и автора известного сочинения об отношении богословия к анатомии и христианства к терапии, решился послать вам. Если вы не найдете ничего неприличного в помещении сего слабого, но искреннего опыта (мое уважение к памяти Семена Ивановича не допустило бы меня ни в каком случае до выражений, лишенных урбанности)¹, то сочту это для себя одолжением, ибо в отечестве нашем после уничтожения цензуры и увеличения ответственности не полагаю, чтоб это сочинение было к печати допущено, особенно при нынешнем теократическом направлении полиции и администрации и полицейской тенденции православных служителей алтаря.

Пожелаете ли перевести или напечатать по-латыне мои *афоризмат*², — это совершенно зависит от вас. Полагаю, латинский язык — популярнее.

Позвольте, М. Г., г. Редактор, засвидетельствовать о чувствах глубокоуважения, с которыми пребываю

Тит Левиафанский.

Prosector et anatomiae professor adj.³

P. S. Адреса не пишу, так как ответа по почте получить не желаю по обстоятельствам, моего уважения к вам не уменьшающим...

T. L., pr.

...Левиафанский, Левиафанский, да еще Тит! Я думал, что с Титом Каменецким, издавшим тридцать тиснений всеобщей пространной и краткой географии, Титы в России кончились. Верно, псевдоним тоже «по обстоятельствам, не уменьшающим уважение». Что касается до фамилии, — семинария за такими безделицами не останавливается — разве нет у нас разных Крестовоздвиженских, Федоростудитенских, Гефсиманийских, Ризоположенских, не говоря о старых знакомых Круциферском и Кафернаууме?

При письме была тетрадь, написанная мельчайшим шрифтом, семинарским почерком и медицинской латынью. Я по-латыне никогда хорошо не знал, да и то, что знал, забыл. По счастью, теперь во всех городах игорных, гидро-терапевтических и гидро-минеральных заводят право-

¹ вежливости.

² афоризмы — кратко выраженные мысли.

³ Проэктор и анатомии адъюнкт-профессор.

славные часовни. Перевод сделан мною сообща с одним священником; усердно благодаря его, я должен в очистку его сказать, что он стал мне помогать только после явного удостоверения с моей стороны, что все, относящееся до религии у Тита Левиафанского, как и д-ра Крупова, относится к лжекатолической религии и к лютеровым ересям, а не к православной церкви, о которой никогда никто не думает.

Когда я перевел первый афоризм, я испугался, но вскоре догадался, что прозектор «лично» сумасшедший, в доказательство чего и печатаю переводный отрывок. Батюшка полагает, что в прозектора вторгся Вельсевул, тот самый, который некогда был сослан в свиней. Может быть! Спорить не стану, а я все думал, что он давно истрачен на *трихины*.

APHORISMATA

Верность, с которой многоуважаемый автор разбираемой мною диссертации определил *родовое* единство двух видов помешательства, повального и личного, составляет неоспоримую заслугу д-ра Крупова.

Он был весьма близок к тому, чтобы вывести прочный фундамент для медицинского понимания *всемирной истории*. Но, по несчастию, он, как многие из великих врачей до него, отступая от опыта, допустил преждевременные заключения о *цели* и через то запутался в религиозно-метафизические фантазмагории.

Автор в «историческом безумии» видит *средство* (кем взятое?), «благодетельную горячку», как он выражается, для излечения от «животности» и видит его медленное, но верное уменьшение, а посему и ожидает *перерождения рода человеческого*, что многие делали и прежде него, но главное состоит в том, что он *на этом свете* ждет свою метемпсихозу.

Допуская это, мы из преддверия науки уносимся в пучину мистических волн и возвратимся к младенческим степеням ума и понимания, которые и были, может быть, полезны и необходимы для мозгового роста, как прорезывание зубов, но которые в совершеннолетии без уродства повторяться не должны. Сюда мы причисляем всякого рода *ожидания* — пророков, мессий, пятого царства, второго пришествия, братства, справедливости и других предназначенных прогрессов.

Притом заметим, что все последовательные богословы,

храмовые¹, церковные и академические, ставили всегда отвлеченный идеал свой, как бы они его не понимали вне исторической жизни, что значительно уменьшает погрешность их.

Так, язычники искали его в доисторическом времени, в диком состоянии, называемом *золотым веком*, в него переносили свои мечты о непорочности, незнании, простоте и других отрицательных добродетелях и положительных неразвитиях, которыми преисполнены и поднесь оранг-утанги и лемуры. Так, христианство ожидало в сущности царства небесного, а не земного. Оно сеяло *здесь* для предвечного жития *там*. Церковь считала здешнюю жизнь, которой надобно было пройти, дурной дорогой и старалась слегка и немного посыпать ее щепом, нисколько не думая об окончательном ее устройстве. Для христианства смерть — главное и счастливое событие, оттого-то оно в свое цветение никогда не отказывало ни в благословении войнам, ни в сожжении, гарротировании и иных казнях еретикам. Смерть для христиан была выпускным экзаменом низших учебных заведений с правом на вступительный экзамен заведений высших и загробных.

Остальные теологи бесцерковные, как Вольтер и Руссо и другие бого- и антропо-теофилы прошлого века и нашего, все принимали для исполнения идеала своего *иной свет*, или так пазываемый *тот свет*, о котором, по запя- тиям моим в прозекторской, я всего меньше имел случай сделать какие-нибудь наблюдения, и действительно не знаю, существует он или нет, и если существует, то как к нашему прилагается. Для меня всегда было неясно (и я смиренно в том вижу отсутствие выпрених способностей), как может *привычка к существованию* переживать *существующего*. Но в настоящем случае дело идет не об объективном бытии, т. е. о бытии *в самом деле того света*, но о логичности его постановления и у геологов, бесцерковных и церковных.

Даже те из богословов, которые как *деисты* сознают, что они *постичь* не могут высшее существо и только *чтут его, не понимая* — сознаваясь, что ничего, ни хорошего, ни дурного, о нем не знают, — и они приняли несовместимость понятия здешней жизни с освобождением

¹ Т. е. не тамплиеры, а язычники, молитву творившие в капищах, божницах и «храмах» в противоположность христианам, молитвословящим в церквях (примечание батюшки, помогавшего в переводе). (Примеч. А. И. Герцена.)

от ее условий. В силу чего они, допуская прогресс, допустили «бесконечность» его, т. е. поставили целью усилий человеческих поступательное движение без достижения, что совершенно подходит к психиатрической диагностике безумия, блестяще чиноположенной нашим автором.

Как же он, *сей*¹ врач, постигнувший, что люди действуют только под влиянием известного состояния мозга, называемого нами патологическим или фантасмагорическим, как же он не понял, что другого *чистого* мозга вовсе нет и быть не может, как чистого (математического) маятника, как нормально здорового человека? Он думает, что это будет по излечении, а мы спрашиваем, как же *постоянное состояние* какого-нибудь животного рода или вида может излечиться, хотя бы оно имело свои неудобства, как слепота крота; это — не болезнь, а *особенность, признак*.

Как же, повторяю, врач, чиноположивший отличительные свойства того, что называется безумием, в силу которого окружающие предметы сознаются неправильно, но и не произвольно, в болезненном упорстве сохранить это сознание, даже при вреде себе, в стремлении к целям несуществующим, с упущением целей действительных, мог усомниться в его вечной необходимости для истории и прогресса?

Семен Иванович, проследивший свою мысль у постели больного, у своего очага (с кухаркой Матреной Бучкиной), в доме друзей своих (у Анны Федоровны), в присутственных местах своего города, в «Всеобщей Аугсбургской Газете», в путешествиях от Магеллана, Васко де Гама, Марка Поло до Дюмон д'Юрвиля, в бытописаниях от Геродота, Тита Ливия «до отечественного Карамзина», — как же он, видя так много, не усмотрел главного (не будем упрекать человека, сделавшего много, за то, что он не сделал всего, — силы человека сочтены): что без хронического родового помешательства прекратилась бы всякая государственная деятельность, что с излечением от него остановилась бы история? Не было бы ей занятия, не было бы в ней интереса. Не в уме сила и слава истории, да и не в счастье, как поет старинная песня, а в *безумии*.

¹ Батюшка непременно просил оставить «сей», он находил, что этот «указательно», а *сей* «сугубо указательно». (Примеч. А. И. Герцена.)

Без него мы были бы сведены на логику и математику. Оставим же навсегда детскую кичливость, с которой швед Линней, лучше знавший воспроизводительные части растений, чем мозги человеческие, назвал человека (как правительствующий сенат императрицу Екатерину II) *мудрым* homo sapiens, и противопоставил ему человека безумного — homo insanus, — человека, с бесконечным творчеством меняющего idées fixes¹ и пункты помешательства и постоянно пребывающего верным безумию. Если у людей являлась редкая мания жить по чистому разуму и по разуму устроиться, то она количественно всегда так была незначительна, что ее можно отнести к личным умопомешательствам, а не к тем, которыми зиждется царства и империи, народы и целые эпохи.

Умом и словом человек отличается от всех животных. И так, как безумие есть творчество ума, так вымысел — творчество слова.

Одно животное пребывает в бедной правдивости своей и в жалком здравом смысле. Природа молчит или звучит бессвязно, ибо она-то и находится под безвыходным самовластием разума в то время, как человек городит целые Магабараты и Урвазии. Все сковано в природе железною необходимостью, она не усвершеняется, не догадается, не ждет обновления и искупления, она только перерабатывается, «не ведая, что творит», — и в эту-то кабалу, в этот дом без хозяина, без добродетелей и пороков, толкают человека под предлогом излечения?

Отнимите у людей сказки и бредни, библии и апокалипсисы, веру в пришествие вечного мира и такового же братства, — и род человеческий, как Калигула, возжелает иметь едину главу и едину каротиду, чтоб перерезать ее одним ударом бистурия.

Посему и не удивительно, что все пророки и законодатели ставили в основу своей проповеди и закона какое-нибудь страшное безумие или фантазию, что все моралисты соединяются на том, что самый необходимый дар есть *дар веры*, а верить только в то и надобно, чего доказать нельзя.

Жидовствующий французский богослов Ренан² ска-

¹ навязчивые мысли.

² Батюшка было поставил, как в тексте «Ренанус», но я просил его отнять «ус», а то пришлось бы Кинэ называть Квинетусом, а Оливье — Олеарнусом. (Примеч. А. И. Герцена.)

зал, «что человек, по инстинкту, плетет религию, как паук паутину». Метко, но с той разницей, что паук плетет паутину для прокормления и от голода, а человек начинает плести, когда наестся досыта, что паук тянет нить из себя, чтобы осетить муху, а человек тянет религию, чтоб уловить ум свой, как начало антисоциальное и разъедающее.

Необходимость фантазии, сказки, лжи, религии неотрицаема, и дело вовсе не в основах, не в теодицеях, не в догматах (и в личном безумии главное совсем не в пункте помешательства; патологическое состояние может быть одно и то же, воображает ли себя большой сверчком в щели или шавкой на дворе). Только поверхностные и сентиментальные наблюдатели могли, негодуя, удивляться, что человека третьего дня травили львами и тиграми за то, что он не верит в громовержца, а верит в спасителя, вчера жгли за то, что он верит в спасителя, но не верит в заведующего делами его — папу, а сегодня управителя Христова, но не верит в него, как в царя итальянского.

Посему-то я всегда и оправдывал самого последовательного религиозного инквизитора и гонителя — Максимилиана Робеспьера; он стоит гораздо выше Диоклетиана, Кальвина, Филиппа II и др., чему, конечно, обязан успехам философии и гуманности в XVIII веке. Те жгли своих противников, он рубил головы людям не за то, что они *не так* верили, как он, а просто за то, что они не верили ни во что, кроме разума. Он очень последовательно казнил Анахарсиса Клоотса и его товарищей, понимая, что как только из-под ног человека выдернуть треножник мистики, так он и падет в самое жалостное положение.

Все, что нам дорого и из-за чего мы так обильно льем кровь ближнего, а иногда и свою, все имеет глубокие корни в безумии, и не имеет *их разве его...* Бесконечность и бессмертие, честь и слава, воля человеческая и воля божия, обе свободные, одна подчиненная другой и *обе друг другу не мешающие, несмотря на необходимость*, в коей обе движутся¹. Будто это можно понять, не сойдя с ума?.. Да и зачем воздерживаться, когда все зовет к безумию, все жило и живет им.

¹ Насчет замечательного остро-безумного сочетания совершенного произвола с совершенной необходимостью, как о сильнейшем признаке, пишу особый аргумент. (Примеч. А. И. Герцена.)

В самом деле, кто настроил величественные храмы и воздвиг целые леса мрамора и порфира для славы божией? Кто одержал все победы, которыми гордятся века? Кто надевал лавровые венки на свирепых, окровавленных бойцов, стоявших на горах трупов? Кто отводил руку народа от сохи, дал ему вместо ее меч и сделал его из пахаря земли пахарем смерти, убийцей по ремеслу, победителем и завоевателем, без которых не было бы ни Ассирии, ни Пруссии (привычка к цензуре постоянно заставляет меня умалчивать о любезном отечестве)?.. Кто?.. Будто разум?.. Кто позволяет богатому наслаждаться всеми дарами и благами жизни возле масс голодных, холодных, оборванных? Кто вешает для порядка и кто ведет человека на казнь с поднятым челом и гордостью, все равно, умирает ли он (по выражению одного немецкого стихотворца) за императора в красных штанах или за императора в белых штанах?..

Пусть же великое и покровительствующее безумие, хранящее и утешающее, исправляющее и ведущее нас чрез века и океаны, пусть же оно и впредь сопровождает нас во веки веков, пока род человеческий не поглотится геологическим переворотом. И пусть перед его торжественным шествием несется, как и прежде, то лучезарное, то в облаках, то полное, то с ущербом, *светило разума*, пребывающее, как луна, все в том же расстоянии от земного шара, как бы он ни торопился.

А посему, наставник и друг, Семен Иванович, воскликнем вместе с латинским классиком, но относя слова его к святому безумию рода человеческого: «*Tu urbes peperisti, tu homines dissipatos in societates convocasti!*»¹

Т. Левиафанский.

Не знаю, помнит ли теперь кто-нибудь небольшую повесть мою «Доктор Крупов». Она была напечатана в 1847 году в «Современнике» и имела некоторый успех. Несколько лет тому назад «Крупов» явился во французском переводе в одном парижском *Revue*². Двадцать лет спустя, в 1867 году, меня просили прочесть что-нибудь в близком кругу друзей, собиравшихся то у нас, то у известного физиолога Шиффа, во Флоренции. Я вспомнил перевод «Крупова» и прочел его. Слушатели были очень довольны, Шифф настоятельно требовал, чтобы я перепечатал его. Один итальянский литератор просил текст

¹ «Ты создало города, ты собрало рассыпанное человечество в общины!»

² обозрении.

для перевода на итальянский язык. Мой «Крупов», как Лазарь, снова ожил. Перечитывая его, мне пришли в голову «рефлексии»¹ и «контроверзии»² прозектора Левнафанского, и я их написал собственно для Шиффа.

Карл Фогт, смеясь, требовал ответа Левнафанскому, обвиняя его в скрытом деизме, на том основании, что он своего бога спрятал в *фонаре*, которого вовсе нет, но я побоялся, что одна и та же шутка утомит.

И — р.

¹ размышления.

² разногласия, споры.



Доктор, умирающий и мертвые



I

ДОКТОР

— Ну, что нового, любезный гипербореец?..

Выражения вроде «любезный гипербореец» принадлежали у доктора к последним запоздалым листочкам старофранцузского древа познания добра и зла.

— Нового нет ничего... Кроме того, что в журналах ваше правительство так чествует, как этого с 2 декабря не бывало. Да не зовите вы меня, бога ради, гиперборейцем. Во-первых, мне от этого слова всякий раз становится холодно, а во-вторых, жутко: так и кажется, что мы живем в времена Монтескье, близь Отель Ледисьер, где останавливался *le grand tzar hyperboéen*¹.

— Все забываю, что, по новым учебникам, вас следует называть не гиперборейцами, а *туранцами*.

— Это все же лучше.

— Еще бы... тут, сверх моды, комплимент.

— Конечно, не предумышленный!..

— В этом-то и букет. Наши мудрецы выдумали это имя вам на смех, на зло, чтобы вас филологически обругать... Это была единственная помощь, которую Франция оказала Польше. Нечего сказать, ловко придумали. Назвать вас туранцами, имеющими арианские

¹ великий северный царь (фр.).

элементы, значит признать ваши притязания на Азию и на Европу. Вот обидели-то. В одном мы с вами никогда не спорили — это в том, что люди еще очень глупы. Как у вас должны хохотать над нами! Все, что мы против вас делаем, вам же идет впрок. Наша ненависть полезнее для вас всех союзов. Мы вам не можем простить взятие Парижа, хотя себя никогда не упрекаем за вступление в Москву... Это еще понятно — но не удивительно <ли>, что и немцы, взявшие с вами Париж, тоже сердятся на вас за это. Из нелюбви к вам Европа всклепала на вас неслыханную силу — а вы и поверили ей. Англия до того болтала о ваших замыслах в Индии, что вы в самом деле пошли в какую-то Самарканду... Где же здравый смысл?.. Стоит петербургскому кабинету забыть на неделю Турцию — двадцать европейских газет напомнят ему восточный вопрос и подразнят Константинополем и всевозможными сербами и булгарами. В отмщение за Польшу выдумали, что у вас с поляками нет славянского родства; что вам, стало, и жалеть их нечего. Я завидую вам, мой милый монгол.

— Вы-таки придерживаетесь «*grattez un Russe*»...

— И скоблить не надо. Татарские степи так и сквозят сквозь французские обои... *et cela a son charme*¹. Я это не в вину вам ставлю — напротив, с вами, т. е. с удавшими-мися, оттого и легко, что ступай куда хочешь, ни забора, ни запрета, ни надгробного креста, ни верстового столба — одни пустоты да размеры...

— Добавьте — кое-где вежи, кое-где верблюды с европейской кладью... второй руки — немного подсохнувшей, немного подмоченной... кругом спит какое-то многое множество непробудным сном.

— Сляпшие еще проснутся — вот мы так наяву бредим — это плохо, мозги так нафаршированы, что новой мысли прохода нет. Голова загружена, как меняльная лавка, все, что не идет вместе, навалено рядом... Чего не набито тут — действительные богатства и курьезы, ненужная мебель, неудавшиеся машины... воспоминания, заклинания, прорнивания, химические сосуды и церковные снаряды... микроскопы, ороскопы... допотопные звери, нежившие уродцы — мыльные пузыри, надутые утопиями, лопают в облаках архивной пыли... Кабы у нас в голове да ваши пустыри!.. вы — извините меня — вы

¹ и в этом есть своя прелесть (фр.).

еще народ ленивый и не умеете ими пользоваться. С нашей деятельностью, с нашей привычкой мы чудеса бы настроили...

— Если б посчастливилось не наткнуться на диких зверей.

— Дикие звери выведутся... они отступают перед образованием. Много ли у вас осталось беловежских зубров?

— Беда в том, что наши дикие звери — всё звери высокообразованные.

— Это-то и хорошо. Опасно не то, когда зверь остается зверем, а когда он от образования становится скотиной и бьется между двумя крайними типами — ручного плута и кроткого дурака. Цивилизация подчистила у нас все дикое, по крайней мере засыпала песочком да землицей, — из них и образовался толстый пласт грязи, в котором пропадает всякое движение и вязнут всякие колеса. Кое-где по этим болотам есть дощечки... по горе, если вы ступили возле: вас затянет, с головой, и вы незаметно сделаетесь лягушкой, и вам покажется хорошо, как дома, в этой вязкой глине — в ней всё есть... своя глупость и свой ум, свои герои и свои гении, свои интересы и заботы. Может, дренаж и возможен — но поди расчишай такие понтийские болота... История не крепка земле. Если б это было не так, цивилизация не переезжала бы с места на место. Старые мозги труднее двигать, чем города и народы, — новый ум на них не действует. Особенно трудно двигать нравственных людей, знающих, что они нравственны и честны. Подите объясните какому-нибудь нелицеприятному судне у нас, что глупо, закрывши книгу Кетле, прикидывать на своем безмене справедливости, сколько годов каторжной работы вытягивает какой-нибудь бешеный или отчаянный поступок. Эти господа опаснее всех диких зверей вместе. Будь у нас в 48 году дикие звери на месте *честнейшего* Ламартина и *честнейших* товарищей его — не то бы было...

— Возвратились, доктор, к вашим баранам.

— Уж, конечно, в этом случае не к козлам... Ха, ха, ха... Вот вы меня и сбили... О чем, бишь, речь-то шла? Как этот Ламартин попадет на язык — так нить мысли и потеряна... Ну, да оно и хорошо, я что-то заврался... Кстати... ну, т. е. оно не совсем кстати, но так и быть, я лучше расскажу вам по поводу Ламартина пресмешную вещь. Вы знаете, что осенью 1848 я был на юге Франции. Как-то в торговый день сижу я после завтрака в маленьком кафе и читаю: крестьян бездна — толкуют о выборах,

о политике. Услышав, что я доктор и из Парижа, один высокий старик в вязаном колпаке, должно быть, человек солидный и с авторитетом, подсел ко мне и стал спрашивать меня о новостях. Выслушав, он подвинулся поближе, чокнулся стаканом, утер нос и, понизив голос, сказал мне вполслова и глядя на меня испытующими глазами:

— У нас поговаривают, что все дело мутит одна особа... Сам-то *дюк*...

Я посмотрел на него.

— Ну, *le duc Rollin*¹, очень хороший человек... да его-то полюбовница, что ли, очень забрала силу и сбивает его.

— Не слышал я, — говорю ему, — ни разу не слышал.

Старик хитро улыбнулся и прибавил:

— А мы вот и вдали живем, да не только слышали об этом, но и имя этой Иродиады знаем. Ее прозывают Ла Мартин.

Не выдержал я и — как старика ни жаль было — расхохотался. Что мне пуше всего понравилось — это название Иродиады. Ламартин — Иродиада... добро бы уж Нинон Ланкло... Да-с, милостивый государь, этот вопрос был сделан не в Рязани, не в Казани, а в каких-нибудь ста километрах от Марселя и Авиньона. И это в то самое время, когда у тех же крестьян готовились спрашивать, нужен ли республике президент и если нужен, то кого они хотят в президенты. Ну как же после этого не бросить весь политический хлам... А что вы давеча поминали о газетах!

— Старая песня, только голоса погромче. Винят правительство за все — за послабления и за деспотизм, за разливы и за засухи.

— То-то, чай, доволен, — потирает себе руки.

— Не думаю, уж очень бранятся.

— Что ему брань... когда от него ждут урожая и теплую погоду? Религия правительств, страсть к опеке были бы целы... Вера в власть — вот в чем все дело и вся сила. Я раз посадил блоху в голову одной старушке, у которой лечил золотушных внучат. «Жаль, — говорю я ей, — что наши короли утратили целебную силу лечить золотуху. Будь по-старому, вместо того чтоб меня звать да на аптеку тратиться... добежали бы с внучатами до оперы, сегодня король едет слушать Малибран... детей

¹ герцог Роллен (фр.).

посадили бы на столбики да на ступеньки. Он бы перед «Figaro si, Figaro là» погладил бы их по головке и снял бы золотуху, как рукой». — «Что вы, — отвечает мне старушка, — разве тогда короли были *такие*, разве они ездили в оперу — тогда какое житие-то их было!» — «Это, — говорю я, — извините, я небольшой охотник до Людвига-Филиппа, ну, а все же ведет он себя почище... Те-то, матушка, были всё страшные блудники да норовили всё с насильем, с убийством». Старушка только качает головой. Я тогда молод был, язык-то чесался...

— Ну, доктор, я не замечаю, чтоб и теперь перестал.

— Досада берет. Кричат себе о рабстве, о притеснениях, а сами так и наклевываются на него; интеллект, взятый от тридцати миллионов бесконечно малых бонапартиков, поневоле должен быть Наполеоном. Поговорите четверть часа с любым французом — о чем хотите, что его занимает: о Рейне, о почетном легионе, о «будущем» его дочери, о притязаниях его работника, — и вы восстановите по зубу, по косточке, по волоску, по чешуйке и допотопных маршалов, и флечовых архиереев, и легистов *diluvii testes*¹, и третичных мешан-либералов, и весь кодекс, писанный Камбасересом с компанией раскаявшихся якобинцев, и *сoup d'Etat*, и вчерашний день. От чешуйки до чешуйки, от плебисцита до плебисцита, от сенатского решения до сенатского решения вы невольно дойдете до постоянного соответствия правительства или полиции с темпераментом французов — так, как он выработался революционными горячками, военными кровопусканиями *à la* Бруссэ, романтическим постом и диетой во время реставрации и жирным разговеньем при короле-гражданине и при песнях Беранже.

— Вы хотите сказать, что Франция имеет право на империю — так, как виновный на наказание.

— Нет, не хочу и вам не советую употреблять этот жаргон уголовных палат и прокурорских речей. Какие тут наказания, какие вины — простая логическая, фактическая последовательность, идущая по пятам за событиями и делами. Человек напился пьян — на другой день у него болит голова; это вовсе не «наказанье», а следствие. Откуда это, из какой немецкой философии откопали вы такое чудовище, как «право на казнь»?

¹ свидетелей потоп (лат.).

— Доктор, вы забыли ваших классиков — это сказал не немец, а Платон.

— «Божественный» — так и видно, что не простой смертный. Он советовал поэтов выгонять из своего воспитательного дома, возведенного в образцовую республику, а, небось, не догадался дать им в безвозвратных провозах всех идеалистов, любомудров. Я сколько ни принимался читать философские трактаты, изданные после Вольтера и Дидро, — всё вздор. Они мне всегда напоминают *философский камень* — худший из всех камней, потому что он вовсе не существует, а его ищут. В науке ли, в заседании каком, если человек хочет городить пустяки, общие взгляды, недоказанные гипотезы, он сейчас оговаривается тем, что это только философское, т. е. не дельное воззрение.

— Какие вам книги, доктор, вы величайший философ без книг — вы всё по зубу да по косточке.

— А как же иначе? Геологи не берут целый Мон Блан в лабораторию, а так, верешки да осколочки... Мелочь-то, мелочь-то надобно обсудить да понять — а крупное само дается. К этому-то и ведет врачебная наука. Медицинская практика — великое дело. Нас зовут, когда машина совсем испортилась — так, как часы отдают чистить, когда колеса свинтились да перетерлись... а с нами не худо бы было советоваться прежде болезней да и не об одних завалах да почечных расстройствах. Если б перед революциями, вместо того чтоб собирать адвокатов и журналистов, делать консилиумы, не было бы столько промахов? Люди, видящие сотню человек в день — не одетых, а раздетых, — люди, шупающие сотню разных рук, ручек, ручонков и ручищ, — поверьте мне, знают лучше всех, как бьется общественный пульс. Публично, на банкетах и собораньях, в камерах и академиях, всё — театральные греки и римляне, — что тут узнаешь? Посмотрите-ка на них с точки зрения врача... куда денутся ваши Бруты и Фабриции. Гнилого зуба, мигрени достаточно, чтоб их свести *au naturel*¹. Доктору все раскрыто: чего больно не доскажет, то здоровые добавляют; чего и здоровые умолчат — стены, мебель, лица дополняют. Духовника боятся — с ним и умирающий и все другие кокетничают, — с доктором никто. Ему ничего не говорят на духу — но во всем исповедуются...

Подумайте, какие медики нашли бы вам пульс де-

¹ к натуральному виду (фр.).

вяностых годов у наших либералов сорок восьмого. Возьмите портреты *тех*... Мирабо, Дантон — *felis leo*¹... Мара — собака, бульдог... Робеспьер — *felis catus*²... барс, кошка, да какая кошка... черты, глаза, раз замеченные, остаются навеки в мозгу... Гош, Марсо... в этих лицах горит огонь, эти люди объаты страстью... они отдались, они все *тут*, у них нет дома, семьи, неба, у них нераздельная республика и отечество в опасности, у них всё в общем урагане, на трибуне, на поле битвы. Дантон погиб за то, что на миг забыл с своей молодой красавицей женой, что «отечество в опасности». Робеспьер, усталый от казней, приостановился на минуту, призадумался, пошел прогуляться в поле, за город, — и очутился без головы. Как в такой горячке не наделать чудес, не разрушить мир и не сотворить другой... Головы валяются, ряды солдат валяются... стены валяются... а небосклоны становятся все шире и шире... Одно преступленье за другим, одно безумье за другим... и их никто не замечает из-за величия лиц, из-за света событий. Все диссонансы, все свирепое, кровавое, темное тонет в ярких красках восходящего солнца...

— Доктор, дайте вашу руку — я пульс шупать не буду.

— Вспомните теперь, например, сводный портрет временного правительства 48 года. Людям этим надобно было себе сшить белые жилеты с отворотами à la Robespierre³, чтобы их приняли за якобинцев... один крошечный Луи Блан по-человечески одет, а те... круглая шляпа, сертук и *по сертуку* трехцветный шарф... вместо «отцов отечества» вышли какие-то квартальные на следствии. Впереди сухая фигура Ламартина... Зачем он тут... какого «падшего ангела» пришел отпевать или подымать старый Нарцисс?.. А тут эти не *сами*, а *братья*... «С кем имею честь говорить, с вами или с вашим братом?» — «С моим братом...» — отвечают Гарнье-Пажес *junior*⁴, Каваньяк не Годафруа... Вы не подумайте, что я враг этих людей. Я их почти всех знал, кого лечил, с кем спорил, с кем соглашался. Честные люди, добрые люди... но люди, попавшие не на место... люди... ну, знаете, люди без *sacré feu*⁵, как выражается один не-

¹ дикий лев (лат.).

² дикая кошка (лат.).

³ на манер Робеспьера (фр.).

⁴ младший (лат.).

⁵ священного огня (фр.).

мецкий потентат¹, пьющий с нами воды. У иных сердце было золотое — да золотос-то для домашнего обихода, для жены, для приятелей... Дети нашли брошенное без надзора ружье и храбро схватились за него, никак не думая, что оно заряжено, — ружье выстрелило, они переполошились, — сперва испугались шума, надзиратели как бы не услышали... потом испугались друг друга, что выдадут... «Это не я!» — кричат одни. «И не я...» — кричат другие. «Ружье само выстрелило...» — кричат третьи. Им в голову одного не пришло — что старые надзиратели сами давно убежали и что надзирателей, кроме их, совсем нет. Ну как же им было делать республики? Вы когда-нибудь на досуге почитайте две книжки — из них многому научитесь. Одна из них называется «Буржский процесс», а другая — «Донесение следственной комиссии...»

— Господи, какое русское заглавие!

— «...Составленное Бошаром об Июньских днях». Прочитавши их, вы перестанете многому удивляться, а это очень важно. Человек удивляется только тому, чего не понимает... а ведь, сознаться надобно, как ни горько, нам только остается, что *кой-что понять*.

— И другим объяснить, доктор.

— Это делается само собою, вы зажигаете спичку для себя, а сто человек посмотрят, который час... Кстати, дайте-ка посмотреть и на свои... Поздно... Прощайте. Доброй вам ночи...

— И вам, доктор, хорошего сна!..

УМИРАЮЩИЙ

1

— Доктор, а вы все время Февральской революции были в Париже?

— Все время.

— Вот бы рассказали.

— Что я могу рассказать? Я никогда не брал прямого участия в политике.

— Тем лучше, вы-то и можете рассказывать как беспристрастный свидетель.

— Я не говорил, что я не имел своих пристрастий... Впрочем, я как-то печально встретился с 24 февралем, — совершенная случайность, но она имела на меня влия-

¹ вельможа (от фр. *Potentat*).

ние — ес-то я вам и расскажу — вместо исторической лекции.

...Сильно не в духе пробирался я между разбросанными камнями баррикады — на моих руках час тому назад умер старик, которого я очень любил, очень уважал; обстоятельства, при которых он умер, перевернули всю внутренность мою. Нашего брата трудно удивить агонией. Мы с молодых лет привыкаем к смерти... нервы крепнут, притупляются в больницах, на военных перевязках, во время заразы... а смерть моего пациента так перетряхнула меня, что я несколько дней — и *каких* — не мог с ней справиться, — потом махнул рукой, как человек машет на все, когда видит свое бессилие.

...Пока я искал, куда поставить ногу между камнями, гляжу — бежит наш лаборант из Hôtel Dieu, с веселым лицом, без шляпы, с пукотками каких-то листов; увидев меня, он прокричал мне: «Победа, доктор, победа. Nous l'avons...» Вот читайте!.. и знаете, кто набирал? Сам Прудон, в типографии «Реформы», я сейчас оттуда — несу раздавать нашим! Прощайте!..» Он было ударился бежать, но наткнулся в упор на двух всадников, которые хотели тоже проехать по разгороженному месту баррикады; один был в кепи и кабане, другой в круглой шляпе, надвинутой на брови. «Vive la République!»² — закричал им во всю горловую мочь лаборант и приставил пальцы к носу — военный схватился за рукоятку сабли; всадник в круглой шляпе остановил его руку — оба пожали плечами; лаборант громко и звонко хохотал. Всадники словно передумали, поворотили лошадей и тихо поехали назад. Военный показывал что-то пальцем вдали и объяснял, штатский слегка качал головой...

Исхудалое, мрачное лицо, местами почерневшее, как бронза, умершего старика не выходило у меня из головы...

— Прежде чем продолжать, я вас вот что спрошу. Вы, верно, встречали в России последних могикан нашей революции, непримиримых, несправимых стариков девяностых годов...

— Встречал, и не одного, и признаюсь вам, имею к ним пристрастие...

— Тем лучше... Я их ставлю ужасно высоко. Таких людей больше нет... должно быть, на людей бывает урожай, как на виноград. Кажется, условия те же,

¹ Она в наших руках (фр.).

² «Да здравствует республика!» (фр.)

а один год из десяти вино лучше — говорят, от кометы. В Англии комета на людей была во время Кромвеля, а у нас в конце XVIII века. И заметьте, что люди этих двух *gis*¹ похожи друг на друга. Пуритане, доканчивавшие свой век в Швейцарии и Голландии, сильно сбивались на старых якобинцев, только что одни всё говорили по Исаию и Иезекиилю, — а другие по Тациту и Плутарху. В начале моей практики наших стариков еще было много, теперь чуть ли не все ушли... да и пора — новая Франция для них чужая. Они страдали, были в тягость другим, были просто не на месте... Дело в том, что они, в сущности, были моложе внучат, те всё их учили уму-разуму — а старики учились дурно. Как сохранили эти люди свежесть души, своего рода наивность и веру? Это потерянный секрет. Я, бывало, смотрю и дивлюсь, как седой, пожелтый старик, едвадвигающий ноги... а туда же, как влюбленный мальчик, хранит свои святыни, имеет свои заветные напаяти и свои заветные слова, от которых в семьдесят, в восемьдесят лет их глаза горят и голос дрожит; вечные утописты, они верили в свой практический смысл и, отдавши все общему делу, серьезно считали себя «эгонстами»... Их жиденькие наследники считали с ними, думали, что они позируют... а этот поднятый тон происходил просто оттого, что душа их была поднята и привыкла гордо хранить свои убеждения — в тяжелое время.

Теперь я должен вам сказать несколько слов о жизни человека, с смерти которого я начал мой рассказ. Умершего пациента моего звали по крещенью и метрике Лукас Ральером — но по собственному усвоению — гражданином Тразеас-Гракхом Ральер. Лет двадцати он попался в тюрьму по делу «последних римлян». Это было в 1796 году, как вы знаете.

Суд, приговоривший Ромма и Гужона с товарищами к гильотине, испугался их великого самоубийства и на скорую руку объявил Тразеаса-Гракха, вместе с множеством людей, захваченных для уголовного *corps de balle*, невиновными. Ральер вовсе не хотел быть оправданным, а сам явиться обвинителем; с этой целью он писал судьям записки с разными нежностями, вроде: «Убийцы республики, изверги и изменники рода человеческого»... но его не слушали: жертв было больше не нужно. Ральера вытолкали против воли из тюрьмы. Он бросился в журна-

¹ формаций (фр.).

лизм и мстил своим пером за смерть Ромма и его друзей *a la séquelle corrigompue de l'infâme Cabarus*¹. Баррасса и Тальена он не подорвал — а сам посидел еще раза два в тюрьме и чуть не отправился в одну из депортаций, которые делались тогда на том расчете, на котором давали эликсир Леруа, — для геронического очищения общественного организма. Призадумался мой Тразеас-Гракх, видя, как всякий день «Наполеон больше и больше просвечивал сквозь Бонапарта», и наконец, какого-то нивоза ап VIII или IX, взял паспорт во имя «единой и нераздельной республики» и оставил Францию. Паспорт этот он потом переплел в сафьян, берег всю жизнь, иногда показывая близким знакомым.

Ральер отправился прямо в Петербург. В оригинальном решении этом помог ему опять-таки указующий перст *du grand maltre*².

Как-то вечером в 92 году Ральер сидел у Теройн де Мерикур — туда пришел Ромм и с ним какой-то юноша. Юношу Ромм воспитывал и любил, как сына. Он говорил об нем с восторгом, как о будущем представителе бессмертных начал революции в России. Мальчик этот должен был получить тысяч тридцать крестьян — и клялся Ромму их освободить. Ральер сблизился с ним. Молодой человек много раз звал Ральера в Россию просвещать полуварваров — он решился воспользоваться его приглашением. Это было в конце царствования Павла. *C'était un fameux farceur, votre empereur Paul*³ — у меня слабость к нему. Прежде чем Ральер отыскал *le sitoyen comte Strongenoff*⁴, он одним добрым утром встретил на улице Павла. Заметив что-то якобинское в покрое его кафтана, он осмотрел его с головы до ног и велел узнать, кто он такой. Узнав, что он гражданин Французской республики, Тразеас-Гракх по имени, император не то чтоб особенно обрадовался — и тут же велел отставить одного генерала, одного полковника, двух таможенных приставов и десяток квартальных за допущение в столицу такого Тразеаса-Гракха. Ральера схватили, свезли в крепость. Через час в крепость явился обер-полицмейстер, через час и пять минут — тройка с фельдъегерем. Обер-полицмейстер объявил, что го-

¹ развращенной шайке бесчестной Кабарюс (фр.).

² божий (фр.).

³ Он был большой шутник, ваш император Павел (фр.).

⁴ гражданина графа Строгенова (фр.).

сударь приказал его отправить на житье в Пермь, и потом стал допрашивать его, зачем он приехал, какого звания и пр. «Справедливее было бы,— заметил Ральер,— сперва спросить, а потом ссылатъ». Полицмейстер испугался, писарь записал,— Ральера усадили в кибитку, адъютант проводил до заставы, и они помчались... На другой день они были километров за триста от Петербурга, когда другая тройка нагнала их — скакавшая во весь опор. Адъютант, сидевший в ней, кричал фельдъегерю Ральера, чтоб он остановился, и бил ямщика — чтоб тот обгонял. Подскакавши, он соскочил с телеги, велел Ральеру выйти и снять шляпу и объявил ему следующее от имени императора: государь находит замечание французского подданного Ральера совершенно верным, относит к глупости и нерадению по службе обер-полицмейстера, что он сперва не допросил его. В силу чего всемилоштивейше приказывает выслать означенного Ральера за границу, дав ему сто червонцев на дорогу. Ральер отказался от денег и помчался тем же порядком в Петербург, на заставе его уж ждал третий адъютант — с третьим приказом Павла. «За отказ от денег следовало бы иностранца Ральера,— было в нем сказано,— строжайше наказывать, но, так как он показывает столько же бескорыстия, сколько первое замечание — рассудительности, предложить ему на выбор — ехать в ссылку в Сибирь или определиться в женское учебное заведение учителем французского языка с обязанностью носить армейский прапорщичий мундир». Думать надобно, что такое странное сходство павловских мер с мерами Комитета общественного спасения не совсем были антипатичны Ральеру — он не поехал и заказал себе мундир, который оказался ненужным, потому что если Тразеас-Гракс неожиданно остался в Петербурге, то Павел оставил этот город также невзначай и по экстренному поезду.

После смерти Павла Ральер таки добрался до Строгонова — он тотчас сообщил ему проект преобразования России, основанный на уничтожении крепостного состояния, дворянства, чинов, привилегий, на превращении церквей в школы и аршинов в метры и пр. Строгонов находил его проект замечательным, но преждевременным. Ральер надулся и воспользовался первой войной с Францией, чтоб уехать в Молдо-Валахию. Там он проповедовал Ромма и монтаньяров детям какого-то владетельного принца — обучал яссских аристократов французскому языку и пению «Марсельезы». Из Ясс он поехал в Польшу

к какому-то магнату — князю и поклоннику Робеспьера; в его доме он встретил спроту француженку, — ее красота тронула моего героя, он предложил ей руку и сердце на том условии, чтоб в церкви не венчаться; *la belle enfant*¹ рассудила, что чем менее цепей, тем лучше, и согласилась. Через три года она его бросила, уехав с сыном поклонника Робеспьера, оставляя в знак памяти новорожденного; через тринадцать, сама брошенная магнатом, она поселилась в Париже и упросила Ральера отпустить *le cher fils*² к ней для воспитания в *la belle France*³. — В Париже она умерла, обобранная до нитки каким-то высоким итальянским баритоном и двумя тощими аббатами, — сын остался в школе.

Наконец, после всех скитаний и Ральер — как настоящий француз — все-таки очутился в Париже — после 1830 года, смягченный восстановлением *трех цветов*. Он свысока смотрел на конституционную монархию и был уверен, что новая измена Мотье (он иначе не называл Лафайета) и «узурпация» старшего сына Филипп-Эгалите непрочны и что республика — настоящая, *la bonne et la vraie*⁴ за плечами. Но, видно, интриги Барбеса и Кабарюс пережили их — и Ральер, замешавшись в дело Барбеса и Бланки, угодил в *Mont Saint Michel*. Ему было тогда уж за шестьдесят.

...А *propos* к *Mont Saint Michel*, — я помню — в старые годы, в Версали или в Сен-Клу, в комнате Марии-Амелии, висел превосходный вид *Mont Saint Michel*. Для меня всегда было странно, почему она выбрала именно этот вид, а не что-нибудь другое... морское и гористое, ну Сен-Мало, что ли. Как будто приятно засыпать с таким *temple* власти перед глазами и просыпаться, думая: «А вот наш добрый *cousin* Пакье еще вчера законопатил в это птичье гнездо на скале две-три беспокойные головы... а Барбес там сидит столько-то; мой муж может выпустить их всех, он добрый человек — но затрудняется в выборе и, чтоб не сделать несправедливости, не выпускает никого...»

— А мне кажется, доктор, она вовсе этого не думала, а просто смотрела да любовалась на волны и камни... Так, как люди, едящие страсбургские пироги, не думают о разных неприятностях, причиняемых гусям для ожиренья их печени.

¹ прекрасное дитя (фр.).

² дорогого сына (фр.).

³ прекрасной Франции (фр.).

⁴ добрая и истинная (фр.).

— J'aime ça...¹ вы правы... и это уж чистый туризм... В самом деле, ей и в голову, вероятно, не приходило, что за этими стенами томятся люди... она всё на чаек смотрела.

Итак, снабдивши старика ревматизмом во всех суставах, правительство лет через шесть возвратило, сколько его осталось, «семье и обществу». Старика взял к себе его сын, который уж успел сделаться большим дельцом и известным нотариусом в Париже. Я лечил у него в доме, и меня призывали к старику. Старик очень привязался ко мне — ему не с кем было души отвести — а я слушал его с любовью. Зато, могу вас уверить, редко кто знает больше меня подробностей о процессе Ромма и Гужон.

Молодой Ральер, Изидор, был не глупый, не злой человек, даже либеральничал — но при этом он все же был больше нотариус, чем что-нибудь другое. Ему и в голову не приходило становиться на дороге реакции; он сторонился перед ней, пожимая плечами и предоставляя истории самой вырабатываться как знает. К тому же он был в ложном положении. Он ничего не имел, кроме кой-каких знаний и того *пятна*, которое в глазах честных и умеренных людей положил на него нераскаянный старик. Место свое, тепло насиженное, со всей клиентелью тестя, он получил в приданое за женой. Жена его во всю жизнь имела один каприз — ей вздумалось выйти замуж за Изидора. Он, Ральер, был хорош собой, как-то удачно чесался à la Louis-Philippe² и мог танцевать от 10 вечера без усталости до 5 утра. Каприз был не силен — но отец сначала поперечил; тогда она решила во что б ни стало поставить на своем и поставила. Это была чистая парижанка среднего круга, не хуже, не лучше тысячи других. Она была правильно красива, имела вид образования, большой эгоизм, бездну тщеславия и совершеннейшую пустоту внутри. Мужу она не позволяла ни на минуту забывать, что она ему вместе с своей персоной — сладкой и холодной, как *meringue russe*, — с своей правильной любовью, без излишеств и отказов, принесла очень «хорошее общественное положение». Мысль поселить старика у них в доме принадлежала ей — она смертельно боялась, что он на воле скомпрометирует опять ее Изидора и его «общественное положение». Материально она ему все

¹ Вот это я люблю (фр.).

² на манер Луи-Филиппа (фр.).

приготовила — обчистила его и придела. Она, понимая, что между стариком и ею не было ничего общего, высказывала тем сильнее свои чувства. Мне приходилось не раз внутренне улыбаться, когда m-me Матильда, провожая после обеда прищуренными глазами старика, ушедшего к себе, опираясь на костыль, под предлогом трубки, говорила мне: «Как это мило иметь в доме такого почтенного старичка, vénérable vieillard¹, я так люблю, когда «рара» за столом, — это так трогательно, так патриархально. Старик с почтенными сединами так же необходим для семейной картины, как детские белокурые головки. Жаль, что у папа такие нехорошие принципы, но он жил в ужасное время... когда все было ниспровергнуто — и трон и алтарь; мне, знаете, просто страшно, когда он говорит о религии и о всем таком. Я стараюсь просто не слушать... Это так прекрасно — иметь религию, не правда ли?...» Нотариус не перечил ей, не перечил и отцу. Он сидел весь день и часть вечера в своем студюме, искал законы, писал черновые и принимал разных княгинь и маркиз в первую минуту зачатия подложной духовной, исправленного брачного контракта и без шума откладывал плоды своих советов в разные железные дорожки.

Старику было не по себе у них, он не шел ни к кабинету сына, ни к гостиной его жены, скучал, слабел, становился мрачнее и... мне кажется, жалел Mon¹ Saint Michel. Раза два ему хотелось уйти куда-нибудь на свободу и покой, но жена нотариуса и слышать не хотела, она решительно находила неприличным иметь старика отца на стороне. «То положение, которое занимает (и с таким достоинством) мой Изидор, — говорила она, — положение, которое создать и упрочить стоило жизни моему бедному отцу, — обязывает ко многому, оно требует des ménagements² и великий такт поведения. Это не капитал, с которого рента растет, как трава, пока мы спим; тут все зависит от нравственного кредита. Что ж вы думаете — хорошо, когда пальцем укажут на папа, прибавляя, что это отец Изидора, и тут пойдут все эти комментарии, расспросы... «Отчего он не ужился у своего сына, и как он его отпустил... верно, его сноха выжила?» К тому же наш добрый старик опасен вне дома с своими идеями с того света и фразами из «Chevaliers de la maison rouge»³ Дюма — его посадят

¹ почтенного старца (фр.).

² осторожности (фр.).

³ «Рыцарь из красного дома» (фр.).

если не опять в тюрьму, то в сумасшедший дом. За ним надобно смотреть, как за ребенком, и я с всей охотой, с всей преданностью делаю все это для отца моего Изидора». Жена плакала, Изидор принимался умолять старика, старик угрюмо соглашался... и шел к себе читать по новому изданию «Монитера» девяностых годов процесс Ромма, делая на маржах¹ отметки, поправки и собираясь торжественно уличить в криводушии редакторов — из которых ни одного не было в живых.

2

Пока старик собирал неопровержимые доказательства, что гарантии, даваемые законом всякому преступнику, не были взяты в уважение при процессе «последних римлян» и великих патриотов, он получил первое предостережение. У него отнялись рука и нога. Немного спустя, как всегда бывает, когда судьба или ее представители хотят прекратить человека или журнал... второе предостережение. Я намекнул m-me Ральер, что положение не без опасности... Она вскопчила с каким-то ужасом. «Боже мой, я всегда этого боялась». — «Рассудите, — заметил я, — семьдесят шестой год»... — «Нет, нет... вы этого, доктор, не поймете, он *кончит так*», — и она побежала к мужу в каком-то истерическом раздражении.

Приезжаю я раз к старику утром и застаю его очень печальным и беспокойным.

— Мне, — говорит он, — с вами надобно особо поговорить.

— К услугам вашим, у меня времени довольно.

— Посмотрите сперва, не подслушивает ли кто?

Я посмотрел — разумеется, никто не подслушивал.

— Теперь закройте дверь — и сядьте ко мне поближе... Вот в чем дело, я думаю, почти уверен...

— Ваше положение, — заметил я, — не без опасности (старик презрительно улыбнулся), но живут и не такие большие годы целые — у нас теперь в *Hôtel Dieu*...

Ральер строго посмотрел на меня из-под нависших бровей.

— Извините, — сказал он, — у меня нет достаточно сил и времени, чтоб дослушать эту, вероятно, очень интересную историю о вашем пациенте. Вы, доктор, кажется, человек умный и меня немного знаете... не можете

¹ полях (от фр. *marge*).

же вы думать, что я не умею покоряться неизменным законам естества? Я пожил довольно, слишком довольно... меня занимает совсем другое. С того дня, когда великий учитель мой Ромм прижал меня к своей груди и сказал мне: «Храни эти чувства...», я их хранил во всех обстоятельствах моей трудной, скитальческой жизни. С ними я хотел бы отойти. Пока машина исправна, я ничего не боюсь... ну, а сломается (он указал пальцем на свой высокий, покрытый морщинами лоб) — что ж я сделаю? Изидор — хороший человек, но слабый, и не туда направлен ум... Матильда — женщина добрая, хорошая мать... но женщина, не свободная от фантастических предрассудков и еще меньше от мнения пустых людей... После первого случая со мной я как-то после обеда возвратился опять в столовую; дверь в гостиную была открыта — там сидел молодой, откормленный аббат; Матильда с жаром говорила с ним и наливала ему в рюмочку ликеру... Аббат слегка качал головой и то закрывал глаза, то поднимал их к небу... Увидя меня, Матильда сконфузилась, да сконфузился и я... показал ей пальцем, чтоб она меня не замечала, и ушел к себе... Через несколько минут я подхожу к окну. Аббат стоял на тротуаре и дружески толковал с нашей Бабетой. Вы знаете?

— Как же не знать.

— Аббат благословил ее и подарил ей какую-то медальку. «Эге, да это комплот,— подумал я,— и комплот против меня. Они хотят загнать в папское стадо... потерянную овцу... Дело лестное, овца недюжинная... Но они считают без хозяина... меня смертью не испугаешь».

Старик начал сердиться и повторял:

— Нет... нет... ведь я не принц Беневентский — я никогда не примирялся с конкордатом... Нет, я не принц Беневентский... — и, выбившись из сил, заснул середь речи. Во сне больной, вероятно, продолжал ту же нить мыслей... Раскрывши глаза, он сказал мне:

— Доктор, вы честный человек, вы не были равнодушны ни ко мне, ни к великим началам революции. Могу ли я считать на вас, что вы не оставите меня в последние минуты — что вы будете здесь... возле моей кровати, — что вы не позволите опозорить чистую жизнь старика, что вы не допустите к моему одру черного таракана (safard)...

— Здесь я буду, — сказал я ему, — за это я вам отвечаю и сделаю все, что человечески возможно, чтоб желание ваше исполнилось. Но теперь успокойтесь,

вам необходимо отдохнуть — вы очень взволнованы; вечером я опять заеду.

Больной взял меня за руку — и, сколько мог, сжал ее, чтоб поблагодарить...

— Не беспокойтесь об усталости — скоро я буду иметь досуг для того, чтоб отдохнуть от всего. А теперь дайте мне вот эту шкатулку, что стоит на комод.

Я подал; он с уважением отпер, вынул из нее черепашковую табакерку, портрет в этю¹ и еще что-то в кожаном мешочке.

— Табатерка Ромма, его портрет, сделанный учеником измешника Давида, «барона Давида»... и шейный платок Гужона, покрытый его кровью... Это все мои сокровища. Я с ними не разлучался с 96 года... я их завещаю вам, доктор... Берегите их и оставьте при мне до тех пор, пока не потухнет мое зрение.

Старик отер слезу. Да признаюсь вам... и не один старик.

Я опять старался его успокоить, но уговорить его было трудно — он не отпускал меня и держал то за руку, то за сертук.

— Ну, спасибо вам; что я без вас мог бы сделать, в моем положении против заговора, в котором участвуют все? Вчера Бабета приносит мне изображение казни одного великого мученика и говорит мне: «Я пришила это изображение к вашей занавеси... это облегчит вас и заставит подумать о спасении души вашей. Когда мой отец был очень болен, ему бабушка положила такое изображение на подушку, и ему стало лучше». «Бабета, — сказал я ей, — искренно жалею, что ваш родитель кончил жизнь в мраке предрассудков... Я этого казненного человека уважаю, он твердо — как наши великие учителя — умер за свои убеждения, убитый иудейскими Баррасами и римскими военносудными комиссиями... но, когда вы приносите его изображение как лекарство или колдовство, я прошу вас удалиться с ним, — у меня в комнате не место знакам фанатизма, ниспровергающим права ума человеческого и гармонию законов природы...» На мои слова Бабета мне вот что: «Уж хоть бы бог перед смертью раскрыл ваше сердце... Я вам из жалости говорю: вы кончите без покаяния и попадете в ад — словно вы некрещеный». — «Madame Куртильи, — говорю я ей, — человек не отвечает за действия, сделанные над ним в младен-

¹ футляр (от фр. *etui*).

честве, но отвечает за свою старость и смерть, пока не сошел с ума. Что касается до бога и ада — это вопросы нерешенные и вовсе меня не занимающие... как выходящие из круга нашей деятельности». — «Так вы еретиком и пойдете туда», — прибавила она ворча и убралась вон. Это всё аббат ее научил... иезуиты везде ищут себе агентов и соглядателей.

Старик уснул, бормоча что-то о Лойоле, а я на цыпочках вышел вон, тихо, тихо притворивши дверь.

3

Прямо от старика я прошел в студию нотариуса. В канцелярии был величайший беспорядок. Ни одного ожидающего, зевающего, скучающего посетителя на лавках, ни одного писца на своем месте. Самого Изидора не было в кабинете, несмотря на то, что это был его приемный час. Я имею непреодолимое отвращение к конторам, канцеляриям и всяким мастерским и людским бюрократии, и самое ненавистное для меня в них — это их бездушный порядок, их запыленное и потертое однообразие... потому я почти обрадовался, увидя анархию Изидоровой готовальни.

Молодой клерк стоял на столе и читал громко газету — около него собрались все писцы, положив перья свои за ухо, в том роде, как ружья берут от дождя. Один старший письмоводитель, старичок крошечного роста, с сморщившимися мелкими складочками, которые придавали ему вид печеного яблока, сидел поодаль. Беззубый, в красном парике, подобранном полосками всех рыжих цветов — от темно-бурого до искрасна-желтого, — он постоянно жевал какие-то зернышки и журил молодых писарей. Теперь он для сохранения уважения к своему общественному положению сидел один на своем месте и говорил, шамкая: «Шалун, перестань читать, здесь не кафе, перестань, сорванец... Сейчас воротится сам... и увидит...»

Мое появление остановило чтение и смех.

— Что у вас за *mardi gras*¹ сегодня?

— Вы, доктор, разве не знаете, что творится на свете? — заметил стоявший на столе, соскочил на пол и подал мне торжественно газету. — Я вам советую ехать домой, вы, верно, найдете приглашение, — Тюльерийский дворец занемог — и ему надобно поставить горчичники.

¹ последний день масленицы (фр.).

— Перестанешь ли ты, проклятый болтун? Совсем от рук отбился; вот, доктор, что значит подрывать авторитеты,— заметил старик, сердясь, как сердятся нянюшки на резвых детей.

Я взял газету — с утра дело банкета разыгралось и принимало огромные размеры. Оппозиция требовала отдать министров под суд. Гизо шпынял над ней, президент камеры бросил петицию под стол... а тон журналов и оппозиции поднимался, грозил... На улицах, на перекрестках собирались группы.

— И вот, доктор, эдакий праздник *doyen d'age*¹ не позволяет нам праздновать,— болтал клерк.

— Верно, наш *père* Бонкок,— подхватил другой,— в половине с Гизо в каких-нибудь акциях и боится потерять, когда наш Бертран совсем оборвется с своим Робер Макером...

— Кто... кто Робер Макер? — спрашивал не на шутку рассердившийся и испугавшийся старичок.

— Будто вы не знаете, *père* Бонкок: Фредерик Леметр.

Снова взрыв смеха — и вдруг все умолкло; взошел Изидор; он хотел быстро пройти в кабинет, но, увидя меня, остановился и, мягко указывая рукой на дверь, пропустил меня вперед. Там он устало опустился в большое сафьянное кресло, указал мне на другое и, пробормотав: «Что за день!.. что за день!» — спросил об отце.

— Я не скрою от вас,— отвечал я,— больной плох. Всего хуже то, что он поддерживает себя в тревожном состоянии, в раздражении — на это быстро потратятся очень сочные силы его.

— Как так?

Я рассказал ему что считал нужным.

Нотариус встал, прошелся раза два по комнате, потом остановился передо мной и, скрестивши руки на груди, сказал:

— Ей-богу, голова идет кругом... есть от чего с ума сойти. Кажется, я привык к всякого рода самым запутанным положениям — но это слишком, всё разом, и нет время сообразить... Тут разваливается целый общественный строй от упрямства двух стариков... уличный беспорядок и шум грозят бог знает чем... дома умирает отец, которого я люблю... но которого несчастный ригоризм, совсем не принадлежащий нашему времени, ставит

¹ староста, старший по возрасту (фр.).

меня в страшнейшую альтернативу. Я с вами, доктор буду откровенен, мы люди нашего века, вы не можете думать, чтоб у меня были какие-нибудь предрассудки... Между нами буди сказано, я полагаю, что во всем доме одна Бабета в самом деле имеет детскую веру и держится церкви... но тут одно проклятое обстоятельство — если я могу его устранить, я сделаю все так, чтоб кончина старика была тиха и покойна... только сладить трудно.

— В чем же дело?..

— Как в чем, любезный доктор? Слух о тяжелой болезни отца разнесся. Не могу же я сказать тогда, что он кончил *скорпостижно*, не успев исполнить обряды. Его прошедшее, его мнения слишком известны, чтоб *они* захотели смотреть сквозь пальцы. Будь это просто так кто-нибудь, я поехал бы к Аффру — прекраснейший и прелюбезнейший человек. Я сладил бы с ним в четверть часа, — но тут он упрется: почитатель Ромма, нераскаянный якобинец умер без отречения, без примиренья... он для примера другим, для угрозы не позволит его хоронить с должной церемонией.

— Что же — отец ваш этого-то и хочет...

Нотариус поднял голову наверх, как это делают лошади в упряжи.

— В моем общественном положении это безусловно невозможно — *безусловно*. Есть обязанности, которым следует подчинять самые справедливые стремления сердца. У меня дети... я должен об них думать — и это далеко не всё — мое положение, мое достояние, это *дело*¹, вверенное мне женщиной, их матерью... я его именно потому должен хранить, как святыню, что с меня нельзя требовать никакого отчета. Понимаете теперь?..

— Нет, не понимаю...

— Вам хорошо, вы одни, и вас зовут, когда тело нездорово; от вас хотят *только* физической помощи — наши пациенты посложнее: от нас требуют не одного знания, но неукоризненной нравственности, огромного такта в поведении и самого строгого соблюдения приличий. Ну, какое же имя, особенно женское, аристократическое, пойдет в мой студий, после *гражданских* похорон моего отца? Вы не подозреваете чудовищную силу предрассудков в нашем обществе; на словах мы все кощунствуем, а на деле — величайшие трусы. Незаконнорожденному,

¹ здесь: ценный вклад (от фр. *deposer* — вносить, давать на хранение).

подкидыву скорее простят его рождение, чем отцу, который бы не окрестил своих детей. Да что тут толковать... я душевные немощи знаю столько, сколько вы телесные... Отца я люблю, уважаю, хотя и не делю его эксцентричностей и сделаю все, что могу — что *могу* — *puî n'est t  nu    l'impossible*¹.

Я встал.

— А что, отец не говорил вам, что он писал свою волю... вы понимаете, — добавил нотариус, подымая плечи, — я не за наследство боюсь... оно, кажется, состоит из Роммовой табатерки и его портрета.

— Ими ваш отец распорядился, он их завещал мне...

— Спорить из-за наследства, надеюсь, мы не будем, — заметил он с невыразимо сдержанной улыбкой. — Нет, я насчет письменного заявления о похоронах.

— Может, и писал, — заметил я, желая его помучить.

Туча пробежала по лицу нотариуса.

— Он вам читал?

— Нет.

Лицо нотариуса прояснилось — мы расстались.

4

На другой день весь Париж был на ногах, били раппель², все шло и двигалось. Министерство Одилона Барро было смыто мгновенно, как глина и грязь, первой волной. Правительство уступало... никто не знал, куда идти, — и все шли скорым шагом.

Приемный час мой проходил... ни одного больного: в такие дни, я всегда замечал, все бывают здоровы. В 49 году 13 июня сделало перерыв в холере... Я хотел выйти взглянуть, взял уж шляпу, вдруг — колокольчик, и сам Изидор *in propria persona*³ явился передо мной. Он никогда не бывал у меня.

— Я к вам заехал, — говорит он, — на минуту, чтоб сказать, что дело я *почти* уладил... и легче, чем думал. Вот что нам помогло, — он указал пальцем на улицу, по которой шли колонны вооруженных, громко покрикивая: «Vive la r  forme! A bas Guizot!»⁴. Духовенство сконфужено до высочайшей степени, боится револю-

¹ на нет и суда нет (фр.).

² сбор, тревогу (от фр. *rappel*).

³ собственной персоной (лат.).

⁴ «Да здравствует реформа! Долой Гизо!» (фр.)

ции, как огня, и со страху кокетничает с нами. Если наша возьмет — а в этом почти нет сомнения, — все сойдет с рук без хлопот. «Успокойтесь, — сказал мне сам архиерей, — я поговорю с вашим священником и постараюсь убедить его. Если состояние больного препятствует, мы охотно возьмем на себя спасение его души — церковь *volentem ducit, nolentem trahit*¹. Скажите вашей доброй супруге, что я молюсь за него... чтоб и она молилась, скажите, что я посылаю ей пастырское благословение и очень ценю, что в наш суетный век она прибежна к храму господню. Вклады ее мне известны и также то, что ее место в церкви редко бывает пусто в воскресные дни». Он очень... очень милый человек.

— А хорошо, — сказал я ему, — что ваш батюшка не будет присутствовать на своих похоронах.

— Вы не к нам ли? Мой экипаж у вашего подъезда, я вас довезу.

— Благодарю вас, мне хочется пройтись...

— Ходить теперь не совсем удобно: *il y a trop de peuple souverain*² на улицах. До свиданья...

...Утром я застал старика в забытии. Жизнь отступала тихо, надежды не было никакой. Мне говорили, что он слышал шум на улице, раппель, спрашивал, что такое, узнал «Марсельезу», бил такт и двигал губами, — потом опять заснул. Я поехал к двум-трем больным, съел котлету и воротился в сумерках к старику.

У дверей больного стояла добрая Бабета и горько плакала — этот агент римской церкви и алгвазил ордена Игнатия Лойолы любила старика и жалела его от чистого сердца...

— Доктор, — говорила она мне, — он отходит... не берите на вашу душу часть греха... уговорите его, пока время есть, покаяться и примириться с святой церковью... У него ведь было золотое сердце, он любил нас, бедных, и без всякой гордости, сколько мог всегда помогал. За что же, помилуйте, за что же его праведная душа должна идти в ад... Неужели вы такой бесчувственный, что вам не жаль...

— Бабета... успокойтесь, *chère enfant*, душа его в ад не пойдет... сами ж говорите, что она праведная.

— Без отпущения никакая не войдет, — говорила она, и бедная заливалась слезами. Во время моего от-

¹ желающего ведет, нежелающего ташит (лат.).

² слишком много державного народа (фр.).

сутствия у старика был еще удар. Сын сидел возле на креслах, и все что-то обдумывая, глядел на потолок. Он во время моего отсутствия привел в порядок бумаги отца. Я, осмотревши больного, сказал Изидору, что остаюсь, по обещанию, до последнего дыхания старика, что надежды нет никакой и что это вопрос нескольких часов, больше или меньше...

Изидор заметил, что он ничего письменного насчет распоряжений не нашел.

Старик только минутами приходил в себя... и то не совсем. Раз, всмотревшись в меня, он узнал... обрадовался и сказал:

— А вы слышали «Марсельезу» на улице и барабан... Их оправдают... с торжеством! — прибавил он.

В комнате было совершенно тихо, вдруг брякнул залп — и за ним опять тишина... Старик раскрыл мутные глаза, прислушался и сказал:

— Вандемьер... я не верю корсиканцу.

Это был знаменитый залп на бульваре — часа через два народное море заревело по улицам. Изидор пошел узнать, что делается. Старик много раз раскрывал глаза, будто припоминал что-то... Изидор возвратился взволнованный. Он мне сказал, что строят баррикады и покрикивают: «Да здравствует Республика!» Мне хотелось сообщить это умирающему — и в минуту, когда он снова услышал шум и барабан, я сказал ему:

— Республика!

— Республика, *une et indivisible*¹, — повторил он слабо, но внятно.

Затем началась последняя борьба жизни... Сын подошел к кровати, опустился на колени — и взял старика за руку... Бабета тихо вошла в комнату и плакала, удерживая рыдания; Матильды, по нашему обычаю, не было в комнате. Изидор сделал какой-то знак... Бабета бросилась вон и забыла затворить дверь...

После сильного вздоха больной открыл большие глаза; видно было, что сознание на минуту возвратилось... Он узнал опять меня и сына... Толпы народа шумели больше прежнего; старик указал головою — и потом обвел кругом комнату и вдруг, как ужаленный змеей или преследуемый зверем, вскрикнул; лицо его

¹ единая и нераздельная (фр.).

исказилось от ужаса... он вырвал руку у сына... и, усиливаясь спрятаться подальше в постели, указывал мне в противоположную сторону.

— Черный... черный.... — проговорил он, и голова его склонилась, рука повисла... пульса не было.

Я взглянул на то место, на которое он указал. В дверях, не входя в комнату, стоял аббат, за ним Матильда — Бабета держала свечу. Сын показал, что все кончено, и покрыл глаза платком. Аббат развернул маленькую книжку, которая у него была в руках, и стал в нос бормотать по-латыни...

Привыкнувший ко всему, этого я не мог выдержать и, глядя в упор на Изидора, сказал ему:

— Это уж из «Лукреции Борджии», только постановка не удалась, поторопились!..

Я закрыл покойнику глаза, поцеловал его святой, честный лоб — на лице его осталось выражение гнева и отвращения... может, умирая, он и меня считал одним из заговорщиков, одним из негодяев...

С плитой на сердце вышел я на улицу — и встретил, как вам сказал, лаборанта и двух всадников.

III

МЕРТВЫЕ

I

— Вчера, — начал доктор, — расставшись с вами, я долго рылся в бумагах и нашел там, наконец, старую газету, которую искал. Статья клерикального журнала и моя назидательная беседа с Маррастом хорошо замкнут мой рассказ о старом якобинце. — Доктор развернул лист и прибавил:

— Позвольте прочесть, я ужасно люблю эту статейку.

— Сделайте одолжение.

— Cero стоит одно заглавие: «Le catholicisme est démocratique et republicain»¹? «Католическая церковь не может быть связана ни с какой формой земной и преходящей власти — она связана с небом и властью, которая не преходит. Католическая церковь

¹ «Католицизм является демократическим и республиканским» (фр.).

не враждует с *свободой* — она сама основана на высшем из всех освобождений — на освобождении от грехопадения, она не враждует с *равенством*, призывая малых, сирых и немощных рядом с сильными мира сего, она не враждует с *братством* — называя братом во Христе каждого христианина и повелевая любить ближнего и врага. Нечестивые стены, отделявшие жизнь гражданскую от жития церкви, разлетаются, как прах, в такие великие дни, в которые глас божий смешивается с гласом народным. И вот почему для нас не было ничего удивительного в том, что вожди народного движения после победы пришли к алтарю — воздать богу богово и нашли архипастыря, возносящего к небу теплые молитвы о народе и народовластии. «Domine, fas salvam Republicam»¹, — раздалось в то же время во всех церквях великого града.

Да, времена, в которые мы живем, глубоко знаменательны... и еще на днях мы видели торжественное зрелище, которое сильно потрясло нас и надолго запечатлелось в сердцах наших. Едва бушующее народное море отступило с львиным ревом своим в берега, как на Монмартрскую пажить господню постучался новый гость, сопровождаемый неутешным сыном, опиравшимся на руку подруги своей. Она-то примирила почившего старца с Тем, который принимает всякое раскаяние и прощает всякий грех — за ревность о деле ближнего. Хоронили по всем правилам католического культа Люкаса Ральера, отца известного в Париже нотариуса и легиста. Родившись в те несчастные времена, когда легкомыслие Аруэта и верующее неверие Жан-Жака считались наукой, а ненависть к церкви — любовью к народу и образованию, Ральер в молодых годах дерзко закрыл себе врата церкви. Гордость полвека воспрещала ему сознаться в своей ошибке, и только в последние дни — благодаря кроткому влиянию добродетельной жены своего сына — старец смирился перед Икупителем, и церковь поспешила принять дух его с миром. Отец Амарат произнес несколько (но каких!) слов на текст: «Он сказал вертоградарию, что не пойдет на работу, — и пошел...» — Да, — заключил красноречивый аббат С.-Сулпиция, — усопший гражданин работал в вертограде Христа — зане работал для страждущих... Ты был наш, враждуя на ны. Мы ждали тебя долготерпеливо и дождались, гряди

¹ «Господи, храни Республику» (лат.).

же, как невеста Ливанская, на приготовленное ложе... А мы повторим от всей души и всего помышления литию архипастыря... И еще помолимся о державном народе французском и испросим благословения господня на нашу христолюбивую республику, на ее градоначальников, военачальников и представителей». Народ, сильно тронутый словами о. Амаранта, разошелся с криком: «Vive la République! Vive l'Eglise!»¹.

2

...Месяца три спустя мне было нужно повидаться по очень важному делу с Маррастом. Я был с ним хорошо знаком и помещал время от времени обозрения медицинских книг и отчеты о заседаниях Медицинской академии в «Националь». Это был медовый месяц его президентства — добраться до президента было нелегко. Приезжаю в первый раз — отказывают; приезжаю во второй — «дома нет».

— А как вы думаете, где он?

— В Собрании.

— Я сейчас оттуда, его там нет.

— Стало, уехал.

— Очень вероятно, а когда он воротится?

— Да вам который час назначен?

— Никакого, мне нужно видеть Марраста по делу, я доктор такой-то.

Один *huissier*² с цепью позвал другого *huissier* с цепью... Этот был важнее, и следственно, грубее — высокий, плешивый, рыхлый подагрик, павший на ноги, в замшевых сапогах... с тем театральным величием, с которым человек прячет совершенную пустоту своего ремесла, он объявил, глядя не на меня, а куда-то в угол, что у *monsieur le président*³ надобно письменно просить свиданья, и прибавил:

— Если б президент всех принимал, ему надобно было бы 48 часов в сутки, да и тех, может, не хватило бы. Хотите бумаги и чернил — вот все, что нужно, — прибавил он и указал маленьким пальцем на стол. Я вынул из кармана свою карточку и написал на ней:

¹ «Да здравствует республика! Да здравствует церковь!» (фр.)

² швейцар (фр.).

³ господина президента (фр.).

«Мне вас нужно по делу; меня к вам не пускают — я приду завтра в девять утра узнать, когда вас можно видеть». Huissier улыбнулся и не мог удержаться, чтоб не сказать: «Это не делается так».

На другое утро та же история. Huissier говорил, что он карточку положил с другими, что приказа никакого не было. Шутка эта стала мне надоедать.

— Позовите кого-нибудь из секретарей, — сказал я, немного приподняв голос.

— Ни одного еще нет.

— Зачем нет, должен быть дежурный; что за беспорядок. Я сажусь здесь и буду ждать час, два — а потом, прошу покорно заметить, что, если не придет секретарь, я не возвращусь, а последствия этого вы возьмете на себя.

Подагрик, несколько огорошенный, отправился в внутренние комнаты, беззвучно ступая по паркету с осторожностью слона, идущего по льду. Через минуту он воротился с черным фраком, видимо заряженным на всякую дерзость; он еще издали, для тона, громко сморкаясь, спросил:

— Где он... *quel diable...*¹ — и срезался. Я его знал корректором в «Насионале» и вместе с ним поправлял мои статьи.

— Зачем, — говорю я ему, — Марраст играет в прятки и поставил таких гиппопотамов с цепями в свою охрану? Мне его нужно видеть по делу, которое столько же интересует его, как меня...

— Видеть теперь президента невозможно, у него Ламартин и Гарнье-Пажес... поезжайте домой. Я через два часа пришлю вам ответ... через два часа, даю честное слово. Вы слышали, что затевает Косидьер и Луй Блан?

— Не слыхал, но не хочу у вас отнимать времени... итак, через два часа.

Экс-корректор сдержал слово, и хоть не через два часа, но в тот же день явился ко мне, гремя палашом и шпорами, зацепляясь каской за двери, драгун и подал огромный пакет, в котором лежала крошечная бумажка и на ней: «Г-н президент просит вас приехать завтра в 11 часов утра — время его утренней закуски».

¹ какого черта (фр.).

Когда я на другой день взвошел в приемную залу, там стояли, сидели, ходили, говорили, молчали обычные лица всех официальных передних. У дверей во внутренние комнаты красовались часовые из Национальной гвардии с ружьями у ноги; лакеи в ливреях сновали взад и вперед, какие-то офицеры главного штаба пробегали в таком вооружении и так озабоченно и быстро по зале, как будто сейчас начнется канонада и неприятель уж занял Монмартрские высоты. Несколько человек в нечищенных пальто и ярко-красных шейных платках сильно ораторствовали... Полагаю, что эти представители демократического равенства сословий были просто шпионы, которых Марраст захватил с собой из Hôtel de Ville¹. Словом, это была приемная временщика, Меттерниха при царе-народе — но приемная необходимая, необтершавшаяся, словно в ней пахло краской и двери скрипели на петлях.

Официант громко назвал меня по фамилье и пригласил меня в столовую. В углу большой залы был накрыт стол на четыре прибора, ломившийся от тяжелого серебряного плато. У окна стоял Паньер, я подошел к нему и едва успел, улыбаясь, сказать «*lempoqa putantur*», как двери отворились à deux battants² и, предшествуемый главным *huissier*, сопровождаемый секретарем и официантами, взвошел Марраст. Часовые брякнули на караул. Шегольски одетый, в небрежном утреннем костюме, раздушенный, с пышно взбитыми седыми волосами, Марраст был свеж и румян, как американское яблоко; в лице его, от природы очень красивом, была какая-то фосфоричность от упоенья собою. Он слегка извинился передо мной и, указав рукой на стул, прибавил:

— Мы, любезный доктор, переговорим за котлетой, если вы думаете, что дело не повредит пищеваренью.

Официант торжественно снял какую-то крышку и передал ее другому, который торжественно понес ее на другой стол. Я взглянул на Паньера и подумал: «С каким, бывало, веселым аппетитом ужинали мы с ним в небольшой столовой третьего этажа, у издателя «Националя», и как интересно болтали с милой, умной *m-me* Marrast... которой, видно, не по этикету было являться так рано...»

¹ ратуши (фр.).

² пастежь (фр.).

О деле мы переговорили.— «*Romanée gelée*»¹ — сказал хозяин, тихо и ни к кому не обращаясь, и в ту же минуту вырос, как из-под земли, мажордом, у которого в руках была бутылка, покоившаяся на боку в тростниковой колыбели.

— Знаете, доктор, кого я часто поминаю и кого мне ужасно жаль — это нашего папа Ральера. И как странно, что он умер в ту самую минуту, когда воскресала Республика, которую он так ждал, так любил... Славный был старик, и как бы он был счастлив! Месяц бы пожить какой-нибудь. Это был удивительный человек,— прибавил он, обращаясь к Паньеру,— вы его знали?

— Очень,— отвечал Паньер.

— Таких-то людей, непоколебимых и сильных, нам теперь очень... очень нужно.

— Будто? — заметил я, улыбаясь.

Едва уловимое движение пробежало по лицу Марраста.

— А вы знаете подробности о его кончине и похоронах?

— Ничего не знаю — кроме того, что он умер в ночь 24 февраля. Что же особенного?

Я передал ему вам известные подробности, не забыл даже упомянуть и о статье в клерикальном журнале.

По мере того как я рассказывал, фосфоричность Марраста исчезала — он беспокоился, делал вид мигрени и, наконец, нетерпеливо кроша двумя пальцами хлеб, сказал:

— Вы мне позволите заметить, любезнейший доктор, мне кажется, что вы напрасно так обвиняете Изидора Ральера... вы действительно не взошли в его положение... Я его знаю очень хорошо за прекрасного человека и преданного республиканца...

Я улыбнулся.

— Я говорю, что я его знаю... — сказал, несколько прищуривая глаза, Марраст.

— В нашем царстве всеобщей подачи голосов позвольте мне иметь мое смиренное мнение.

— У вас взгляд непрактический, доктор. Исполнение религиозных обрядов большинства народа до некоторой степени обязательно для всех. Здесь не может

¹ «Замороженной романей» (фр.).

быть речи о притеснении совести — это дело декорума. Зачем человеку высокомерно выделять себя в какое-то оскорбительное *araglé*...¹ Это очень хорошо понимал человек, которого авторитет трудно отвести, — Робеспьер. Он говорил, что атеизм — аристократия.

— И выдумал свою церковь, в которую вербовал гильотиной, да и то не навербовал...

— Вы знаете, что я гильотину не оправдываю, но все же его религия была лучше атеизма Эбера.

— Как кому, это дело вкуса... а последний крик умирающего Ральера у меня в ушах... и католическую галиматью, в которой подхваливают христолюбивую республику, считаю обидным и для честного республиканца, и для Второй республики...

— Что же, вы думаете, что мы могли бы, как в 93, закрыть церкви, действительно насилуя совесть огромного большинства французов?.. Хороши мы были бы, если бы с самого начала затронули такую опасную струну... с народом, который надобно всеми средствами приучить к республике, воспитать к свободе и пониманию прав.

— Вы были не совсем того мнения о нем три месяца тому назад — в ваших энергетических *regrets* Paris².

— Три месяца — немного времени, а посмотрите, сколько у меня прибавилось седых волос. Перо публициста и деятельность государственного человека могут иметь общую цель, но они далеки, как практика и теория; а эту даль только тот может измерить, кто сам окупнулся в омут дел...

Затем Марраст быстро встал и пригласил меня в кабинет. Когда мы проходили в двери, часовые опять взяли на караул. Вероятно, Маррасту это не было неприятно — имел же он, вероятно, право сказать им, чтоб они стояли смирно... и не дурачились.

Ему было совестно и досадно, он подал Паньеру и мне сигары и, потрепав меня дружески по плечу, сказал ему:

— Что нам делать с нашим неисправимым эскулапом... вот *enfant terrible*³ с седыми волосами?..

— Скажите, — спросил я, смеясь, — гражданин Па-

¹ отдаление (фр.).

² передовицах (фр.).

³ ужасный ребенок (фр.).

ньер, давно ли это наш президент сделался из вольтерьянцев — клерикалом и проповедует церковные обряды?..

— Что вы дурачитесь, доктор... ну какой тут клерикализм... а вот вам что за охота говорить при секретаре... он очень хороший молодой человек, но в душу не заглянешь, и в нашем положении надобно осторожность и осторожность... да тут еще официанты. Неужели вы не понимаете, что мое *общественное положение*, которое только и держится на нравственном влиянии...

— И священное депо, вверенное вам,— сказал я, невольно вспоминая фразеологию Изидора.

— Да, да... депо, вверенное мне самим народом и моими товарищами... накладывает на меня обязанности... и, во-первых, не позволяет мне ссориться с духовенством. И *au bout du compte*¹ мне все равно, будет ли идти за моим гробом какой-нибудь шут в четвероугольной шапке и белой манишке сверх черной сутаны — или нет, лишь бы они мне живому не мешали.

— Я не подумал об этом за столом,— сказал я, откланиваясь.

Марраст любезно проводил меня за двери. Часовые брякнули на караул.

25 марта 1869

Ницца

IV

ЭПИЛОГ

— Мне, доктор, хочется вам повторить вопрос, который сделал какой-то математик, прослушавши очень внимательно симфонию: «Что же это доказывает?»

— И музыкант не умел ему, вероятно, ничего ответить... Не легко и мне — и все-таки я думаю, что моя симфония или *marshe funebre*² доказывает, кое-что доказывает. Хоть бы, например, и то, что Франция совсем не такая уж революционная страна, какой себе представляли ее иностранцы и мы сами. Мы взбалмошные

¹ в конечном счете (фр.).

² похоронный марш (фр.).

консерваторы и капризные рутинисты. Мы часто стоим на одном месте с видом скорого марша и отступаем с криком атаки. Малейший ветер колышет и рябит наше море — но на вершок, не больше. Девяностые годы захватили глубже — так мы восемьдесят лет пятимся, чтоб взойти в старое, узкое и жесткое русло. Революционная пьеса доиграна — но костюмы нам понравились, и мы мирно ходим в них по улицам, как дети в мундирах. Вход за кулисы только легок в театрах. Нигде не хранят лучше семейные тайны и физические недостатки, как у нас. Нас ужасно трудно заставить врасплох. Что мудреного узнать англичанина, не дающего себе труда играть роль, или немца, доверяющего свои чувствования знакомому по *table d'hôte*'у? Раскусите-ка нас. Мы для ближайших знакомых делаем туалет, и наше неглиже всегда по моде и к лицу. Бывают иногда «дурные четверть часа», когда все спрятанное под манишками выступает наружу, — тут и ловите... пропустили — ваша беда. Я сам дожил до седни, плохо понимая, что делается вокруг, и потом в три дня выучился больше, чем во всю жизнь... и выучился на всю жизнь.

— Вы говорите?

— Разумеется, об Июньских днях.

— Вы социалист?

— Я доктор медицины.

— Это не мешает.

— Мешает, и очень. Быть разом больным и врачом — дело плохое. Одиллин Барро говорил, что закон не знает бога — а уж врач и подавно не должен иметь никакой религии, иначе он неодинаково будет относиться к больным.

— Вольно вам социализм считать религией?

— А как же? Может, он когда-нибудь и вырастет из стихаря, даже есть обещающие зачаточки — но это еще нерешенное дело; «великая» революция имела не меньше его зачаточки, а так и состарилась на своих цивических литургиях и политических процессиях... Всё те же идолопоклонники и иконоборцы — только иконы другие... а средства защиты и нападения, как встарь, чисто богословские, основанные на вере в что-нибудь невероятное, подтверждаемой доказательствами, ничего не доказывающими, и силой, доказывающей, что рассуждением ничего не сделаешь, а кулаком очень много. Религии всегда учреждались и держались на горячем сердце и крепком кулаке.

— Ничего подобного нет в современной борьбе... капитала с работою,— какие тут литургии да крестные ходы...

— Помилуйте, да тут всё литургия, кроме самого предмета. Одни хотят уверить других, что эти другие... им же нет числа... не имеют права на необходимое — тогда как они сами имеют лишнее и дивятся, как те впроголодь не понимают, что в этом-то и состоит свобода. Другие укоряют в грабеже тех, которые так же бессознательно имеют деньги, как укоряющие их не имеют. Где же тут логика? Одно богословие, примененное к земным предметам... Иконоборцы капитала и его идолопоклонники так и стоят на своем диспуте, все больше и больше отравляя его и поддразнивая друг друга.

— Куда же это приведет?

— Туда, куда приводят все религиозные препинания: не к *делу*, а к *крови*.

— И будто это так неминуемо?

— Я не фаталист, но, кажется, миновать трудно. Один стан растет не по дням, по часам... другой свирепеет, и оба не понимают друг друга.

— Надобно посредников.

— А где их взять? Примирившихся и непримиримых бездна, но примирителей нет. Примирившиеся резонеры всего хуже — что они примутся объяснять, то остается навеки мутным и безжизненным, как замерзнувшая лужа. Это наша язва. Вы ее найдете почти во всех журналах. Мишле говорит о том, как схоластика и монашеское воспитание образовали целую породу *дураков*. Журнализм, парламентаризм, неудавшиеся революции и революционное похмелье вырастили в наше время слой *умников*, заговаривающих всякое дело до бессмыслия. Они всё объясняют, всё понимают; но всякий жизненный вопрос выходит из их мозговой реторты, как зеленый лист, опущенный в хлор,— бледным, увядшим. Их неистощимая верва¹, запугивающее умничанье одних, деловая наторелость других делают из них казовый конец нашего времени — и это большое несчастье. Это не дилетанты, а адвокаты всего на свете. Их задача состоит в том, чтоб одержать верх в прении — выиграть дело, а в чем оно — им все равно.

...Я прерываю философствование моего доктора...

¹ вдохновение, пыл (от фр. *verve*).

или, лучше, не продолжаю его, потому что и тут — как почти во всем — обстоятельства нагнали нас и опередили...

Рассказ доктора о гражданине Ральер я писал в начале марта 1869. Через несколько месяцев гроза, давно собиравшаяся, разразилась без ударов и потрясений. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась. Равновесие, устроившееся от начала реакции после 1848, нарушилось окончательно.

Явились новые силы и люди.

Вдумчивый наблюдатель русской и европейской жизни середины XIX века, знавший всех выдающихся людей своего времени — от К. Маркса до И. Тургенева, — П. Анненков дал живой портрет Александра Герцена, яркое дарование которого не могло его не поразить: «...меня ошеломил и озадачил на первых порах знакомства этот необычайно подвижной ум, переходивший с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету, умевший схватить и в складе чужой речи, и в простом случае из текущей жизни, и в любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дает им физиономию и живое выражение»¹.

Ему вторили другие современники. «Твой талант — вещь нешуточная»², — писал Белинский Герцену, познакомившись с его первыми опытами в художественной прозе. А затем в годовом обзоре русской литературы за 1847 год дал развернутую характеристику своеобразия его беллетристического дарования. В многообразном наследии А. Герцена, давно ставшем гордостью нашей культуры, немалое место занимает художественная проза, имеющая свои отличительные черты. Именно о них и писал Белинский: «Могущество... мысли — главная сила его (Герцена. — В. С.) таланта; художественная манера схватывать верно явления действительности — второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую, — вторая окажется слишком несостоятельной для самобытной деятельности. Подобный талант не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нет, такие таланты так же естественны, как и таланты чисто художественные. Их деятель-

¹ Анненков П. Литературные воспоминания. — М., 1983. — С. 206.

² Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. — М., 1982. — Т. 9. — С. 588.

ность образует особенную сферу искусства, в которой фантазия является на втором месте, а ум — на первом»¹.

Исключительное богатство идей, присущее Герцену — мыслителю, писателю, публицисту, человеку энциклопедического объема знаний, автору знаменитого романа-воспоминаний, романа-исповеди «Былое и думы», в этой характеристике Белинского выражено достаточно определенно и недвусмысленно. По произведениям Герцена читатель может проследить развитие русской мысли на протяжении ряда десятилетий.

Среди людей 40-х годов XIX века Герцен играл особую роль. Он вел свою политическую родословную от декабристов. Декабристы пробудили ребяческий сон его души, по собственному признанию Герцена. Именно представители 40-х годов вышли на передний план после разгрома декабризма, после гибели Пушкина и Лермонтова и во многом определили интеллектуальную жизнь России в то мрачное время.

Люди 40-х годов прошлого века... В памяти встают имена Н. Станкевича и В. Белинского, Т. Грановского и А. Герцена, М. Бакунина и К. Аксакова. Долгое время под этим понятием подразумевали определенный культурно-исторический тип. Создавался образ русского идеалиста и романтика, «лишнего человека», непременно прошедшего школу германской философии и во многом оказавшегося не приспособленным к тогдашней русской действительности. Психологический облик такого скитальца лучше всех отразил И. Тургенев. Но при всем сходстве определенных психологических черт они — эти люди 40-х годов — различались друг от друга и общественной позицией и жизненной судьбой. Корифеи главных идейных течений того времени — западников и славянофилов — оказались, как говорится, по разную сторону баррикад. Особенно была необычна судьба Герцена, тоже русского человека 40-х годов, для которого история его идей неотделима от самой его жизни.

Образ времени — вот главный герой прозы Герцена.

А. И. Герцен родился 25 марта памятного для России 1812 года в Москве, в доме, принадлежавшем старшему брату его отца (Тверской бульвар, 25). «Отечество мое — Москва», — сказал он как-то. Юному Герцену было чуть больше пяти месяцев, когда наполеоновская армия,

¹ Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. — М., 1982. — Т. 8. — С. 374.

уже смертельно раненная в Бородинском сражении, вступила в Москву. Произошло это 14 сентября (по новому стилю), точнее — 15-го, так как Наполеон потерял целый вечер предыдущего дня, ожидая «бояр» с ключами от города.

Повествование о французском нашествии и пожаре Москвы было, по словам Герцена, его детской «Илиадой». Именно рассказом о пожаре Москвы начинается его главная книга — «Былое и думы». Война 1812 года, опалившая юность декабристов и Пушкина, положила начало и семейной хронике Герцена. Вынужденное пребывание в Москве, встреча и беседа отца Герцена — И. А. Яковлева — с самим Наполеоном, исключительные обстоятельства, при которых семье знатного русского вельможи было разрешено выехать из горящего города, — все эти события владели душой маленького «Шушки», как ласково звали его в семье... Стоит добавить, что в тушении пожара, сразу охватившего центр города, принимала участие и семья И. А. Яковлева.

Выросший в барской усадьбе и хорошо знавший ее быт (хотя Яковлев и не относился к числу закоснелых крепостников), Герцен с ранней юности изберет дорогу борьбы с деспотизмом во всех его формах. Отстаивание человеческого достоинства, протест против произвола войдут составной частью в многообразное творчество писателя, мыслителя, революционера. Его имя станет в одном ряду с именами крупнейших деятелей русского реализма XIX века. «Аннибалова клятва», которую давал себе юный И. Тургенев, отражала душевный настрой многих молодых людей того времени. Но ни от кого, может быть, не потребовала она столько жертв, как от Герцена.

Долгое время — вплоть до конца 30-х годов — им владело романтическое мироощущение. Подобный романтизм имел всеевропейский характер и был антибуржуазным по существу. В итальянских новеллах Стендаля, посвященных карбонариям, хорошо показаны настроения, воодушевлявшие кружок Герцена времен юности. Романтический подъем навстречу будущему пройдет через все литературы — от В. Гюго до М. Лермонтова и менее знаменитых писателей и поэтов того времени — А. Марлинского, А. Полежаева и других.

«Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в душе моей! Ты — по превосходству поэт юношества. Тот же мечтательный взор, обращенный на одно бу-

душее — «туда!», «туда!»; те же чувства благородные, энергические, увлекательные; та же любовь к людям и та же симпатия к современности...»

Кто не вспоминает этих слов Герцена из «Записок одного молодого человека», если познакомился с ними в пору юности! Призыв «туда!», «туда!» был подлинной печатью времени, равно как название, данное Герценом своему альманаху «Вольной русской типографии» в честь рылеевской «Полярной звезды».

Юношеский романтизм Герцена и его друзей, среди которых особое место занимал Огарев, имел ярко выраженную политическую окраску. Достоевский как-то заметил, что несколько глубоких жизненных впечатлений способны определить весь строй души, всю последующую жизнь человека. Несколько событий, наложивших отпечаток на детство или юность, когда так «новы все впечатленья бытия», по словам поэта, будут потом припоминаться десятилетиями, если эти впечатления действительно значительны.

Таковыми событиями для Герцена и Огарева были восстание декабристов в 1825 году и клятва на Воробьевых горах. Однажды — это было летом 1827 года — друзья отправились на очередную прогулку в сопровождении отца Герцена и воспитателя Зонненберга.

«В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку... Отец мой, — вспоминал Герцен, — как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенял Карл Иванович... Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запахавшись и покрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».

«Сценка эта может показаться очень натянутой, — вспоминал позднее Герцен, — очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была искренна, это доказала вся жизнь наша».

После казни пятерых декабристов друзья избрали себе жизненный путь — путь борьбы. Готовность к жертве, осознание благородной цели,

романтический порыв — все отразилось в этой клятве мальчиков четырнадцати-пятнадцати лет.

Лучшие месяцы года — летние — Герцен проводил в селе Васильевском с тетрадкой запрещенных стихов, с Шиллером и Плутархом в руках. Вокруг расстилась необозримая ширь подмосковных полей, изредка доносились звуки протяжной народной песни...

Никакие красоты Италии или оживленная городская сутолока Парижа и Лондона — в годы вынужденной эмиграции — не могли застыть в памяти Герцена эту, казалось, бесконечную тишину родной земли. Долгие годы на чужбине он вспоминал свое Васильевское, быстрое течение Москвы-реки, на которой стояло село, и самого себя со смутными и пленительными мечтами о будущих подвигах...

Один из разделов главной книги Герцена «Былое и думы», где отразилась его биография, называется «Тюрьма и ссылка». Здесь показан тяжелый период его жизни. Через год после окончания Московского университета Герцена арестовали за пропаганду революционных идей. Потом были годы политических преследований, которые составили почти десятилетие и закаляли его как непримиримого врага самодержавия.

«Былое и думы» посвящены Наталье Александровне Захарьиной, жене и другу Герцена. К Н. Захарьиной обращены самые первые, начальные строки «Записок одного молодого человека». Именно она поддерживала дух юного революционера, избравшего путь непримиримой борьбы. Натура страстная, поэтическая, искренняя и чистая, она долгое время была верной подругой Герцена в самые тяжелые дни и месяцы его жизни. Недаром встречу с ней Герцен считал важнейшей вехой своей духовной жизни.

Когда в повести «Кто виноват?», опубликованной в журнале «Отечественные записки» в 1840—1841 годах, Герцен рассказал историю Любоньки Круциферской — внебрачной дочери генерала Негрова, он из-за цензурных условий, имея в виду судьбу своей возлюбленной, явно смягчил ситуацию. В действительности в истории Н. Захарьиной — двоюродной сестры Герцена — все обстояло куда трагичнее и обыденнее. Ее судьба во многом напоминала его собственную, но, так сказать, в более тяжелом и безрадостном варианте. Герония повести «Кто виноват?» — Любовь Круциферская — лишь самым отдаленным образом напоминает свой более яркий оригинал. Но именно в ее образе Герцен подчеркивает новые для русской литературы того периода идеи свободы

чувства и раппирования женщины. Причем эти идеи опирались на глубокую жизненную основу. Речь шла о достоинстве личности и ее праве на счастье.

В созданной в эти же годы статье «Капризы и раздумье» Герцен писал о важности исследования частной сферы человеческой жизни: «Употребление микроскопа надобно ввести в нравственный мир, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии». Это — почти программный манифест для всей будущей русской литературы с ее пристальным вниманием к внутренней жизни человека.

Однако вопрос о праве на чувство и реабилитации этого чувства имел и другую сторону. Человек не должен ограничиваться лишь сферой личных, любовных отношений, и история Крушиферской ясно говорила об этом. «Монополию любви надобно подорвать вместе с прочими монополиями, — писал Герцен, словно комментируя и объясняя героев повести «Кто виноват?» — Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажем прямо: человек не для того только существует, чтоб *любить*; неужели *вся* цель мужчины — обладание такою-то женщиной, *вся* цель женщины — обладание таким-то мужчиною? — Никогда!.. Человек должен развиться в мир всеобщего».

Ясно, что понимал автор повести «Кто виноват?» под миром всеобщего — это прежде всего устремленность человека навстречу передовым идеям своего времени. В условиях цензуры Герцен не смог сказать об этом достаточно откровенно, но внимательные читатели понимали его хорошо. И здесь на помощь им пришла идея так называемого разумного эгоизма. От надзвездных сфер тогдашнего философского идеализма мысли приверженцев новой веры обратились к повседневности, к жизни семьи, стали касаться вопросов любви и брака, эмансипации женщины. Речь шла теперь не о бессмертии души, а о смертности тела. «Долг предписывает отречение? — писал Л. Фейербах, возвестивший новую мораль разумного эгоизма, в которую страстно уверовали его русские последователи. — Как это глупо! Долг предписывает нам наслаждаться. Мы *должны* наслаждаться»¹, — продолжал он, полемически заостряя свои слова против аскетической морали христианской религии. Когда в «Сущности христианства» — главном труде философа — бог был низве-

¹ Фейербах Л. Избранные философские произведения. — М., 1955. — Т. I. — С. 250.

ден на землю, тогда произошло естественное «обожествление» человеческой сущности, в том числе и его чувственной природы: «Человек не может и не должен отрицать чувства; если же он отрицает их, противореча своей природе, то обязательно снова утверждает их, но теперь уже он не может утверждать их иначе, как отрицательным, противоречащим самому себе, уродливым, фантастическим образом», — писал Л. Фейербах.

Однако работы Герцена того периода не были простым переложением германских идей на русские нравы. Это было самостоятельное усвоение и дальнейшее развитие самых передовых достижений «западной науки», доступной русским мыслителям в тех условиях.

Разумный эгоизм! — сколько жарких споров возбудил он в массе русских читателей, особенно молодых, когда перекочивал со страниц журналов в реальную жизнь! Каким явным противоречием казалось само сочетание этих слов! Вспоминаются «новые люди» Н. Чернышевского с их бескомпромиссностью в борьбе за новую этику и правила общежития, кодекс морали передовой молодежи 60-х годов XIX века, пугильсты-«дети», пугавшие одной внешностью своей и манерой поведения консерваторов-«отцов». Это было время, когда пождь шестидесятников Чернышевский в идее голого расчета видел почти единственный ключ ко всем поступкам человека. Если Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний, то она поступила расчетливо — что ожидало ее впереди? «Жители Сагунта перерезались, чтобы не отдаться живыми в руки Аннибала, — говорил Чернышевский, — Геройство, достойное уважения, но совершенно одобряемое эгоистическим расчетом...»¹

«Как все странно и перепутано в людских понятиях! — записывает героиня Герцена Круциферская в дневнике, размышляя о своем чувстве к Бельтову. — Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь — высочайший эгоизм, что кротость — страшная гордость...»

Русские приверженцы «разумного эгоизма» создавали новую этику, которая направлена была против идеологических устоев старого общества. Самая идея «голого расчета» не отвергала великодушных порывов и героических жертвенных поступков, — она отражала попытку подвести под новую этику научную почву. Герцен с его идеями женской

¹ Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения: В 3 т. — М., 1951. — Т. 3. — С. 240.

эмансипации, получившими столь блестящее отражение на страницах повести «Кто виноват?», стоял у истоков целого направления в истории русской передовой мысли.

Однако это лишь один из мотивов повести Герцена. Недаром Ф. Булгарин писал в своем доносе в III Отделение, обращая внимание уже на первые главы произведения, опубликованные на страницах журнала «Отечественные записки»: «Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девочкой — образцы добродетели». На доносе Булгарина сохранилась пометка шефа III Отделения Л. Дубельта о том, что он тоже находит «всю повесть предосудительною».

Так уже первые художественные произведения Герцена-прозаика, опубликованные в подцензурной печати, обратили на себя внимание властей, которые давно и пристально следили за его деятельностью после возвращения из ссылки.

Постановка вопроса «кто виноват?» соответственно вела — в дальнейшем — к новому вопросу «что делать?». Это и стало девизом следующего поколения молодых людей — поколения шестидесятников.

«Ничем люди не оскорбляются так, как неотысканием виновных», — писал Герцен, — какой бы случай ни представился, люди считают себя обиженными, если некого обвинять и, следственно, бранить, наказывать. Обвинять гораздо легче, чем понять».

Отсюда смысл иронического эпиграфа, поставленного автором в самом начале произведения: «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божьей, дело же, почислив решенным, сдать в архив».

Речь идет о мучительных взаимоотношениях Круциферских и Бельтова, который стал невольным виновником семейных несчастий своих друзей. Однако передовой читатель интерпретировал вопрос «кто виноват?» шире и глубже. Да, трудно назвать конкретного виновника неудавшейся жизни «лишнего человека» Владимира Бельтова, который, кажется, имел все, чтобы, как говорили тогда, принести пользу людям. Воспитанный женовцем Жозефом в духе Руссо: главное дело жизни есть служение человечеству — и не менее того, — Бельтов не смог найти себе достойного поприща. Среда, в которой он оказался, была чуждой его благородным мечтам, так что судьба Бельтова в новых условиях напоминала судьбу его предшественников — лишенных людей начала века.

Среда! — вот где лежала разгадка случившегося. Это была капи-

тальная идея, которую выдвинула русская литература еще в 20-е годы, задолго до повести Герцена. Герцен и его единомышленники блестяще развили ее и дали единственно верное истолкование: чтобы изменить судьбу человека, надо изменить общественную среду, в которой он живет. Эта мысль стала одной из главных в русской литературе XIX века, независимо от того, исповедовал ее тот или иной писатель или она объективно вытекала из самой сути его творчества. Герцен открыто и сознательно проповедовал ее в своих произведениях. Ссылки на застой общественной жизни, на мрачную и душную среду, в которой жили его герои, стали довольно распространенными.

В коротком рассказе «Мимоездом» старый чиновник достаточно ясно говорит об опасности для общества «мудрствования», стремления отыскать причины проступков виновных: «Я разве затем тут посажен? Я старого покроя человек, мое дело — буквальное исполнение, да и так нехорошо — ну, как же, видишь, что человек украл, вор есть, а тут пойдет... да он от голоду украл, да мать больна, да отец умер, когда ему было три года, он по миру с тех пор ходил, привык бродяжничать... и конца нет».

Теория среды, которую проповедовали Герцен и его соратники, как раз и подводила к тому, чего опасался чиновник, а именно — к оправданию призывов уничтожить все устои старого общества.

С этой темой связана повесть Герцена «Сорока-воровка» — наиболее яркое антикрепостническое произведение того времени. Обратившись к судьбе талантливой крепостной актрисы, Герцен воспользовался случаем, который поведал ему актер М. Шепкин. Повесть создавалась в атмосфере шумных литературных и общественных споров между западниками и славянофилами. Начало произведения воспроизводит внезапно возникшую дискуссию о семейных правах у западных и славянских народов. Спорят друг с другом «европеец», «молодой человек, остриженный под гребенку» — западник и такой же молодой человек, но «остриженный в кружок», то есть славянофил.

После 1825 года литературные кружки, где встречались западники и славянофилы, оставались наиболее заметным местом интенсивной интеллектуальной жизни. Это была та реальная почва, которая питала журнальные споры и способствовала появлению нового читателя.

«Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве,—

писал позднее Герцен...— Говоря о московских гостиницах и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмошкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Редкин выводил логически личного бога *ad maiorem gloriam Hegeli*¹; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы...; где Боткин и Крюков *пантештически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, падал как Конгривова ракета Беллинский, выжигая все, что попадало».

Вспомнив о спорах западников и славянофилов, их старший современник Ф. Вигель отдавал предпочтение литературным салонам с его времени, предшествовавшего войне 1812 года. Со стороны литературного аристарха, каким он и был, это понятно: «Тогда светские люди старались быть вежливы, любезны, остроумны, не думали изумлять глубокомыслием, которое и в малолюдных собраниях не совсем было терпимо. С запасом дерзостей и отвлеченностей (абстракций, как говорят нынешние писатели), с которыми ныне в обществах являются и проповедуют часто невежды и глупцы, тогда нельзя было показываться»².

Теперь на место светской любезности пришли ожесточенные споры о малопонятных непосвященному философских категориях и «абстракциях» немецкой философии. Однако отвлеченные, казалось бы, споры о несходстве исторических судеб России и Европы имели в виду вполне конкретные вопросы тогдашней жизни. И западники и славянофилы по своему отвечали на новые вопросы, возникшие в России на рубеже 30—40-х годов.

Герцен выехал из России зимой 1847 года, надеясь вернуться.

¹ к вящей славе Гегеля (лат.).— *Ред.*

² Вигель Ф. Ф. Записки.— М., 1928.— Т. 2.— С. 56.

Однако этого не случилось. Участие в революционных событиях в Европе середины прошлого века, близость с демократами многих стран настолько «скомпрометировали» его в глазах тогдашних правителей России, что о возвращении на родину не могло быть и речи.

К моменту появления повести «Сорока-воровка» (Современник. — 1848. — № 2.) Герцен находился уже за пределами России — в Италии, новые впечатления захватили его, и он, видимо, не в состоянии был пристально следить за полемикой, разгоревшейся вокруг его произведений. А полемика была. Так, в журнале «Северное обозрение» анонимный автор, дав высокую оценку произведению г. Искандера (псевдоним Герцена. — В. С.), отметил, что «разговор между «западным» человеком и «славянином», который якобы нейдет к делу и обнаруживает лишь пристрастие к известному роду идей, напрасно помещен в рассказе». Вряд ли Герцен согласился бы с этим замечанием.

Появление в печати повести «Сорока-воровка» совпало с началом февральской революции 1848 года в Париже. Оказавшись на Западе, Герцен по-новому смог взглянуть и на деятельность славянофилов. Еще в начале 40-х годов он чувствовал себя где-то посередине между обоими течениями, называя себя западником среди славянофилов и славянофилом среди западников. Шаг навстречу славянофилам он делает после краха европейской революции 1848—1849 годов, принимая некоторые из их главных идей, но интерпретируя их в революционном духе.

Как заметил позднее Н. Страхов, Герцен был «первый наш западник, отчаявшийся в Западе... Этот человек страстно любил западные начала, и он вырвался на Запад в ту минуту, когда европейский прогресс сделал свой последний шаг — переворот 1848 года. Таким образом, Герцену досталось пережить и перенести на себе самую тяжкую минуту европейской истории. Разочарование его было ужасное — и стало главной мыслью, содержанием его жизни»¹.

В период эмиграции Герцен близко узнал многих известных людей тогдашнего времени, так сказать, цвет европейской демократии. Однако в тяжкую минуту жизни — до появления Чернышевского и его соратников, живя вдали от родины, мысль вернулся прежде всего к русскому

¹ Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Ист. и крит. очерки. — Спб., 1882. — С. 95.

народу, подчеркивая его особую роль в решении социального вопроса.

После краха иллюзий, связанного с поражением революции 1848 года во Франции, крушением семейной жизни — смертью жены и гибелью матери и сына во время кораблекрушения, — Герцен уезжает в Лондон. Как признавался он, рухнуло все — частное и общее. Чувство пессимизма надолго овладевает им. Близкое знакомство с буржуазно-мещанской Европой, победившей своего исконного врага — работника, — обострило внимание Герцена к русскому народу, к тому характеру его жизни и истории, который нашел свое выражение в общине. На долгие годы вопрос об общинном социализме становится главной темой блестящей публицистики Герцена.

Велика роль его изданий «Полярная звезда» и «Колокол» — органов вольной русской печати — в борьбе за отмену крепостного права, в воспитании новых поколений революционеров, в защите интересов славянских народов.

Высокую оценку В. И. Ленинна получила позиция Герцена в установлении связей русских демократов с польскими. «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, — писал Ленин, — когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии»¹.

Польская тема получила отражение не только в бесчисленных статьях и публикациях «Колокола». Она нашла свое продолжение и в художественном творчестве писателя, и в этом отношении большой интерес представляет повесть «Долг прежде всего». Правда, Герцен не закончил свое произведение, но концепция повести вполне ясна.

В какой-то мере в судьбе главного героя произведения — потомственного русского дворянина Анатоля Столыгина — отразилась судьба выпускника Московского университета В. Печерина, знатока классических языков, принявшего в годы эмиграции католичество. Герцен навещал «отца Печерина» в Англии и даже какое-то время переписывался с ним. Одна из глав «Былого и дум» посвящена этому человеку.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 21. — С. 260.

оставившему записки о своих мытарствах в николаевской России, которые сам Печерин назвал «замогильными».

Однако главное в образе Анатоля Столыгина — вовсе не то, что он в конце концов переступил порог монастыря и стал чуть не послушником, как следовало из разъяснений самого писателя, оборвавшего работу над рукописью. По мнению Герцена, Анатолий Столыгин, свято хранивший мечты студенческого времени, подобно лучшим из друзей Герцена, не мог стать слугой деспотизма и усмирителем восставшей Польши.

Рассказывая о династии столбовых дворян Столыгиных на протяжении трех поколений, автор прослеживает историю русского общества за полвека между двумя событиями мировой истории — от времен французской революции XVIII века до польского восстания 1830 года. Повесть «Долг прежде всего» — сложный сплав бытового повествования, волного блестящего юмора, с исторической хроникой. Начало произведения, рассказывающее о барской жизни братьев Столыгиных с их историческими преданиями и барской спесью, восхитало Л. Толстого. «Он блестящ и глубок, что встречается редко», — говорил он. А касаясь этих страниц повести, отмечал, что ничего подобного в русской литературе нет. Герцен создавал свою повесть во Франции, потрясаемой социальными конфликтами и политическими битвами, в которых сам принимал непосредственное участие; он работал над своим произведением за годы до того, как появится роман И. Тургенева о судьбе дворянского рода Лаврециных, за полтора десятилетия до создания грандиозной исторической эпопеи Л. Толстого «Война и мир».

Значительное место в произведении Герцена заняли сцены из времен французской революции конца XVIII столетия. Здесь отчетливо видна связь с «Записками одного молодого человека». Блестящее знание исторических источников, проникновение в психологический мир людей прошлого, способность понять своеобразие его быта и типов, характерных для того времени, — все это было в целом необычным для русской литературы. По произведениям Герцена можно изучать историю так же, как по творениям Пушкина, умевшего глубоко отразить особенность социальной и бытовой психологии прошлого не только своей родины, но и многих зарубежных стран и народов. Чего стоит в повести Герцена портрет губернатора-француза: это живой отголосок просветительских

идей с их культом естественного права, равенства и ньютоновского закона тяготения, который-де следует распространить на мир социальных отношений — и тогда воцарится всеобщий порядок.

«Само собой разумеется, что наш губернёр был поклонник Вовенарга и Гелвешия, упивался Жан Жаком,— пишет Герцен,— мечтал о совершенном равенстве и полном братстве, что не мешало ему ставить перед своей звучной фамилией Дрейяк смягчающее «де», на которое он не имел права. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и вообще о христианстве и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения. «Без тяготения,— говорил он, морща лоб от усилий,— был бы хаос и атомы разлетелись бы, тяготение поддерживает *великий порядок*, в котором раскрывается великий художник». При развитии этих глубоких и ясных истин он никогда не забывал прибавить, что поэтому Платон и называл бога геометром, а Ньютон снимал шляпу, когда произносил имя бога. Сверх своей религии тяготения, которую он был совершенно доволен, он упорно не хотел суда на том свете и язвительно смеялся над людьми, верившими в ад,— хотя против бессмертия души он не только ничего не имел, но говорил, что оно крайне нужно для жизни».

Такие губернёры находились и среди воспитателей будущих декабристов, однако на русской почве поверхностное свободолобие француза приводило к возникновению более серьезных убеждений, а затем к действиям. Да и в самой Франции, когда раздался клич: «К Бастилии!» — одной из первых жертв чуть не оказался тот же Дрейяк, столь пламенно веривший в неотъемлемые права народа на восстание против «тиранов».

Чего бы ни касался Герцен — сущности ли отдельных философских систем, истории различных цивилизаций и религий, народов и империй, научных представлений и эстетических взглядов, особенности целых эпох в развитии страны,— сам тип эпохи, отошедшей в прошлое, получал в его работах выразительность живого оттиска, слепка с реальной картины происходившего в далеком или недавнем прошлом.

В повести «Долг прежде всего» он дал блестящий очерк русского XVIII века. Именно Герцен опубликовал хранившиеся до того за семью печатями «Записки» Екатерины II, вызвав ими буквально сенсацию во всей Европе. Характеристика ее царствования относится к лучшим страницам произведения.

«При Екатерине сложилось в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях и возведениях на престол, они распоряжались русской короной, упавшей на финскую грязь, как своим добром, и очень хорошо знали, что пожил петербургского трона не так-то крепки и что не только Петропавловская крепость и Шлюссельбург, но и Пелымь и вообще Сибирь не так-то далеки от дворца. Крамольная гордость богатых сановников, с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких плутов, храня наружный вид рабского подобиюстрастия и преданности, сажала, кого хотела, на царское место, давая о том сведения другим городам империи; в сущности народу было безразлично имя тех, которые держали кнут, спине одинаково было больно».

Разнообразны формы герценовского повествования. Мы уже говорили, что неотъемлемой его чертой была тесная соотнесенность с историческими событиями эпохи, участником или свидетелем которых нередко был сам писатель. Особое место среди его произведений занимают «Былое и думы». Это истинная энциклопедия русской и западноевропейской жизни на протяжении почти полувека — от 1812 года до конца 60-х годов. В то же время эта книга показывала идейное формирование передового человека новой эпохи, историю его духовной жизни. Трудно найти более точное название, чем то, которое дал сам автор своему труду. «Былое и думы» — это и рассказ о прошлом, и раздумья над современностью; это описание революционных событий, в которых на переднем плане запечатлены целые страны и народы на переломном этапе истории, и портреты деятелей русской и западноевропейской демократии. Находясь в центре многих важнейших событий своего времени, Герцен создал глубоко правдивое произведение о причинах неудачи революции середины прошлого века.

«Духовный крах Герцена, — писал Ленин, — его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще* не созрела»¹.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 21. — С. 256.

Значительное место в произведениях Герцена 40—60-х годов занимала так называемая психиатрическая теория доктора Крупова, встречавшегося читателю уже в повести «Кто виноват?» и прошедшего через целый ряд рассказов писателя. Герой Герцена — доктор медицины и хирургии, вообще большой знаток естественных наук — делится с читателем своими наблюдениями над странностями человеческой жизни. Так, по долгу службы он устанавливает, что официальные, патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее и не поврежденнее нормальных людей, что только психиатрия — наука о душевных болезнях — может объяснить многие аномалии общественного устройства. И в качестве примера такой аномалии называет одного сумасшедшего, который «сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая пресмешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился». Он так уверил своих товарищей, что «ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести». Здесь был ясный намек на взаимоотношения социальных «верхов» и «низов» в тогдашней России, недаром повесть «Доктор Крупов» печаталась в «Современнике» с большими цензурными изъятиями.

Тема сумасшествия как реакции на безумие мира имеет давние традиции в мировой литературе. Герцен нашел свой особый стиль повествования, используя интерес читателей к естественным наукам и испытанные приемы философских повестей, созданных еще просветителями XVIII века.

После краха революции 1848 года проблема неразумия установившегося «порядка» получила особую остроту: «...Государство, религия, солдаты морят с голоду нижние слои; да чтобы окончательно их сгубить, развешивают перед их глазами свои богатства... какое печальное, раздирающее душу положение! Снизу кишит печальное, задавленное работой, изнуренное голодом население, сверху вянет и выбивается из сил другое население, задавленное мыслию, изнуренное стремлениями, на которые так же мало ответа, как мало хлеба на голод бедных», — говорит герой повести Герцена «Поврежденный», созданной в 1851 году.

Критика «мещанской Европы» становится главной темой в художественной прозе Герцена 60-х годов. Совсем недавно он стремился в Мекку революций XIX века — в Париж, чтобы своими глазами увидеть,

как ему казалось, прообраз будущего мира, но увидел июньскую бойню 1848 года. Почин Франции в революции обернулся вскоре ее же инициативой в контрреволюции, завершившейся переворотом Луи Бонапарта.

«Наши отношения к Западу,— писал Герцен,— до сих пор были очень похожи на отношения деревенского мальчика к городской ярмарке. Глаза мальчика разбегаются, он всем удивлен, всему завидует, всего хочет — от сбития и пряничной лошадки до отвратительного немецкого картуза и подлой гармонки, заменившей балалайку. И что за веселье, что за толпа, что за пестрота! Качели вертятся, разносчики кричат, паяцы кричат, а выставок-то винных, кабаков... и мальчик почти с ненавистью вспоминает бедные избышки своей деревни, тишину ее лугов и скуку темного, шумящего бора».

В русской литературе середины века Герцен вскоре стал наиболее осведомленным и глубоким критиком победившей буржуазии, пришедшей к власти в крупнейших странах Европы. Поразительное богатство наблюдений над тогдашней западноевропейской жизнью характерно для многих его произведений того периода. Буржуазия подчинила себе все: правительства, церковь, армию, школу, прессу, искусство. Накапливались богатства, бурно строились железные дороги, начали проводить проволочный телеграф, соединивший вскоре Европу с Америкой, в Англии уже в 1863 году появились первые линии метрополитена на паровой тяге. Век железа и стали скоро станет электрическим. Однако горячка опьянения, охватившая, по словам Герцена, целое поколение, разливала вокруг тонкий яд безнравственности, жажды наживы, что разлагало изнутри европейское общество.

Укрепившееся царство мешанства показало, что наступил век нового искусства, которое должно улаживать буржуазию и прославлять ее гражданские и семейные добродетели. Этим вопросам были посвящены многие страницы еще в «Письмах из Франции и Италии», созданных на рубеже 40—50-х годов. Близкое знакомство с европейской действительностью в ходе бесконечных скитаний по разным странам подтвердило прежние наблюдения Герцена и получило непосредственное отражение в его художественном творчестве.

Долгие годы Герцен прожил в Англии. Здесь он печатал «Колокол» и «Полярную звезду», распространявшиеся по всей России. Пробыв в Англии не менее десяти лет, Герцен хорошо изучил своеобразие ее быта, общественную систему и политический строй. Он любил бродить по

ночному Лондону, по его каменным лабиринтам, заходя в те опасные места, где ютилась беднота.

Викторианская Англия, шедшая тогда во главе капиталистического прогресса, колониальный спрут, округлявший свои богатства при помощи эксплуатации народов и континентов, «мастерская мира», как называли ее услужливые публицисты, давала Герцену все новые и новые аргументы для критики буржуазной действительности.

Небольшой рассказ «Трагедия за стаканом грога» — лишь часть написанного Герценом о тогдашней Англии, но здесь в сжатой форме отражены типические ситуации, в которых может оказаться любой человек, живущий по законам буржуазной действительности.

Рассказ трактирного слуги о том, каким образом он потерпел катастрофу, разорившись на биржевой игре, дает ключ ко всей английской действительности. Жизненное наблюдение, возведенное в факт искусства, проникнутое мыслью о поправном достоинстве человека, составляет содержание этого небольшого произведения, прокомментированное самим автором: «Знаете ли вы, что значит везде, особенно в Англии, слово *нищий*, *beggar*¹ произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи... всякой защиты, лишение всех прав, даже права просить помощи у ближнего...»

Для русского писателя жизненная драма случайно встреченного знакомого слуги не менее знаменательная, чем трагедия великих мира сего, изгнанных сюда с континента после революции, падения царств и крушения династий: «...в каждой задержанной былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется».

Однако чаще всего взор Герцена — писателя, философа, публициста — обращается к Франции времен империи Наполеона III. Именно Франция когда-то поддерживала его надежды на осуществление светлых идеалов, он солидаризировался с теми мыслителями, которые ожидали из Парижа вестей об установлении новых, справедливых форм жизни, могущих стать примером для других стран и народов. И потому французский буржуа, пришедший к власти, упразднивший эти мечты, стал для

¹ нищий (англ.). — *Ред.*

Герцена обобщенным ненавистным типом всевропейского мещанина. Лицемерие, присущее французскому буржуазному строю, его поворот от прежнего свободолюбия — даже в традициях Дрейяка — к компромиссу с религией стали темой повести «Доктор, умирающий и мертвые» — последнего крупного художественного произведения Герцена.

Тип буржуазного мещанина становится знаменем времени для большинства стран Европы и для Америки. Правда, прежние ожидания на время сменились новой надеждой — развитием событий в Америке в дни гражданской войны между северными и южными штатами. Однако и она ушла, уступила место уверенности, что история Америки ничем существенным не отличается от западноевропейской. Один из героев повести Герцена «Скуки ради», экспансивный французский доктор признается: «Я их (американских капиталистов.— В. С.) ненавижу, я... я их терпеть не могу. Для меня люди, занимающиеся одними денежными выгодами, одной наживой — не люди».

Чуть более года не дожид Герцен до Парижской коммуны. Один из самых блестящих умов 40-х годов, он стал родоначальником революционного народничества. Через заблуждения и трагический опыт революционеров-семидесятников, пошедших «в народ», последователи Герцена искали пути к социализму. И хотя, как показала история, это было лишь *предчувствием* его, наследие Герцена, в том числе и художественное творчество, сыграло большую роль в его появлении именно на русской почве.

Осуществилось то, о чем мечтал Герцен еще в начале 50-х годов прошлого века: «Мне кажется, что есть нечто в русской жизни, что выше общины и сильнее государственного могущества, это нечто неуловимое словами, а еще труднее указать пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознательной силе, которая столь чудесно сохранила русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под *восточным* татарским кнутом и под *западными* капральскими палками, о той внутренней силе, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унижительным гнетом крепостного

состояния, которая на царский приказ образоваться ответила через сто лет колоссальным явлением Пушкина; о той, наконец, силе и вере в себя, которая жива в нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя, сберегла вне всяческих форм и против всяких форм, для чего?.. Покажет время». Эта вера в свой народ поддерживала главное в убеждениях Герцена.

То, о чем он только мечтал, вглядываясь еще в пору юности в просторы крестьянских полей, во многом определило будущее его родины.

Вл. Семенов

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты произведений, вошедших в настоящий одно-томник, печатаются по изданию: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.— М.: Изд-во АН СССР, 1954—1966. Примечания И. Новича печатаются по изданию: Герцен А. И. Повести и рассказы.— М.: Моск. рабочий, 1956, с некоторыми сокращениями и исправлениями.

ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые опубликованы в «Отечественных записках», 1840, № 12 и 1841, № 8.

С. 5. Твое предложение, друг мой...— обращение к Н. А. Захарьинной (1817—1852). Невеста А. И. Герцена, с 1838 г. его жена.

...смот с мели мою барку...— намек на окончание ссылки («Записки»... начаты Герценом во Владимире, куда он был сослан).

С. 6. ...из Ахиллеса стал Омиром.— Не совсем точная цитата из басни И. А. Крылова «Лев и комар». *Ахиллес* — герой древнегреческой эпической поэмы Гомера (IX в. до н. э.). *Омир* — Гомер.

С. 7. ...встречусь с ним...— речь идет о Н. П. Огареве (1813—1877) — ближайшем друге Герцена. Вторая строка стихотворения Огарева «Старый дом» процитирована неточно. У Огарева: «Дружба светлая выросла там...»

...встречусь я на кладбище...— обращение к Н. А. Захарьинной. Герцен вспоминает о встрече с ней на кладбище накануне своего ареста в июле 1834 г.

С. 8. Коцебу Август (1761—1819) — немецкий драматург; был тайным агентом правительства Николая I, за что убит немецким студентом Карлом Зандом (1795—1820).

С. 9. Давид, Голиаф — герои библейской легенды. Богатыря Голиафа побеждает юноша Давид.

Масонские ложи — тайные религиозно-философские общества, возникшие в Европе в XVIII в.

С. 10. ...я выучился по толкам...— то есть читать бегло, а не по складам.

...времен федерации... — то есть времен французской буржуазной революции 1789—1794 гг.

С. 13. «Лолотта и Фанфан», «Алексис, или Домик в лесу» — романы французского писателя Дюкре-Дюмениля Франсуа Гийома (1761—1819).

Сумароков А. П. (1718—1777) — русский писатель. «Россиада» — поэма русского писателя М. М. Хераскова (1733—1807), посвященная завоеванию Иваном IV Казани. Сборники «Российский Театр, или Полное собрание всех российских театральных сочинений» издавались Академией наук в 1786—1794 гг.

...том «Детей аббатства»... — роман английской писательницы Рош Регины Марин (1766—1845); лорд Мортимер — герой этого романа.

Ломонд Шарль Франсуа (1727—1794) — автор грамматики французского языка и других педагогических сочинений.

С. 14. Лафонтен Август (1758—1831) — немецкий писатель; Бургард — герой его романа «Чудаки».

Алкиад (ок. 451—404 до н. э.) — политический деятель Древней Греции (Афины), Ринальдо-Ринальдини — герой одноименного романа немецкого писателя Вульпиуса Христиана Августа (1762—1827).

«Письмовник» Н. Г. Курганова (1728—1796) — популярная в XVIII — начале XIX в. книга для чтения.

С. 15. Шрекк Иоганн Маттиас (1733—1808) — немецкий педагог-историк, автор «Всемирной истории для детей», изданной в России под названием «Древняя и новая всеобщая история... Для обучения юношества».

Квинтилиан Марк Фабий (35—95) — древнеримский писатель, автор сочинений об ораторском искусстве. Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — знаменитый оратор Древнего Рима.

Хрия — речь, построенная по правилам риторики — науки об ораторском искусстве.

Муравьев М. Н. (1757—1807), Капнист В. В. (1757—1823) — русские писатели.

С. 16. ...от «Путешествия Коробейникова к святым местам...» — «Хождение по святым местам Трифона Коробейникова» — древнерусская повесть XVI в.; Шаликов П. И. (1768—1852) — русский поэт-сентименталист, автор сборника стихов «Плод свободных чувствований».

«Телеграф»... — «Московский телеграф» (1825—1834) — журнал, издававшийся Н. А. Полевым (1796—1846).

Козлов И. И. (1799—1840) — русский поэт.

С. 17. Расин Жан (1639—1699) — крупнейший французский писатель классического направления.

Батте Шарль (1713—1780) — французский эстетик, теоретик классицизма. Лагарп Жан Франсуа (1739—1803) — французский литературный критик, теоретик классицизма. ...«бездушная поэма Буало» — стихотворный трактат Буало Никола (1636—1711) «Искусство поэзии»

(«L'art poétique»), в котором дан свод правил поэтики французского классицизма.

С. 19. Монна и Фингал — любящие друг друга герои трагедии «Фингал» русского драматурга В. А. Озерова (1769—1816).

...я рожден быть Роландом Роландини... — игра слов: Роланд — герой французского рыцарского эпоса; Ринальдо Ринальдони — «благородный разбойник» в одноименном романе Вульпиуса.

С. 20. ...назваться Топпон... — Буало в «Искусстве поэзии» осуждал употребление в поэтических произведениях «простонародных» имен.

...жанлисовски-моральный... — Жанлис Стефани Фелисите (1716—1830) — французская писательница, автор сентиментальных нравоучительных романов.

С. 21. Фармакопея — руководство для аптекеров.

С. 22. Марфа Посадница (Марфа Ивановна Борецкая) возглавила в XV в. борьбу с московскими князьями за независимость Новгорода. *Зеновия Септимия* (III в. н. э.) — царица Пальмирская (в Сирии); вела войны с Римом.

Нюэль Жан Франсуа (1755—1841) — французский филолог, автор учебников по теории литературы и грамматике французского языка.

С. 23. ...перескочить через термин... — *Термин* — понятие логики. Здесь фраза имеет смысл: нельзя нарушать закономерности исторического развития.

С. 24. Сегюр Луи-Филипп (1753—1830) — французский историк, автор «Римской истории».

Курций, Сцевола — легендарные герои Древнего Рима.

С. 26. Макс Пикколомини, Дон-Карлос — герои одноименных драм Ф. Шиллера.

Валленштейн — главный герой одноименной драматической трилогии Шиллера. «*Орлеанская дева*» — драма Шиллера. *Изабелла* — героиня драмы Шиллера «Мессинская невеста».

Софокл, Эсхил, Эврипид — великие древнегреческие драматурги (V и VI вв. до н. э.), *Прокситель* (IV в. до н. э.) — скульптор. *Зевксис* (V в. до н. э.) — древнегреческий живописец.

Сенека (I в. до н. э.) — древнеримский философ.

С. 27. Альфиери Витторлио (1749—1803) — итальянский поэт, в творчестве которого преобладают мрачные, трагические мотивы; *падшая Италия* — то есть Италия, завоеванная войсками Наполеона I.

Фонтенель Бернар (1657—1757) — французский писатель и философ.

Городки — следы от вырванных листов.

...единственный виновник — черная собака... — по-видимому, намек на царскую цензуру.

С. 28. ...он явился, прекрасный и юный... — речь идет о Н. П. Огареве.

Гесснер Соломон (1730—1788) — швейцарский поэт и художник.

С. 28—29. «...и больно, что он не откликается мне». — Цитата из «Философских писем» Ф. Шллера (из первого письма Юлия к другу Рафанлу).

С. 29. *Азатон* — древнегреческий поэт, именем которого Н. М. Карамзин назвал своего друга А. А. Петрова. Слова, приведенные Герценом, — из лирического наброска Карамзина «Цветок на гроб моего Агатона».

С. 30. Под вымышленным названием города «Малинов» подразумевается город Вятка, где Герцен отбывал ссылку.

С. 31. *Розенкранц* Иоганн-Карл (1805—1879) — немецкий философ, его книга — «Психология, или Учение о субъективном духе».

С. 32. *Ловецкий* А. Л. (1787—1840) — профессор Московского университета.

Приап — бог плодородия в греческой мифологии.

С. 33. «...Впалые щеки старца... и другие слезы...» — воспоминание о прощании с отцом, И. А. Яковлевым и Н. А. Захарьиной перед отъездом Герцена в ссылку.

С. 34. *Плано Карпини* (1182—1252) — монах и путешественник, автор книги «История монголов...».

С. 36. *Титулярный советник* — один из чинов в гражданском ведомстве. В дальнейшем тексте упоминаются разные гражданские чины. По табели о рангах, установленной при Петре I, гражданские чины делились на 14 классов (разрядов), начиная с 1-го, высшего. Тайный советник — 3-й класс; надворный — 7-й класс; титулярный советник — 9-й класс; коллежский секретарь — 10-й класс; губернский секретарь — 12-й класс; коллежский регистратор — 14-й класс.

«...университетские права...» — Лица, окончившие университет, пользовались правом при поступлении на государственную службу получить чин 9-го класса, то есть титулярного советника.

С. 37. *Фаллер* — сорт табака.

С. 40. *Альбиносы* — животные, в покровах которых отсутствует красящее вещество, что определяет белизну волос и красноту глаз.

С. 41. «...Лиссабон проваливаться...» — Лиссабон был разрушен землетрясением в 1775 г.

Брюллов К. П. (1799—1852) — знаменитый русский художник.

С. 42. *Праздник + в кружке*. — Большие праздники в календарях отмечались значком +.

С. 43. *Лафайет* Мари Жан Поль (1757—1834) — французский политический деятель, участвовал в борьбе американцев за независимость.

Удельный начальник — чиновник, ведавший землями, принадлежавшими членам царского дома.

С. 44. *Анна Иоанновна* — русская царица; царствовала с 1730 по 1740 г.

Троит — то есть наставляет особым способом. *Кордегардия* — помещение для военного караула.

С. 46. ...*фармазон*... — неправильно произносимое слово «франкмасон». *Иезуиты* — члены католической организации (ордена), созданной в XVI в. Игнатием Лойолой для борьбы с реформационно-политическим движением поднимающейся буржуазии.

С. 47. *Храмовые рыцари* — храмовники, или тамплиеры, участники духовно-рыцарского общества (ордена), основанного в 1119 г., после первого крестового похода.

...*когда я пристально всматривался в его лицо*... — В образе Трензинского Герценом отражены некоторые черты П. Я. Чаадаева (1793—1856), автора знаменитых «Философических писем», друга А. С. Пушкина.

С. 47—48. «*Memorial de S-te Hélène*» — сочинение Лас-Казаса, приближенного Наполеона, жившего вместе с ним на острове Св. Елены во время изгнания и ведшего там ежедневные записки.

С. 48. *Тэер Альбрехт Даниэль* (1752—1828) — немецкий агроном, автор книги «Основы рационального ведения сельского хозяйства».

Берцелиус Иенс Якоб (1779—1848) — известный шведский химик.

С. 50. ...*генерал Бонапарте стал близок австрийскому императору*. — После заключения Венского мира (1809) Австрия находилась в полной зависимости от политики Наполеона; в 1810 г. Наполеон женился на дочери австрийского императора Франца I — Марии-Луизе.

С. 51. *Шпрудель* — карлсбадская минеральная вода (Карлсбад — Карловы Вары).

С. 53. ...*Раухова бюста Гёте*. — Раух Кристиан Даниэль (1774—1841) — немецкий скульптор.

«*Как одежда восточного жителя*...» — неточная цитата из «Лекций по эстетике» Гегеля, кн. II, гл. II.

С. 54. *Жиронда* — политическая партия времен французской буржуазной революции 1789—1794 гг., представлявшая интересы крупной буржуазии.

С. 55. ...*в Palais Royal*... — в Пале-Рояле в Париже были расположены увеселительные заведения.

С. 56. *Антропofаги* — людоеды.

...*хотел видеть Париж Людовика Великого и великого Аруэта*... — то есть Людовика XIV и Вольтера. Аруэт — настоящая фамилия знаменитого французского философа и писателя Вольтера Франсуа Мари (1694—1778). *Неккер Жак* (1732—1804) — французский политический деятель, министр финансов Людовика XVI.

Белые лилии — эмблема дома Бурбонов.

Готфред — герцог Бульонский, участник первого крестового похода. Здесь — сравнение Готфрида Бульонского с Карлом Брауншвейгским, командовавшим контрреволюционной армией.

Фриц — прусский король Фридрих II (1712—1786).

С. 57. Фабий Кунктатор Максим Квинт (III в. до н. э.) — римский полководец, прозванный Кунктатором за нерешительность в ведении войны.

Тевтоны — древнее германское племя.

Жуанвиль Жан (1224—1317) — французский историк, участник крестового похода во главе с французским королем Людовиком IX, прозванным «святым»; во время этого похода против сарацин король и Жуанвиль попали в плен.

Ксенофонт (ок. 430—ок. 355 до н. э.) — древнегреческий историк и философ; во время войны с персами руководил отступлением 10-тысячного греческого войска через Малую Азию.

С. 58. Так это-то автор романа... — Рассказчик пронизывает над невежеством эмигранта: поэма «Мессада» написана немецким поэтом Фридрихом Клопштоком (1724—1803), а не Гёте.

Дюмурье Шарль Франсуа (1739—1823), *Гош Лазар* (1768—1797) — французские генералы эпохи революции конца XVIII в.

С. 58—59. ...политическую фарсу Гётева сочинения — Имеется в виду антиреволюционная пьеса Гёте «Генерал гражданской гвардии» («Der Bürgergeneral»).

Арминий (17 до н. э.—21 н. э.) — вождь херусков; возглавил борьбу германских племен против римского владычества. *Тацит Корнелий* (ок. 54—117) — римский историк, описавший в своем сочинении «Германия» быт и нравы германских племен.

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский ученый, создатель антинаучной теории о «физиономике», согласно которой можно определять характер человека по чертам лица и по строению черепа.

С. 60. Тиверий Клавдий Нерон (42 до н. э.—37 н. э.) — римский император.

Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.) — древнегреческий философ.

Парацельс — псевдоним Теофраста Гогенгейма (1493—1541), швейцарского врача и естествоиспытателя.

Люцифер (библ.) — сатана; по легенде, до грехопадения был ангелом.

Гамильтон Уильям Ричард (1730—1803) — английский дипломат; коллекционировал произведения искусства.

С. 61. «Гёц фон Берлихинген» (1773) — драма Гёте.

КТО ВИНОВАТ?

Впервые опубликовано: гл. I—IV — в «Отечественных записках», 1845, № 12; гл. V—VII — там же, 1846, № 4.

С. 63. Наталья Александровне Герцен... — Н. А. Герцен (Захарьина) — жена А. И. Герцена.

...но одна из них не написана... — «Там, или Елена» (1836—1837) — неоконченная повесть Герцена.

...а другая — не повесть. — «Записки одного молодого человека». В первое время моего приезда... — во время ссылки 1835—1839 гг. Укоряющее воспоминание — П. П. Медведева. История взаимоотношений с ней рассказана в XXI главе «Былого и дум» — «Разлука» (ч. III).

Один из друзей моих... — Кетчер Н. Х. (1806—1886) — близкий друг Герцена в 1830-х и 1840-х гг.; врач и переводчик.

С. 64. ...брусничный цвет наделал бы мне... — см. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, гл. III, строфа IV:

Боюсь: брусничная вода

Мне не наделала б вреда.

...как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира»... — Слова Г. А. Потемкина (1739—1791) о «Бригадире», по мемуарным свидетельствам, относятся к позднему написанной комедии «Недоросль».

«Я не хочу ошибаться...» — Герцен приводит здесь слова Белинского несколько неточно. У Белинского: «Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать о тебе: «Прав, собака. Давно бы ему приняться за повести!» (Белинский В. Письмо от 6 февраля 1846 г.).

С. 68. Катехизец — Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в вопросах и ответах.

С. 70. ...город Ярославль, оканчивавшийся... — Изображение медведя было гербом города Ярославля; на изделиях Ярославской мануфактурной фабрики, скатерти и салфетки которой были широко распространены в то время, обычно был выткан медведь.

С. 71. Гуфланд Кристофер Вильгельм (1762—1836) — немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни».

С. 76. Кантемир А. Д. (1708—1744) — русский поэт.

Сибаллический размер основан на счете слогов в каждом стихе.

Мадригал — небольшое стихотворение, содержащее похвалу, комплимент.

Минерва — в римской мифологии богиня — покровительница искусств и науки.

С. 77. Адамова голова — символ смерти.

С. 78. Старого Вознесенья — церковь в Москве у Никитских ворот.

Центифольная роза — столестьковая роза.

С. 79. Раавендук — парусиновая ткань.

С. 80. Ментик — гусарская короткая накидка с меховой опушкой.

Тармалама — плотная шелковая ткань.

С. 82. Гильдии — разряды, к которым причислялись купцы в зависимости от их капитала. Купец третьей гильдии — купец с наименьшим капиталом.

С. 84. Номады — кочевые племена; номадная жизнь — кочевая жизнь.

С. 85. ...На диване Лараам... — По библейской легенде, Авраам по требованию своей жены Сарры изгнал из царства рабыню-наложницу Агарь вместе со своим сыном от нее — Измаилом.

С. 86. Меценат — покровитель искусств.

Директор гимназии... — Отсюда начинается с. 38, о которой говорит Герцен в предисловии к роману (см. с. 87 настоящего издания).

С. 87. Вертоград — сад.

Дормез — большая карета, приспособленная к тому, чтобы в ней спать.

С. 90. Эпикур (342—270 до н. э.) — древнегреческий философ, учивший, что задачей мудреца является достижение безмятежности духа.

С. 93. Помпадур — любовница Людовика XV. Здесь — о поклоне, реверансе, установленном Помпадур, как законодательницей правил светского этикета.

С. 104. Франческа да Римини — одно из действующих лиц в «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265—1321) — великого итальянского поэта.

«Иванковы журавли» (1813) — баллада В. А. Жуковского на сказочный сюжет о журавлях, которые помогли разоблачить убийцу Иванка — странствующего древнегреческого певца.

«Алина и Альсим» (1814) — баллада В. А. Жуковского о насильно разлученных влюбленных.

С. 108. Носиф — по библейской легенде, юноша, преследуемый любовью Пентефрии — жены своего начальника.

С. 109. Дидона — героиня поэмы «Энеида» древнеримского поэта Вергилия (70—19 до н. э.) — была покинута своим возлюбленным Энеем.

С. 110. Доктор говорит, что он десятого класса. — См. примеч. к «Запискам одного молодого человека», с. 36.

Парки — в античной мифологии три сестры, богини, которые олицетворяли судьбу человека.

С. 115. Казенная палата — губернское казначейское учреждение.

С. 116. «Новая Элонза» — роман Руссо, направленный против сословного неравенства, в защиту «свободного чувства».

«Жизнь и любовные похождения кавалера Фоблаза» — роман французского писателя Луве де Кувре Жака-Батиста (1760—1797).

С. 119. Антониева нища — питание впроголодь; по имени монаха Антония, проведшего в пустыне большую часть жизни и питавшегося только хлебом и водой.

С. 121. ...дворянские выборы... — выборы дворянами должностных лиц в губернские учреждения.

...губернского предводителя... — выборная почетная должность.

...милиционные... — в первой половине XIX в. милицией назывались нерегулярные войска, сформировавшиеся только во время войны.

С. 122. Князь Холмский — персонаж из повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» — убеждает новгородцев отказаться от своей независимости и подчиниться московскому князю Ивану.

...а патриархальной семье общинных глав... — то есть дворянства.

С. 124. Квартальный поручик — полицейский чин.

С. 125. Массильон Жан Батист (1663—1743) — французский религиозный проповедник.

С. 126. «Он был, по их речам...» — цитата из поэмы И. Ф. Богдановича (1743—1803), в основе которой лежит миф об Амуре и Психее.

С. 127. Нохим — модный в Петербурге в начале XIX в. каретный мастер.

С. 129. Воспитательный дом — учреждение для подкидышей и беспризорных детей.

«Поль и Виргиния» — роман французского писателя-сентименталиста Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814).

С. 130. ...вопреки Вобановой системе... — Вобан Себастиан ле Претр (1633—1707) — французский маршал, военный инженер; разработал систему осады крепостей. *Апроши* — узкие и длинные рвы на подступах к осажденной крепости.

Брегетовские часы — часы, по имени известного мастера А. Брегета (1747—1823).

Талейран Шарль Морис (1754—1838) — французский политический деятель, министр иностранных дел, ловкий и беспринципный дипломат, мастер политической интриги.

С. 132. Лютер Мартин (1483—1546) — церковный реформатор в Германии, переводчик Библии на немецкий язык.

С. 139. Кребийон Клод (1707—1777) — французский писатель.

...вечера с Боннетом... — Боннэ Шарль (1720—1793) — швейцарский биолог и философ.

Шлецер Август Людвиг (1735—1809) — немецкий историк, издававший в конце XVIII в. газету «Государственные известия».

Эрменонвиль — имение близ Парижа, где незадолго до смерти поселился Руссо; *Ферней* — замок в Швейцарии, где в 1758—1778 гг. жил Вольтер.

С. 140. «Эмилль, или О воспитании» (1762) — педагогический роман-трактат Руссо о методах и задачах воспитания.

Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — известный швейцарский педагог. *Базедов Иоганн Бернгард (1724—1790), Николай Генрих Людвиг (1738—1820)* — немецкие педагоги.

Мальт-Брен Конрад (1775—1826) — французский географ и публицист.

Паоли Паскаль (1726—1807) — политический деятель Корсики, борец за ее независимость.

Левек Пьер Шарль (1737—1812) — французский историк, автор «Истории России».

Вольтером написана «История Российской империи при Петре I».

Холодный мечтатель несправдлив... — В «Былом и думах» Герцен указывает, что служивший в семье родственников Герцена, Голохвастовых, губернатор Маршалль явился прототипом Жозефа в «Кто виноват?» («Былое и думы», гл. XXI).

С. 141. И время шло... — то есть прошло шесть лет; дворянские выборы проходили раз в три года.

С. 142 ...своего рода нравственного Каспара Гаузера... — то есть подкидыша, не знавшего своего происхождения и прошлого; здесь — человек, не умеющий ориентироваться в окружающей его обстановке.

Матен Христиан Фридрих (1744—1811) — профессор Московского университета по кафедре греческой и римской словесности. *Гейм* И. А. (1758—1821) — профессор Московского университета, читал историю, географию, статистику.

Пандекты — свод решений древних римских юристов, составленный в 529 г. по велению Юстиниана.

С. 143. Глоссы — толкования текста.

С. 144. ...трех рюмок зорной настойки... — Зоря — растение, на котором настаивали водку.

Экзекутор — чиновник, заведовавший хозяйством канцелярии. *Шемал* — рыба.

С. 148. Азаис Пьер Гнацинт (1766—1845) — французский философ-моралист; утверждал, что в мире добро и зло, разрушение и восстановление неизменно уравновешивают и компенсируют друг друга.

...управлял четвертым столом... — то есть отделением в канцелярии.

Остерман Генрих Иоганн (1686—1747) — политический деятель при Петре I и Анне Иоанновне; имел репутацию хитрого интригана.

С. 151. «Сын Отечества» — журнал, издававшийся с 1812 по 1852 г. в Петербурге Н. И. Гречем.

С. 152. ...не дослужил до пряжки... — *Пряжка* — значок, дававшийся чиновникам за 15-летнюю непрерывную службу.

С. 157. Ровно восемь лет! — 3 марта 1838 г. Герцен приехал из Владимира, куда он был сослан, в Москву, чтобы повидаться со своей невестой, Н. А. Захарьиной, после четырех лет разлуки. Роман «Кто виноват?» закончен в 1846 г., события 1838 г. происходили восемь лет назад.

С. 159. Офрен Жан Риваль (1720—1806) — французский актер. *Тараме* — действующее лицо в трагедии Расина «Федра».

С. 163. Каретные вани — дорожные сундуки, устанавливаемые на крыше карет (от фр. «la vache»).

Византийские стены — стены с двумя рядами узких окон; *греческий портал* — вход в здание, выдвинутый вперед, с колоннами; *готические окна* — стрельчатые, суживающиеся кверху.

С. 167. ...гранитным утесом... — Имется в виду пьедестал известного памятника Петру I работы Фальконе в Петербурге, на набережной Невы.

С. 170. Прокатить на вороних — то есть при баллотировке положить черные шары, голосовать против.

С. 173. ...ланкастерских гонений... — Ланкастерское обучение — система взаимного обучения, при которой сильные ученики помогают слабым.

С. 200. ...лионские работники... — Имеются в виду восстания лионских рабочих в 1831 и 1834 гг. Лозунгом восставших было: «Жить работая или умереть сражаясь».

Антомарки Франсуа (1780—1838) — врач Наполеона I на острове Св. Елены.

С. 213. «Лодоиска, или Татары» — опера Крейцера Родольфа (1766—1831); «Калиф Багдадский» — опера Буальдье Франсуа Адриена (1775—1834); шли в России в первой половине XIX в.

С. 214. ...как в Данииловой пещере... — Герой библейской легенды Даниил, вавилонский мудрец, по приказанию царя был сброшен в ров, где находились львы, и чудом избежал смерти.

Цитируемые стихи — из трагедии В. А. Озерова «Эдил в Афинах» (д. III, явл. 4).

С. 221. Регул — римский полководец (III в.); по преданию, попал в плен к карфагенянам, был посажен ими в бочку, внутри утыканную гвоздями.

С. 235. «Влияние Цицерона...» — Герцен пародирует здесь речь Цицерона против Катилины, начинающуюся словами: «Когда же, наконец, перестанешь ты, Катилина, злоупотреблять нашим терпением».

С. 236. «Энеида» — поэма Вергилия; *Евтропий* (IV в.) — древнеримский историк.

С. 238. ...и если Адам не носил рок... — исковерканные учителем-французом слова об Адаме — намек на неверность жены Круциферского. Эден — то есть Эдем — рай.

С. 240. Рекреационный зал — зал для отдыха и игр учеников во время перемен.

«Ради рома и арака...» — цитата из стихотворения «Бурцову» Д. В. Давыдова (1784—1839) — поэта и партизана в Отечественной войне 1812 г. У Давыдова первая строка читается: «Ради бога и арака...» По цензурным условиям слово «бога» замкнуто словом «рома».

С. 243. ...дойдешь до рва... — Образ из «Божественной комедии» Данте, в которой нарисованы мучения грешников, томящихся в десяти рвах, расположенных внутри кругов ада. Переход из одного рва в другой невозможен.

С. 244. Иоанн, по библейской легенде, тщетно призывал людей к покаянию; его голос не был услышан.

СОРОКА-ВОРОВКА

Повесть написана в январе 1846 г. Впервые напечатана в «Современнике», 1848, № 2, в искаженном цензурой виде.

С. 251. *Михайлу Семеновичу Щепкину*... — Щепкин М. С. (1788—1863) — великий русский артист, друг Герцена. В повести выступает в качестве рассказчика.

Терпсихора, Эрато, Талия — музы искусства в мифологии: Терпсихора — танца, Эрато — любовной поэзии, Талия — комедии.

С. 254. *Август Кай Октавиан* (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император. *Юлия* — дочь императора Августа; была известна как безупречная женщина.

С. 255. «*Orium et champagne*» («Опнум и шампанское») — французский водевиль, ставившийся в 1842—1843 гг. в театрах Москвы и Петербурга.

Брамин — представитель высшей касты в Индии; *парил* — бесправный, отверженный человек. Прикосновение брамина к парин считалось недопустимым.

С. 256. *Марс* (1779—1847); *Рашель Элиза* (1821—1858); *Аллан Луиза* (1809—1856); *Плесси Жанна Сильванн* (род. в 1819) — французские драматические актрисы.

С. 257. «*Сорока-воровка*» — пьеса французских драматургов Кенье Луи Шарля (1762—1842) и д'Обиньи, с успехом шедшая в первой половине XIX в. на русской сцене.

С. 258. Под фамилией князя *Скалинского* изображен богатый орловский помещик граф Каменский, владеец крепостного театра. Изображен также в рассказе Н. С. Лескова «*Тупейный художник*» как жестокий крепостник и самодур.

С. 265. *Канова Антонио* (1757—1822) — итальянский скульптор.

Торвальдсен Бертель (1770—1844) — датский скульптор.

С. 266. *Тальма Франсуа Жозеф* (1763—1826) — знаменитый французский актер.

ДОКТОР КРУПОВ

Повесть написана в 1846 г. Впервые напечатана в «Современнике», 1847, № 9, под названием «Из сочинения доктора Крупова».

С. 274. *Резиденцией* Крупов называет Москву.

С. 281. *Нил Сорский* (1433—1508) — русский церковный деятель и писатель.

С. 284. ...*знал Вольфиеву философию*... — *Вольф* Христиан (1679—1754) — немецкий философ-идеалист, утверждавший бессмертие человеческой души.

С. 288. *Бургав (Боергав)* Герман (1668—1738) — голландский врач.

Ганеман Самуэль (1755—1843) — немецкий ученый, основатель гомеопатии.

С. 294. Тамбурмажор — старший барабанщик в полку. Тамбурмажором назначался солдат очень высокого роста.

С. 295. «Всеобщая газета» — немецкая клерикальная газета.

Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк. **Муратори** Лодовико Антонио (1672—1750) — итальянский историк и издатель. **Гиббон** Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор трудов по истории Рима.

С. 297. Вишну — высшее божество (индус.).

...удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе... — под влиянием голода в 1845—1848 гг. обострилась борьба ирландцев против колонизаторской политики Англии.

С. 298. Бентам Иеремия (1748—1832) — английский буржуазный юрист и философ. Эти слова содержатся в сочинении Бентама «Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении».

МИМОЕЗДОМ

Написано в мае 1846 г. Впервые опубликовано в первом издании сборника «Прерванные рассказы Искандера». Лондон, 1854.

С. 302. ...а идет теперь по Владимирской... — По Владимирской дороге (тракту) шли партии арестантов, направляемые из Москвы на каторгу в Сибирь.

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Первая часть повести написана в 1847 г. и должна была быть напечатана в «Современнике», но цензурные условия помешали ее появлению в печати.

С. 305. ...успел три раза присягнуть, раз Владиславу... — Владислав IV Сигизмунд (1595—1648) — польский король. **Тушинский вор** (умер в 1610 г.) — самозванец, Лжедмитрий II, претендовавший на русский престол в период крестьянской войны начала XVII в. и польско-шведской интервенции.

С. 308. Волюта — скульптурное украшение, завиток на верхней части колонны.

С. 309. ...получив аннинскую кавалерию... — то есть став кавалером ордена св. Анны.

С. 312. Орарь — принадлежность облачения диакона: лента, перекидываемая через плечо.

С. 322. Брунегильда. — Брунгильда — героиня немецкого эпоса, дева-воительница.

С. 323. ...седьмую часть ей выделить во всяком случае... — Если муж умирал, не оставив завещания, жена получала седьмую часть его имущества.

С. 324. Аркаоскому — то есть счастливому, по названию одной из областей Древней Греции — Аркадии.

Комиссариатская часть — интендантское ведомство.

С. 325. Шувалов И. И. (1727—1797) — русский вельможа. *Дашкова Е. Р.* (1743—1810) — видная деятельница времен царствования Екатерины II, президент Петербургской Академии наук и Российской Академии.

Энциклопедисты — группа философов, писателей и ученых, объединенных «Энциклопедией», издававшейся в Париже с 1751 по 1780 г. Дидро и д'Аламбером и сыгравшей большую роль в идейной подготовке французской буржуазной революции конца XVIII в.

«Георгики» — произведение римского поэта Вергилия о земледелии и сельском хозяйстве. *«Фарсала»* — поэма римского поэта Лукиана Марка Аннея (39—65) о борьбе Цезаря с Помпеем.

Вовсарг Люк (1715—1747) — французский моралист. *Гельвеций Клод Адриен* (1715—1771) — французский философ-материалист.

Частица *«де»* перед французской фамилией указывала на дворянское происхождение.

С. 327. «Кандид», «Дева Орлеанская» — произведения Вольтера, *«Жак-фаталист»* — роман французского писателя и философа Дидро Дени (1713—1784).

Новиков Н. И. (1744—1818) — русский писатель и издатель, крупнейший деятель русского просвещения XVIII в.

«Камень веры» — богословское сочинение Стефана Яворского (1658—1722) — церковного деятеля, писателя и проповедника.

«Записки Вольного экономического общества» — труды Русского ученого общества (основано в 1755 г.).

С. 328. Охтенки — жилища петербургского пригорода Охты.

С. 329. Берри — область Франции.

Сезострис — легендарный царь египтян, которому приписывалось завоевание Европы и Азии.

Кауниц Вещель Антон (1711—1794) — австрийский дипломат.

С. 331. Тарквиний Старший (Древний) — римский император, правил в годы 616—579 до н. э.

С. 332. Фарсальская битва — между войсками Цезаря и Помпея в 48 г. до н. э. Цезарь приказал своим воинам метать дротики в глаза и наносить раны в лицо молодым солдатам Помпея, чтобы утратить их.

С. 333. ...при взрыве какого-то судна под Чесмой... — Под Чесмой произошла в 1770 г. знаменитая морская битва между русским и турецким флотом, закончившаяся полным разгромом турецкой эскадры.

С. 334. Буонаротти Микеланджело (1475—1564) — великий итальянский скульптор, архитектор и художник Возрождения.

С. 336. Эльфингстон (Эльфингстон) Джон (1722—1785) — контр-адмирал; с 1769 г. служил в русском флоте.

С. 337. Куртаж — вознаграждение за посредничество при свершении сделки.

Адонис — в римской мифологии прекрасный юноша.

Антик — художественное произведение древности.

Сандарак — вид смолы, употреблявшейся в канцеляриях для протирания бумаги, чтобы не растекались чернила.

С. 348. ...сверх обыкновенной гражданской цензуры... — Герцен имеет в виду учрежденные Николаем I, в связи с революционными событиями в Европе, сверх обычной цензуры два особых секретных комитета: «Комитет 27 февраля» и «Комитет 2 апреля». В комитеты входили виднейшие представители военных и полицейских властей: морской министр генерал-адъютант А. С. Меншиков, генерал-адъютант Строганов, генерал-адъютант Дубельт, действительный тайный советник Бутурлин и другие.

Полюканон — собрание церковных правил и законов по делам церкви; составлено в Византии в VI—VII вв.

...душевная переписка с друзьями... — намек на книгу Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Как известно, книга вызвала страстный протест В. Г. Белинского — его знаменитое «Письмо к Гоголю».

Аудиторнат — так назывался в первой половине XIX в. высший военный суд в России.

С. 349. «Ярем он барщины старинной...» — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, гл. II. У Пушкина последняя строка: «...И раб судьбу благословил». Слово «раб» заменено, конечно, по цензурным условиям.

Библейское общество — общество по изданию и распространению Библии — было основано в России в 1812 г. и сначала пользовалось покровительством Александра I и придворных кругов. В 1826 г. Библейское общество было закрыто правительством.

С. 350. ...воротился из кампании в 1815 году... — речь идет о военной кампании 1813—1815 гг., в которой русская армия выступила как освободительница немецких государств от наполеоновского господства.

1725 год — год смерти Петра I; *1762 год* — год вступления на престол Екатерины II.

Ангальт-Цербтская принцесса — титул Екатерины II до замужества, в дворцовом перевороте 1762 г. деятельную роль играли гвардейские офицеры братья Орловы.

С. 352. Троглодиты — здесь подразумеваются люди с устаревшими понятиями.

Аустерлиц, Эйлау — места сражений, в которых участвовали русская и наполеоновская армии. *Тильзит* — место встречи Наполеона и Александра I в 1805 г., где был заключен мир между Россией и Францией. *Париж в Москве* — занятие французской армией Москвы

в 1812 г. *Москва в Париже* — вступление русских войск в Париж в 1814 г.

С. 353. Милорадович М. А. (1771—1825) — генерал, участник военных кампаний против наполеоновских войск, петербургский генерал-губернатор. В день восстания декабристов — 14 декабря 1825 г. — был смертельно ранен на Сенатской площади.

Арсндт Н. Ф. (1786—1859) — придворный врач Николая I.

С. 354. Бенкендорф А. Х. (1783—1844) — первый шеф корпуса жандармов и главноуправляющий III Отделением при Николае I.

Ермолов А. П. (1772—1861) — генерал, командующий русскими войсками на Кавказе, уволенный в отставку по подозрению в сочувствии декабристам.

Аракчеев А. Л. (1769—1834) — временщик при Павле I и Александре I. *Рогнеда* — дочь полоцкого князя, оплакивавшая смерть убитого отца и пытавшаяся мстить за его убийство князю Владимиру. *Анастасия* — фаворитка Аракчеева Настасья Минкина, убитая в именин Аракчеева Грузино крепостными за жестокое обращение с ними.

«...усердие все превозмогает!...» — Эти слова были девизом на гербе П. А. Клейнмихеля (1793—1868) — сотрудника Аракчеева, любимца Николая I, министра путей сообщения.

С. 355. Дибич И. И. (1785—1831) — генерал; в то время, о котором говорится, командовал русскими войсками в Польше.

Толь К. Ф. (1777—1842) — генерал, начальник штаба русской армии, находившейся в Польше.

С. 359. Муравьев А. Н. (1806—1874) — автор «Путешествия к святым местам».

Ирмосы (ирмоги) — книги стихов духовного содержания. *Кондаки* — песни, прославляющие бога или святого.

С. 360. Ротган (1785—1853) — католический священник, глава ордена иезуитов.

ПОВРЕЖДЕННЫЙ

Написано в 1851 г. Впервые напечатано в сборнике «Прерванные рассказы Искандера». Лондон, 1854.

С. 361. ...после бурь и утрат... — В конце 1840-х и начале 1850-х гг. Герцен остро переживал поражение революции 1848 г. и наступление реакции в Европе.

В личном плане — начало 1850-х гг. было для Герцена периодом тяжелых переживаний, вызванных смертью матери и сына, погибших в ноябре 1851 г. во время кораблекрушения, и болезнью и смертью жены — Н. А. Герцен в мае 1852 г.

Коркиче — береговая полоса от Генуи до Ниццы.

С. 362. Гексаметр — стихотворный размер.

С. 366. Леонтий Васильевич — Дубельт (1792—1862), началь-

ник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением.
Излер — владелец петербургского ресторана, в котором посетители могли читать газеты.

С. 370. Кювье Жорж (1769—1832) — французский ученый-зоолог.
Гумбольдт Александр Фридрих (1769—1859) — немецкий ученый, путешественник.

Моисей — по Библии, вероучитель, ему приписывается создание первых пяти книг Ветхого завета, так называемого Пятикнижия.

С. 372. Пелазги — народ, живший в доисторические времена на территории Греции.

Николай Павлович — Николай I.

...*Я сам шутил над Руссо...* — речь идет о полемике между Вольтером и Руссо, в которой Вольтер осмеивал призывы Руссо вернуться к природе, его отрицание цивилизации.

С. 373. Блукенбах Иоганн Фридрих (1772—1810) — немецкий ученый, автор классификации населения земного шара по расам.

С. 374. Кондорсе Жан Антуан (1743—1794) — французский философ и политический деятель эпохи французской революции конца XVIII в.

С. 375. Вертер и Шарлотта... — герои романа Гете «Страдания молодого Вертера».

С. 379. Вторая адмиралтейская — одна из петербургских полицейских частей.

ТРАГЕДИЯ ЗА СТАКАНОМ ГРОКА

Напечатано впервые в сборнике «Из «Колокола» и «Полярной звезды». Лондон, 1864.

С. 383. Тата — старшая дочь Герцена Наталья Александровна (1844—1936).

С. 384. Задними дворами Герцен иронически называет мелкие немецкие государства.

С. 385. Каратыгин В. А. (1802—1853) — русский актер-трагик «Кориолан» (1607) — трагедия В. Шекспира.

...*до 19 февраля 1861 года...* — то есть до манифеста Александра II о так называемом «освобождении крестьян».

С. 387. ...о типерерском банкротстве... — речь идет о крахе банка в Типерери (Ирландия) в 1855 г.

С. 389. Людовик Филипп (1773—1850) — король Франции с 1830 г., был свергнут с престола 24 февраля 1848 г. и бежал из Франции в Англию.

...*великих нищих...* — После поражения революции 1848 г. в ряде европейских стран в Лондон съехалось множество политических эмигрантов, вынужденных покинуть свою родину.

Эзоп (Эзоп) (VI в. до н. э.) — знаменитый греческий баснописец.

был рабом. *Руссо* в молодости некоторое время служил лакеем.
Маколей Томас (1800—1859) — английский буржуазно-либеральный историк.

СКУКИ РАДИ

Впервые напечатано в петербургской газете «Неделя» № 48 за 1868 г. и № 10 и 16 за 1869 г. за подписью «У. Нионский».

С. 392. *Фан-Муйден* (род. в 1818) — современный Герсену художник.

С. 393. *Лонже* (1811—1871) — французский ученый.

С. 394. *Прим Жуан* (1814—1870) — испанский политический деятель, генерал.

Ламорисьер Леон (1806—1865), *Шангарнье* Никола (1793—1877) — французские генералы, участвовали в подавлении революционных восстаний 1848 г. *Шаррас* Жан Батист (1810—1865) — полковник французской армии.

Пелисье Жан Жак (1794—1864) — французский генерал, реакционер.

С. 395. *Байон* — французский город и крепость около испанской границы. *Макон* — город на юго-востоке Франции.

Эскуриал — королевский дворец в Мадриде.

С. 396. ...*конгресс мира в Берне*... — В Берне в 1868 г. происходил конгресс Лиги мира и свободы.

Цуг — город в Швейцарии.

С. 397. *Споржен* Чарльз — английский проповедник.

Юмортиля — от фамилии английского спирита Юма.

С. 400. *Корнель* Пьер (1606—1684) — французский писатель-классицист.

Бюжо Тома (1784—1849) — французский маршал, реакционер, жестоко подавлял революционные восстания, участвовал в покорении Алжира.

С. 402. *Вефур* — владелец ресторана в Париже.

Де Виньи Альфред (1797—1863) — французский писатель-романик, автор романа «Стелло, или Синие чертики», в котором доктор рассказывает своему больному, страдающему галлюцинациями, разные фантастические истории.

С. 403. *Трела* Уллис (1795—1875) — французский политический деятель, врач.

Побежденные работники — рабочие, участники июньского восстания 1848 г. в Париже.

Корменен Луи Мари (1788—1868) — французский политический деятель, в 1848 г. вице-президент Учредительного собрания.

Шато д'Иф — тюрьма на острове около Марселя.

Декабрьские дни 1851 г. — дни государственного переворота, совершенного Луи Бонапартом.

Кайенна — город в бывшей французской Гвиане; место ссылки на каторжные работы.

С. 404. «Антологические поэты» — поэты, писавшие в духе античной поэзии.

...хоть какого-нибудь доноса. — Намек Герцена на русскую реакционную прессу 1860-х гг.

«Башмаков не успела она износить...» — сюжет Гамлета из одноименной трагедии Шекспира. Гамлет, осуждая свою мать, вышедшую вторично замуж вскоре после смерти первого мужа, говорит:

...И башмаков еще не износила,

В которых шла, в слезах, как Инюбя,

За бедным прахом моего отца.

(Действие I, сцена II. Перевод А. Кронеберга)

С. 406. Митридат (111—63 до н. э.) — царь Понта и Босфора. Боясь, что будет отравлен своими врагами, систематически приучал себя к ядам, принимая их в небольших дозах.

С. 407. Теократия — форма правления, при которой источником государственной власти и верховным законодателем считалось божество. *Атрократия* — власть врачей.

Франсиа (1756—1840) — политический деятель Парагвая, диктатор. *Архиатр* — главный врач.

С. 408. Мазас — тюрьма в Париже, выстроенная в 1849 г.

С. 409. Ларре и Корвизар — французские военные врачи, возглавлявшие медицинское обслуживание наполеоновской армии в период войны 1812 г.

...после Июльской революции... — после революции 1830 г.

1814 г. — год падения наполеоновской империи и ссылки Наполеона на остров Эльбу. *1815 год* — поражение армии Наполеона под Ватерлоо, вторичное отречение Наполеона от престола после «ста дней» и ссылка его на остров Св. Елены.

С. 410. ...своему отступившему полку под Лейпцигом... — имеется в виду битва под Лейпцигом в 1813 г., в которой армия Наполеона потерпела крупнейшее поражение.

С. 413. Ван-Дик — Ван-Дейк (1599—1641) — фламандский художник. *Дель Сарто* Андреа (1489—1531) — итальянский художник.

APHORISMATA

ПО ПОВОДУ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Д-РА КРУПОВА

Впервые опубликовано в VIII книге «Полярной звезды» за 1869 г

С. 435. Мудров М. Я. (1772—1831), *Павлов* М. Г. (1793—1840) — профессора Московского университета. *Дядковский* П. Е. (1781—1841) — профессор патологии и директор клиники Московского университета.

...привез с собой номер издаваемой вами периодики... — речь идет

о герценовских изданиях, выпускавшихся в Лондоне в «Вольной русской типографии» и строжайше запрещенных к распространению в России.

С. 436. Теологическая экзегеза (экзегеза) — истолкование библейских текстов.

...после уничтожения цензуры... — ирония над цензурными реформами второй половины 60-х гг.

Адреса не пишу... — намек на строжайшее запрещение какой бы то ни было связи русских подданных с «лондонскими изгнанниками» — Герценом и Огаревым.

Левифан — по библейской легенде, огромная рыба, которой бог в день «страшного суда» накормит праведников.

Круциферский и **Кафернаумов** — персонажи в романе «Кто виноват?».

С. 437. Лютеровы ереси — протестантские догматы немецкого церковного реформатора Лютера, направленные против католической церкви.

Вельсевул — дьявол. По библейскому преданию, бесы были изгнаны из человека и вошли в свиней.

Трихины — мелкие черви, паразитирующие в желудке свиней.

Метемпсихоза (Метампсихоз) — религиозно-мистическое учение о посмертном переселении душ и о продолжении жизни в другом образе.

С. 438. Гарротирование — умерщвление путем удушения обручем, стягиваемым винтом.

Деисты — последователи религиозно-философского учения о существовании бога как первопричины мира.

С. 439. Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель.

С. 440. Магабарата (Махабхарата) — древняя индусская эпическая поэма. **Урвазия** (Урваши) — героиня произведения древнего индусского писателя Калидасы (IV—V вв.) «Мужеством обретенная Урваши».

Калигула (12—41) — римский император, известный своей жестокостью. **Каротида** — сонная артерия. **Бистурил** — хирургический инструмент.

Ренан Эрнест (1823—1892) — французский историк христианства, автор книги «Жизнь Христа».

С. 441. Теодицея — богословская теория, примиряющая существование зла с учением о боге.

Диоклетиан (230—313) — римский император, преследовавший христиан. **Кальвин Жан** (1509—1564) — глава церковно-реформационного движения против католической церкви и папизма. **Филипп II** (1527—1598) — испанский король.

Клоотс Жан Батист (1755—1794), заменивший свое имя именем **Анахарсис** — философ-публицист и политический деятель эпохи

французской революции конца XVIII в., атеист, проповедник «культу разума».

С. 442. Император в красных штанах — император французов; *император в белых штанах* — русский император.

Лазарь — лицо из евангельской легенды; был воскрешен из мертвых Иисусом Христом.

Фост Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель, один из представителей вульгарного материализма.

ДОКТОР, УМИРАЮЩИЙ И МЕРТВЫЕ

Повесть написана в 1869 г. Впервые напечатана в «Сборнике посмертных статей А. И. Герцена». Женева, 1870.

С. 444. ...старофранцузского древа познания добра и зла... — шутовская характеристика старомодного литературного стиля, насыщенного мифологическими образами.

2 декабря 1851 г. — день государственного переворота, произведенного Луи Бонапартом.

Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — французский писатель и философ.

...le grand tsar hyperboréen. — Речь идет о Петре I, в 1717 г. посетившем Париж.

Туранцы — старое название жителей Туранского нагорья в Средней Азии. В 1860-х гг. в связи с антирусской пропагандой во Франции и пропагандой польской аристократической эмиграции получили известное распространение лженаучные теории о «туранском» происхождении русских.

С. 445. ...не можем простить азятие Парижа... — вступления русских войск в Париж в 1814 г.

...а какую-то Самарканду... — Самарканд был занят русскими войсками в 1868 г.

С. 446. Понтийские болота — огромные болота в районе Рима.

Кетле Ламбер Адольф Жак (1796—1874) — бельгийский физик и статистик, автор «Исследования склонности к преступлениям», в котором пытался обосновать как закономерность якобы существующую «среднюю» склонность к преступлениям.

Ламартин Альфонс Марк Луи (1790—1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель, глава временного правительства в период революции 1848 г.

С. 447. ...le duc Rolin... — искаженная фамилия Ледрю-Роллена Александра Огюста (1808—1874) — французского политического деятеля, буржуазного демократа, члена временного правительства в период революции 1848 г.

Иродиада — дочь царя Ирода (I в. до н. э.); по евангельской

легенде, за пляску перед царем потребовала в награду голову Иоанна Крестителя; имя Иродиады стало нарицательным для распутной, злой женщины.

Нинон Ланкло (1616—1706) — французская куртизанка, в литературно-политическом салоне которой собирались политические деятели того времени.

Малибран Мария (1808—1836) — оперная певица.

Легисты — юристы, изучавшие гражданское римское право.

Камбасерес Жан Жак (1753—1824) — французский юрист, автор «Наполеоновского кодекса» — французского гражданского кодекса.

Брусс Франсуа Жозеф (1772—1838) — французский врач; в своей врачебной практике широко пользовался кровопусканием как средством лечения.

Король-гражданин — так называли Луи Филиппа.

С. 449. При помощи *философского камня*, поисками которого занимались алхимики, якобы возможно было превращать простые металлы в золото.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — древнеримский политический деятель, руководитель республиканского заговора против Цезаря и участник его убийства. *Фабриций* (начало III в. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель.

С. 450. *Мирабо* Онопере Габриэль (1749—1791) — политический деятель эпохи французской революции конца XVIII в. *Марат* Жан Поль (1744—1793) — крупнейший демократический деятель эпохи французской революции конца XVIII в. *Марсо* Франсуа Северин (1769—1796) — генерал французской революционной армии.

Луи Блан (1811—1882) — деятель революции 1848 г. во Франции, социалист-утопист, мелкобуржуазный демократ, публицист и историк.

Трехцветный шарф — то есть шарф цветов знамени французской республики.

...не сами, а братья... — *Гарнье-Пажес* Луи Антуан — буржуазный политический деятель революции 1848 г. — младший брат («junior») Этьена Гарнье-Пажеса — деятеля революции 1830 г., видного участника оппозиции Луи Филиппу. *Кавеньяк* *Годефруа* (1801—1845) — участник революции 1830 г. Брат его, *Кавеньяк* Эжен (1802—1857), генерал, в 1848 г. возглавил кровавое подавление июньского восстания парижского пролетариата.

С. 451. «*Буржский процесс*» — процесс участников революционной демонстрации 15 мая 1848 г. происходил в г. Бурже.

Февральская революция 1848 г.

24 февраля 1848 г. — день народного восстания в Париже, взятия Тюильрийского дворца, отречения Луи Филиппа от престола, провозглашения республики.

С. 452. *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелко-

буржуазный социалист-утопист. «Реформа» — парижская газета, редакция которой была политическим штабом демократических республиканцев.

С. 453. Теперь я должен вам сказать... — В рассказываемой доктором истории Ральера-старшего Герцен отразил некоторые черты биографии одного из деятелей французской революции конца XVIII в., члена Конвента, якобинца Сержана. Имя «Гракс» взято якобинцем Ральером в честь народных трибунов Древнего Рима — братьев Гракхов (II в. до н. э.).

«Последними римлянами» Герцен называл якобинцев, большинство которых было казнено после наступления реакции, в 1795—1796 гг.

Ромм Жильберт (1750—1795), Гужон Жан Мари (ум. в 1795) — якобинцы; приговоренные к смерти, заколоты себя кинжалами.

С. 454. Баррас Поль Жан (1775—1829), Тальен Жан Ламберт (1769—1820) — французские политические деятели, представители термидорианской реакции. *Кабарю* — жена Тальена.

Нивоз — четвертый месяц (по римскому календарю — с 21—23 декабря по 19—21 января) французского революционного календаря, установленного Конвентом в 1793 г.

Героин де Меркур Анна Жозефина (1762—1817) — деятельница французской революции конца XVIII в.

...с ним какой-то юноша... — Юноша, о котором идет речь, — граф П. А. Строганов. В годы революции был в Париже; впоследствии — близкий друг Александра I, член негласного комитета по разработке плана государственного преобразования России, с 1802 г. — товарищ министра внутренних дел.

С. 455. Комитет общественного спасения — высший орган Конвента.

...Павел оставил этот город... — подразумевается смерть Павла I, задушенного заговорщиками в ночь на 12 марта 1801 г.

Монтаньяры — левые политические группы в Конвенте, занимавшие места в верхних рядах (монтаньяры — от французского слова la montagne — гора).

С. 456. ...восстановлением трех цветов... — то есть восстановлением республиканского знамени Франции.

...новая измена Мотье... — Лафайет Мари Жозеф (де Мотье, маркиз Лафайет) принимал активное участие в революциях 1789—1794 гг. и 1830 г., неоднократно меняя свои политические позиции. Называя Лафайета «Мотье», старый якобинец подчеркивает, что он не признает титулов.

Барбес Арман (1809—1870), Бланки Огюст (1805—1881) — французские революционеры.

Версаль, Сен-Клу — резиденции французских королей. *Мария Амелия (1782—1888)* — жена Луи Филиппа.

Пакье Этьен Дени (1767—1862) — французский политический дея-

тель, реакционер, монархист, президент Верхней палаты (высшей судебной инстанции).

С. 458. К тому же наш добрый старик... — Очевидно, речь идет о пьесе Александра Дюма (отца) «Рыцарь из красного дома» (по одноименному роману), поставленной на сцене в 1847 г. Герцен называл эту пьесу «глупостью».

С. 459. «Монитор» — французская правительственная газета.

С. 460. Принц Беневентский — титул Талейрана. *Конкордат* — соглашение, заключенное в 1801 г. Наполеоном I с папой Пием, отменившее революционное законодательство о церкви и признавшее католицизм «религией огромного большинства французских граждан».

С. 461. Давид Жак Луи (1748—1825) — знаменитый французский художник; был якобинцем; стал придворным художником Наполеона I и получил титул барона.

...одного великого мученика... — Имеется в виду Иисус Христос.

С. 463. Банкеты — либерально-буржуазный метод действия в борьбе за избирательную реформу в период революции 1848 г.

Гизо Франсуа (1787—1874) — французский политический деятель и историк. Был главой правительства при Луи Филиппе; после революции 1848 г. бежал в Англию.

С. 464. Аффр (1793—1848) — парижский архиепископ.

С. 465. Одилон Барро (1791—1873) — глава либерального правительства накануне февральской революции.

13 июня — в июне 1849 г. в Париже свирепствовала холера.

С. 467. Вандемьер — первый месяц французского революционного календаря, установленного Конвентом в 1793 г. 13 вандемьера 1795 г. генерал Бонапарт («корсиканец») подавил монархическое восстание в Париже.

Это был знаменитый залп на бульваре. — Вечером 23 февраля народная демонстрация, проходившая по улицам Парижа, была расстреляна с бульвара Капуцинов войсками; это послужило непосредственным поводом к уличной борьбе на баррикадах.

С. 468. Лукреция Борджиа (1480—1519) — дочь римского папы Александра VI, известная своим вероломством и развращенностью.

Марраст Арман (1801—1852) — французский политический деятель, буржуазный республиканец, редактор газеты «Националь»; после февральской революции — председатель Учредительного собрания.

С. 469. Аруэт — Вольтер; *Жан-Жак* — Руссо.

С. 471. Косидьер Марк (1809—1861) — мелкобуржуазный революционер; после февральской революции занял пост начальника полиции.

С. 472. Паньер Лоран Антуан (1805—1854) — парижский издатель; после революции 1848 г. управляющий делами временного правительства.

С. 474. Гэбер (Эберт) Жак Рене (1757—1794) — деятель французской революции конца XVIII в., якобинец, атеист.

С. 475. *Десятилетние годы* — французская революция 1789—1794 гг.

С. 476. *Июньские дни* — восстание парижского пролетариата 22—26 июня 1848 г., разгромленное буржуазией.

С. 477. *Мишле Жюль* (1798—1874) — французский историк и публицист, мелкобуржуазный демократ.

С. 478. *Явились новые силы и люди*. — Герцен имеет в виду выборы во Францию в 1869 г., когда в парламент были избраны противники правления Наполеона III.

СОДЕРЖАНИЕ

Записки одного молодого человека	5
Кто виноват? <i>Роман в двух частях</i>	63
Сорока-воровка. <i>Повесть</i>	251
Доктор Крупов. <i>Повесть</i>	273
Мимоездом. <i>Отрывок</i>	300
Долг прежде всего. <i>Повесть</i>	303
Поврежденный. <i>Повесть</i>	361
Трагедия за стаканом грога	383
Скуки ради	391
APHORISMATA. По поводу психиатрической теории д-ра Крупова. <i>Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора</i> <i>Тига Левиафанского</i>	431
Доктор, умирающий и мертвые	444
Образ времени. <i>В.л. Семенов</i>	479
Применания	499

Герцен А. И.

- Г41 Рассказы и повести/Сост. и послесл. Вл. Семёнова.— М.: Сов. Россия, 1987.— 528 с., ил., 1 л. портр.

В сборник, приуроченный к 175-летию со дня рождения А. И. Герцена, вошли наиболее известные художественные произведения писателя: «Записки одного молодого человека», «Кто виноват?», «Сорока-воровка» и др.

Г 4702010100—184 92—87
М-105(03)87

Р1

Александр Иванович Герцен

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Редактор Л. В. Сидорова
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор И. И. Павлова
Корректоры Н. Д. Бучарова, Л. П. Конкина,
С. В. Микровская, И. В. Бовша,
Э. З. Сергеева, Л. М. Логунова

ИБ № 4720

Сдано в набор 09.10.86. Подп. и печать 27.02.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. л. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 30,07. Тираж 400 000 экз. (2-й завод 200 001—400 000 экз.). Заказ № 131. Цена 2 р. 80 к. Изд. инд. ЛХ-127.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот»